

Российская академия наук

Институт славяноведения

**МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЛИЯНИЕ  
В ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ  
И ДИАЛЕКТОВ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ**

МОСКВА 2007

**Российская академия наук  
Институт славяноведения**

**Межъязыковое влияние  
в истории славянских языков и диалектов:  
социокультурный аспект**

**Москва  
2007**

Ответственный редактор:  
доктор филологических наук *Т. И. Вендина*

Рецензенты:  
доктор филологических наук *Т. Н. Моложная*  
доктор филологических наук *Т. В. Попова*

Работа выполнена при финансовой поддержке  
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН (2003–2005 гг.,  
проект № 10002–252/ОИФН-01/242–239/110703–1047).

**М 43 Межъязыковое влияние в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект / Сб. статей. Под ред. и с предисл. Т. И. Вендиной. – М.: Институт славяноведения РАН, 2007. – 467 с.**

Сборник включает работы, посвященные различным аспектами проблематики межъязыковых влияний в истории славянских языков и диалектов, при этом особое внимание в ряде статей уделяется социокультурным вопросам. Освещаются двухсторонние и многосторонние контакты славянских языков и культур как между собой, так и с соседними неславянскими языками и культурами, анализируются взаимодействия славянских диалектов и литературных языков и различных форм славянских письменных языков. Сборник представляет интерес для широкого круга специалистов в области современного и исторического славянского языкознания, в том числе диалектологии и лингвогеографии, теории и практики языковых влияний, этнолингвистики, проблем славянской культуры и письменности.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю сборник посвящен исследованию различных проблем, связанных с межъязыковыми контактами, влияниями и теми изменениями, которые происходят в ходе этих взаимодействий. В статьях, содержащихся в сборнике, прослеживаются механизмы взаимодействия языков (сфера влияний, пути преобразования инновационных элементов, степень их подвижности и т. д.), а также механизмы самой культурной динамики.

Хронологические рамки рассматриваемой проблематики широко раздвинуты – от эпохи Средневековья (эпоха становления первого письменного языка славян: статья В. С. Ефимовой) до наших дней (новое и новейшее время, характеризующееся интенсивными контактами славянских и неславянских языков, результаты которых проявляются на разных языковых уровнях, – прежде всего на лексическом (статьи Т. И. Вендиной, Г. К. Венедиктова, М. И. Ермаковой, Г. П. Клепиковой, Г. П. Нещименко, Е. И. Якушкиной), но также и на грамматическом (статьи Е. И. Деминой, Ф. Р. Мин-лоса).

Осмысление механизма межъязыковых контактов свидетельствует о том, что разные уровни языковой системы неодинаковой реагируют на взаимодействия языков. Наиболее открытым для межъязыковых влияний и возникновению инноваций является лексический уровень языка как более всего подверженный изменениям и воздействию экстралингвистических факторов, наиболее устойчивым к такому влиянию оказывается фонетический уровень.

В истории разных языков межъязыковые контакты имели как позитивные, так и негативные последствия. Их положительной стороной является, несомненно, обогащение словарного состава языка, что

ведет к ускорению формирования культурного слоя лексики, появлению новых смыслов, развитию лексики с абстрактной семантикой, т. е. в результате этих контактов происходят качественные изменения в языке. Отрицательной же стороной является то, что эти контакты нередко приводят к глубоким структурным сдвигам в языке-реципиенте, когда нарушаются внутренние законы его развития и функционирования. В результате такого структурного вторжения возникает языковая эрозия, которая в конечном итоге может привести к исчезновению не только тех или иных структурных элементов, но и самого языка (именно такое будущее, по прогнозам сорабистов, ожидает серболужицкие языки).

Уровень межъязыковых контактов, степень их проникновения могут быть разными. Это могут быть глубинные взаимодействия языков, которые затрагивают семантическую структуру слова, влияя тем самым на формирование концептосферы языка-реципиента. Такие влияния определяются как внутриязыковыми факторами, так и внеязыковыми (культурными традициями или культурной экспансией). Но могут быть и поверхностные контакты, связанные с усвоением иноязычного слова, той или иной словообразовательной модели или синтаксической конструкции путем «вживления» их в ткань языка, адаптации через словообразование, морфологию или синтаксис. Однако и они могут оказывать серьезные воздействия на структурную организацию и функционирование принимающего языка.

Все эти проблемы получают свое освещение в статьях, составляющих содержание сборника. Так, в частности, в статье Т. И. Вендиной поднимается вопрос о влиянии старославянского языка на формирование концептосферы языка русской культуры. Прослеживая историю концептов Истина, Добро, Красота в старославянском, древнерусском и современном русском языке, автор исследует вопрос о роли старославянского языка в этнокультурной системе рус-

ского языка, его влиянии на формирование системы ценностей русского народа. В статье доказывается, что старославянский язык, лексикон которого пронизывала идея противопоставленности божественного и земного, оказал существенное влияние на формирование концептуальной сферы русского языка с характерной для нее дихотомией горнего и дольного. По мнению автора, речь идет не о поверхностном усвоении отдельных слов, а о глубинном влиянии старославянского языка на формирование тех культурных смыслов, которые выражали жизненную позицию человека, его понимание окружающего мира и своего предназначения в нем. На примере эволюции этих концептов в древнерусском, современном русском литературном языке и в его диалектах автор показывает, как в языке культуры нового времени живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианства, что из христианской этики Средневековья было усвоено русской культурой и получило отражение в языке. Несмотря на секуляризацию русской культуры ее христианские основы, по мнению автора, остаются незбылемыми: современный русский литературный язык и его диалекты в целом сохраняют христианско-нравственную ориентацию в концептуализации этих духовных сущностей. Причины такой устойчивости, как доказывает автор, связаны с культурными механизмами, ибо язык и культура являются результатом действия единых законов смыслообразования.

В статье Е. И. Якушкиной рассматривается сходная проблема – влияние турецкого языка на формирование концептосферы южнославянских языков, в частности, лексики любовных переживаний, лексики «добраго дела» и лексики «судьбы». Исследуя влияние турецкого языка на формирование концепта Судьбы в южнославянской языковой традиции, автор определяет пути внедрения турцизмов в язык духовной культуры южных славян. Особое внимание уделяется

сопоставлению семантических объемов славянских и заимствованных слов. Языковой и этнографический материал свидетельствует о том, что заимствование из турецкого языка проходило не только на лексическом уровне, но и на концептуальном: ориентальное влияние обнаруживается в семантике соответствующей исконной лексики и ее денотативном наполнении. Этому способствовали, по мнению автора, как внутриязыковые факторы, так и внеязыковые (фактор культурной экспансии). Автор высказывает предположение, что одной из причин усвоения турцизмов является асимметрия плана содержания и выражения славянских лексем поля «судьбы», имеющих целый спектр значений, не всегда однозначно интерпретируемых, что могло создать внутреннюю потребность поля «судьбы» в терминологизации, в более четком структурировании при обозначении некоторых специфических понятий. В статье подчеркивается, что заимствование турецких слов в иных сферах этнокультурной лексики (ср. поле «доброе дела») происходило по той же модели: заимствовались не только отдельные лексемы, но и лексико-семантическая парадигма в целом.

В статье В. С. Ефимовой исследуется вопрос о влиянии греческого языка на формирование лексического фонда старославянского языка. Приводя обширный материал, извлеченный из словаря старославянского языка и из текстов первых переводов книг Св. Писания с греческого на старославянский язык (IX– начало XI в.), автор показывает, каким образом расширялся и пополнялся лексический фонд первого славянского литературного языка. Словотворческая деятельность Кирилла и Мефодия, а позднее их учеников осуществлялось, по мнению автора, либо путем расширения семантического объема существующих в славянской речи лексем, либо путем собственно языкотворчества, через механизмы словообразования и калькирования соответствующих греческих лексем. При этом именно словооб-

разование от греческих основ с использованием славянских аффиксальных средств являлось наиболее результативным способом пополнения лексического фонда старославянского языка. В целом же влияние греческих оригиналов проявлялось не только и не столько в калькировании греческих лексем, сколько в выборе и дальнейшей разработке славянских словообразовательных моделей, так как новые старославянские лексемы создавались по законам старославянского языка, по исконным славянским моделям.

В статье Г. К. Венедиктова затрагивается проблема влияния русского языка на формирование болгарского литературного языка, в частности, его делового стиля. Проведя анализ административно-канцелярской лексики болгарского языка, автор приходит к выводу о том, что начало собственно русского влияния на развитие лексики современного болгарского литературного языка началось не в 1840-е годы, как это обычно считается, а двумя десятилетиями раньше, о чем свидетельствует лексический состав изданной в 1821 г. «Инструкции об обязанностях сельских приказов», представляющей собой первый опыт практического решения возникшей потребности в административно-канцелярском документе на болгарском языке. Исключительная важность этого текста в языковом отношении состоит в том, что ввиду специфики его содержания в нем имеется довольно значительный пласт лексики, сама возможность заимствования которой из церковнославянского языка исключается. Речь идет о наименовании многих новых для болгарских переселенцев реалий в условиях жизни в Бессарабии. Наименования таких реалий заимствованы неизвестным переводчиком в большинстве случаев непосредственно из русского оригинала, включая и многие слова иноязычного происхождения, а также, надо полагать, и в результате живых, непосредственных контактов переводчика с носителями русского языка. Все они являются русизмами на ранней стадии формирования современ-



ного болгарского литературного языка. Важность данного болгарского текста заключается также и в том, что именно он (а не изданный в 1841 г. перевод с греческого языка «Гюльханейского хата») открывает первую страницу в истории становления делового стиля современного болгарского литературного языка.

В статье Г. П. Клепиковой исследуется проблема межъязыковых и междиалектных контактов в карпато-балканском ареале: происхождение заимствованных элементов, пути миграции их в языки карпато-балканской макрозоны. Привлекая обширный диалектный материал, автор выявляет древнейшие славянские заимствования в румынском, венгерском, албанском языках, определяет хронологические границы более поздних заимствований из румынского, венгерского, турецкого, арумынского и др. языков в славянские диалекты. По мнению автора, наибольшее интегрирующее значение в макрозоне в целом принадлежит славянскому, восточнороманскому (румынскому) и венгерскому языковому компонентам, так как именно эти языки оказывали наиболее длительное и сильное воздействие (особенно это относится к славянским и румынскому языкам, если иметь в виду присутствие соответствующих этноязыковых и этнокультурных элементов в Карпатах и на Балканах на протяжении примерно полутора тысячелетий). Что касается греческого и турецкого влияния, то наиболее сильное, прямое их воздействие сказалось на языках балканского ареала, влияние же их в карпатской зоне оценивается по большей части как опосредованное – через румынский и венгерский языки. Успехи центрально- и юго-восточноевропейской лингвогеографии, достигнутые во второй половине XX в. (подготовка и публикация национальных и полилингвальных атласов, многочисленных описаний славянских и неславянских диалектов и под.), создали в настоящее время условия для изучения результатов взаимодействия и интерференции языков в карпато-балканской макрозоне на диалектном уровне в *ареальном* аспекте.

Г. П. Клепикова приводит примеры различных ареальных типов в данном пространстве, манифестирующих распространение лексем разного происхождения и образующих *общий* фонд лексических (и семантических) единиц в языках карпато-балканской области. Автор полагает, что наличие подобного фонда (а также инвентаря общих для всех этих языков [или для их части] «мотивационных признаков», используемых при номинации) служит основанием для постулирования в указанной макроне особой, лексико-семантической по преимуществу, языковой общности конвергентного типа.

Статья М. И. Ермаковой посвящена проблеме влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки и диалекты, взаимодействие с которыми имеет длительную историю (с X в.). Приводя обширный материал из области лексики, словообразования и грамматики, автор отмечает, что немецко-серболужицкие языковые контакты происходили в определенных политических и социальных условиях, которые повлияли на особенности развития серболужицкого и его письменные (литературные) формы в различных частях Лужицы. При растущем влиянии немецкого языка, который постепенно становился господствующим, у серболужичан к началу XX в. формируется полное коллективное двуязычие, которое в отдельных районах Лужицы переходит в немецкое одноязычие. В зависимости от степени и характера влияния немецкого на серболужицкие языки, автор выделяет несколько этапов в истории немецко-серболужицких контактов и делает прогнозы относительно результатов этого влияния (переход через стадию двуязычия к немецкому одноязычию).

Статья Г. П. Нецименко освещает проблему заимствований, которая в условиях действия тенденций глобализации и интеграции приобрела особую значимость. В статье поднимаются такие вопросы, как коммуникативная и лингвистическая мотивированность использования иноязычной лексики, последствия массированного притока

заимствований для языка-реципиента и для языковой культуры этноса в целом, эффективность политики «языкового протекционизма», возможность регулирования притока заимствований, допустимая степень открытости языка-реципиента для притока заимствований, механизмы адаптации заимствований и др.

Отмечая тотальное распространение англицизмов в лексической системе чешского и русского языков, автор говорит о последствиях этого явления, указывая на его позитивные и негативные аспекты. Так, в частности, значительный приток англицизмов во все сферы функционирования этнических языков обогащает их коммуникационный фонд, ускоряет формирование «культурного» слоя лексики и т. д. Вместе с тем переизбыток заимствований, тем более при наличии эквивалентных обозначений родного языка, зачастую воспринимается отрицательно, т. к. налицо «вторжение» иной культурно-языковой стихии в живую ткань языка-реципиента, в его структуру. Несомненно также, что чрезмерное употребление иноязычной лексики ведет к возникновению коммуникативного дискомфорта при восприятии информации, что затрудняет межэтническую и межличностную коммуникацию, а иногда ведет и к нарушению внутренних закономерностей развития и функционирования воспринимающего языка. В качестве решения этой проблемы автор предлагает регулирование их использования в наиболее общественно значимой коммуникации, в частности, в публичной. Критерием должно служить стремление к тому, чтобы использование заимствования было функционально обусловленным, чтобы оно способствовало реализации коммуникативного намерения говорящего. По мнению автора, понимание действия механизма адаптации иноязычных лексических единиц позволяет выявить в языке-реципиенте наиболее продуктивные на современном этапе словообразовательные модели, установить соотношение исконных и иноязычных формантов и под.

В статье Е. И. Деминой предпринята попытка осмысления механизма языковых новаций в балканских языках как социолингвистического феномена. Автор предлагает свою версию осмысления процесса возникновения категории опосредованности оценки отношения действия к действительности известной болгарскому языку и неизвестной иным индоевропейским (в том числе – большей части славянских) языкам. Автор показывает, какие изменения в способе осмысления внеязыковой действительности и ее семантического членения социумом должны были произойти, чтобы в языковой системе болгарского языка грамматикализировались соответствующие аспекты опыта, которые ранее не были ей присущи. Е. И. Демина приходит к выводу, что категория опосредованности оценки отношения действия к действительности при своем оформлении в болгарском языке ориентировалась на собственные (исконные) средства. В то же время наличие изограмматических параллелей этой категории в албанском языке, в македонских и части сербских говоров, сама семантическая ориентация этой категории на характерную для балканской языковой модели мира систему семиотических оппозиций типа *свой – чужой*, *внутренний – внешний* и под. свидетельствуют о ее балканском характере. К числу внеязыковых факторов, сыгравших свою роль в оформлении этой категории в болгарском языке, относится также влияние тюркского (=османо-турецкого) глагола с его системой очевидных-неочевидных времен, хотя его воздействие в процессе интерференции, естественно, не было единственным и решающим.

Проблема межъязыковых контактов исследуется и в статье Ф. Р. Минлоса, посвященной парным словам и редупликациям в восточнославянских языках. Приводя обширный материал из языка фольклора, а также разговорного языка в его территориальной и социальной разновидностях (диалектизмы, сленг, арг, жаргонизмы), автор описывает модели этих редупликативных и рифмованных об-

разований, устанавливает источники их происхождения. Редупликация и парные слова обнаруживают в восточнославянских языках много общего, однако имеют разные источники. Некоторые виды разговорной редупликации являются достаточно поздними заимствованиями (*м-* и *шм-*редупликация). Фольклорная редупликация, хотя часто выглядит формально сходно с разговорной (например, *шурин-мурин*, *сахар-махар*), не может быть истолкована как вырожденная, десемантизированная ее форма. По мнению автора, она может быть объяснена только как одна из реализаций рифмованных сочетаний с губным в начале второго элемента, характерных для большой евразийской территории и фиксируемых уже в древних (например, хеттских) текстах. Такое широкое распространение этой модели исключает возможность связать ее с влиянием какой-то конкретной группы языков (например, тюркской). Что касается парных слов, то в работе разрабатывается гипотеза, согласно которой основной их источник — не поздние контакты с тюркскими языками (как обычно предполагалось), а раннее влияние финно-угорского субстрата русского языка (в связи с чем в белорусском и украинском языках парные слова имеют значительно меньшее распространение).

В статьях А. Ф. Журавлева и Л. Э. Калнынь освещаются вопросы взаимодействия различных форм одного языка, в частности, русского литературного языка и его диалектов. Так, в частности, в статье А. Ф. Журавлева рассматривается широко обсуждаемый в науке вопрос устойчивости русских диалектов и их сопротивления влиянию литературного языка, которое интенсивно осуществляется через школу и средства массовой коммуникации. Автор выделяет разные аспекты влияния литературного языка на диалектную лексику, определяет сферы этого влияния и конкретные пути преобразований, которым подвергается слово, мигрирующее из литературного языка в диалекты. Особое внимание в статье уделяется роли народной эти-

мологии в процессе адаптации слов заимствуемых диалектами из литературного языка.

Статья Л. Э. Калнынь посвящена описанию механизма влияния литературного языка на диалекты на фонетическом и лексическом уровне. Реальные языковые процессы, происходящие в современных русских диалектах, показывают, что разные фрагменты диалектной системы неодинаково реагируют на влияние со стороны стандарта, так как потенциал устойчивости диалектных черт на этих уровнях не одинаковый. Это обусловлено, с одной стороны, собственно структурными языковыми факторами, а с другой – социально-историческими. На уровне собственно структурных компонентов системы диалекты обнаруживают высокую степень стабильности (что демонстрируют их фонетические системы). Устранение диалектных особенностей такого рода и замена их литературными эквивалентами означает перестройку языковой модели в сознании носителей диалекта. Что касается лексического уровня, то он значительно больше подвержен изменениям. В лексический состав диалектов не только входят новые слова, но и утрачиваются целые пласты исконной лексики. Такой вид интеграции обедняет потенциал диалектов и меняет картину мира в сознании носителя. Лексический состав русских диалектов является одним из компонентов русской национальной культуры и требует более бережного к себе отношения. Динамика русских диалектов, отраженная в их современном состоянии, показывает, что их контакт с литературным языком не во всем приводит к позитивным языковым последствиям.

В статье Ф. Б. Людоговского исследуется роль различных тенденций в истории церковнославянского языка, богослужебного языка Русской православной церкви и русского языка, имеющего статус государственного языка Российской Федерации.

В статье анализируется распределение сфер их использования в рамках российского социума в целом и применительно к социальной

группе православных носителей русского языка в частности. Констатируется неуклонное сокращение сферы использования церковнославянского языка в последние столетия: от языка церковной культуры в Петровскую эпоху до языка исключительно богослужебного в настоящее время. При этом и литургические тексты активно переводятся на русский язык – прежде всего для внебогослужебного употребления, поэтому нельзя исключить, что в обозримом будущем русский язык составит серьезную конкуренцию церковнославянскому языку и в области богослужения. С другой стороны, налицо всплеск церковнославянского гимнографического творчества: в последние полтора десятилетия в изобилии появляются новые богослужебные тексты, в первую очередь – акафисты (по оценке автора, ежегодный прирост объема акафистов составляет порядка 10%). Влияние русского языка на церковнославянский, по мнению автора, проявляется на всех уровнях языковых систем. В качестве посредника в этом влиянии выступает духовная литература (автор подробно рассматривает влияние в области фонетики и орфоэпии, морфологии, синтаксиса, семантики). Влияние церковнославянского языка на русский гораздо слабее (особенно заметно оно в области морфологии и лексики) и проявляется лишь в текстах (устных и письменных), продуцируемых представителями относительно немногочисленной (ок. 3% населения Российской Федерации) социальной группы православных носителей русского языка. Однако, несмотря на такой ярко выраженный асимметричный характер, взаимодействие церковнославянского и русского языков продолжается, а их контакты (в рамках указанной социальной группы) остаются столь же тесными, как и на протяжении всего предшествующего тысячелетия. Говоря об этом взаимовлиянии двух языков, различающихся и своими функциями, и сферой использования, автор делает интересные прогнозы взаимоотношения этих языков в будущем: произойдет сближение и – возмож-

но – новый синтез двух языков, когда церковнославянский язык терпит определенную русификацию и станет более доступным, а в рамках литературного русского языка сформируется литургический стиль для использования его в качестве богослужебного языка; расширится сфера параллельного использования русского и церковнославянского языков: русский литературный язык проникнет в сферу богослужения, а церковнославянский может со временем вернуться в агиографию.

Такая обширная проблематика сборника, как представляется, вызовет интерес диалектологов, историков языка и культуры, социолингвистов, а также филологов самого широкого профиля.

*Т. И. Вендина*



## СТАРΟΣЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ ЯЗЫКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Философ культуры должен учиться созерцать слова.

*М. Бахтин 1995: 102*

Вопрос о роли старославянской стихии в формировании русского литературного языка сегодня, кажется, из разряда дискуссионных перешел в разряд очевидных. И старославянский язык оценивается современной наукой как моделирующий фактор русской культуры, сыгравший важную роль в ее духовном становлении.

Язык культуры Средневековья, его ценностные императивы оказались во многом созвучны русской культуре, на что в свое время обратил внимание о. П. А. Флоренский, назвавший Кирилла и Мефодия духовными отцами русской культуры. Говоря о взаимодействии русской культуры с культурой древней Эллады, он писал в статье «Троице-Сергиева лавра и Россия»: «Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры» (Флоренский 1994, т. 2: 354). Именно поэтому вопрос о роли старославянского (церковнославянского) языка в формировании концептосферы языка русской культуры является сегодня чрезвычайно важным, особенно в связи с развернувшимися лингвокультурологическими исследованиями, поисками христианских основ отечественной культуры. К сожалению, пока он

не привлекал серьезного внимания ученых, интерес которых был сосредоточен в основном на изучении фонетических, словообразовательных и грамматических признаков старославянизмов, на оценке их роли в стилистической дифференциации русской лексики, а также на выявлении процентного содержания старославянизмов в лексической системе литературного языка. Что касается диалектов, то этот вопрос остается открытым, поскольку до сих пор довольно устойчивым является представление о том, что влияние старославянского (церковнославянского) языка было характерно в основном для литературной формы русского языка.

Между тем вся история становления русского литературного языка рассматривается с позиций противопоставления двух традиций – народной и церковнославянской, взаимодействие которых имело довольно продолжительный и интенсивный характер.

В ходе этого взаимодействия происходили качественные изменения в словарном составе русского языка, переосмысление ценностей, духовных ориентиров под влиянием новых форм культурной активности.

В связи с этим встает вопрос, как глубоко было освоено лексическое кирилло-мефодиевское наследие языком русской элитарной и традиционной культуры? ЧТО из христианской этики Средневековья было усвоено русской культурой и получило отражение в ее языке, КАК в языке культуры нового времени живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианства?

Следует сразу сказать, что ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, он скрывается в глубинных основах концептосферы национального языка, однако ключ к нему исследователю дает сам язык, поскольку установки культуры, составляющие основу ценностных ориентиров жизненной философии ее носителей, становятся достоянием культурного сообщества благодаря их означиванию.

Именно язык позволяет обнаружить связь с древнейшими пластами культуры того или иного народа, с его религиозным опытом, рефлексией эстетического и научного познания мира. Благодаря этой универсальной форме осмысления реальности происходит культурный диалог как по вертикали (т. е. диалог между культурами разных эпох), так и по горизонтали (диалог разных культур, существующих одновременно).

При осмыслении вопроса о кирилло-мефодиевском наследии в языке русской культуры следует, как представляется, исходить из идеи преемственности культуры, поскольку сущность любой культуры заключается в том, что «прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени, не “уходит в прошлое”, т. е. не исчезает. Фиксируясь в памяти культуры, оно получает постоянное ... бытие. Живая культура ... не может не содержать в себе памяти о прошлом. Память же культуры ... строится как определенный механизм порождения» (Успенский 1994: 245). Думается, что средневековая культура, отразившаяся в лексике старославянского языка, в том или ином виде вошла в плоть и кровь русского языка, поэтому в языке русской культуры должны были сохраниться представления предшествующих эпох. И хотя эти представления могут быть несколько ослаблены и даже отодвинуты на второй план, однако все равно они остаются достаточно ощутимыми и сегодня.

В условиях сохранения культурно-исторической, религиозной, этнической непрерывности в русской культуре шел процесс передачи из поколения в поколение значительных ресурсов лексики, фразеологии, словообразовательных средств старославянского языка. При этом, усваивая старославянскую лексику, русский язык, несомненно, воспринимал и элементы концептуальной схемы этого сакрального языка, который отличался особым вниманием к слову, ибо Слово в старославянском языке было имманентно самой сущности Бога. Ста-

рославянское слово имело под собой «доктринальное обоснование» (об этом, например, говорит такой красноречивый факт, что сама лексема *слово* в значении 'о Христе' по своим грамматическим признакам отличалась от существительного *слово* со значением единица языка, ибо в старославянском языке она относилась к существительным мужского рода, изменялась по типу склонения на \*о и не имела форм мн. и дв. ч., тогда как существительное *слово* склонялось по типу склонения основ на согласный, имело формы мн. и дв. ч. и всегда принадлежало к среднему роду – Седакова 2005: 10).

Исследуя влияние старославянского языка на формирование концептосферы языка русской культуры, мы обратились к изучению таких ее базовых концептов, как Истина, Добро, Красота, которые во многом определили особый путь русской духовности. Мы попытались взглянуть на эти абстрактные сущности сквозь призму слова трех языков – старославянского, древнерусского и современного русского в его литературной и диалектной форме – и показать, как осмысляет каждый из них эти фундаментальные понятия своей культуры в границах слова, ибо слово – это не только единица языка, но и знак культуры, предстающий перед нами в единстве материального и духовного.

\*\*\*

При рассмотрении любых концептов следует учитывать тот факт, что в каждом языке существует невидимый культурный фильтр, который влияет на то, как мы воспринимаем и оцениваем предметы и явления внешнего мира. Этот культурный фильтр во многом предопределяет не только их восприятие, но и осмысление. При этом культурная семантика слова существует чаще всего в латентном состоянии.

«Глубина залегания» культурной семантики в слове разная. Иногда она «лежит на поверхности», поскольку легко обнаруживается в

самой внутренней форме слова (ср. *праведник*), иногда же она находится в глубине и выявляется при изучении денотативной соотнесенности имени, при погружении в этнокультурный контекст (ср., например, интерпретацию прилагательного *безобразный* как без Образа и Подобия Божьего). Однако чаще всего она прочитывается лишь при условии знаний принципов семантической организации лексикона языка, когда во внимание принимается не одно слово, а весь массив слов, позволяющий проследить взаимодействие лексем в рамках так называемых морфосемантических полей, т. е. для обнаружения этой культурной семантики требуется концептуальная интерпретация имени, позволяющая ответить на вопрос, *как* и *почему* оно возникло в языке (ср., например, такие слова, как *совесть*, *стыд*, *убожество* и др.).

Понять сокрытые смыслы языка культуры позволяет и изучение ее «грамматики», правил, регулирующих сочетаемость слов и морфем и определяющих их семантику. Действие этих правил предопределяется смысловыми константами культуры, состоящей из концептов, интерпретационных схем, которые приводятся в движение языкотворческой деятельностью человека.

Постичь механизм этого процесса возможно лишь, исследуя глубинную семантику слова путем его концептуального анализа, поисков аллюзий, «следов культурной практики», корней того «коллективного бессознательного», которое лежит в основе архетипа языка любой культуры.

Это обращение к поискам глубинных смыслов продиктовано тем, что человек живет в пространстве смыслов. И язык, и культура есть результат действия общих законов смыслообразования. «Именно принадлежность к единому смысловому пространству объединяет повседневную жизнь отдельного человека и историческую практику, интеллектуальную рефлекссию и бессознательную память социально-

го коллектива, а также великое множество иных проявлений человеческой активности в сплошной континуум культуры» (Пелипенко 1998: 19). Поэтому смысл является своеобразным проводником человека в мире реальном и ирреальном, ибо смысл, как остроумно заметил М. Бахтин, – «это тот или иной ответ на поставленный нами вопрос. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла», а потому, добавим, не номинируется, так как коллективный разум «не видит» того, что не названо словом.

Слово дает нам возможность понять, как человек воспринимает и оценивает мир, поскольку культура оказывает влияние не только на восприятие вещей, но и на их интерпретацию и осмысление. Слово формирует социальный и сакральный опыт человека, дает возможность постигать и объяснять окружающий мир. Поэтому в совокупности слов, образующих то или иное семантическое поле языка, проявляется не только языкотворческая позиция субъекта, но и глубинные смыслы языка его культуры. При этом если язык, по словам Л. Витгенштейна «скрывает мысль», то ономаσιологический подход к изучению слова имеет своей целью «дать языку высказать себя, показать скрываемый смысл» (Топоров 1992: 23), описать проявления «человеческого духа» в языке.

Возможно именно поэтому осмысление языка культуры (как, впрочем, и естественного языка) начинается с постижения его словаря и грамматики. Исследователь, обратившийся к изучению языка культуры, неизбежно сталкивается с необходимостью описания мотивационных признаков, актуализируемых в языкотворческом акте, ибо этот признак есть неотъемлемое свойство всякого объекта – реального или ирреального, более того, именно мотивационный признак чаще всего позволяет выявить глубинные бинарные оппозиции языка культуры. При этом выбор того или иного мотивационного признака, как показывают исследования, не является случайным, он

предопределен языком культуры, той культурной информацией, которая соответствует главному «регулятивному принципу эпохи» (Гуревич 1984: 296), ее сущностной характеристике. Именно поэтому слово представляет собой культурное творение, отражающее традиции, обычаи, мораль, систему норм и ценностей той или иной эпохи. Не случайно практически «каждое слово...имеет огромные исторические наслоения и заключает в себе целый мир понятий» (Флоренский 1998: 318).

При описании языка культуры используются разные методологические приемы – исследование глубинной семантики слова через его концептуальный анализ, изучение синтагматических связей слова, описание морфосемантических и ассоциативных полей, на базе которых строится усредненный тип носителя языка той или иной культуры, выявление «ключевых слов» (воплощающих ключевые для данного общества культурные концепты) и «грамматики культуры» – т. е. интуитивных законов, формирующих особенности мышления, речи и взаимодействия людей (Вежбицкая 2001: 123).

Признавая продуктивность каждой из этих методик и при необходимости используя их, мы должны, однако, признать, что в своем исследовании обращаемся прежде всего к анализу внутренней формы слова, поскольку именно внутренняя форма слова позволяет «прислушаться» к языку, «скрывающему» свои глубинные смыслы. В выборе мотивационного признака производных имен отчетливо проявляются «следы культурной практики», корни того «коллективного бессознательного», которое лежит в основе архетипа языка любой культуры. Поэтому обращение к внутренней форме слова дает исследователю уникальную возможность – проследить движение мысли в акте номинации, услышать голос человеческой личности, познающей и осваивающей мир, и понять, как это слово «читается» изнутри. Апелляция к внутренней форме слова позволяет

выявить те субъективные мотивы, которые послужили толчком для языкового словотворчества и вместе с тем определить общие закономерности мышления людей, принадлежащих одной и той же эпохе, поскольку субъективные мотивы, как правило, репрезентируют более общие объективные закономерности или, как говорил В. Гумбольдт, язык является «великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию» (Гумбольдт 1984: 318).

В слове через его внутреннюю форму нам дано *явление* смысла, а поскольку «смысл никогда не ограничивается “пространством” одного слова, даже если оно носитель этого смысла по преимуществу» (Топоров 1992: 16), то одни участки семантической системы языка оказываются довольно детально проработанными в языковом плане, другие – довольно поверхностно, а на третьих вообще обнаруживаются лакуны. Действие принципа разной культурной разработанности частных смыслов и позволяет понять тончайшие нюансы глубинных смыслов *языка*.

Делая акцент на внутренней форме слова, мы, однако, шли не только от лексемы к ее семантическому содержанию (расширение или, наоборот, сужение ее семантической структуры в процессе языкового развития является важным показателем ее языковых трансформаций), но и от единицы смысла (понятия, концепта) к языковым формам ее выражения и стремились учесть существующие узусы слова и способы выражения данного смысла.

\*\*\*

Выбор указанных концептов для исследования не был случайным: Истина, Добро, Красота – это триединство добродетели, на которой покоится вся русская культура. «Истина, Добро, Красота, – писал



о. П. Флоренский, – эта метафизическая триада есть не три разных начала, а одно. Это одна и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая. Духовная жизнь, как из Я исходящая, в Я свое средоточие имеющая – есть Истина. Воспринимаемая как непосредственное действие другого – она есть Добро. Предметно же созерцаемое третьим, как вне лучащаяся – Красота» (Флоренский 2002: 75).

Все эти понятия относятся к числу конвенциональных категорий, во многом обусловленных не только жизненным и социальным опытом человека, но и его конфессиональным опытом. И именно это обстоятельство сыграло важную роль в их осмыслении русским языком как элитарной, так и традиционной культуры.

Пронизывая все бытие человека, *истина ~ правда, добро ~ зло, красота ~ безобразие* образуют базовые оппозиции культуры. Составляя константу любой духовной культуры, они относятся к древнейшим формам понятий, которые регулируют социальные отношения и обуславливают не только поведение человека и его деятельность, но и предопределяют оценки, даваемые им себе и окружающему миру. Понимание человеком *истины, добра, красоты* во многом определяет ценности общества, его этические и даже эстетические идеалы. Поэтому эволюция представлений об этих понятиях в истории русского языка привела к их ценностному осмыслению и выделению некоторых частных смыслов, которые закрепились в отдельных словах, образовавших впоследствии целые лексико-семантические поля.

Рассмотрим сначала каждое из этих понятий в отдельности.

## ИСТИНА

В старославянском языке Истина концептуализировалась прежде всего как категория религиозная и этическая.

Истина как религиозное понятие – это «Истина откровения», даваемая религиозной верой и касающаяся Бога и Царства Божия. С нею были связаны определенные жизненные принципы, правила, находящиеся в полном соответствии с «истым», а это значит – божественным, ибо человек Средневековья несомненно знал слова Христа: **азъ есмь пжть ѿ истина ѿ животъ** СС: 104; ср. также **истина** ‘правила монашеской жизни’ СС: 271.

Соотнесенность истины с Божественным освещает жизненный путь человека «светом истины». Истина, возделываемая разумом, приобщает его к истинному знанию (ср. **свѣтъ** перен. ‘свет истины’ СС: 596: **бѣ свѣтъ истинъны ѡже просвѣщаетъ всѣкого чловѣка** СС: 271).

Истина как этическое понятие в языковом сознании средневекового человека – это прежде всего Правда (ср. **истина** ‘правда, истина’ СС: 271; **правда** ‘истина, правда’ СС: 496), а это значит, что она имеет отношение ко всему правильному (ср. **правднъ** ‘истинный, правильный’ СС: 497), и, следовательно, справедливому (ср. **истиннъ** ‘справедливый’ СС: 271; **правднъ** ‘справедливый’ СС: 497), тем самым сакральное переводилось в мир профанного, в мир этических норм и правил поведения человека. Об этом говорит сама внутренняя форма имени **правда**, отсылающая нас к дольному миру, к идее пространства (\*prav-), которое уже в старославянском языке осмыслялось в категориях этики (ср. **правъ** 1) ‘прямой, ровный’; 2) ‘справедливый’ СС: 496).

Итак, в старославянском языке смысловое пространство Истины пересекалось с Правдой, хотя в целом не перекрывало его, ибо Истина – это Бог, Правда, справедливость и свет (resp. познания, разума). Таким образом, Истина осмыслялась в сакральном, этическом и эпистемическом аспектах, т. е. Истина – это не только познание, свет разума, но и отражение справедливости, а это значит, что Истина –

это духовное знание. И стремление к Истине является свидетельством духовного начала в человеке.

Правда же была обращена прежде всего к человеческой жизни, установлению в ней справедливости (ср. **правьда** 1) 'справедливость'; 2) 'установление, принцип' СС: 496), т. е. она была нагружена в основном этическими смыслами, ибо **правьднѣ** – это не только 'справедливый', но и 'надлежащий, правильный', а потому и 'истинный' (СС: 497). Вмещающая в себя идею нравственности, она апеллировала не только к совести человека, но и к чувству (ср. **правьднѣ** 'правдиво, искренне' СС: 497), являясь выражением его моральной силы.

\*\*\*

В древнерусском языке звучат те же религиозно-этические мотивы в осмыслении Истины, что и в старославянском. Вместе с тем отчетливо прослеживается дальнейшая детализация и конкретизация этого понятия, ибо оно «прирастает» новыми словами и новыми смыслами.

Развитие ментального поля Истины происходит прежде всего за счет втягивания в него новых слов: Истина в древнерусском языке осмысливается уже как вера (ср. **вѣра** 1) 'истина'; 2) 'верование, поклонение истинам, догматам' СРЯ XI–XVII 2: 79). Крупнейший теоретик догматического богословия XVI в., Максим Грек определял христианскую веру как единственно возможную Истину, полнота которой – сам Христос, отсюда «любые, даже малейшие изменения в вере христианской, т. е. в истине, данной Божьими заповедями, апостольскими и священными правилами – не что иное как измена самому Богу» (Юрганов 1998: 54).

Разработка смыслового пространства Истины идет путем его постепенного расширения: Истина все активнее вторгается в мир чело-

веческих отношений, определяя их этику. Об этом свидетельствует появление у нее таких значений, как **‘верность’**, **‘правдивость’**, **‘справедливость’** (ср. истина ‘то, что верно, справедливо’ СДЯ XI–XIV IV: 171; истина 1) ‘правда’; 2) ‘верность кому- или чему-либо’; 3) ‘справедливость’ СРЯ XI–XVII 6: 319; ср. также **истинникъ** ‘тот, кто говорит правду’ СРЯ XI–XVII 6: 321; **истиновати** 1) ‘говорить правду’; 2) ‘быть верным’ СРЯ XI–XVII 6: 321) и даже **‘искренность’** (ср. **истиньно** ‘искренне, от всего сердца’ СДЯ XI–XIV IV: 172; **истиннѣ** ‘искренне, непритворно’ СРЯ XI–XVII 6: 331).

Эта ценностное осмысление Истины, ее «гуманизация» приводит к тому, что она становится атрибутом человека, который, в представлении древнерусского языка, достоин уважения (ср. **истинноименный** ‘почтенный, достойный почестей’ СРЯ XI–XVII 6: 331; **истинство** ‘истинное достоинство, звание’ СРЯ XI–XVII 6: 321).

«Укоренение» Истины в мире человека, в мире действительном и реальном (ср., например, наличие у нее таких значений, как **‘подлинный’**, **‘настоящий’**, **‘действительный’**, а также **‘реальность’**, **‘действительность’**: истина ‘то, что подлинно, то, что есть в действительности’ СДЯ XI–XIV IV: 171; **истиньныи** ‘действительный, настоящий’ СРЯ XI–XIV IV: 173; **истинный** ‘действительный, настоящий, подлинный’ СРЯ XI–XVII 6: 319; **истинность** ‘реальность, действительность’ СРЯ XI–XVII 6: 321) свидетельствует о том, что Истина понималась средневековым человеком как подлинная, настоящая суть вещей. Это, по-видимому, и создало предпосылки для развития у нее значений, относящихся к сугубо практической, экономической сфере жизнедеятельности человека (ср. истина ‘основной капитал, подлинное имущество’ СДЯ XI–XIV IV: 171; истина 1) ‘действительное положение дел’; 2) ‘подлинное, действительное количество товара, денег’ // ‘стоимость чего-либо’ СРЯ XI–XVII 6: 319)<sup>1</sup>. Позднее, в «Арифметике» Л. Магницкого (1703 г.) появится и первый

намек на возможность познания Истины (ср. **истинствоватися** ‘быть познанным’ СРЯ XI–XVII 6: 321).

«Гуманизация» Истины приводит, таким образом, к смысловым приращениям этого понятия: постепенно она все больше нагружается социальными и эпистемическими смыслами, превращаясь из «Истины сокрытой» в «Истину разума».

Что касается Правды, то ее смысловое пространство также существенно расширяется, ибо она постепенно закрепляется в мире правовых отношений, ассоциируясь с человеческим судом и мирскими делами (ср. такие значения слова **правда** в словаре древнерусского языка XI–XVII вв., как ‘справедливость, отсутствие вины, свод законов, правил, договор, условие договора, присяга, клятва, права, признание прав, право суда, суд, судебные издержки, оправдание, свидетель, пошлина за призыв свидетеля, правосудие, закон, доказательство’ (СРЯ XI–XVII 18: 96), ср. также **правдати** ‘свидетельствовать’ СРЯ XI–XVII 18: 99; **праведный** в знач. сущ. ‘суд, тяжба, судебное дело’ СРЯ XI–XVII 18: 103; **праведство** 1) ‘право’; 2) ‘правовой статус’ СРЯ XI–XVII 18: 104; **праведнослововати** ‘оправдываться, защищать свои права’ СРЯ XI–XVII 18: 103; **праведникъ** ‘судебный исполнитель’ СРЯ XI–XVII 18: 104 и др.).

Вместе с тем Правда не утрачивает и своей соотнесенности с миром этики, поскольку этика и уголовное право в древнерусском языке были долгое время не разделены. Более того, в дериватах с корнем **правд-** настойчиво подчеркивается мотив справедливости, честности в поступках и межличностных отношениях (ср. **правда** 1) ‘справедливость’; 2) ‘правдивость, честность’ СРЯ XI–XVII 18: 96; **правдиво** ‘честно’ СРЯ XI–XVII 18: 99; **праведливость** ‘справедливость’ СРЯ XI–XVII 18: 102).

Правдой определяется не только то, что благопристойно, прилично в обществе (ср. **праведно** ‘прилично, пристойно’ СРЯ XI–XVII 18:

102), но и то, чему необходимо следовать в жизни (ср. **правдотворение** ‘соблюдение правды, справедливости в поступках’ СРЯ XI–XVII 18: 101; **праведно** в сост. сказ. ‘следует, необходимо’ СРЯ XI–XVII 18: 102). И этот высокий статус Правды поддерживается ее связью с миром божественного, а потому праведного (ср. **правда** ‘справедливость как свойство божественной сущности’; **по вожьей правде** ‘справедливо’ СРЯ XI–XVII 18: 96; **правдиво** ‘благочестиво’ СРЯ XI–XVII 18: 99; **правдивствие** ‘праведность’ СРЯ XI–XVII 18: 99; **правдодѣяние** ‘благочестивое дело’ СРЯ XI–XVII 18: 100; **праведно** ‘благочестиво’ СРЯ XI–XVII 18: 102).

Таким образом, Правда в древнерусском языке имеет довольно широкую «сферу компетенции, поскольку ею определялись едва ли не все деяния человека: Правду можно было дать, т. е. отнестись справедливо, либо принести клятву; Правду можно было взять, например, в суде, если бросают жребий, надеясь на волю Божью; Правду можно было затерять, утратив представление о добре и зле; ее можно было иметь, относясь справедливо, и погубить – собственной виной; человек мог жить по правде, потому что она – Божьи заповеди и церковные правила; и мог судиться по ней, потому что Правда – суд, а также судебные испытания и даже пошлина за призыв в суд свидетеля» (Юрганов 1998: 44).

Правда в древнерусском языке является мерой оценки подлинности, истинности и разумности, а потому и правильности (ср. **правда** ‘правда, истина’ СРЯ XI–XVII 18: 96; **правдивый** 1) ‘верный, правильный’; 2) ‘настоящий, подлинный’ СРЯ XI–XVII 18: 99; **праведно** ‘истинно, разумно, правильно’ СРЯ XI–XVII 18: 102), т. е. она преобразуется в категорию аксиологии.

Интересно, что атрибутом Правды в древнерусском языке является Истина, о чем свидетельствуют древнерусские тексты (см., например, Закон судный людем, или Мерило Праведное, в которых разли-

чаются понятия «Правда Истинная» («Истинная Правда Христос есть,— говорит Иван Пересветов,— сияет на все небесные высоты и на земные широты и на преисподняя глубины»), «Правда Божия» и «всякая правда»: «Правду Истинную», Слово Божие следует исполнять (воплощать в дела), и само это исполнение — тоже правда («всякая правда»), а «Божия Правда» отождествляется с христианской верой, которой противопоставляются «требы и присяги поганьски» (Юрганов 1998: 49).

При этом древнерусский язык настойчиво призывает человека «любить правду» (ср. **правдолюбество** ‘любовь к правде’ СРЯ XI–XVII 18: 101), «жить по правде», а значит поступать по справедливости (ср. **правдодѣйствовати** ‘поступать по справедливости’ СРЯ XI–XVII 18: 100; **правдотворение** ‘соблюдение правды, справедливости в поступках’ СРЯ XI–XVII 18: 101), говорить всегда правду (ср. **правдословитися** ‘говорить правду’ СРЯ XI–XVII 18: 101), совершать добрые, благочестивые дела (ср. **правдодѣльство** ‘добрые, благочестивые дела’ СРЯ XI–XVII 18: 100; **правдодѣяние** ‘благочестивое дело’ СРЯ XI–XVII 18: 100), т. е. Правда становится социальным императивом, формирующим человека.

Таким образом, древнерусский язык по-своему концептуализировал понятия Истины и Правды, разделив их глубинные смыслы: если Истина соотносилась прежде всего с миром сакрального, божественного и тем самым оказывала влияние на формирование этических сущностей «дольнего» мира, то Правду древнерусский язык рассматривал преимущественно в отношении к человеку, о чем красноречиво свидетельствует сочетание в ней нравственных и социальных смыслов, что делало эту категорию земной, которая, однако, соответствовала высшим понятиям идеального бытия, связывавшим человека с Богом.

Секуляризация русской культуры не могла не оказать влияния на осмысление Истины, что отразилось на разработке этого понятия современным русским литературным языком. Несмотря на то, что он многое воспринял из христианской этики Средневековья, однако, как показывает материал, немало и утратил, что вызвало сужение семантического пространства не только Истины, но и Правды.

Отделение культуры от веры сделало неактуальными такие мотивы в осмыслении Истины, как *вера, вероисповедание, поклонение истинам, догматам*. В понимании современного русского литературного языка Истина – это 1) ‘то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, правда’ // ‘подлинность, правдивость’ // ‘нравственный идеал, справедливость, добро’; 2) филос. ‘достоверное знание, правильно отражающее реальную действительность в сознании людей’; 3) ‘положение, утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное практикой, опытом’ (СРЯ I: 952): в этом определении, данном Академическим словарем, утрачен религиозный аспект осмысления Истины, а в связи с этим и ее персонифицированное представление, что говорит о том, что Истина превратилось в категорию сугубо эпистемическую. На ее былую связь с религиозной сферой указывает лишь то, что процесс познания, ориентированный на получение Истины, по-прежнему связан с моральной категорией справедливости, поэтому Истина – это духовное знание. Кроме того, об этом говорят и библейские истины, а также синтагматика этого имени (ср., например, традиционный ряд русской культуры – *Истина, Добро, Красота* или выражения *наставить на путь истины*, где и Путь и Истина являются символами Христа, *принести жертву на алтарь истины*) и просторечное значение вводного слова *истинно* ‘действительно, верно’.

Утрата религиозного компонента в семантической структуре лексемы *истина* привела к тому, что с течением времени в русском язы-



ке оказались выветрены и этические смыслы Истины, в частности, такие, как ‘верность’, ‘справедливость’, в связи с чем это понятийное пространство было занято Правдой.

Значительно сузилось и словообразовательное гнездо Истины (в современном русском литературном языке оно формируется прилагательным, наречием и именем качества – *истинный, истинно, истинность*, – в которых содержится указание на соотнесенность с истиной), вследствие чего она утратила свою былую словообразовательную потенцию, и лексико-понятийная парадигма имен с этим значением стала беднее.

Существенным изменениям подверглось и осмысление Правды. Хотя литературным языком Правда по-прежнему трактуется как этическая, регулятивная категория, однако ее соотнесенность с правом уже полностью утрачена, на ее былую связь с юридической сферой указывает лишь значение с пометой ист. ‘название средневековых сводов законов: Русская Правда’ (ср. *правда* 1) ‘то, что соответствует действительности, истина’// ‘то, что представляется кому-л. правдивым, верным с точки зрения морали’; 2) ‘правдивость, правильность’; 3) ‘справедливость, порядок, основанный на справедливости’; 4) ист. ‘название средневековых сводов законов: Русская Правда’ СРЯ III: 481).

Более того, «несмотря на живое присутствие однокоренных слов круга права и на прямую оппозицию в паре *о-правд-ание* ~ *о-сужд-ение*, Правда не только утратила значение закона, но даже ассоциацию с понятиями, относящимися к праву. Это показали письменные опросы. Поле правды заполняется такими словами, как *ложь, неправда, кривда, жизнь, известие, откровенность, искренность, чистота, честность, прямота, горькая, высшая, святая* и т. п. Прямые вопросы о возможности смысловых пересечений между полями правды, с одной стороны, и закона и суда – с другой, получали отри-

цательный ответ даже от филологов» (Арутюнова 1999: 565). Так моральное пространство Правды в истории русского языка стало шире правового.

Чем же объяснить это выветривание смыслов, относящихся к сфере правовых отношений в концепте Правда?

Причина, как представляется, кроется в том, что в русском обществе традиционно противопоставлялись законы и моральные нормы, авторитет которых, как правило, был выше закона. Именно этим объясняется негативное отношение человека к государству, находящемуся в постоянном конфликте с народом, а потому воспринимаемому как источник зла (см.: Лурье 1998: 125)<sup>2</sup>. «В системе русской ментальности один из важнейших способов действия, ведущий к победе добра над злом, – не закон, устанавливаемый «врагом»-государством, а милосердие. Отражением этого является и отмеченное Ю. М. Лотманом устойчивое стремление русской литературы увидеть в законе сухое и бесчеловечное начало в противоположность таким неформальным понятиям, как милость, жертва, любовь» (Стефаненко 2003: 148)<sup>3</sup>.

Другой, не менее важной причиной разрыва смысловых связей между Правдой и социальным правом (судом) является, по мнению Н. Д. Арутюновой, фактор оценки: «Правда может быть святой, человеческий суд – никогда. Мирской суд ассоциируется со страхом, расправой, пыткой, несправедливостью... Правда в аксиологическом плане ассоциируется со светом, солнцем, сиянием, святостью, Царствием Божиим, идеалом, подлинностью, высшей справедливостью, милосердием, милостью Божией. Все эти ассоциации относятся только к Божиюму суду – *правде Божией* и восходят к библейским текстам. Таким образом, утрата именем *правда* первичного значения ‘закон’ и отчуждение ассоциаций с правом произошли под прямым воздействием религиозных концепций, противопоставляющих выс-

шую справедливость людскому беззаконию. Правда стала мыслиться как некий идеал праведности и совершенства» (Арутюнова 1999: 565).

Так с течением времени Правда утратила соотнесенность с законом и правом и стала одним из символов этических ценностей русской культуры.

Как идеал и нравственная ценность Правда снискала любовь русского народа (ср. *правдолюб, правдолюбец, правдолюбивый, правдолюбие*), она стала восприниматься как нечто самое близкое, дорогое, сродни родной матери (ср. *правда-матушка*). Это ценностное осмысление Правды усиливалось еще и потому, что человек ощущал ее отсутствие в реальной жизни, и в этом смысле русский язык выносил приговор земной действительности как «неправедной» (ср. русскую пословицу: *Правда прежде нас померла* Даль III: 273). Не случайно «в народных утопиях, начиная с древних времен и по XIX в. включительно, мы встречаемся с представлениями об “островах блаженных”, разных “далеких землях”, где царит Правда» (Клибанов 1996: 75).

Отсюда стремление человека отыскать Правду как утаенную справедливость. Следствием этого является могив *правдоискательства* в русской культуре, в которой всякий *правдоискатель* воспринимается как человек *праведный* (достаточно вспомнить такие классические образы русской литературы, как Даниил Заточник, протопоп Аввакум, Иван Карамазов и др.).

Несмотря на то что литературный язык говорит о том, что в жизни правды нет, существует лишь некое подобие правды (ср. *правдоподобный, правдоподобие, полуправда*), русский человек взывает именно Правду, а не Истину. Не находя ее на земле, он уповает на небеса, отсюда народные сентенции: «*Правда у Бога, а кривда на земле*», «*Господь оправданье мое, Его закон и правда*» (поэтому «церковный закон, заповеди и названы *оправданьем*» – Даль II: 683)<sup>4</sup>:

Синтагматика обоих имен говорит о том, что «в современном русском употреблении... о Божественном мире и его аналогах говорят в терминах *истины*. Это же слово используется в эпистемических контекстах. Ему отдается предпочтение и тогда, когда речь идет о человечестве, его идеалах и конечных целях, между тем как проекция Божественного мира на жизнь и речевую деятельность людей обозначается словом *правда*. Правда – это отраженная Истина, истина в зеркале жизни, преломившаяся в бесконечных его гранях» (Арутюнова 1999: 551).

Таким образом, в языке элитарной культуры различаются два рода Истин: «Истина откровения», это Истина сокрытая, она связана с миром сакрального и касается Бога и Царства Божия, и «Истина разума», она открывается с помощью философии и науки и относится к природе, к земному, чувственному миру человека. Истина же, «укорененная» в реальной жизни человека, в его нравственных императивах, – это Правда.

\*\*\*

Такова ситуация в литературном языке. А как откликнулся на эти этические и религиозные тонкости язык традиционной духовной культуры?

Прежде всего следует отметить, что в русских диалектах по-прежнему сохраняется христианская дихотомия Истины и Правды, хотя нельзя не признать, что и здесь смысловое пространство Правды значительно шире ментального поля Истины. Более того, понятие Истины в языке русской традиционной культуры оказалась вытесненным на периферию Правдой. Об этом говорит тот факт, что лексико-семантическая парадигма Истины является практически «не проработанной» в русских диалектах: сама лексема *истина* обладает очень небольшим словообразовательным гнездом (имеющиеся дерив-

ваты являются производными преимущественно от корня *ист-* или основы *истов-*, а не *истин-*), смысловой потенциал которого довольно ограничен. Сакральная сущность Истины обнаруживает себя лишь слабым мерцанием в слове *истинник* 1) ‘набожный человек’ Кемер.; 2) ‘справедливое решение’ Яросл. (СРНГ 12: 255)<sup>5</sup>.

В языковом сознании русского народа Истина превратилась в видовое понятие Правды. Об этом косвенно свидетельствует внутренняя форма лексемы *истина*, а именно ее соотнесенность с «истым», в конфигурации значений которого наряду с семами ‘верный’, ‘настоящий’ (ср. *истовой* ‘настоящий, истинный’ Печор., СРНП 1:295), представлена и сема ‘правдивый’ (ср. *истый* ‘верный, обязательный, точный в слове, правдивый’ Твер., СРНГ 12: 266; *истовый* 1) ‘правильный, верный’: *истовый вес* Вят.; 2) ‘правдивый’: *Истовый человек* Влад., Пск., Твер., СРНГ 12: 257), тогда как в семантической структуре дериватов с корнем *правд-* сема ‘истинный’ не повторяется (ср. *правдешный* ‘настоящий, действительный’ Вят., Свердл., Барнаул., Сиб., Костром., Ворон., СРНГ 31: 51; *правдовый* ‘настоящий’ Арх., СРНГ 31: 51). И в литературном языке *правдивый* – это 1) ‘любящий правду, склонный говорить правду’; 2) ‘содержащий в себе правду, основанный на правде’ СРЯ III : 481. Об этом же говорит и синтагматика обоих имен, в частности тот факт, что именно Правда атрибутируется Истиной (ср. *истинная правда*), а не наоборот.

Как категория этики Правда в языке русской традиционной культуры стоит выше Истины, о чем свидетельствуют слова *праведник* и *праведный*, указывающие на то, что святость достигается не Истиной, а Правдой, сопряженной с добрыми делами и справедливостью (не случайно именно Правда, а не Истина называется *святой* или *божьей*, а *по правде* для русского человека – это *по-божьему* Курск., Яросл., Ворон., СРНГ 27: 199).

Вместе с тем диалектный материал говорит о том, что в языковом сознании русского народа Истина как христианская ценность не умерла, что подтверждают такие лексемы, как *слово* 'истина, премудрость' Даль IV: 222; *свет* 'истина' Даль IV: 156; а также лексемы со значением 'истинно, действительно': *взаль* Пск., Север.; *взаболъ* Ряз., Твер., Смол., Пск., Арх., Волог., Новг., Олон., Яросл., Перм., Ср. Урал, Том., Енис., Иркут., Якут., Амур; *взабыль* Твер., Ряз., Пск., Петерб., Новг., Яросл., Печор., Олон., Север., Арх., Перм., Сиб., Иркут., Якут., СРНГ 4: 230–232). Нельзя, однако, не признать, что связь Истины с верой, существовавшая в древнерусском языке, в языке традиционной культуры уже утрачена, ср. *вера* 1) 'желание, намерение' Арх., Олон., Север., Сев.-Двин., Волог.; 2) 'понятие, умение'; 3) 'обычный традиционный порядок' Сиб., Иркут., Якут., Тобол., Перм., Казан., Костром., Волог., Беломор., Смол. // 'поверье, примета, передаваемая из поколение в поколение' Арх., СРНГ 4: 119). На их былую соотнесенность указывает лишь прилагательное *неверный*, являющееся синонимом ложного или *не-истинного*, часто по отношению к вере (ср. *неверная вера* или *сила неверная* 'люди, чужой религии'; *неверная земля* 'страна, где господствующей является нехристианская религия' СРНГ 20: 332).

Что касается Правды, то в ее интерпретации языком русской традиционной культуры прослеживается целая этическая философия, связанная с осмыслением жизни человека, ее нравственных ценностей.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что Правдой определяется не только земная жизнь человека, но и окружающий его мир: хотя этих имен довольно немного, однако их объединяет яркая отличительная особенность – все они относятся к солнцу (ср. *правденное* сущ. 'солнце' Волог., СРНГ 31: 52; *правденнышко* Волог.; *праведимо* Беломор., *праведно* Олон. 'солнце' СРНГ 31: 52). Эти

имена говорят о том, что Правда в языковом сознании русского народа является символом света, своеобразной метафорой солнца, которое как символ небесной духовности в старославянском языке входило в число сущностных атрибутов Бога (ср. *слъньце* перен. 'Иисус Христос': *слъньце праведное христось вогъ нашъ* СС: 615). Об этой божественной сущности Правды свидетельствуют и дериваты *по-божьему* 'по правде' Курск., Яросл., Ворон., СРНГ 27: 199; *отбаживаться* 'оправдаться, побожившись в невинности' Даль II: 709).

Однако в целом Правда в тексте русской традиционной культуры полностью обращена к миру человека, к тем событиям, которые имеют или имели место в его жизни (ср. *былица* 'правда' Олон., СРНГ 3: 345; *быльщина* 'правда, то, что было в действительности' Влад., СРНГ 3: 347; *забыль* 'правда' Сев., Сиб., Даль I: 556).

Главным «субъектом» языка Правды является сам человек, поэтому в диалектах так много антропоморфных номинаций с корнем *правд-*, в которых дается этическая оценка человека (ср. *правдак* 'справедливый человек' Костром., СРНГ 31: 50; *правдик* Вост.-Казах.; *правдок* Костром. 'правдолюбивый человек' СРНГ 31: 50; *правдуха* 'справедливый человек' Яросл.// 'правдолюбивый человек' Яросл., СРНГ 31: 51). Во всех этих номинациях Правда выступает как атрибутивная, нормативно-оценочная категория, с помощью которой определяются нравственные качества человека<sup>6</sup>.

В отличие от языка элитарной культуры, в традиционной духовной культуре Правда осмысливается как некая экзистенциальная сущность, она есть (ср. *жилая правда* 'правда, испытанная жизнью': *Правда былая и правда жилиая* Смол., СРНГ 9: 176), более того с ней связана вся жизнь человека как существа биологического и социального (ср. *правдать* 'выращивать, кормить': *Чем тогда ребятишек правдать* Дон., Курск. // 'лечить, ухаживать' Сталингр., СРНГ 31: 50;

*правдить* ‘кормить’ Ряз., СРНГ 31: 51; *оправдывать* ‘давать средства к жизни, содержать кого-либо’: *Ему трудно всех оправдать, семья-то большая, одной обуви покупать сколько надо* Калуж., Моск., Ряз., Ворон., Курск., Ленингр., Арх., СРНГ 23: 290; *оправдаться* ‘кормиться, питаться’ Моск., Калуж., Ряз., Иркут., СРНГ 23: 290). Вместе с тем русский народ понимает, что Правдой сыт не будешь (ср. *правдаться* ‘перебиваться кое-как, едва сводить концы с концами’ Ростов., СРНГ 31: 51; *прооправдаться* ‘перебиваться кое-как’ *Тут хоть в лесу прооправдаешься, то грибочками, то в степь пойдём* Ряз., СРНГ 32: 198; ср. также русские пословицы: *Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах; Правда ходит по миру Христа ради* – Даль III: 273) и др.

Однако несмотря на это действия и поступки человека в обществе (в том числе и его речевое поведение) определяются именно Правдой (ср. *в правде состоять* ‘делать что-либо честно, справедливо’ Костром.; или *на правду сказать* ‘сказать честно, правдиво’ Том., СРНГ 31: 50). Не случайно Правда работает даже в коммуникативном регистре, ср. приглашение к столу в олонецких говорах: *правдайтесь, любящие гости* (СРНГ 31: 51).

Глаголы с корнем *правд-* характеризуют чаще всего социальные действия человека (ср. *правдать* ‘управлять честно, по справедливости’ Ворон., СРНГ 31: 50; *правдеть* ‘править’ Перм., СРНГ 31: 51; *правдить* 1) ‘действовать правильно, по справедливости’: *Бог велит правдить* Смол.; 2) ‘управлять’ Тамб., СРНГ 31: 51; *оправдать* ‘справляться с чем-либо’ Ворон.: *Он пчеловод, в колхозе оправдае пчел* СРНГ 23: 289; *оправдаться* ‘выполнить обещание’ Пск., Смол., СРНГ 23: 290). При этом можно заметить, что во многих номинациях присутствует элемент оценки (ср. *правдить* ‘делать что-либо хорошо’: *Я ему указал, как пахать, теперь он сам может это правдить* Тамб., СРНГ 31: 51).



Социальный характер действий, связанных с Правдой, проявляется и в том, что ею определяется отношение человека к труду (ср. *неправдешный* 'отлынивающий от работы' Ярослав., СРНГ 21: 124), а также его положение в семье, ср. *правдатель* 'старший в доме, хозяин' Тамб., СРНГ 31: 50; *праведники* 'умершие родители' Север.(СРНГ 31: 52).

Эта соотнесенность Правды с реальным миром человека делает ее предметом особой любви русского народа, о чем говорит эмоциональный «модус» имен типа *правдица* Терск.; *правдонька* Смол.; *правдышка* Калуж. ласк. 'правда' СРНГ 31: 51–52.

Таким образом, в языке русской традиционной духовной культуры лексико-семантическая парадигма Правды «проработана» значительно шире и детальнее, чем парадигма Истины. Объективное содержание Истины в русских диалектах безотносительно к природе человека, тогда как в Правде отражены интересы субъекта, «правда одухотворена человеческим чувством, характеризуется свободой воли, в отличие от predetermined и истины, слишком объективной, чтобы человеческая воля могла ею управлять» (Колесов 1999: 127). Поэтому именно Правда, а не Истина становится нормативно-оценочной категорией, определяющей нравственность человека. Не случайно духовным эквивалентом Правды является совесть (ср. *В нем правды нет* 'нет совести' Даль III: 379). Истина в языке традиционной культуры – это всего лишь атрибут, тогда как Правда – еще и предикат (ср. глаголы *правдать*, *правдить*, *правдеть*).

В отличие от языка элитарной культуры с ее мотивом *правдоискательства*, в языке традиционной духовной культуры Правда присутствует как некая экзистенциальная сущность: перед нами разворачивается своеобразное «повествование» о *правде жизни*. Предметом его является не только социальная жизнь человека, но и все его бытие. Это повествование о человеческих деяниях и человеческой

душе, преломленное сквозь призму этической оценки Правды. А настойчивое повторение во многих дериватах с корнем *правд-* мотива справедливости говорит о том, что нравственным императивом русской культуры является требование справедливости как Божьей Правды.

Итак, концепт Истины на всем протяжении своей истории был неразрывно связан с концептом Правды. Правда являла собой свет Истины, тепло Добра, требование справедливости. Вместе с тем если язык «смирился» с правдоподобием, то «подобия Истине он не допускает... истина уходит в мир вечной Истины, оставляя человеку правду» (Арутюнова 1999: 632).

С течением времени, Правда, «отделившись от понятия истины и от понятия закона, которое было первоначально близко ей, гуманизировала их, «очеловечила», приблизила к миру жизни, отразив тем самым специфику русского менталитета и русской социальной психологии» (Арутюнова 1999: 639).

## ДОБРО

Материалы старославянского языка свидетельствуют о том, что средневековое представление о Добре так же, как и представление об Истине, было во многом персонифицированным, ибо оно ассоциировалось прежде всего с Богом. «Само Божество есть Добро по существу, и все сущее причастно Добру, как творения – солнцу», – говорит один из крупнейших философов-богословов Средневековья Дионисий Ареопагит (Дионисий Ареопагит 1994: 89). Добро, таким образом, было сущностным атрибутом Бога, поэтому *доброчьстивъ* это не просто 'набожный' (СС: 192), но чтущий Бога.

Однако Добро могло соотноситься и с человеком, но, как указывает старославянский язык, оно не было его сущностным атрибутом, ибо человек был сопричастен не только Добру, но и Злу.

В старославянском языке было довольно глубоко проработано понятие Добра, причем в разных аспектах – этическом, социальном, эстетическом и даже витальном.

Добро в языковом сознании средневекового человека – это прежде всего благо (само прилагательное **благо** (**благага**), выступающее в функции существительного, имело значение ‘добро’ СС: 90, ср. также **благость** ‘доброта, милость’ СС 90; **благыни** ‘добро, доброта’ СС: 91). Естественно поэтому, что Добро в средневековом сознании соотносилось прежде всего с этическим понятием (прилагательное **добръ** имело значение ‘хороший, добрый’ СС: 192) и в первую очередь с религиозным, поскольку с Добром связывалась набожность и благочестие человека (ср. **доброчьстик** ‘благочестие, набожность’ СС: 192).

Дериваты с корнем **добр-** говорят нам о том, что понималось под Добром в средневековом обществе, какое ментальное содержание вкладывалось в это понятие:

добро – это благое деяние (ср. **добростьтворжикъ** ‘доброедеяние’ СС: 191; **добростьтворити** ‘сделать добро’ СС: 192). Истинное добро исходит от Бога (ср. **добродѣла** ‘делающий добро’: **любивыи чьстемь добро дѣижштинимъ христость** СС: 191), но оно может плодиться и усилиями человека, в побуждении его воли к добрым делам, когда оно является творческим актом свободной личности, поэтому способность творить добро рассматривалась как одна из добродетелей человека (ср. **добродѣланик** ‘добрые дела, добродетель’ СС: 191; **добрость** ‘добродетель’ СС: 191; **доброта** ‘добродетель’ СС: 191);

добро – это и стремление следовать в своей жизни принятым нормам, образцам, правилам поведения (ср. **доброобразьнъ** ‘добропорядочный’ СС: 191 < **образъ** ‘пример, образец’ СС: 396);

добро – это разум, знания (ср. **доброразоумивъ** ‘очень сведущий, знающий’ СС: 191). В этой препозиции корня **добр-** содержится

указание на аксиологический характер этой категории, количественное осмысление которой получит развитие в древнерусском языке.

Старославянский язык говорит нам о том, что Добро в средневековом обществе было понятием социологизированным, ибо с Добром связывалось имущество человека (ср. *добро* 'имущество' СС: 192), а также его социальное происхождение (в частности, его знатность, ср. *добродик* 'знатность' СС: 191; *доброродынь* 'знатный, благородный' СС: 191, поэтому знатный человек по определению должен был быть добрым человеком).

Добро в старославянском языке рассматривалось и как эстетическая категория, так как Добро – это красота (ср. *добръ* 'красивый' СС: 192; *доброта* 'красота' СС: 191; *доброчиьнь* 'красивый' СС: 191).

Наконец, Добро могло ассоциироваться с витальностью человека (ср. *добропримати* 'быть здоровым, сильным' СС: 191), т. е. здоровым, по мнению старославянского языка, человек мог быть лишь тогда, когда в душе своей он «принимал» Бога.

Таким образом, категория Добра в старославянском языке работала практически во всех сферах жизни средневекового человека – от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование многих абстрактных понятий мира христианских существей.

\*\*\*

В древнерусском языке представлено свое осмысление этой философской категории.

Прежде всего следует отметить, что Добро в древнерусском языке оказывается связанным не только с человеком, но и с окружающим его миром. Присутствуя на земле (ср. *доброплодный* 'плодородный': *Земля плодови҃тая и доброплодная* СРЯ XI–XVII 4: 265; *добрород-*

ный 'плодородный' СРЯ XI–XVII 4: 266; **добр**оводный 'имеющий чистую, светлую воду' СРЯ XI–XVII 4: 259; **добр**олиственный (**сад**) 'сад с хорошей листво́й' СРЯ XI–XVII 4: 263; **добр**оовощной 'с хорошими плодами': **Садовне добр**оовощное СРЯ XI–XVII 4: 264; **добр**опогодный 'благоприятный по погоде' СРЯ XI–XVII 4: 265) и на небесах (ср. **небесная добр**ота 'благоприятный климат' СРЯ XI–XVII 4: 267), оно как бы «разлито» в пространстве и во времени (ср. **добр**оденство 'счастливое, благополучное время' СРЯ XI–XVII 4: 261; **добр**огодие 'подходящее время' СРЯ XI–XVII 4: 260; **добр**ое время 'благоприятное время' СРЯ XI–XVII 4: 271).

Вместе с тем Добро осмыслиется и как некая сакральная сущность (ср. **добр**одавецъ 'творящий, дарующий добро (о Боге)': **Добр**одавецъ во вѣхъ сын, всему добру делатель есь СРЯ XI–XVII 4: 260; **добр**одарий 'подающий добро' (о Боге) СРЯ XI–XVII 4: 260), и вследствие этого оно интерпретируется прежде всего как категория этики (ср. **добр**о 'все хорошее, доброе, честное' СРЯ XI–XVII 4: 258; **добр**ость 1) 'добродетель'; 2) 'доброта' СРЯ XI–XVII 4: 267; **добр**ыня 1) 'доброе отношение'; 2) 'добродетель' СРЯ XI–XVII 4: 271), как должное и нравственно положительное благо (ср. **благо** 'добро' СРЯ XI–XVII 1: 191). Причем это не только благочестие (ср. **добр**очестие 'благочестие' СРЯ XI–XVII 4: 270), как в старославянском языке, но и доброжелательность (ср. **добр**оꙋхотѣние 'доброжелательность' СРЯ XI–XVII 4: 269), отзывчивость (ср. **добр**осердие 'отзывчивость' СРЯ XI–XVII 4: 266), послушание (ср. **добр**очинство 'послушание' СРЯ XI–XVII 4: 270), благородство (ср. **добр**оноровие 'благородство' СРЯ XI–XVII 4: 264), т. е. все то, что вызывает уважение в человеке (ср. **добр**оꙋвѣние 'уважение' СРЯ XI–XVII 4: 257).

В древнерусском языке Добро получает развитие и как эстетическая категория (ср. **добр**ота – это 'красота' // 'привлекатель-

ность и миловидность' СРЯ XI–XVII 4: 267; **добррозрачнє** 'миловидность, красота' СРЯ XI–XVII 4: 262; **добрролѣпнє** 'красота' СРЯ XI–XVII 4: 263), которая конкретизируется в самых различных сущностях прекрасного. Корень **добр-** активно используется в создании «портрета» человека, в котором особо выделяется красота лица (**добрроликнїй** 'с красивым лицом' СРЯ XI–XVII 4: 263), волос (ср. **добррокосїй** 'с красивыми косами': **жены доброкосыя** СРЯ XI–XVII 4: 263), бороды (**добрробрадый** 'с красивой бородой' СРЯ XI–XVII 4: 258), носа (**добрроносїй** 'имеющий красивый нос': **Минелость низокъ крѣпокъ, рѹмянъ, добрроность, добрроликъ, густобрадъ** СРЯ XI–XVII 4: 264), глаз (ср. **добрроокнїй** 'имеющий красивые глаза' СРЯ XI–XVII 4: 264), роста человека (**добррорастїй** 'рослый, высокий' СРЯ XI–XVII 4: 266), вообще всей его осанки (ср. **добрросаннїй** 'имеющий красивую осанку' СРЯ XI–XVII 4: 266), а у женщины и красота груди (ср. **добррососнїй** 'с пышной грудью' СРЯ XI–XVII 4: 267).

Добро в древнерусском языке воспринимается и как социальная категория, так как, с одной стороны, оно указывает на социальное происхождение человека (ср. **доброродство** 'родовитость, знатность, благородное происхождение'; **добророженнїй** 'знатного происхождения' СРЯ XI–XVII 4: 266), а с другой – на его имущество (ср. **добро** 'имущество, богатство' СРЯ XI–XVII 4: 258).

Наконец, Добро осмысливается и как количественная категория, служащая своеобразной «мерой» проявления действия или признака (ср. **добрѣ** 'очень, весьма' СРЯ XI–XVII 4: 257; **добрѣ добро** 'весьма хорошо' СРЯ XI–XVII 4: 257; **добрый** 'полномерный, неурезанный (о мерах)' СРЯ XI–XVII 4: 270; **добренькнїй** 'значительный, большой по количеству' СРЯ XI–XVII 4: 257; **добрити** 'уравнивать пахотные земли в соответствии с нормами сошного письма' СРЯ XI–XVII 4: 257).

Все это делает Добро в древнерусском языке категорией аксиологической (ср. **доброжителный** 'хорошей, правильной жизни, поведения' СРЯ XI–XVII 4: 262; **доброподовый** 'хорошего образа жизни' СРЯ XI–XVII 4: 265; **добротный** 'прекрасный, хороший' СРЯ XI–XVII 4: 268; **доброславный** 'замечательный, превосходный' СРЯ XI–XVII 4: 267) и даже прагматической, так как материализованной ипостасью Добра становится польза (ср. **добро** 'полезно, похвально' СРЯ XI–XVII 4: 258; **добротворение** 'польза' СРЯ XI–XVII 4: 268; **добротгодный** 'удобный, подходящий, полезный для чего-либо' СРЯ XI–XVII 4: 260).

Дериваты с корнем **добр-** (а число их в древнерусском языке превышает цифру 200) рисуют нам целую картину, в центре которой находится человек. Именно он формирует текст Добра в древнерусском языке. Что же осмысляется в человеке как Добро, какой человек, с точки зрения этики древнерусского языка, является добрым?

Конечно, это прежде всего человек набожный, благочестивый (ср. **добротвѣрный** 'благочестивый, набожный' СРЯ XI–XVII 4: 258; **добротчестивый** 'благочестивый' СРЯ XI–XVII 4: 269), отстаивающий свою веру и побеждающий в этой борьбе (ср. **добротповѣдникъ** 'одержавший победу (в борьбе за веру)' СРЯ XI–XVII 4: 265), богобоязненный (**добротговѣйный** 'богобоязненный, почтительный' СРЯ XI–XVII 4: 260), проповедующий и творящий Добро (**добротповѣдатель** 'проводник добра' СРЯ XI–XVII 4: 265; **добротдѣецъ** 'тот, кто делает добро' СРЯ XI–XVII 4: 260; **добротдѣи** 'благодетель' СРЯ XI–XVII 4: 260; **доброттворецъ** 'тот, кто делает добро' СРЯ XI–XVII 4: 268), морально устойчивый (**добротдѣшный** 'устойчивый в добром поведении и взглядах' СРЯ XI–XVII 4: 262), душевный, отзывчивый человек (ср. **добротенький** 'душевный, отзывчивый' СРЯ XI–XVII 4: 257; **добротсердный** 'отзывчивый' СРЯ XI–

XVII 4: 266; **добролюбивый** ‘склонный к добру’ СРЯ XI–XVII 4: 263), благожелательный (**доброжелательный** ‘благожелательный, добропорядочный’ СРЯ XI–XVII 4: 262; **доброхотный** ‘доброжелательный’ СРЯ XI–XVII 4: 269), а потому любимый всеми (ср. **добропрѣлюбивый** ‘тот, кто сопровождаем любовью’ СРЯ XI–XVII 4: 265), опытный, умелый (**добронскүсный** ‘опытный, умелый’ СРЯ XI–XVII 4: 263; **доброратный** ‘искусный в военном деле’ СРЯ XI–XVII 4: 266), мудрый, здравомыслящий (**добромүдрый** ‘умный, здравомыслящий’ СРЯ XI–XVII 4: 264; **добросүмнивый** ‘разумный’ СРЯ XI–XVII 4: 267), благоразумный (**добрумысленный** ‘рассудительный, благоразумный’ СРЯ XI–XVII 4: 264; **доброразүмный** ‘благоразумный’ СРЯ XI–XVII 4: 266; **доброрассүдливый** ‘благоразумный, рассудительный’ СРЯ XI–XVII 4: 266), благонравный (**добронравный** ‘добродетельный, благонравный’ СРЯ XI–XVII 4: 264), ведущий примерный образ жизни (**доброобразный** ‘примерного образа жизни’ СРЯ XI–XVII 4: 264), добропорядочный (**доброрправый** ‘добропорядочный’ СРЯ XI–XVII 4: 265), отзывчивый (**доброприсүпный** ‘благосклонный, всем доступный’ СРЯ XI–XVII 4: 265), исполнительный (**доброслүжный** ‘исполнительный’ СРЯ XI–XVII 4: 267).

Интересно, что древнерусский язык так же, как и старославянский, настойчиво призывает человека «творить» Добро (**добрствовати** ‘совершать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 270), о чем свидетельствуют многочисленные дериваты, опорная основа которых содержит глаголы *творить* и *делать* (ср. **добротворити** ‘делать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 268; **добротворение** ‘доброе дело’ СРЯ XI–XVII 4: 268; **добротворение** ‘благодеяние’ СРЯ XI–XVII 4: 268; **добродѣяти** ‘делать добро’ СРЯ XI–XVII 4: 262; **добродѣтель** ‘хорошие отношения’ СРЯ XI–XVII 4: 261). Однако чтобы творить добро, нужно не только его



любить (ср. **добролюбивый** ‘склонный к добру’ СРЯ XI–XVII 4: 263), но и желать (**доброжелательный** ‘благожелательный’ СРЯ XI–XVII 4: 262; **доброхотати** ‘желать добра кому-либо’ СРЯ XI–XVII 4: 269), а для этого необходимо усилие воли (ср. **добровольство** ‘благожелательность’ СРЯ XI–XVII 4: 259; **доброволение** ‘хорошее отношение’ СРЯ XI–XVII 4: 259), т. е. Добро в древнерусском языке предстает как активная категория, которая «изволяется» вовне, оно плодится усилиями человека, побуждая его волю к добрым делам и тем самым развивая и совершенствуя характер человека.

Таким образом, категория Добра в древнерусском языке рассматривалась как бы в трех ракурсах – в отношении к Богу, к природе и к человеку. В ней причудливо сочеталось нравственное, эстетическое, социальное и прагматическое, что делало эту категорию земной, которая, однако, соответствовала высшим понятиям идеального бытия, связывавшим человека с Богом.

\*\*\*

Современный русский литературный язык многое воспринял из этой философии Добра, однако немало и утратил (число дериватов с корнем *добр-* в нем вдвое меньше, чем в древнерусском языке).

Утрачено прежде всего космическое осмысление Добра, в том числе и сакральное, в связи с чем оно является категорией сугубо антропоцентрической. Сами существительные *добро* и *доброта* апеллируют к межличностным отношениям (ср. значение слова *доброта* в Академическом словаре русского литературного языка: ‘отзывчивое, сочувственное, дружеское расположение к людям’ СРЯ I: 555). Сузилась и сфера этического осмысления Добра (ср. существительное *добро*, в котором выделяются значения 1) ‘все положительное, хорошее’; 2) ‘хорошее, доброе дело’ СРЯ I: 552), хотя и сохранилась мысль о том, что Добро может плодиться усилиями человека,

направляя его волю к добрым делам (ср. *добровольность* ‘собственная воля как основное побуждение к действию’), и в этом русский язык видит одно из положительных нравственных качеств человека (ср. *добродетель* ‘высокая нравственность, моральная чистота’; *добропорядочность* ‘положительные качества человека’), особо выделяя *доброжелательность* (ср. *доброжелательность* ‘проявление участия, расположения’; *доброхотство* устар. ‘доброжелательное отношение’), *мягкость, отзывчивость* (ср. *добродушие* ‘мягкосердечность, доброта’; *добросердечие* ‘отзывчивость, мягкость’), *кротость характера и скромность поведения* (ср. *добронравие* устар. ‘скромное поведение, кротость характера, благонравие’), способность **честно и старательно** выполнять свои обязанности (ср. *добросовестность* ‘честность, старательность, тщательность, усердность’), т. е. все то, **что вызывает одобрение в обществе** (ср. *добропорядочность* свойство по знач. прил. *добропорядочный* ‘приличный, достойный одобрения’ (СРЯ I: 552–555)).

Однако, пожалуй, самым важным, является то, что современном русском литературном языке отсутствует религиозно-философская основа осмысления Добра: если старославянский и древнерусский языки говорили о том, что истинным субъектом Добра является Бог, который «изволяет», дарует Добро человеку (ср. ст.-сл. *довродѣи* ‘делающий добро’ (о Боге) СС: 191; др.-рус. *добродавецъ* ‘творящий, дарующий добро (о Боге)’ СРЯ XI–XVII 4: 260; *довродарий* ‘подающий добро’ (о Боге) СРЯ XI–XVII 4: 260), человек же лишь получатель Добра, поэтому его богатство и благополучие – это лишь дар Божий (ср. *доврополучие* ‘благополучие’ СРЯ XI–XVII 4: 264), то для языкового сознания современного человека этот смысл является уже не актуальным, его слабый отблеск присутствует лишь в некоторых словах (ср. *благополучие, благодарность, благодать, дарование, одаренность, бездарный* и др.).

Отсутствует и эстетическое осмысление Добра. Сопряженность эстетики с этикой в древнерусском языке в современном русском языке привела к победе этики, и даже в устаревшей народно-поэтической формуле *добрый молодец* на первый план вышло этическое понимание Добра ‘обладающий положительными качествами, достойный уважения’ СРЯ I: 555 (ср. также обращение: *люди добрые* или *добрый человек*).

Трансформировалось осмысление добра и как социальной категории: хотя существительное *добро* сохраняет значение ‘имущество’ (приобретая в ироническом употреблении значение чего-то ‘негодного, мало нужного’, ср. *этого добра у нас хватает*), однако указание на социальное происхождение человека в нем уже не актуализируется, зато сочетание с корнем *сосед-* (*добрсоседействовать*, *добрсоседский*) переводит Добро в область общежительных отношений.

Значительно сузилась и сфера количественной интерпретации Добра, которая сохранилась лишь в разговорном языке у прилагательного *добрый* в значении ‘целый, полный, в полной мере (о количестве)’ СРЯ I: 555, ср. *прождать добрый час*.

Существенные изменения произошли и в осмыслении Добра как этической категории, о чем, пожалуй, ярче всего свидетельствуют субъектные номинации. Добрый человек в представлении языка элитарной культуры – это ‘очень хороший человек’ (*добряк*), ‘обладающий добродетелями’ (*добродетельный*), ‘отличающийся скромным поведением’ (устар. *добронравный*) и вообще ‘положительными качествами’ (*добропорядочный*), ‘отзывчивый’ (*добрый*), ‘мягкий, расположенный к людям’ (*добродушный*), ‘обладающий добрым сердцем’ (*добросердечный*), ‘желающий им добра’ (*доброжелательный*, устар. *доброхот*), ‘честно, старательно выполняющий свои обязанности’ (*добросовестный*), СРЯ I: 553–555.

Сопоставление этих субъектных номинаций с именами лица в старославянском и древнерусском языках говорит о том, что современный русский язык в понятие 'добрый' не включает такие качества человека, как *богобоязненный, благочестивый, морально устойчивый, опытный, искусный* (в каком-либо ремесле), *здорово мыслящий, благоразумный, доступный людям, любимый всеми*.

По-иному осмысливается и понятие добропорядочный: если древнерусский язык связывал его с отношением к праву (ср. **доброправый** 'добропорядочный' СРЯ XI–XVII 4: 265), а старославянский – к «образу», т. е. примеру для подражания (ср. **доброобразнь** 'добропорядочный' СС: 191), то современный русский язык соотносит его с порядком, устоями общества.

Изменения произошли и в осмыслении понятия исполнительный, характеризующего человека с точки зрения его отношения к службе: современный русский язык предпочитает здесь апеллировать к совести (ср. *добросовестный*), а не вообще к служению человека, как древнерусский (ср. др.-рус. **доброслужный** 'исполнительный' СРЯ XI–XVII 4: 267).

И еще одна особенность современного русского языка: в отличие от старославянского и древнерусского он не призывает человека творить Добро. В современном языке присутствует лишь один глагол *доброжелательствовать*, апеллирующий к желанию человека, а не к самому процессу «творения добра», тогда как в древнерусском языке существовал особый глагол **добрствовати** 'совершать добро' СРЯ XI–XVII 4: 270, а также целая вереница глаголов и имен с корнями **дѣяти** и **творити** (ср. ст.-сл. и др.-рус. **добротворити** 'делать добро' СС: 192; СРЯ XI–XVII 4: 268; ст.-сл. **добростьтворити** 'сделать добро' СС: 191; др.-рус. **добродѣяти, довродѣти** 'делать добро' СРЯ XI–XVII 4: 262; **добродѣтельствовати** 'вести добрую подвижническую жизнь' СРЯ XI–XVII 4: 262; ср. также ст.-сл. **добростьтво-**

реник 'благодееяние' СС: 191; др.-рус. добротворение 'доброе дело' СРЯ XI–XVII 4: 268; добротворие 'благодееяние' СРЯ XI–XVII 4: 268; добродѣланне 'совершение добрых дел' СРЯ XI–XVII 4: 261; добродѣяние 'добро, благо, польза' СРЯ XI–XVII 4: 262; добродѣтьель 'хорошие отношения' СРЯ XI–XVII 4: 261). И даже в субъектных именах и в именах качества (свойства) в современном русском языке преобладает идея не активного «творения» Добра (ср. единичные *добродетель, добродетельный, добродетельно*), а только лишь пассивного его желания (ср. *доброжелатель, доброжелательность, доброжелательный, доброжелательствовать, доброхот, доброхотный*).

Здесь следует отметить, что русский язык избрал иной предмет «творения» Добра – благо (не случайно многие древнерусские дериваты с инициальным корнем *добр-* утвердились в русском языке с начальным *благ-*, ср. *доброразумный* 'благоразумный', *доброродный* 'благородный', *добрѣдартвити* 'благодарить', *добродушествовати* 'благодушествовать', *доброуухание* 'благоухание', *доброполучие* 'благополучие', *доброухотение* 'благожелательство', *доброчестивый* 'благочестивый', *доброщумный* 'благозвучный' и др.

Говоря об этих трансформациях в осмыслении категории Добра современным русским языком, нельзя, однако, не отметить, что общая духовно-христианская установка этой категории сохранилась, ибо она по-прежнему апеллирует к этическим смыслам. Более того, «наибольшее число понятий, характеризующих человека, русский язык связывает с качествами, определяющими его отношение к другим людям, к добру и злу» (Шадриков 2001: 193).

\*\*\*

Язык русской традиционной культуры адаптировал эту древнюю этическую категорию по-своему.

Прежде всего следует отметить, что в русских диалектах Добро (*добро, добрость, доброта, простота*) имеет универсальный характер, поскольку оно определяет не только реальный мир человека, но и мир ирреальный (ср. *доброхотушка* 'домовой' Волог., СРНГ 8: 80; *доброходница* Волог., *доброхотица* Волог., *доброходушко* Волог. 'по суеверным представлениям сверхъестественное существо, добрый или злой дух, живущий в доме' СВГ 2: 31–32; *доброхот* 'бран. черт' Калуж., Смол.: *Доброхот тебя возьми* СРНГ 8: 79).

Думается, что в этом обращении к корню *добр-* как к своеобразному эвфемизму в именовании нечистой силы проявляется вера человека в охранительную функцию Добра (ср. в связи с этим следующий текст, сопровождающий название лихорадки *добрава* 'лихорадка' Твер., Симб.: *Чтобы не гневить иродовой сестрицы, называют ее так те, которым кажется мало честить ее дедюхной, кумахой, теткой, соседкой* и проч. СРНГ 8: 75).

Добрым для человека традиционной культуры является все, что окружает его, все, что находится в мире природы: **растения и грибы** (ср. *доброе дерево: от доброго дерева и добрый плод* Даль I: 443; *добрик* 'гриб подберезовик' Орл., СОГ 3: 60; *добрый гриб* 'гриб боровик' Курск., СРНГ 8: 80), **животные**, особенно лошади (ср. *доброход* 'хорошо бегающий, рысистый конь' Казан., СРНГ 8: 79; *доброта* 'ретивая лошадь' Пенз., Опыт: 48; *добродышки* 'здоровая, незапаленная лошадь' Даль I: 443; *добрый скот* 'дородный, сытный' Даль I: 443), **погода** (ср. *добролетье* 'теплое, солнечное лето' Печ., СРГП I: 178; *добрый* 'теплый, солнечный' Печ., СРГП I: 178), **время** (ср. *дobre* 'долго, давно' Калуж.: *Добре уж как ушел* СРНГ 8: 75; *добро* 'пора': *Аль уж добро идти* Даль I: 443; *задобро* 'вовремя' СРНГ 10: 60; *доброугодная пора* Даль I: 443), **место** (ср. *добросельное место* 'место удобное для поселения' Даль I: 443), **река** (ср. *доброточная река* 'богатая, обильная рыбой река' Даль I: 443) и т. д.

Добром определяется и достоинство вещей, окружающих в быту человека (ср. *добрый* 'добротный' Семейск., СГС: 120; *добрин* 'прочность, достоинство вещи' СРНГ 8: 76; *добристый* 'высокого качества' Пск., Твер., Смол., Олон., СРНГ 8: 76; *доброта* 'хорошее качество чего-либо' Том., СРНГ 8: 78; Волог.: *Пирог*-то укусные, *доброты-то там много* СВГ 2: 31), соответственно вещь низкого качества, сделанная недоброкачественно – это *недобр*ая вещь (ср. *недобр*оть 1) 'вещь сделанная недобротнo, непрочно' Пск., Твер.; 2) 'плохое качество вещи' Пск. СРНГ 21: 15; *недобрый* 'недоброкачественный' Казаки-некрасовцы, СРНГ 21: 15).

С Добром связан особый жизненный модус человека, ибо оно привносит в его жизнь радость, довольство и благополучие (*добр*овать 'жить в добре, в довольстве, в покое' Даль I: 443; *добр*одни 'благополучие, достаток, довольство' Волог., СРНГ 8: 80; *добр*охотно 'зажиточно' Волог.: *Вон как добр*охотно *Иванович* живет СВГ 2: 32; *добр*ить 'нежить, холить, ласкать' Арх., Новг.: *Уж так-то он ее добрил*, а она, *поди, другого полюбила* СРНГ 8: 76).

Добро для человека традиционной культуры является и социальной категорией. Добром он мерит свое имущество, движимое и недвижимое (ср. *добр*ое в знач. сущ. 'имущество, добро' Яросл., Костром., Смол., Олон., Калуж., Ряз., Тул., Орл., Курск: *Все мое доброе пригорело* // 'приданое невесты' Тул., СРНГ 8: 78; *добрин*а 'всякого рода движимое имущество' Арх., СРНГ 8: 76; *добр*ота 'всякого рода движимое имущество' Арх.: *Было у него многой всякой доброты* СРНГ 8: 78; *добр*ыдни 'пожитки имущество' Курск., Орл., Тул., Калуж., Смол., СРНГ 8: 80), Добром он называет и свою одежду (ср. *добр*о 'одежда, платье' Ворон., СРНГ 8: 76), особенно праздничную (ср. *добр*ая *рубаха* 'самая лучшая, праздничная рубаха' Ворон., СРНГ 8: 80; *добр*ая *понёва* 'особенно нарядная, праздничная понева, украшенная лентами, позументами' Орл., СОГ 3: 60; *добр*ая *сорока*

‘старинный, праздничный женский головной убор’ Орл., СОГ 3: 60), с Добром он связывает социальное происхождение человека (ср. *добродородный* ‘благородный’ Олон., СРНГ 8: 78).

Но главное – Добром определяются отношения человека в обществе. Поэтому Добро осмысливается как регулятивная категория, устанавливающая нормы человеческого общежития (ср. *добрить* ‘благодарить’ Орл., СОГ 3: 60 // ‘желать добра кому-либо’ Даль I: 443; *доброедействие* ‘доброжелательность’ Арх., СРНГ 8: 77; *доброродство* ‘доброжелательность’ Арх., СРНГ 8: 78; *подобриться* ‘проявлять доброту, щедрость’ Арх., СРНГ 8: 108; *доброхотиться* ‘быть гостеприимным, хлебосольным’ Пск., СРНГ 8: 79; *добристо* ‘радушно’ Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добрословить* ‘хвалить кого-либо’ Даль I: 443).

В этом отношении чрезвычайно интересным является атрибутивное сочетание *простота евангельская* ‘о добром, простом человеке’ (Волог., СРНГ 32: 251), в котором отчетливо выражена оценка Добра с точки зрения православной этики.

Эта соотнесенность Добра с реальным миром человека делает его предметом особой любви русского народа, о чем говорит эмоциональная окраска имен типа *добротушка* ласк. ‘доброта’ (Север, СРНГ 8: 79; Волог., СВГ 2: 31).

Интересно, что понятие Добра «работает» даже в коммуникативном регистре, украшая человеческое общение (ср., например, различные формулы благопожеланий или приветствий, включающих в себя лексему *добро*: *Доброго тебе добра* ‘приветствие гостя’ Яросл., ЯОС 4: 7; *доброжаловать* 1) ‘благодарственный ответ на приветствие «Бог в помощь»’ Перм.; 2) ‘ответ на приветствие «Здравствуйте»’ Урал.; 3) ‘приглашение войти’ Перм., СРНГ 8: 78; Волог., СВГ 2: 31; *добро ехать* ‘приветствие тому, кого встречают в пути’ ОСВГ 3: 144; а также комплиментарное обращение: *добррик* ‘ласковое об-



ращение к собеседнику' Волог.: *Посговаривайте его, добрики, может согласится* СВГ 2: 30; *доброхот* 1) 'ласковое обращение к собеседнику' Волог.: *Давай, доброхот, женись* СВГ 2: 30; 2) 'приветствие к прохожему' Арх., Олон., Север: *Что тебе, доброхот*; 3) 'ласковое обращение к отцу, к родителям' Арх., Волог., СРНГ 8: 79).

Добро в языке русской традиционной культуры осмысливается и как количественная категория, оно является мерилом признака или действия, находящегося в норме (отсюда значение 'достаточно', ср. *добро* 'достаточно' Костром., Ярослав.: *Прибавить каши-то, али добро* СРНГ 8: 76) или достигшего своего высшего проявления (отсюда значения 'очень', ср. *добро* 'очень' Арх.: *Добро хорошо живут* СРНГ 8: 76; *добре* 'очень, весьма' Перм., Волог., Пенз., Ярослав., Казан., Твер., Моск., Ряз., Тамб., Тул., Калуж., Орл., Курск., Ворон., Самар., Куйбыш., Саратов., Астрах., Оренб., Перм., Тобол., Том.: *Добре платок хороший у тебе* СРНГ 8: 75; *Матушка добре дюже умирая* 'очень болеет' Тамб., Даль I: 443; *добреши* 'очень, весьма' Орл.: *Добреши у ней мужик-то хороши* СОГ 3: 60; *добрятко* Перм.; *добряцко* Перм.; *добряще* Тобол. 'очень хорошо': *Время провели добряще* СРНГ 8: 81); 'много' (ср. *добре* 'много' Курск., Том.: *Добре мне присылают, добре, по сто рублей* СРНГ 8: 75); 'сильно' (ср. *добром* 'очень сильно' Свердлов.: *Он добром простыл* СРНГ 8: 78).

При этом в языковом сознании человека отчетливо оформлена следующая установка русской культуры: Добра должно быть много, если же его мало, то это – Зло (ср. *злун* 'немного, мало' Смол., СРНГ 11: 292; *злыдни* 'очень мало' Волог., Новг., Влад., Калуж., Вят., Перм., Байкал., Иркут.: *Вишь, какие злыдни дала тирого-то, не во что и влипнуть* СРНГ 11: 294). Это говорит о том, что при уменьшении количества Добро переходит в другое качество – Зло, в то же время как бы 'много' Добра не было сделано, оно всегда остается

Добром, т. е. Зло рождается от недостатка Добра или, как говорил мудрый Дионисий Ареопагит, «зло представляет собой слабость и убывание добра» (Дионисий Ареопагит 1994: 179). И в этом проявляется удивительный максимализм русского языкового сознания, оставшегося верным христианской этике Средневековья.

Все это делает Добро в традиционной русской культуре категорией не только аксиологической (ср. *добро* 'хорошо' Яросл., ЯОС 4: 7; Волог., СВГ 2: 30; Новг., НОС 2: 88; Перм., Урал., Том., Казан., Костром., Яросл., Волог., Арх., Новг., Пск., Смол., Орл., СРНГ 8: 76; *добре* 'хорошо, ладно' Тамб., Орл., Смол., Курск., Дон., Калуж., Новг., Яросл., Костром., Печор., Урал., Том., СРНГ 8: 75; *добристо* 'хорошо' Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добры* 'хорошо' Дон., СРНГ 8: 80; *добрячий* Верхн. Дон., СРНГ 8: 77; *добряцкий* Тобол., Тюмен., Перм. 'хороший' СРНГ 8: 77; *добренный* 'очень хороший' Яросл., ЯОС 4: 7; Новг., НОС 2: 88), но и прагматической, жизненно необходимой для человека (ср. *добрый* 'полезный' Калуж., СРНГ 8: 80; *надобный* 'добрый' Пск., СРНГ 19: 241).

Главным действующим лицом в тексте Добра в языке русской традиционной культуры является человек, ибо Добро не только вне человека, но и в нем самом.

При этом добрый человек осмысляется в самых разных аспектах – в витальном, эстетическом, этическом, социальном. Понятно, что этическое восприятие Добра лучше всего проработано в диалектном лексиконе.

Добрый человек (*добруга* Перм., *добряга* Новг., *добрик* Орл., *добрыш* Онеж., СРНГ 8: 80) в представлении русского народа – это прежде всего человек простой, бесхитростный (ср. *добродище* 'добрый, простой человек' Перм., СРНГ 8: 77; *простодуша* 'добродушный, бесхитростный, добрый человек' Груз., СРНГ 32: 245), стремящийся сделать добро другим людям (ср. *добродей* 'добродетельный человек'

Волог., Север., СРНГ 8: 77; *добродетель* 'благодетель' Волог., СРНГ 8: 77), радушный и приветливый (*добролюбчивый* 'приветливый, радушный' Том., СРНГ 8: 78; *простосердечный* 'добрый, не злой, приветливый' Арх., СРНГ 32: 251), отзывчивый (ср. *простенький* 'добрый отзывчивый' Симб., СРНГ 32: 241), гостеприимный, хлебосольный (ср. *доброрадный* 'гостеприимный' Олон., СРНГ 8: 78; *доброхотный* 'хлебосольный, гостеприимный' Пск., Твер., СРНГ 8: 80), щедрый (ср. *простой* 'добрый, щедрый' Калуж., Вят., Волог., Карел., Арх., Твер., Моск., Ряз., Свердлов., Новосиб., Иркут., СРНГ 32: 245; *протяга* Арх., *протык* 'щедрый человек' Ворон. СРНГ 32: 257; *подобриться* 'проявить доброту, щедрость' Арх., СРНГ 28: 108), т. е. обладающий целым набором положительных качеств, ср. фольклорную формулу *раздобрый молодец* 'обладающий положительными человеческими качествами, добрый молодец' (Терск., Урал, СРНГ 33: 328).

В этом отношении чрезвычайно интересен глагол *недобровать* 'быть плохим человеком' (Яросл., СРНГ 21: 15), в котором содержится прямое указание на то, что хороший человек в традиционном языковом сознании – это человек добрый.

Язык традиционной духовной культуры устойчиво связывает добро с семьей, с теми отношениями, которые царят в семье, о чем говорят обращения членов семьи друг к другу (ср. *добротушка* 1) 'матушка' Олон.; 2) 'ласковое слово по отношению к матери или женщине-родственнице' Север, Олон., СРНГ 8: 79; *добротинка* 'ласковое слово по отношению к дочери' Север, СРНГ 8: 79), в которых подчеркивается идея «желания» Добра (ср. *доброхотница* 'ласковое обращение к матери' Олон., Арх., СРНГ 8: 79; *доброхот* 'ласковое обращение к отцу' Арх., Волог., СРНГ 8: 79; *доброхотинка* 'ласковое обращение к брату' Север, СРНГ 8: 79; *доброхотничек* 'ласковое обращение к родственнику' Север, СРНГ 8: 80), поэтому кормилец и заступник семьи – это *доброхот* 'заступник, кормилец' Волог., СВГ

2: 32; *добропечный* ‘заботливый’ Даль I: 443). Интересно, что Добро в основном ассоциируется с матерью, реже с отцом, т. е. с теми людьми, которые для каждого человека являются ближайшими, кровными родственниками, тогда как Зло устойчиво связывается либо с отсутствием семьи (ср. *злыдарь* ‘сирота’ Костром., СРНГ 11: 293), либо с женой, о чем, пожалуй, лучше всего говорят русские пословицы (ср. *злая жена злее зла, лучше хлеб есть с водою, чем со злою женою, всех злыдней злее злая жена, от злой жены одна смерть спасет* и др.; ср. также рус. *золовка* ‘жена брата’ < др.-рус. *зълъва* < \*зълу).

Социальное осмысление Добра проявляется и в том, что добрый человек в языке русской традиционной культуры – это человек, получивший своеобразное признание в обществе как человек умный и дельный (ср. *добрый* ‘умный, дельный’ Самар., Калуж., СРНГ 8: 80; *доброумный* ‘добрый, рассудительный человек’ Даль I: 443; *доброставный* субст. ‘человек, избираемый крестьянами для разбора тяжб, споров’ Вят., ОСВГ 3: 144), принимающий разумные решения (ср. *доброумиться* ‘принимать разумные решения’ СРНГ 8: 79), а потому достойный уважения (ср. *раздобрый* ‘обладающий положительными человеческими качествами, достойный уважения’ Орл., Урал, СРНГ 33: 328), не случайно к нему часто обращаются за советами (ср. *подоумить* ‘дать совет’ Север., СРНГ 28: 108).

Наконец, социальность Добра выражается и в том, что добрый человек, с точки зрения языка традиционной духовной культуры, является богатым, зажиточным (ср. *добрый* ‘богатый, зажиточный’ Кузбас.: *Муж-то добрый, богато живут* СРГК: 67), не случайно одно из значений слова *добро* – ‘имущество’ (ср. также *доброта* ‘имущество’ Арх.: *Было у него многой всякой доброты* СРНГ 8: 78).

Вместе с тем нельзя не отметить, что в целом богатство в традиционном языковом сознании не имеет высокого статуса, поэтому

богатый человек, наживший свое богатство **ростовщицеством** или **взяточничеством** расценивается как злой (ср. *злыдыга, злыдырь* ‘ростовщик’ Ряз., СРНГ 11: 290; *кожедер* 1) ‘злой человек’ Сиб., Том., Иркут.; 2) ‘взяточник’ Том., Арх., СРНГ 14: 51). На это косвенно указывает и тот факт, что **деньги** в крестьянской культуре связываются со Злом (ср. *злыдни* экспр. ‘деньги’ Новг.: *Раньше ведь деньги злыднями называли, потому что все зло от них* НОС 3: 99; *злыдень* ‘последние деньги’ Чита, СРНГ 11: 293).

В старообрядческих говорах Урала, как мне любезно сообщил И. А. Подюков, деньги называются *прелесть*, т. е. то, что прельщает человека, вводит его в грех (в этом названии, в его внутренней форме до сих пор сохраняется старославянское осмысление слова *прѣльсть* ‘обман, заблуждение’ СС: 544).

Добро в языке традиционной духовной культуры предстает и как витальная категория, являясь символом здоровья и силы, ярким воплощением которых может служить былинный герой Добрыня Никитич (ср. также *добрый* ‘здоровый, сильный’ Печ., СРП 1: 177; *сдобровать* ‘сохранить силы, здоровье’ СРНГ без указ. места 37: 77; *подобреть* ‘стать здоровее, сильнее, крупнее’ Пск., Твер., СРНГ 28: 108). Доброта человека воспринимается визуально, ибо красота его души отражается во внешности, она становится заметной, «видной» окружающим людям (ср. *добрovidный* ‘миловидный’ Олон., СРНГ 8: 77; *доброзрачный* ‘красивый’ Даль I: 443), отсюда эстетическое осмысление Добра, в котором этическое и эстетическое слиты воедино (ср. *добристый* ‘красивый’ Олон., СРНГ 8: 76; *доброликий* ‘красивый лицом, пригожий’ Даль I: 443). Это визуальное восприятие Добра позволяет нарисовать своеобразный портрет «доброего» человека: он должен быть непременно высокого роста (ср. *добророслый* ‘высокий’ Даль I: 443; *добрый* ‘надлежащего роста’ Смол., СРНГ 8: 80) и притом довольно плотным (ср. *добреть* ‘тучнеть, плотнеть, жиреть’, ср.

здравицу, которую приводит В. И. Даль: *Жить да молодеть, добреть да богатеть* Даль I: 443; *подобреть* ‘стать здоровее, сильнее, крупнее’ Пск., Твер., СРНГ 28: 108; *подобрее* ‘полнее, толще’ Арх., СРНГ 28: 107; и рус. лит. *раздобреть*.

В языке традиционной народной культуры (так же, впрочем, как и в языке элитарной культуры) Добро предстает прежде всего как категория атрибутивная. И хотя глаголов, содержащих корень *добр-* здесь значительно больше, чем в литературном языке (ср. *добрить, добриться, доброумиться, доброхотиться, выдабриваться, задобриться, поддобрить, поддобриться, подобриться, поддоброумить, придобрить, приудобриться, раздобреть, сдобриться*), однако среди них нет ни одного, который бы передавал идею доброго действия как внутреннего состояния человека (все они имеют, как правило, адресат действия, ср. *выдабриваться* ‘стараться угодить, задобрить кого-либо’ Нижегород., Том., СРНГ 5: 270; *поддабривать* ‘склонять на свою сторону подарками, угощением’ Курск., СРНГ 27: 383; *поддобриться* ‘угодливостью входить в доверие кому-либо’ Пск., Твер., СРНГ 27: 384; *придобрить* ‘задобрить’ Моск., СРНГ 31: 193; *раздобреть* ‘неожиданно проявить щедрость’ Арх., СРНГ 33: 328 и т. д.). Более того, на общем фоне номинативных образований эти глаголы в целом теряются, что свидетельствует о том, что Добро для русского языкового сознания – это скорее качественная категория, чем процессуальная.

В то же время нельзя не отметить, что в языке русской традиционной культуры корень *добр-* сочетается прежде всего с глаголом *хотеть*, а не *желать*, как в языке элитарной культуры (ср. *доброхотиться, доброхот, доброхотинка, доброхотница, доброхотушка, доброхотный, доброхотно*). И дело здесь не только в разных стилистических регистрах этих глаголов в современном литературном языке (для глагола *желать* в утвердительных предложениях характерна

стилистическая маркированность, указывающая на «неравенство социального статуса субъекта желания по сравнению со статусом его партнера» (Апресян 1999: 458), но и в их семантической противопоставленности: глагол *желать* «обозначает чистое желание без намека на действительную волю» тогда как глагол *хотеть* «указывает на действительность воли субъекта, т. е. помимо чистого желания он предполагает еще и готовность субъекта прилагать усилия для его реализации... И эта действительность в свою очередь мотивируется тем, что субъект ощущает нужность предмета желаний для поддержания нормальных условий своего существования» (Там же: 457–458). Думается, что это тонкое наблюдение Ю. Д. Апресяна можно с полным основанием распространить и на язык традиционной культуры, в которой «нужность» Добра материализована в десятках разных номинаций.

Таким образом, здесь выявляется тонкое различие в субъектах языка элитарной и традиционной культуры: если в элитарной культуре человек только лишь желает Добра, то в традиционной он проявляет готовность к его реализации в жизнь.

\*\*\*

Из приведенного материала отчетливо видно, какое соцветие смыслов представлено в словах, соотносимых с понятием Добро. Такая детальная проработанность лексико-семантической парадигмы Добра свидетельствует о значимости этого концепта для языка русской духовной культуры. В многочисленных номинациях, актуализирующих различные признаки Добра, отразилась своеобразная философия языка, нравственный опыт человека, его внутренняя духовная сосредоточенность, которая помогает ему в выборе между Добром и Злом.

Будучи в старославянском языке отражением божественной сущности и осмысляясь прежде всего как категория этики, Добро и в

языке русской духовной культуры воспринимается как этическая, регулятивная категория, которой определяются нравственные устои жизни, нормы человеческого общежития. Несмотря на некоторые трансформации, которые пережила эта категория, обусловленные секуляризацией русской культуры, в ней до сих пор сохраняется духовно-христианская направленность ее главных смыслов. И здесь прежде всего следует указать на сохранившуюся в русском языковом сознании соотнесенность Добра с благом и волей человека, что помогает ему деятельно творить Добро (*добродетель*). Кроме того, Добро по-прежнему осмысливается как категория социальная, характеризующая имущественное положение человека, а в диалектах и его происхождение.

В связи с этим хотелось бы особо отметить тот факт, что в русской традиционной духовной культуре как культуре более консервативной значительно лучше сохранилась христианская преемственность в осмыслении этой категории (с Добром по-прежнему связывается понятие красоты и ментальности человека). Более того, на основе базовых этических смыслов, дошедших к нам из глубины веков, здесь родились новые (такие, например, как, *радушие* (*добристо* 'радушно' Пск., Олон., СРНГ 8: 76; *добролюбчивый* 'радушный' Том., СРНГ 8: 78), *щедрость* (*подобриться* 'проявлять доброту, щедрость' Арх., СРНГ 8: 108), *гостеприимство* (*доброхотиться* 'быть гостеприимным, хлебосольным' Пск., СРНГ 8: 79), вследствие чего эта категория существенно расширила сферу своего концептуального осмысления.

## КРАСОТА

Будучи долгое время религиозной ценностью, красота осмыслилась прежде всего в категориях этических, о чем красноречиво свидетельствуют факты старославянского языка.



В старославянском языке существовало несколько имен со значением «красота» (ср.: *лѣпота* ‘красота’ СС: 314; *благаа лѣпота* ‘красота’ СС: 314; *доброта* ‘красота’ СС: 191; *красота* 1) ‘красота’; 2) ‘наслаждение’ СС: 293), тогда как имен со значением ‘уродство’ или ‘уродливое’, а также ‘безобразное’ не было. Дериваты с корнем *жрѣд-* имели в старославянском языке не эстетическое, а ментальное значение, а именно ‘неразумный’, ‘глупый’ (ср. *жрѣдъ*, *жрѣдѣнь*, *жрѣдивѣ*) или ‘глупость’ и ‘безрассудство’ (ср. *жрѣдѣство* СС: 805–806).

Объяснение этому явлению следует искать, по-видимому, в самих основах языкового сознания средневекового человека, для которого мир, сотворенный Богом, а также сам человек, созданный по образу и подобию Божьему, не могут быть безобразными. Мир для средневекового человека был *чюдѣмъ* и вызывал восхищение (ср. *чюдѣмъ* прил.-прич. ‘вызывающий восхищение, уважение’ *тъы бо кси сътворишь господи небо и земьж и все чюдѣмож подъ небесемь* СС: 785). Поэтому он не мог и не смел отрицательно оценивать творение рук Божьих<sup>7</sup>. Уродливое в душе человека вызывало суеверный страх, и его происхождение приписывалось вмешательству демонических сил.

В то же время нельзя не обратить внимания на тот факт, что понятие «прекрасного» передавалось в старославянском языке целым рядом синонимов. Такая богатая синонимика – явление не случайное, а вполне закономерное, если учесть дихотомический принцип структурной организации лексикона старославянского языка, в основе которого лежала идея противопоставленности *горнего* и *дольнего*, т. е. понятие «красоты» (как и многие другие абстрактные понятия старославянского языка) осмыслялось в двух ракурсах одновременно – «божественном» и «земном».

Понятие «божественной красоты» передавалось, по-видимому, словами с корнем *лѣп-*, о чем красноречиво говорят, с одной сторо-

ны, имена **великолѣпотик** ‘великолепие’ СС: 110; **вельлѣпота** ‘великолепие’ СС 110; **вельлѣпъ** ‘великолепный’ СС: 111; **благолѣпнъ** ‘красивый, прекрасный’ СС: 88), а с другой – атрибутивное сочетание **благаа лѣпота** ‘красота’ СС: 314 (ср.: **Гъсподь въцѣсарі са въ лѣпотж съ овлѣче** СС: 314).

Нетрудно заметить, что корень **лѣп-** в этих словах сочетается с основами – **(вел-)ик-** и **благ-**, и это наводит на мысль о том, что «красота» в языковом сознании средневекового человека соотносилась не только с категорией «добра» (ср. **доброта** ‘красота’ СС: 191), но и «великого» и «благого». Все эти имена являлись сущностными атрибутами Бога, а это значит, что Красота в христианской этике Средневековья осмыслялась как религиозный идеал. «Это Добро воспевается священными богословами и как Прекрасное, и как Красота, и как Любовь», – говорит Дионисий Ареопагит. А Максим Исповедник комментирует его слова следующим образом: «Красотой Он называется по причине того, что от Него всему придается очарование и потому, что Он все к Себе привлекает» (Дионисий Ареопагит 1994: 107).

Красота в сознании средневекового человека – это прежде всего понятие нравственное, выражение духовного в чувственном (не случайно корень **лѣп-** нагружен этическим смыслом «должного, подобающего», ср. **лѣпо ксть** ‘должно, надлежит, уместно’, **лѣпъ** ‘приличный, уместный, надлежащий’ СС: 314), поэтому красивый человек – это человек добрый (ср. **добръ** ‘красивый’ СС: 192). Об этом же говорит и прилагательное **боголѣпнъ** ‘божеский, богоугодный’ (СС: 96), внутренняя форма которого подсказывает, что это не просто божественная красота, а красота, которая «угодна» Богу (ср. **боголѣпно** ‘богоугодно’ (СС: 96).

Что касается корня **велик-**, представленного в композите **великолѣпотик**, то здесь уместно напомнить, что средневековые

представления о «великом» и «величии» были во многом персонифицированы, ибо они также являлись сущностными атрибутами Бога. Дионисий Ареопагит так объясняет величие Бога: «Великим же Бог называется как обладающий Своим особенным величием, которое передается от Него всем великим... Величие это и беспредельно, и неизмеримо, и неисчислимо; эта чрезмерность и соответствует абсолютному и сверхпростирающемуся излитию необъятного величия» (Дионисий Ареопагит 1994: 273). А Максим Исповедник дополняет его определение: «Великим Бога называют, так как написано: “Велик Господь наш и велика сила Его» Пс. 146: 5 там же). Поэтому понятие «великий» в языковом сознании средневекового человека являлось не только количественным понятием (ср. **великъ** ‘большой’ СС: 110), но и сакральным (ср. **днвалѣхъ же сѧ вси о величнн божнн** СС: 111). Соединяясь в сложных словах с основами **лѣп-** и **доуш-**, т. е., сочетаясь с «красотой» и «душой», «великое» умножало их (ср. **великолѣпотник** ‘великолепие’ СС: 110; **великодоушннъ** ‘великодушный’ СС: 110).

Понятие же «земной красоты» в старославянском языке соотносилось, по-видимому, с корнем **крас-**. Именно с этим корнем связано чувственное восприятие красоты, так как Красота осмыслялась средневековым человеком как наслаждение в жизни (ср. **красота** 1) ‘красота’; 2) ‘наслаждение’ СС 293; **красити сѧ** ‘наслаждаться чем-либо’ СС: 293; **красовати сѧ** ‘наслаждаться чем-либо’ СС: 293), ибо Красота «украшает» жизнь (ср. **красити** ‘украшать’ СС 293) и уже этим приносит радость (ср. **оукрасити** 1) ‘украсить’; 2) ‘благоустроить, привести в порядок’; 3) ‘доставить радость, обрадовать’ СС 733; **красннъ** ‘красивый’ // ‘приятный’ СС: 293).

Об этом же говорят и факты древнерусского языка, в котором представления о божественной и земной красоте получают свое дальнейшее развитие. Причем здесь прослеживается следующая ин-

тересная особенность: развитие значений у слова *красота* идет по линии все большего его «заземления», т. е. кроме тех значений, которые представлены у него в старославянском языке, в древнерусском отмечены такие значения, как ‘украшения, драгоценности, наряды’, ‘всевозможные земные блага’, а также ‘то, что полезно, нужно’ (СРЯ XI–XVII 8: 23); в семантическом развитии лексемы *лѣпота*, наоборот, усиливается духовное начало, о чем свидетельствует наличие таких значений, как – ‘честь, слава’, ‘приличие, благопристойность’, *въ лѣпотѣ* ‘по справедливости’ (СРЯ XI–XVII 8: 209).

Обращает на себя внимание и разная словообразовательная валентность корней *крас-* и *лѣп-*: если корень *крас-* активно участвует в образовании композитов и свободно сочетается с самыми разными основами, определяя свойства и качества либо предметных реалий (ср. *красогласование*, *красолюбие*, *красноглаголанне*, *красногласне*, *красножитѣе* и т. д.), либо самого человека (ср. *красовидный*, *красотписецъ*, *красноглагольник*, *краснолицый*, *красномолвный*, *красноперсецъ*, *краснопѣвецъ*, *краснословецъ* и др. СРЯ XI–XVII 8: 18–23), то корень *лѣп-* не дает таких образований, более того, он встречается в основном в постопозиции и в сочетании главным образом с тремя основами – *бог-*, *благ-* и *добр-* (ср. *боголѣпный*, *боголѣпый*, *благолѣпство*, *благолѣпие*, *благолѣпность*, *благолѣпость*, *благолѣпота*, *добролѣпие*, *добролѣпный* и др. СРЯ XI–XVII 1: 204, 261; 4: 263), являясь, по сути дела, определением Бога или его сущностных атрибутов.

Такая ситуация в древнерусском языке не могла быть случайной. Совершенно очевидно, что в языке существовал запрет на сочетаемость этого корня с другими основами, что было связано, по видимому, с сакрализованностью передаваемого им понятия. Интересно и семантика дериватов с корнем *лѣп-*: и в прилагательных, и в наречиях с этим корнем присутствует значение ‘подобающий’ (вста-

ет вопрос – кому? Богу?) и ‘надлежащий’ ср. **лѣпный** ‘подобающий, надлежащий’, **лѣпно** ‘прилично, достойно, почетно’ СРЯ XI–XVII 8: 208; **лѣпный** 1) ‘красивый’; 2) ‘хороший’; 3) ‘подобающий, надлежащий’, **лѣпо** 1) ‘надлежащим образом, красиво, хорошо’; 2) ‘прилично, подобает’ СРЯ XI–XVII 8: 208–210, причем этого значения нет у дериватов с корнем **крас-**. Наконец, об этом прямо говорит и прилагательное **боголѣпный**, имеющее значения 1) ‘подобный богу’; 2) ‘сияющий божественной красотой’ (СРЯ XI–XVII 1 : 261).

После длительного, порожденного христианством отождествления понятий «добра» и «красоты» как разных проявлений божественной благодати языка этики и эстетики нового времени развели эти понятия, однако следы сакрализации «красоты» до сих пор сохраняются как в языке элитарной, так и в языке народной культуры.

И здесь прежде всего следует отметить процесс дальнейшей дифференциации этих понятий, результаты которого особенно хорошо видны в русском фольклоре, где «добро» как нравственная категория красоты закрепляется за мужчиной (ср. *добрый молодец*), а «красота» в ее чувственном восприятии – за женщиной (ср. *красна девица*).

В литературном русском языке как представителе элитарной культуры это божественное осмысление красоты в имени, в его внутренней форме практически не сохранилось (если не считать прилагательного *безобразный*, которое прочитывается как «без Образа и Подобия Божьего», прилагательного *великолепный*, в котором, учитывая сказанное выше, *лепо* является атрибутом Великого, а также прилагательного *нелепый*, которое отсылает нас скорее к сфере духовного, нежели эстетического, ср. *нелепый* ‘лишенный здравого смысла, бессмысленный’, СРЯ II: 624). Однако следы его остались в синтагматике имени *красота*. Особенно заметна сакрализация красоты в поэзии романтиков, создавших *идеал небесной красоты*. Достаточно обратиться к поэзии В. А. Жуковского, чтобы восчувствовать «божест-

венный образ прекрасного». Красота для поэта – идеальная субстанция, символ духовного инобытия – *ангел неземной, сон воздушный*. Опираясь на известный тезис Ж.-Ж. Руссо («прекрасно то, чего нет»), В. А. Жуковский решает его по-своему, считая прекрасным то, что «наш мир животворит», хотя это и не материальная, а духовная субстанция, ср.: *Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты, лишь порою он навещает нас с небесной высоты...* (Лалла-Рук)<sup>8</sup>.

Дальнейшее развитие этой идеи наблюдается в поэзии А. С. Пушкина, который, хотя и десакрализует небесную красоту, спуская ее на землю, однако по-прежнему использует религиозно-мистическую атрибутику, ср. пушкинские сочетания *небесное создание, святыня красоты* или *гений чистой красоты*.

В стихотворении А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный», стилизованном под жанр средневековой легенды, перед нами предстает идеал женственности и духовной красоты, олицетворением которой является Богоматерь. Куртуазная преданность бедного рыцаря «прекрасной даме» – избраннице его сердца является отражением средневекового сознания с характерной для него эротической экзальтацией католического культа Богоматери (подробнее об этом см.: Купреянова 1981: 317). А в стихотворении «Мадонна», посвященном, как известно, будущей жене А. С. Пушкина, мы наблюдаем слияние «земной» и «небесной» красоты. Поэт говорит о земной женщине, которая для него «чистой прелести чистейший образец». Сам идеал Мадонны дехристианизирован, о чем свидетельствует слово «прелесть», связанное с чувственным измерением прекрасного.

Эта сакрализация «красоты» в поэзии романтиков<sup>9</sup> – плод несомненного влияния западноевропейской поэзии, в поэтическом ряду, по-видимому, связанной с именем Петrarки.

Интересно, что в элитарной культуре присутствует и другое восприятие красоты, но красоты «земной», в которой нарушена гармо-

ния между внутренним и внешним обликом человека, когда красота соединяется со злом и пороками человека, его необузданными страстями и жестокостью: эту красоту М. Ю. Лермонтов называет «безобразной» (ср. «Но красоты их безобразной я скоро тайнства постиг...» (В альбом С. Н. Карамзиной), а Ф. М. Достоевский «демонической красотой» («Тут дьявол с Богом борется и поле битвы – сердца людей», – говорит Дмитрий Карамазов).

В языке русской традиционной духовной культуры в осмыслении красоты сохраняется христианская дихотомия духовного и чувственного, хотя и наблюдается иное понимание божественности красоты, причем оно прослеживается не только в синтагматике, но, что особенно важно, в самой внутренней форме диалектного слова, в тех мотивационных признаках, которые легли в его основу.

– Как же осмысляется понятие «прекрасного» в языке народной культуры?

– Кто или что становится предметом осмысления «прекрасного», т. е. что атрибутируется в этой категории и закрепляется во внутренней форме слова в языке традиционной духовной культуры?

– Каким предстает «прекрасное» в языковом сознании русского народа, каким оно ему видится?

Прежде всего следует отметить, что в диалектах произошла своеобразная смысловая нейтрализация оппозиции лексем *лепота* и *красота*, поскольку наибольшее распространение получил корень *крас-*, вобравший в себя сакральную семантику корня *леп-*, благодаря чему он приобрел не только высокую словообразовательную потенцию, но и новое духовное осмысление (корень *леп-* встречается лишь в единичных дериватах, ср. *лепота* ‘красота’ Онеж.; *лепно* ‘красиво’ Краснояр.; *лепоть* ‘красота’ Арх., Сев.; *лепый* ‘красивый, хороший’ Перм., Урал, Олон., СРНГ 16: 361–368).

Вместе с тем диалектный материал говорит нам о том, что в языковом сознании русского народа «красота» как христианская этическая ценность не только не умерла (ср. *небесная красота* ‘рай’ Даль II: 503), но обогатилась новыми смыслами.

О том, что «красота» в традиционной духовной культуре сопряжена с этическими смыслами свидетельствует прежде всего тот факт, что именно это имя активно используется в свадебной терминологии, обозначая не только различные свадебные атрибуты (а именно: свадебную ленту, головной убор невесты, свадебный венок, цветы как украшение на голове невесты, бусы, ленты и проч.), но и саму невесту (ср. *красота* ‘девушка перед венцом’ Волог., СРНГ 15: 199), которую жених обязан выкупить (ср. *прикрасы* ‘в свадебном обряде выкуп деньгами или вещами, который жених платит за невесту’ Вят., СРНГ 31: 261).

В вологодских говорах *красота* («*дивья красота*») является символическим воплощением девичества, образа жизни девушки, ее чести и непорочности (ср. в свадебном причете, записанном М.Б. Едемским: «*Моя дивья красота, честная непорочная; у моей дивьи красоты подольчики не ухлюпаны, у пояска-то шелкового да кончики не оступаны, а у шали семишелковы да кисточки не закатаны, мое платьице не ленное, званьица не измятое*» (Смольников 2002: 267)). Интересно, что в тех же говорах замужество воспринимается как «убожество», «печаль великая» и «большая заботушка» (ср. «*Девуцы – лебеди белые, да не оставьте, Христа ради, меня, молодешеньки, во горе да во кручине, в горюшке да в печалюшке, да в большой-то заботушке... Теперь мое убожество от меня не отвяжется*...» (Смольников 2002: 266)).

Корень *крас-* представлен и в словах, соотносящихся с понятием «благого» или чего-то «хорошего» (ср. *краса* в знач. нареч. ‘хорошо, благо’ Сев.-Двин., СРНГ 15: 171 // ‘приятно, хорошо’ Новг.,



НОС 4: 135; *на красоту* ‘очень хорошо’ Курск., СРНГ 15: 200; *красно солнышко* ‘честное слово’ Пск., СРНГ 15: 196).

Таким образом, в традиционной духовной культуре красота и безобразие предстают как аксиологические категории со знаками «плюс» и «минус». Само прилагательное *красивый* (так же, впрочем, как и прилагательное *леньй*) имеет в русских диалектах значение ‘хороший’ (ср. *красивый* ‘хороший, удачный, благоприятный’ Олон., СРНГ 15: 174, ср. также *хорошество*, *хоросьво* ‘красота’ Ниж.-Сем. Даль IV: 562; *красно* 1) ‘красиво’ Арх., Перм.; 2) ‘хорошо’ Смол., СРНГ 15: 179; *лепо* ‘красиво, хорошо’ Калуж., Смол., Пск., СРНГ 16: 365; *леньй* ‘красивый, хороший’ Перм., Урал, Олон., СРНГ 16: 368; *баско* ‘красиво, нарядно, хорошо’ Иркут., Урал., Уфим., Арх., Печор., Олон., Вят., СРНГ 2: 131), тогда как *плохой* – это ‘некрасивый, невзрачный’ Ряз., Ворон.: «*При хорошем-то уборе и плохая будет красивой, а в наше одень – и хорошая будет плохой*» СРНГ 27: 157; *нехоровитый* ‘некрасивый, невидный, непривлекательный’ Курск, СРНГ 21: 204; *некрасивый* ‘плохой, неприятный’ Арх., СРНГ 21: 64; *небаско* ‘некрасиво, неприятно, нехорошо’ Пск., Арх., Киров., Урал, СРНГ 20: 315).

Понятия «красоты» и «безобразного» в народном сознании осмысляются и как социальные, регулятивные категории, которыми определяются нормы человеческого общежития. Социум выносит свой вердикт, оценивая именно через красоту характер отношений между людьми (ср. *лепостный* ‘хороший, приличный’ Яросл., СРНГ 16: 366; *клюдь* ‘красота, порядок, приличие’ Костром., Влад.: *Без клюди мы не люди* СРНГ 13: 318; *басить* ‘вести себя хорошо’ Олон., СРНГ 2: 130; *пригоже* 1) ‘красиво’ Смол., Пск., Брян.; 2) ‘прилично’ Волог., Яросл., Пск., СРНГ 31: 166; *безобразица* 1) ‘уродливость, отсутствие красоты’; 2) ‘дурное поведение’ Перм., СРНГ 2: 194; *нехорошество* ‘дурное поведение’ Даль IV: 562).

Интересно, что понятие «красоты» «работает» даже в коммуникативном регистре, моделируя этикетную формулу обращения, ср., например, комплиментарное приветствие: «*Ой ты мое, красовитушко*» Олон., Влад., СРНГ 15: 198; или «*Приятная, скажи-ка мне, как пройти в магазин*» Ярослав., ЯОС 8: 96; СРНГ 32: 76; «*Не тужи, красава, что за немилотого попала*» Калуж., СРНГ 15: 172; или формулу прощания в костромских говорах: «*До приятного виду*» 'до свидания' Костром., СРНГ 32: 76.

Красота является необходимой составляющей жизни человека, который не просто «принимает» красоту своим сердцем (ср. *приятно* 'красиво' Ворон., СРНГ 32: 76), но «творит» ее, украшая свой быт и свою жизнь (ср. *басить* 'украшать' Волог., Арх.: *Эту избу хочет басить, резочкой избу басили* СРНГ 2: 130; *красоватъ* 'придавать красивый вид, украшать' Арх., СРНГ 15: 197; *образить* 'придавать красивый вид, украшать' Тамб., Даль II: 613; *хорошить* 'украшать' Даль IV: 562), и в этом смысле красота предстает как прагматическая категория, способствующая эстетизации бытия человека, как то, что «годно», «пригодно» для его жизни (ср. *гожель* 'красота' Нижегород., СРНГ 6: 277; *гожиль* 'добро, все хорошее, красивое' Нижегород.: *В доме гожиль такая* СРНГ 6: 278; *пригожество* 'красота' Влад., Пск., Калуж., СРНГ 31: 166; *ражестъ* 'красота' < *ражий* 'красивый годный' Даль IV: 12).

«Безобразное» тоже воспринимается как прагматическая категория, но только со знаком «минус», человек отторгает его как «непригодное» для жизни (ср. *негодяй* 'некрасивый, неказистый, невзрачный' Ряз., СРНГ, 20:375; *непригожество* 'некрасивый на вид' Волог., СРНГ 21: 126).

При этом субъектом, творящим красоту, может быть не только человек, но и некая высшая сила, которая имеет характер неопределенности, неконкретности, поэтому красота может осмысляться и как

категория безличная (ср. *прикрасить* безл. 'происходить чему-либо приятно, везти' Мурман.: *Что-то мне прикрасит сегодня* СРНГ 21: 261).

В связи с этим небезынтересно отметить, что безобразное в традиционном языковом сознании соотносится нередко с нечистой силой (ср. *небаской* 'некрасивый, неказистый' Пск., Вят., Урал, Перм., Печор., Костром., Арх., Смол., Новг., Волог., СРНГ 20: 315 и *небаское имя* 'черт, нечистая сила' Волог., СРНГ 20: 315 или дериваты с корнем *дур*: *дурняк* 'безобразно' Тамб., СРНГ 8: 271; *дурничка* 'некрасивая женщина' и *дурак* 'черт' Смол., СРНГ 8: 263; *дурной* 'злой дух, домовый' Тул., Ворон., СРНГ 8: 270; или *некошной* 1) 'некрасивый' Арх.; 2) в знач. сущ. 'нечистая сила, черт' Киров., Волог., Новг., Костром., Вост., Перм., Ср. Урал, Tobол., Иркут, Якут., СРНГ 21: 63).

Красота привносит в жизнь человека радость, довольство и благополучие (ср. *красованье* 'веселая беззаботная жизнь в довольстве и благополучии' Волог., Сев.-Двин., Арх., Смол. // 'роскошество, нега' Смол., СРНГ 15: 197; *красовка* 'жизнь в довольстве, в неге' Смол.: *Вернулся солдат домой. Теперь кончилась ее красовка* СРНГ 15: 198; *красоваться* 'жить хорошо, в достатке и радости' Волог., СВГ 3: 120; *красно* 'хорошо, в достатке, зажиточно' Волог., СВГ 3: 119; *накрасоваться* 'пожить в свое удовольствие' Смол.: *А уж моя душенька на красовалася: натитков-наедков накушалася, хорошей одежды на носилася* СРНГ 19: 347). Безобразное же, напротив, несет с собой нужду и печаль (ср. *жить некрасно* 'жить в бедности' Перм., СРНГ 21: 64).

Наконец, красота в традиционной духовной культуре предстает и просто как эстетическая категория, связанная с чувственным измерением «прекрасного», воспринимаемого визуально (ср. *взрачность* 'красота' Даль без указ. места I: 200), отражающая, по словам Н.О. Лосского, «биологическое цветение жизни». Кроме непроеизводного

севернорусского *баса* (СРНГ 2: 127), у которого М. Фасмер не исключает связь с др.-инд. *bhāsas* ‘свет, блеск’ (Фасмер I: 129), а также производных от него *басенька* ‘красота’ (Новг., СРНГ 2: 129), *басеть* ‘красота’ (Костром., СРНГ 2: 129), *басина* ‘красота’ (Перм., Тюмен., СРНГ 2: 130), в русских народных говорах представлены слова *лепота*, *лепета*, во внутренней форме которых звучит мотив «притягательной силы» красоты (этимологи восстанавливают следующую цепочку в семантическом развитии этого слова: *лепота*, *лепета* – первоначально ‘прилегающий, липнувший’, а затем ‘подходящий, хороший, красивый’ Фасмер II: 485, ЭССЯ 14: 225). Это красота, которая «ранит» сердце (ср. такие слова, как *клевость*, *клевота* ‘красота’ Калуж., СРНГ 13: 272 < *клевый* ‘красивый’ Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуж., Влад., Тамб., СРНГ 13: 273). Само слово *красота* осмысляется как «цвет жизни», на что указывает его этимология (ср. *красота* < \**krasa*: семантически убедительно реконструируется как ‘цвет жизни’, откуда затем красный, цвет румянца, цветение, цвет растений и, наконец, более общее ‘красота’ ЭССЯ 12: 95).

Безобразное также оценивается как эстетическая категория, которая воспринимается прежде всего визуально (ср. *невзглядность* ‘невзрачность’ Калуж., Смол., СРНГ 20: 338; *невзора* ‘неказистый, невзрачный человек’ Горьк., СРНГ 20: 341).

Чувственное восприятие красоты и безобразия особенно явственно предстает в именах, в которых они осмысляются как вкусовые категории (ср. *приятный* 1) ‘красивый’ Арх.; 2) ‘вкусный’ Арх., СРНГ 32: 76; *прикраса* ‘приправа к кушанью (сало, сметана и др.)’ Смол.: *Щи есть без прикрасы неохота* СРНГ 31: 261; *прикрасить* ‘приправить, заправить (о кушанье)’ Смол.: *Нечем прикрасить щи // Прикрасить горшок* ‘положить в горшок приправу’ СРНГ 31: 261; *нескусный* 1) ‘невкусный’ Волог., Арх., Пск., Смол., Перм.; 2) ‘некрасивый’ Арх.: «*Фу, какой парень-то нескусный*» СРНГ 21: 154).

Таким образом, понятия «прекрасного» и «безобразного» в традиционной духовной культуре предстают и как этические, и как социальные, и как прагматические, и как эстетические категории. При этом отчетливо видно, что «безобразное» существует не само по себе, а в связи с нравственным злом. Сама словообразовательная структура этих имен (большая часть которых имеет префиксы *не-* и *без-*) говорит о том, что оно является отрицанием «прекрасного», которое пронизывает все бытие человека, в том числе и окружающий его мир.

Что же осмысляется в традиционной духовной культуре в категориях «прекрасного» и «безобразного»? На этот вопрос, пожалуй, можно ответить однозначно – прежде всего человек (ср. *красотость* ‘красивая, привлекательная внешность’ Смол., СРНГ 15: 201; *нелицой* ‘некрасивый, непривлекательный человек’ Пенз., СРНГ 21: 72). Макрокосм очень редко атрибутируется с этой точки зрения. Причем здесь прослеживается интересная закономерность: если прекрасное может соотноситься с миром природы, то безобразное – нет, ибо в мире, созданном Богом, все прекрасно и целесообразно.

Среди производных имен, в основе которых лежит эстетический мотивационный признак, связанный с категорией прекрасного, можно привести лишь названия некоторых грибов (ср. *красовик* ‘подосиновик’: «*Красивый гриб, потому и зовут красовик*» Ярослав., Калинин., Моск., СРНГ 15: 198; *красотка* ‘гриб сыроежка’ Тобол., Тюмен., СРНГ 15: 200; *красавка, красавица, красавичка* ‘гриб сыроежка’ Волог.: *Красавицы разного цвета бывают, вот красненькие* СВГ 3: 119) и определенного сорта яблок (ср. *красавица* Саратов.; *красавка* Омск, СРНГ 15: 172 ‘сорт яблок’), а среди зоонимов – чаще всего клички коров (ср. *красотка* ‘кличка коровы рыже-красной масти’ Ср. Урал, Твер., СРНГ 15: 200).

Это сравнительно редкое обращение к эстетической оценке в номинативном освоении мира природы объясняется, как представля-

ся, спаянностью человека традиционной культуры с этим миром. Отсутствие дистанции между человеком и природой не позволяет взглянуть на нее как бы «со стороны». Эстетическое любование природой в номинативной сфере уходит на задний план, тогда как на переднем оказываются прагматические цели и прежде всего земледельческие приоритеты. «Привязанный к земле сельским хозяйством, поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как интегральную часть самого себя» (Гуревич 1984: 58), отсюда внимание к маркированию тех признаков и свойств растений, которые имели для него хозяйственно важное значение.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в сферу эстетической оценки входит ландшафт, о чем свидетельствуют следующие названия: *красуха* 'красивое и хорошее место' Калинин., СРНГ 15: 202; *на красе стоять* 'стоять на красивом месте' Нижегород., Орл., Костром.: *Будто ты, село, на красе стоишь, на красе стоишь, на крутой горе* СРНГ 15: 203; *краса* 'чистая, безлесная местность' Новгород., НОС 4: 135; *прекраса* 'красивое место' Том., Кубан., Влад., Ярослав., Олон., СРНГ 31: 83; *прикраса* 'красивое место' Смолен., Вят., Воронеж., Курск., Том.: *Дом выстроен на самой прикрасе* СРНГ 31: 261; Ярослав., ЯОС 8: 88; *прикрась* 'то же, что прикраса' Воронеж., СРНГ 31: 262; *прикрасье* 'то же, что прикраса' Ряз., СРНГ 31: 262.

Особенно важное значение в этом контексте приобретают имена, обозначающие место, освещенное солнцем (ср.: *красиво* 'место, открытое лучам солнца' Волог., СРНГ 15: 174; *красивушко* 'то же, что красиво' Волог.: *Отойдите от дому-то да идите на красивушко-то* СРНГ 15: 174; *красота* 'освещенная солнцем поверхность воды' Волог.: *Мальки-то на красоту все и выползают* СВГ 3: 12; *красотка* 'место освещенное солнцем' Волог.: *Сядь на красотку-то* СРНГ 15: 200). Все эти имена говорят о том, что красота в языковом сознании русского народа является символом света, своеобразной метафорой

солнца, которое в старославянском языке входило в число сущностных атрибутов Бога (ср. *красить* 'светить (о солнце)' Волог.: *Солнце-то ныне не красит* СВГ 3: 119; Яросл., ЯОС 8: 85; *красавить* 'солнечно, ясно' Волог.: *Хоть красавить на улице, да не тепло* СВГ 3: 121; *краса* 'ясный закат солнца' Новг., НОС 4: 135; *красиво* 'солнечно, ясно' Волог.: *Было бы красиво на улице, подоле бы погостила* СВГ 3: 119; *красно* 1) 'красиво'; 2) 'ясно, солнечно (о погоде)' Яросл., ЯОС 8: 85; 3) 'светло' Орл.: *Как красно становится, так уж и пастухи скотину гонят* СОГ 5: 107; *красный день* 'солнечный, ясный день' Новг., НОС 4: 137), т. е. мир в восприятии человека традиционной культуры пронизан светом, и красота его – отблеск неземной, божественной красоты.

Попутно отметим, что эта связь локуса с красотой особенно заметна в названии *красного угла* в крестьянской избе – самого почетного места, в котором вешались иконы и стоял стол (с церковным престолом). Именно в красном углу сажали почетных гостей, голову к красному углу клали на стол или на лавку и покойника.

Эта сакрализация красоты прослеживается и в названии *Красная Горка* – воскресного дня, которым заканчивается Светлая Седмица, Пасха. Само название произошло от того, что в этот день совершался обряд встречи восхода солнца или «красной весны», который происходил на горе, освещенной солнцем. День этот считался особенно счастливым, поэтому именно в этот день справлялись свадьбы.

Итак, категории «прекрасного» и «безобразного» в традиционной духовной культуре «работают» прежде всего в сфере микрокосма, в номинации человека. При этом в эстетическом восприятии человека наблюдается следующая интересная поляризация оценок: эстетическая оценка со знаком «плюс», т. е. признак «красивый» относится чаще всего к женщине (ср. *красава, красавка, красанка, красовитка, краснушка, мазенка, пригожайка, пригожница, славенка, славница,*

славнуха, хорошава, хорошуля и др.), само название женщины в тверских говорах является производным от прилагательного *милый* (ср. *милоха* 'женщина' Твер., СРНГ 18: 163), тогда как оценка со знаком «минус» встречается чаще всего в названиях мужчин (ср. обозначения некрасивого мужчины: *вахрюта* 'нескладный, некрасивый человек' Твер., СРНГ 4: 76; *дурносон* 'некрасивый человек' Курск., СРНГ 8: 271; *зауродье* 'урод' Ворон., СРНГ 11: 134; *изродок* 'урод' Пск., Твер., СРНГ 12: 168; *мухорко* 'о некрасивом, невзрачном человеке' Казан., Перм., СРНГ 19: 38; *мухорт* 'некрасивый человек' Яросл., СРНГ 19: 38; < *мухортый* 'некрасивый' Ряз., СРНГ 19: 39; *некарь* 'некрасивый человек, человек с корявым лицом' Вят., СРНГ 21: 62; *нехлюдок* 'урод' Арх., СРНГ 21: 202; *неухлюдок* 'урод' Арх., СРНГ, 21: 199; *невзора* 'невзрачный, неказистый человек' Горьк., СРНГ 20: 241; *некраса* 'некрасивый, невзрачный человек' СРНГ без указ. места 21: 64; *нескладыня* 'безобразный человек, урод' Арх., СРНГ 21: 52; *отеребок* 'невзрачный человек' Яросл., СРНГ 24: 176; *ошлепок* 'о невзрачном, некрасивом человеке' Перм., СРНГ 25: 91 и т. д.). Даже в тех редких случаях, когда эстетическая оценка внешности мужчины выступает со знаком «плюс», она все-таки сопровождается отрицательной коннотацией (ср. *пригожник* 'щеголь, кто любит свою красоту' Даль без указ. места III: 408; *басёнка, басёнок* 'красавчик' СРНГ без указ. места 2: 129; *накрасавец* 'красавчик': *красавец-накрасавец* Влад., СРНГ 19: 346), но к ребенку, в том числе к мальчику, эта оценка вполне применима (ср. *красавёночек* ласк. 'обращение к ребенку' Влад., СРНГ 15: 172; *красавик* 'красавец' Калуж., Моск., Ряз., Костром., Курск., Тул.: *Ешь, ешь, красавик ты мой, расти большой* СРНГ 15: 172).

Интересно, что и в эстетическом восприятии человека выделяется несколько аспектов осмысления красоты – чувственный (визуальный), этический, социальный и даже сакральный.



Чувственное восприятие «прекрасного» и «безобразного», пожалуй, лучше всего «проработано» в диалектном лексиконе. Красивый человек в традиционном языковом сознании – это прежде всего человек «видный», заметный с первого взгляда (ср.: *добровидный* ‘миловидный, имеющий приятную наружность’ Олон., СРНГ 8: 77; *взглядный* ‘видный, красивый’ Пск., Твер., СРНГ 4: 254; *взглядистый* ‘красивый, представительный’ Брян., Смол.: *Парень взглядист* СРНГ 4: 254; *взрачный* ‘красивый’ Даль без указ. места I: 200; *милозглядный* ‘привлекательный, миловидный’ Яросл., СРНГ 18: 162; *казимый* ‘красивый’ Перм., СРНГ 12: 319 (<прич. от глагола *казить* ‘иметь вид’); *оказистый* ‘видный, красивый’ Север., СРНГ 23: 106 < *оказ* ‘внешний вид’ Олон., СРНГ 26: 106; *позорный* ‘видный, красивый’ Южн., Зап., Арх.: *позорная девка* СРНГ 28: 338).

Характерно, что названия некрасивого человека также соотносятся с этими корнями, но с префиксами *не-* или *без-*, поскольку некрасивый человек – это человек невидный (ср. *безвидный* ‘невзрачный, неказистый’ Перм., СРНГ 2: 182; *невидкой* ‘неказистый, невзрачный’ Калуж., СРНГ 20: 343; *невзглядный* ‘неприглядный, неказистый (о наружности)’ Калуж., Тамб., Смол., Влад., Пск., СРНГ 20: 338; *невзглядивый* ‘невзрачный, неказистый’ Калуж., СРНГ 20: 338; *незрачный* ‘невзрачный, непривлекательный’ Влад., Арх., Перм., Костром.: «По-вашему пусть худенькая, а по-нашему – невзрачная» СРНГ 21: 53; *неприглядчивый* ‘некрасивый’ Костром., СРНГ 21: 126).

Особо выделяются красота или уродство лица (ср. *наличница* ‘красавица’ Тул.: *Наличница я была в старину* СРНГ 20: 20; *красноликий* ‘красивый’ СРНГ без указ. места 15: 183; *лицеватый* ‘красивый’ Яросл., СРНГ 17: 85; *личистый* ‘красивый лицом’ Пск., Смол.: *Чиста, личиста, да и говорить речиста* СРНГ 17: 88; *милорожий* ‘с приятным красивым лицом’ Помор.: *Миловидна, милорожа на все стороны глядит* СРНГ 18: 162; *немилорожий* ‘некрасивый лицом’

Арх., Олон., СРНГ 21: 79; *нерожистый* ‘некрасивый’ СРНГ без указ. места 21: 145; *несурожий* ‘некрасивый, безобразный’ Курск., Ворон., Казань, СРНГ 21: 168; *нелицой* ‘некрасивый, непривлекательный’ Пенз., СРНГ 21: 72; *дурнохарий* ‘некрасивый, безобразный’ Влад., СРНГ 8: 271). При этом отдельно отмечается красота белого лица (ср. *лицевитый* ‘с белым чистым лицом, видный красивый’ Ряз., Калуж., Тамб., Яросл., СРНГ 17: 85; *личманистый* ‘с белым красивым лицом’ Ряз., Калуж., Тамб., Тул., Ворон., Яросл., СРНГ 17: 89; *личмяный* ‘с красивым чистым белым лицом’ Ряз., Калуж., Тамб., Яросл., СРНГ 17: 89; *беланушка* ‘добрая красивая женщина’ Казань, СРНГ 2: 207; *белонег* ‘красивая нежная девушка’ Оренб., СРНГ 2: 222), а также светлый цвет волос (ср. *белоголовица* ‘красавица’ Смол., СРНГ 2: 218), тогда как желтый или темный цвет лица ассоциируется с уродством (ср. *мухортый* 1) ‘желтый’; 2) ‘некрасивый’ Ряз., СРНГ 19: 39; *мухорый* 1) ‘невзрачный, некрасивый’; 2) ‘гнедой’ СРНГ 19: 39; ср. также следующий пример: «У ней рыло-то словно вспахано – *рыбицая, черницая, дурницая*» Влад., Тамб., СРНГ 8: 269).

Таким образом, в русском языковом сознании красота входит в семантический спектр не только красного, но и *белого* цвета, тогда как уродство соотносится с *желтым* или темным (по-видимому, почерневшим) цветом лица.

Красота человека оцениваются и с витальной точки зрения, так как красивый – это прежде всего здоровый человек (ср. *красёха* ‘красивая здоровая женщина’ Пск., СРНГ 15: 174; *красень* ‘красавец, здоровяк’ Арх., СРНГ 15: 174; *красик* ‘здоровый, румяный красивый человек’ Ряз., Волог., Олон., СРНГ 15: 175; *красавый* ‘красивый, здоровый, видный собой’ Пск., Твер., СРНГ 15: 173; *красный* ‘здоровый, полный сил человек’ Волог.: *Ой, она и красна, здорова* СВГ 3: 120; *мазёха* ‘красивая здоровая, женщина’ Олон., СРНГ 17: 296; *прекрас-*

ный ‘здоровый, крепкий’ Новосиб.: *Выходит так: жена прекрасная, а он уж износился* СРНГ 31: 83) и, кроме того, молодой (ср. *молодица* ‘молодая красивая женщина’ Твер., СРНГ 18: 224). Некрасивый же человек – это человек хилый, щедедушный, болезненный (ср. *мухрый* ‘невзрачный, хилый’ Сиб., СРНГ 19: 40; *мухорный* ‘невзрачный’ // ‘хилый, щедедушный, болезненный’ Перм., Свердлов., СРНГ 19: 38; *небравый* 1) ‘некрасивый, неказистый’ Перм., Краснояр.; 2) ‘нездоровый, болезненный’ Перм., СРНГ 20: 322) и к тому же нередко старый (ср. *коржевица* ‘безобразный человек (особенно о стариках) < *коржить* ‘смердеть’ Даль II: 164). Отсюда понятно, почему желтый или темный цвет лица становится символом уродства.

В языке традиционной духовной культуры существуют и своеобразные идеалы мужской и женской красоты.

Женская красота ассоциируется с дородностью тела, о чем говорит как внутренняя форма диалектных слов, так и их значения, ср.: *дородница* ‘красивая девушка, женщина’ Орл., Бахвалова 1996; Курск., Дон: *Да сама дородница, красивая, как намалевана* СРНГ 8: 133 < *дородный* ‘красивый, пригожий, видный’ Орл., Олон., Волог., Костром., Пск., Курск., Нижегород., Перм., СРНГ 13: 134; *дородушка* ‘полная, красивая девушка, женщина’ Курск., СРНГ 8: 134; *красуля* ‘красавица, румяная и полная женщина’ Твер., Влад., Костром., Калуж., СРНГ, 15: 202 // Волог.: *Девки-то какие красули* СВГ 3: 122; *лепота* ‘красивая внешность, дородность’ Арх., Север: *Да где ж твоя лепота?* СРНГ 16: 366; *ладистый* ‘красивый, полный’ Краснояр.: *Ладистая у кумы дочка* СРНГ 16: 230; *клевый* ‘красивый, статный, дородный’ Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуж., Влад., Тамб., СРНГ 13: 273).

Кроме того, при определении женской красоты немаловажным оказывается и такой атрибут женщины, как ее одежда (ср. *кукобна* ‘красивая нарядная женщина’ Пск., СРНГ 16: 38; < *кукобиться* ‘на-

ряжаться' Брян., СРНГ 16: 38; *басенький* 'красивый, нарядный' Южн.-Сиб., Вят., Арх., Олон., Онеж., Петерб., Волог., Новг., Оренб., Тобол.: *Жона ходит по двору, сама басенькая, сама снаряженъкая* СРНГ 2: 129 < *баса* 'нарядная одежда' Перм., Олон., Волог., Сев.-Двин., Свердл., Курган., СРНГ 2: 127; *красочный* 'красивый, нарядный' Орл., СОГ 5: 109). В вологодских говорах само существительное *красота* имеет значение 'одежда, наряд': *Красоты-то у меня еще прежние остались* СВГ 3: 121; ср. также *краса* 'женское украшение' Волог., СВГ 3: 121; *прикраса* 'наряды, украшения' Яросл., Тул.: *Дочке прикрас накупил* (СРНГ 31: 261). У мужчины же этот атрибут оценивается отрицательно (ср. *басана* 'щеголь, франт' Перм., Олон., Волог., Сев.-Двин., Свердл., Курган., СРНГ 2: 127, ср. также *басать* 'наряжаться, франтить' Нижегород., СРНГ 2: 128; *басила* 1) 'щеголь, франт' Сев.-Вост.; 2) 'беспутный человек' Сев.-Вост., СРНГ 2: 129; *красик* бранно 'щеголь' Даль II: 185). В соответствии с этим некрасивая женщина – это женщина худая и к тому же плохо одетая (ср. *небаской* 'некрасивый, неказистый' // 'плохо одетый' Волог., СРНГ 20: 315; *незрачный* 1) 'непривлекательный' Влад., Арх., Перм; 2) 'худой, изможденный' Арх., Костром., СРНГ 21: 53; *некошной* 1) 'некрасивый'; 2) 'худой, тощий' СРНГ 21: 63; *худоба* 'безобразие наружное' Волог., Даль IV: 568).

Красивый мужчина в языковом сознании русского народа – это прежде всего человек крепкий, здоровый, сильный (ср. *дородний* 'красивый, видный, мужественный' Олон., Арх., Вят.: *Есть ли удалый дородний добрый молодец, сослужил бы мне службу великую* СРНГ 8: 133; *красень* 'красавец, здоровяк, кровь с молоком' Арх., Даль II: 185; *прекрасный* 'красивый, здоровый, крепкий' Новосиб., СРНГ 31: 83; *ражий* 'красивый, крепкий, здоровый' Волог., Олон., Яросл., Твер., Тамб., Яросл., Пенз., Даль IV: 124), к тому же отличающийся высоким ростом (ср. *ладный* 'красивый' Том.; 2) 'большой

по росту' Брян., СРНГ 16: 236). Соответственно некрасивый мужчина – это человек тщедушный, слабосильный и к тому же маленького роста (ср. *мухортый* 'некрасивый, непривлекательный' // 'малорослый, невзрачный' Тамб., Калуж., Влад. Ряз.: «А он, мухортый черт, страшный, глаза все пупом выскочили, и как ты, Анна, с ним живешь-то»; / 'хилый, тщедушный, слабосильный' Тамб., Тул., СРНГ 19: 39; *неокуненький* 'невзрачный на вид' / 'небольшой, маленький' Ряз., СРНГ 21: 102; *невзрашный* 1) 'невзрачный, неказистый на вид'; 2) 'маленького роста' СРНГ 20: 341; ср. также следующий текст: «Маленький – негодяй... урод хошь» Ряз., СРНГ 20: 375).

Наряду с созерцательным, чувственным восприятием красоты и безобразия, в традиционной народной культуре существует и иное их восприятие, когда они осмысляются в этических категориях, ср.: *баской* 1) 'красивый, хороший' Олон., Сиб., Кольск.; 2) 'вежливый, приветливый' Яросл., СРНГ 2: 133; *добристый* 'красивый' Олон., СРНГ 8: 76; Волог., СВГ 2: 30; *гожий* 'пригожий' // 'порядочный' СРНГ 6: 278; *погожий* 'красивый' // 'хороший, добрый' СРНГ 27: 301; *клевый* 'красивый, статный, дородный' Твер., Ряз., Костром., Волог., Калуг., Тамб. // 'хороший, стоящий о человеке' Тул., СРНГ 13: 273; *клюжий* 'статный, красивый, видный' // 'честный, порядочный' СРНГ 13: 318; *пристойный* 'красивый' Калуж.: *Какая у вашего Вовки пристойная барышня, любо-дорого глянуть, и вежливая такая, пройдет, поздороваётся, улыбнется и вся зардеётся, ай, какая хорошая* СРНГ 31: 418). Причем если красота связывается с добротой, честностью, порядочностью человека, то безобразие – с его глупостью, неуживчивостью, беспутностью (ср. *дурносон* 1) 'некрасивый человек' Курск.; 2) 'глупый, бестолковый человек, дурак' Яросл., СРНГ 8: 271; *неловкий* 1) 'некрасивый'; 2) 'неуживчивый' Арх., СРНГ 21: 73; *немудрый* 'некрасивый, невзрачный' Твер., Арх., Олон., Новг., Пск., Перм., Том., Сиб., Тул.:

«Ен был такой немудрый, рыженький, в веснушках весь» СРНГ 21: 89; *непоратый* 1) 'некрасивый' Влад., Новг.; 2) 'плохой, неумный' СРНГ 21: 119; *неудельный* 1) 'некрасивый' Ряз.; 2) 'беспутный' СРНГ 21: 189; *невзора* 1) 'неказистый, невзрачный человек' Горьк.; 2) 'человек с замкнутым характером' Горьк. // 'надменный человек' СРНГ 20: 341; *плохой* 1) 'некрасивый, невзрачный' Ряз.; 2) 'глупый, беззаботный' Твер., Пск., ср.: *идти по плохой путе* 'вести беспутную жизнь' Горьк., СРНГ 27: 1574 *невлюдный* 'неказистый, плохой' Брян., СРНГ 20: 346 и *вылюдье* 'выродок, нравственный урод' Твер., СРНГ 5: 307).

Особо следует отметить следы сакрализации понятия «красоты» в существительном *сущик* 'красивый, милый' Новг., Кир., Даль IV: 368 (< прич. *сущий*, которое, как известно, является атрибутом Бога) и в прилагательном *богатый* 'красивый, хороший' Волог., Влад., Курск., Орл., СРНГ 3: 45).

Красота в языковом сознании русского народа оценивается и как социальное явление, так как красивый человек получает своеобразное «общественное признание» (ср. *знатный* 1) 'красивый' Волог., СРНГ 11: 310; 2) 'великолепный' Новг., НОС 3: 99; *знаткий* 'видный красивый, уважаемый' Бурят., Урал, СРНГ 11: 309; *красный* 'способный, искусный' Волог., СВГ 3: 120; *красить* 'хвалить' Волог.: *А он сидит и слушает, как его мать красит* СВГ 3: 119), и статус красавицы подтверждает ее «легитимация» (ср. *славёнка* Твер., *славнуха* 'прославленная красавица' Арх., Даль IV: 215; *славёна* 'красивая девушка' Яросл., ЯОС 9: 43; *славница* 'красивая, видная девушка' Яросл., ЯОС 9: 43). Безобразное же, наоборот, оценивается как «выпадение» из сообщества людей, из семьи или рода (ср. *невлюдный* 'неказистый, плохой' Брян., СРНГ 20: 346; *вылюдье* 'выродок, нравственный урод' Твер., СРНГ 5: 307; *неизродный* 'безобразный' Арх., Сев.-Двин. СРНГ 21: 54; *незродный* 'невзрачный' Арх., СРНГ 21: 53),

как отсутствие у человека его индивидуальности, «самости» (ср. *несамовитый* 'невзрачный, некрасивый' Пск., СРНГ 21: 148).

Социологизация понятия «прекрасного» в человеке проявляется и в том, что оно осмысливается и с чисто прагматической точки зрения (ср. *пригожан* 'красивый, пригожий парень' Волог., СРНГ 31: 166; *пригожица* 'красавица' Нижегород., СРНГ 31: 166; *пригожница* 'красавица' Яросл., ЯОС 8: 84; *пригожанка* 'красивая пригожая девушка' Волог.: *Вот такая пригожанка выросла* СВГ 8: 44; ср. также *негодяй* 'неказистый на вид, невзрачный, маленького роста' Ряз., СРНГ 20: 375; *непогожий* 'некрасивый' Калуж., СРНГ 21:112). Вместе с тем следует отметить, что ценность красоты в традиционной духовной культуре является, по-видимому, относительной, так как красота воспринимается как временное качество человека: она «избывается», утрачивается им, остается в его прошлом, отсюда и народные сентенции: *Не ищи красоты, а ищи доброты; Не родись красив, а родись счастлив; Красивый муж на грех, а дурной на смех; Пригожая жена, то мужняя сухота; Глупому мужу красная жена дороже красного яйца* и др.

Это отчуждение красоты от человека особенно явственно предстает в свадебных причетах, когда невеста «сдает» свою «дивью красоту» (ср. *«Ты возьми, моя сестрица, честну дивью-то красоту да во белые рученьки»*), «красованье» своего девичества, принимая «убожество», «печаль великую» и «большую заботушку» замужества (Смольников 2002: 266), ср. в связи с этим русские пословицы: *Девка красна до замужества; В девках сижено – плакано, замуж хожено – выто.*

Интересно, что в языковом сознании русского народа красота выступала не только в органической связи с добром, но и, будучи связанной с чувственной стихией, могла быть вольным или невольным источником зла. И в этом также проявляется относительность ее ценности.

В этом смысле язык традиционной духовной культуры остается верным средневековым представлениям<sup>10</sup>, в соответствии с которыми «телесная красота безоговорочно считалась греховной: «Красота личная тело и душу губит» (Черная 2004: 108)<sup>11</sup>. Однако эта «двуликость» красоты, судя по внутренней форме производного слова, прослеживается только по отношению к женщине, красота которой создает своеобразное «поле соблазна», пробуждая в душе человека чувственное смятение, поэтому красота ее нередко оценивается негативно (ср., например, названия красивой женщины дурного поведения: *красава* Влад., СРНГ 15: 172; *красавка* СРНГ без указ. места 15: 172; *мазеха* 1) 'здоровая, дородная красивая женщина' Олон.; 2) 'проститутка' Твер.; 3) 'хитрая, ловкая женщина' Яросл., СРНГ 17: 296).

Таким образом, широта семантического диапазона корня *крас-*, его высокий словообразовательный потенциал свидетельствуют о том, что категория «прекрасного» в языке русской традиционной духовной культуры «работает» практически во всех сферах жизни человека – от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование таких смысловых оппозиций мира духовных сущностей, как *добрый ~ злой, хороший ~ плохой, здоровый ~ больной, полезный ~ вредный*. При этом понятие «красоты» покрывает значительно большую часть семантического пространства, чем понятие «безобразного», поскольку именно красота является максимальным и минимальным условием бытия человека.

\*\*\*

Итак, концептуализация категорий Истины, Добра и Красоты в истории языка русской культуры предстает как многомерное поле пересекающихся модификаций. За каждой из них стоит определенный *тип* языковой личности, которая, осмысляя эти понятия в соот-



ветствии с традициями своего времени и своей культуры, создавала эти модификации, запечатлевая в них мироощущения своей эпохи. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на различные семантические изменения в этом поле можно отчетливо увидеть живое взаимодействие разных культур, ибо сущность любой культуры заключается в том, что прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени, не «уходит в прошлое», т. е. не исчезает. И именно благодаря этому взаимодействию сформировалась философская сторона языка русской культуры. Поэтому в многочисленных номинациях, содержащих интерпретацию этих абстрактных понятий, можно обнаружить связь с древнейшими пластами русской культуры, с религиозным опытом русского народа, рефлексией научного и религиозного познания мира (ср., например, осмысление Правды как проекции божественного на мир человеческих отношений). В разных семантических трансформациях, которые пережили в течение веков отдельные лексемы, запечатлелась и дописьменная история нашей культуры, и более поздние христианские традиции (ср., например, связь «безобразного» со злом и нечистой силой). В результате языческое и христианское часто переплетаются в осмыслении того или иного понятия (особенно это заметно в концептуализации Красоты, где до сих пор сохраняются следы былого культа жизни, природы, поклонения солнцу).

В истории осмысления Истины, Добра и Красоты языком русской культуры отразился не только жизненный и социальный опыт человека, но и религиозный. И это обстоятельство сыграло в их судьбе чрезвычайно важную роль, ибо то, что было отмечено знаком сакрального, приобрело этическую значимость и стало нравственным императивом нашей культуры. И хотя в процессе секуляризации религиозная составляющая этой триады подверглась эрозии, однако ее духовно-нравственная ориентация в целом сохранилась.

Особенно явственно это проявилось в языке традиционной духовной культуры, в котором Правда, Добро, Красота – это не просто духовные абстракции, а ЯВЛЕНИЯ духа, доступные чувственно-эмпирическому наблюдению: «разлитые» в мире природы, явленные таким образом человеку, они одухотворяют ее своим присутствием. Природа, красота окружающего мира предстают как проявление божественной сущности, как язык Добра, на котором Господь разговаривает с человеком, поэтому эстетическое восприятие этого мира сочетается с этическим.

Судьба этой триады в языке русской духовной культуры свидетельствует о том, что в ней в том или ином виде до сих пор сохраняется духовно-христианская направленность ее смыслов. Будучи в старославянском языке отражением божественной сущности и осмысляясь прежде всего как категория этики, она и в языке русской культуры развивалась как этическая, регулятивная категория, которой и сегодня определяются нравственные устои жизни, нормы человеческого общежития.

Христианская этика Средневековья, отразившаяся в понимании сущности Правды и Истины, Добра и Красоты, была глубоко осмыслена языком русской культуры, что во многом определило нравственные устои жизни общества, его этические и даже эстетические идеалы. На примере этих категорий можно увидеть, как средневековые христианские традиции «проросли» через тысячелетие и вошли в живую реальность нашей современности в виде тех языковых реликтов, которые до сих пор живут в языке русской духовной культуры.

Вместе с тем в эволюции этих концептов выявились следующие существенные различия: если Добро в языке русской культуры сохранило свою абсолютную ценность, превратившись в регулятивную категорию, определяющую нормы человеческого общежития, то Истина, закрепившись главным образом в эпистемической сфере, усту-

пила место Правде, ценность которой оказалась выше Истины (об этом красноречиво свидетельствуют слова *праведник* и *праведный*, говорящие нам о том, что святость достигается не истиной, а правдой), что касается категории Красоты, то она, в отличие от Добра и Правды как абсолютных ценностей бытия человека, в ходе своего развития приобрела относительную ценность, так как, являясь временным качеством человека, она «изживается» им, оставаясь в его прошлом.

Таким образом, лексикализация этой триады в языке русской духовной культуры свидетельствует не только о значимости этих категорий для русского языкового сознания, но и о глубоком интересе человека к философским основам бытия.

В этом процессе духовного осмысления Истины, Добра, Красоты огромную роль сыграл старославянский язык как моделирующий фактор русской культуры. Язык культуры Средневековья был тем родником глубоких и жизненно важных смыслов, которые во многом определили не только их эволюцию, но и развитие языка русской культуры в целом. Усваивая старославянскую лексику, русский язык, несомненно, воспринимал и ее концептуальное осмысление, т. е. речь идет не о поверхностном усвоении отдельных слов, а о глубинном влиянии христианской этики Средневековья на формирование всей концептосферы языка русской культуры, тех **культурных смыслов**, которые выражали жизненную позицию человека, его понимание окружающего мира и своего предназначения в нем. Благодаря трансляции этих культурных смыслов, связывающих значения разных знаков языка русской культуры, шло освоение человеком ценностей русской культуры, ее этических законов и моделей поведения. Так через язык происходило «оживление» культурно-исторического опыта, отождествление личности с культурной традицией, благодаря чему достигалась преемственность культуры.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее замечание Н. С. Трубецкого. Говоря о влиянии старославянского (церковнославянского) языка на формирование русского литературного языка, он писал в статье «Общеславянский элемент в русской культуре»: «Вглядываясь пристальнее в ту роль, которую играл церковнославянский язык в образовании русского литературного языка, мы замечаем одно любопытное обстоятельство: церковнославянская литературно-языковая традиция утвердилась не столько потому, что была славянской, сколько потому, что была церковной... Церковнославянская литературно-языковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, православной» (Трубецкой 1995: 207). Справедливость этих слов подтверждает, например, история семантического развития *правды*, утратившей ассоциацию с законом и правом под влиянием религиозной концепции, в которой высшая справедливость (Божья правда) противопоставлялась людскому беззаконию.

Влияние христианской этики Средневековья на формирование содержательной стороны языка русской культуры выразилось и в **повышенном внимании к слову**, так как слово приобрело в русской культуре особую роль. Именно этим можно объяснить такую детальную смысловую проработанность, которая характерна для каждого рассматриваемого концепта.

Взаимодействие между двумя разноприродными, но чрезвычайно близкими языковыми стихиями – старославянской и русской – протекало в разных направлениях: оно могло быть поверхностным, т. е. собственно на лексическом уровне, когда происходило усвоение старославянского слова в том или ином значении, и глубинным, затрагивающим смысловой фундамент слова, влияющим на концептуализацию того или иного понятия. При этом русский язык нередко «передоверял» старославянскому формированию отдельных участков

концептосферы, для которых не «выработал» своего лексикона. В качестве примера такой лакуны можно привести старославянское слово **ДОБРОДѢТЕЛЬ**, которому нет соответствия ни в литературном языке, ни в диалектах (ср. в польск. *nota*, подробнее см.: Седакова 2005: 11). Вместе с тем проведенное исследование показало, что речь идет не просто о внедрении старославянского слова в лексическую ткань русского языка (хотя и это влияние прослеживается), а об усвоении тех христианских смыслов, которые лежали в основе концептосферы старославянского языка.

Формирование этой концептосферы происходило по принципу противопоставленности сакрального и профанного. В словарном составе старославянского языка имеется немало синонимов, тончайшие смысловые оттенки которых можно понять, учитывая именно этот принцип системной организации его лексикона (ср., например, такие концепты, как «правда и истина», «любовь и дружба», «великий и малый», «закон и обычай», «свет и тьма», «страдание и спасение» и др., подробнее об этом см.: Вендина 2002).

Образование этих оппозиций в старославянском языке было во многом обусловлено теоцентрическим принципом устройства средневековой культуры. Именно этот принцип оказал влияние на организацию его семантической сферы. Поэтому все имена старославянского языка были так или иначе соотнесены с вечной и всеобъемлющей реальностью – Богом. Этот личностный идеал формировал отношение человека к природному космосу (идею своего места в нем), представления о социальном космосе, о нормах средневекового общества, о должном и не должном, об отношении к ближнему своему, а главное – он определял ценностный стержень культуры Средневековья. Он активно присутствовал в жизни человека, влияя на ее смысл, цели и ценности, ибо человек обитал не только в предметном мире, но и в идеальном, в той картине мира, которую сам же творил.

И эта идея противопоставленности божественного (скрытого) и земного (доступного непосредственному восприятию), стремление увидеть за зримым, видимым нечто незримое с помощью языка и раскрыть в слове истинный (сокрытый) смысл явлений оказала существенное влияние и на осмысление концептов в языке русской культуры.

Наличие **дихотомии в лексическом наполнении** категорий Красоты, Правды и Истины с разворачиванием главной культурной оппозиции *небесное ~ земное*, существовавшей в старославянском языке и до сих пор сохраняющейся в русском, является, как представляется, убедительным доказательством глубинного влияния этого сакрального языка на формирование духовно-нравственных ориентиров языка русской культуры<sup>12</sup>.

Вместе с тем следует признать, что в ходе развития русской культуры, в процессе ее секуляризации эта дихотомия подвергалась разрушению. «Доминирующее положение религиозной сферы ослабева-ло. Оставаясь внутри себя неизменной, она уже была не в состоянии столь активно воздействовать на сферу светскую, как ранее» (Софронова 2006: 30). Но поскольку этот процесс не мог пройти одномоментно, то постепенно происходило взаимодействие представлений о «горнем» и «дольнем», отраженных в этих понятиях, что создавало условия для появления новых смыслов. Поэтому сакральное не исчезало, обладая огромной смысловой энергией, оно насыщало своими значениями профанное, вызывая культурные мутации слова.

«Дольнее», усваивая язык «горнего», приобретало нередко те смыслы, которые были закреплены за сакральной лексемой (так, в частности, *красота* обогатилась этическими смыслами, существовавшими у лексемы *лепота*, поэтому, оценивая недостойное поведение человека, мы определяем его как *некрасивое*). Интересно, что такой же процесс происходил и в паре глаголов *знать* и *ведать*: в

ходе исторического развития русского языка в семантическую сферу сакрального знания, связанного с глаголом *ведать*, все активнее вторгался глагол *знать*, а сакральная семантика глагола *ведать* уходила на периферию. Следы этой сакральной семантики глагола *ведать* сохраняются и сегодня в его стилистической маркированности (именно глагол *ведать*, а не *знать* приобретает в русском языке стилистическую окраску возвышенности и приподнятости), а также в производных с корнем *вед-* (типа *проповедь*, *исповедь*, *исповедание*, *проповедник* и др., подробнее см.: Вендина 2003).

При этом во взаимодействии сакрального и светского значений большая активность наблюдалась у светского, вследствие чего оно вовлекало сакральное в свое пространство, обогащаясь новыми словами и смыслами. И в этом проявилась системная память культуры, ибо любая «культура не существует без сакральных смыслов. Отказавшись от одних, она находит другие и принимается их оформлять по тем же правилам, что и прежние, которые никуда не уходят из памяти культуры» (Софронова 2004: 11).

Влияние христианской этики Средневековья прослеживается и в общем направлении разработки понятий Истины, Добра, Красоты. Проанализированный материал свидетельствует о том, что, несмотря на некоторые трансформации, которые пережили эти категории, обусловленные секуляризацией русской культуры, повлекшей за собой смену ее ценностных парадигм, в них до сих пор **сохраняется духовно-христианская направленность** главных смыслов, которая присутствовала в старославянском языке.

При этом обращает на себе внимание концептуальная симметричность разработки этих понятий в старославянском, древнерусском и русском языке, включая его диалекты: она проявляется как в общности принципов осмысления этих категорий (которые, формируя дуальную оппозицию сакрального и светского превращались в катего-

рии аксиологии), так и их лексическом наполнении. Нельзя, однако, не признать, что в каждом из рассматриваемых идиомов существуют и свои особенности в концептуализации этих понятий.

Особо хотелось бы отметить тот факт, что в традиционной духовной культуре как культуре более консервативной значительно лучше сохранилась христианская преемственность в восприятии этих категорий, чем в культуре элитарной, и соответственно те глубинные смыслы, которые были унаследованы из христианской этики Средневековья и глубоко укоренились в архаике ее патриархальности. Более того, на основе базовых этических смыслов, дошедших к нам из глубины веков, здесь родились новые (ср., например, осмысление Правды как некоей экзистенциальной сущности, определяющей социальный характер действий человека). Диалектные представления о Правде, Добре и Красоте богаче в своем лексико-семантическом наполнении и шире в реализации высоких и абстрактных смыслов, нежели литературные. Несмотря на абстрактный характер этих категорий, они воспринимаются традиционной духовной культурой как некие вполне конкретные сущности реального мира, который предстает в языковом сознании русского народа в единстве Правды, Добра и Красоты (ср., например, устойчивую связь Правды с солнцем).

Широта семантического диапазона этих имен, их высокий семантический потенциал красноречиво свидетельствуют о том, что христианская этика Средневековья благодаря кирилло-мефодиевскому наследию была не только довольно хорошо освоена языком традиционной духовной культуры, но и, став его органической частью, сыграла важную роль в моделировании концептуальной картины мира.

Причина этого, как представляется, кроется, с одной стороны, в большей «инертности» диалектного слова, а с другой – в глубокой религиозной интуиции русского крестьянина, ибо «русский народ



жил в основе своей представлениями и ценностями средневековой культуры едва ли не до самых потрясений начала XX столетия» (Дунаев 2001: 47).

Попадая в диалект и вживаясь в народную крестьянскую среду, абстрактные категории средневековой культуры адаптировались к этой среде, приобретая ее специфические языковые черты. В этой адаптации отчетливо прослеживается стремление языка конкретизировать абстрактные сущности в многочисленных диалектных номинациях<sup>13</sup>, сохраняя при этом глубинные христианские смыслы. И в этом проявилось стремление языка традиционной духовной культуры творить мир словом, отражая действительную реальность человеческой жизни.

Говоря о влиянии христианской этики Средневековья на язык традиционной духовной культуры, следует признать, что это влияние осуществлялось в основном через церковнославянский язык, на котором велось богослужение в России и который был ближе и понятнее русскому народу, чем, например, латынь западным славянам<sup>14</sup>.

Церковнославянский язык играл важную роль и в системе образования в России. «Вплоть до советского времени начальное обучение грамоте ... обязательно включало в себя твердое усвоение церковнославянского буквенного именованья – азъ, бѣки, вѣди, глаголь, добро, естъ и т.д...В живом контексте православной культуры азбучные наименования приобретали глубокий ассоциативный шлейф, превращаясь в концепты национального мировидения...» (Савельева 2005: 333). Кроме того, изучение Закона Божьего было обязательным для всех учеников как церковно-приходских школ, так и земских. Поэтому цитаты из библейских и евангельских текстов свободно входили в русскую речь, превращаясь нередко во фразеологизмы.

Влияние это происходило незаметно – через регулярное посещение церкви, пение в церковном хоре, через постижение первых основ

грамотности. В школьной практике учебными пособиями традиционно служили азбуковники, псалтырь, «часословы» (богослужebные руководства, содержащие порядок всех повседневных служб, кроме литургии), канонник, и, конечно, Библия или Евангелие. Поэтому «выучка грамоте предполагала прежде всего умение читать священные книги и писания. Воспитание и образование начиналось со слов *Бог, Богородица, ангел...*» (Громыко, Буганов 2000: 408). Овладение церковнославянским языком шло преимущественно путем многократного прочитывания и повторения канонического текста. Понятно, что основным приемом освоения этих официально принятых текстов был *мнемонический*, «поскольку решение главной для верующих задачи созидания жизни по Слову Бога требовало прежде всего запоминания Слова Бога» (Запольская 2001:114)<sup>15</sup>. Поэтому для того чтобы сохранить благоговейно-интимный контакт с божьим словом, оно заучивалось наизусть. Народ читал, открывал для себя христианские истины, усваивая, таким образом, не только новые слова, но и новые смыслы. Так исподволь происходило влияние старославянского (церковнославянского) языка, шло формирование личности. Благодаря священным книгам и писаниям она погружалась в определенную культурную наследственность, воспринимая христианскую мораль, систему норм и ценностей многовековой русской культуры.

\*\*\*

Итак, рассматривая понятия Истины, Добра и Красоты «в границах большого времени» (М. Бахтин), следует признать, что, несмотря на секуляризацию русской культуры, христианская традиция в их осмыслении не разрушилась. Глубокое проникновение христианского начала в язык русской культуры выразилось в сращении этих понятий, ставших, по словам о. С. Булгакова, символами «умной красоты духовного мира».

Секуляризация русской культуры не затронула глубинных основ ее национальной модели, которая сложилась в предшествующее тысячелетие, поэтому в концептуализации рассматриваемых понятий сохранился духовный опыт, непрерывность нравственной и этической традиций.

Судьба концептов Истины, Добра и Красоты в истории русского языка, их напряженная жизнь, сопровождающаяся то разрастанием и сгущением этических и религиозных смыслов, то их рассеиванием, а также сама логика выстраивания этих смыслов говорят о том, что в семантической структуре концептосферы языка русской культуры происходили глубокие изменения, вызванные культурными и духовными движениями разных эпох. Однако, несмотря на серьезные трансформации, обусловленные секуляризацией русской культуры, вторжением реальности в ее семиосферу (когда реклама и пропаганда заняла место правды, а бездуховное искусство культивирует праздность и развлечения, требующие минимального духовного напряжения), связь времен не оборвалась, так как «русская духовная культура, принимая новое, в значительной мере сохраняла старое, устанавливала формы сосуществования нового со старым, наслаивая одно на другое» (Толстой 1999, III: 37).

Поэтому кирилло-мефодиевское лексическое наследие оказалось довольно глубоко освоено языком русской элитарной и традиционной культуры и стало его органической частью. Более того, благодаря этому наследию современная культура продлевает свою жизнь в будущее. И в этом проявляется «системная» память культуры.

Нравственные установки, религиозная практика, обычаи и нравы русского народа, способы организации его труда и быта, особенности его мышления, чувствования и поведения – все эти формы культурной традиции, социальной и культурной деятельности чело-

века оказывали влияние на формирование концептосферы языка русской культуры, ее оценочно-смыслового наполнения.

Несмотря на то, что каждая из эпох наложила свой отпечаток на разработку этих понятий, в них до сих пор в том или ином виде сохраняется внутренняя языковая связанность, о чем красноречиво свидетельствует общность мотивов и семантических моделей, дошедших к нам из глубины веков.

Проанализированный материал свидетельствует о том, что эти категории в языке русской духовной культуры образуют своеобразный текст, в котором заключены нравственные императивы нашей культуры. Этот текст построен по определенным жанровым законам, что проявляется прежде всего в общих принципах толкования этих категорий, – этическом, социальном, эстетическом и даже витальном, т. е. эти категории «работают» практически во всех сферах жизни человека – от витальной до социальной, от этической до эстетической, оказывая влияние на формирование многих абстрактных понятий мира духовной культуры

Детальная проработанность этих концептов объясняется не только характером русской культуры, оказавшей непосредственное влияние на их формирование, но и особенностью ее языковой личности, проявляющей глубокий интерес к философским основам бытия и анализирующей свое поведение и поступки в оппозиции греховного и святого.

В многочисленных номинациях, актуализирующих идею Добра и Зла, Правды и Истины, Красоты и безобразия, в самом микрокосме этих слов раскрылось богатство языка русской культуры, его своеобразная «философия». В концептуализации этих понятий отразился нравственный опыт человека, его духовная жизнь, интерес к слову, стремление разобраться в этих сложных понятиях, объяснить устройство мира и, опираясь на нравственные ориентиры, найти способы выживания в нем.

## Примечания

<sup>1</sup> Ср. в связи с этим развитие значений слова *истец*, этимологически связанного с *истым*: «старшее значение ‘истый человек’, ‘настоящий’ > ‘стоящий’, ‘состоятельный’, ‘владелец движимости’ > ‘заимодавец’» (Черных I: 360).

<sup>2</sup> Ср. в связи с этим высказывание известного русского правоведа и философа Е.Н. Трубецкого, которое сохраняет свою актуальность и сегодня: «Право как целое должно служить нравственным целям. Но это – требование идеала, которому действительность далеко не всегда соответствует, а нередко и прямо противоречит» (Трубецкой 1998: 36).

<sup>3</sup> Яркой иллюстрацией этой мысли может служить один из эпизодов «Капитанской дочки»: На предположение Екатерины II, что Маша Миронова приехала жаловаться на несправедливость, Маша дает неожиданный для читателя ответ: «Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия» (Пушкин 1949, т. 4: 356).

<sup>4</sup> Следует отметить, что эта мысль присутствовала уже и в древнерусских текстах. Так, например, главный герой «Большой челобитной» молдавский воевода Петр спрашивает своего слугу, москвитя Ваську Мерцалова: «Таковое царство великое, и сильное, и славное, и всем богатое, царство Московское, есть ли в том царстве правда? И Васька отвечает: «Вера, государь, христианская добра, всем сполна, и красота церковная велика, а правды нет». Услышав это, Петр заплакал: «Коли правды нет, то и всего нет». Истинная правда Христос Есть... – сказал он. – И в котором царстве правда, в том и Бог пребывает и помощь свою великую подает, и гнев Божий не воздвигается на то царство. Правды сильнее в божественном писании нет. Правда Богу и Отцу сердечная радость...» (Юрганов 1998: 78).

<sup>5</sup> В связи с этим заслуживает внимания интересное исследование С. Е. Никитиной, посвященное бытованию представлений об Истине в русских конфессиональных культурах, в котором она отмечает, что «слово *истина* в старообрядческих текстах духовных стихов встречается крайне редко, только в паре *правда-истина*, а единственное производное слово – прилагательное *истинный* – встречается в сочетаниях *Христос-Бог истинный*, *правда истинная* и *вера истинная, христианская*... В старообрядче-

ских текстах концепт *истина* представлен словом *правда*» (Никитина 2003: 647, 653).

<sup>6</sup> Интересно, что в диалектах с этим корнем встречаются и названия лучшего (ср. *праведник* 'о лешем' Олон., СРНГ 31: 52; *праведный* 'леший' Олон., Новг., СРНГ 31: 52), которые являются, по-видимому, своеобразными эвфемизмами бытового христианства, которое «предоставило языческим мифологическим персонажам... статус нечистой силы, отрицательного духовного начала, противостоящего силе «крестной», чистой и преисполненной святости» (Славянская мифология Толстой: 9). Вместе с тем, как указала мне в личной беседе Е. Е. Левкиевская, кроме мотива задабривания лучшего, в этих говорах существует и восприятие его как «хозяина» леса, который по-своему соблюдает порядок, «справедливо» распоряжаясь всем, что там есть (подробнее см. Славянские древности, т. 3: 104).

<sup>7</sup> Корни этой евангельской традиции восходят, по наблюдениям С. С. Аверинцева, к притчам назидательной иудейской литературы, ср., например, следующую притчу (машал) из Талмуда: «Случилось, что рабби Елеазар, сын рабби Шимона... ехал на осле вдоль берега реки и радовался великой радостью, и душа его наполнялась гордостью, что он так много выучил из Торы. И встретился ему человек, и был он безобразен, и сказал ему: "Мир тебе, рабби!". А тот сказал ему: "Глупец, до чего же ты безобразен! Верно, все в твоём городе такие же безобразные?" А тот сказал ему: "Не знаю, а ты лучше пойдёшь и скажи мастеру, сотворившему меня: "Как безобразно твоё изделие". И тогда рабби понял, что согрешил...» (Аверинцев 1983: 508).

<sup>8</sup> Понимание В. А. Жуковским прекрасного как «проявления некоей божественной сущности» особенно четко выражено в его письме к Н. В. Гоголю, ср.: «...в творчестве наиболее полно выражается божественность происхождения души человеческой, которого признак есть сие стремление творить из себя <...> Душа беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания? Не голос ли самого создателя? <...> Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в создании» (Жуковский 1969: 68; см. также: История эстетики: памятники мировой эстетической мысли 1969; Иезуитова 1969; Карташова, Семенов 1997: 103).

<sup>9</sup> Интересно, что сакрализация «красоты», обмирщение таких слов, как *божественный, небесный, обожать, боготворить* еще в XIX в. «вызывало противодействие со стороны цензуры. Так, например, в стихотворении А. С. Пушкина “Иностранке” цензор не пропускал слово *боготворить* по отношению к женщине, в одном из стихотворений Е. Баратынского выражение *небесного огня* пришлось заменить словами *прекрасного огня*. Отзвуки этих споров можно найти у Пушкина в его “Втором послании к цензору”: Как изумилась поэзия сама, когда ты разрешил по милости чудесной заветные слова *божественный, небесный* и ими назвалась (для рифмы) красота, не оскорбляя тем уж господу Христа» (Левин 1964: 236).

<sup>10</sup> По средневековым представлениям «телесная, и вообще зримая красота без моральной основы считалась злом, порождением дьявола» (Гуревич 1984: 301).

<sup>11</sup> В традиционной духовной культуре «совершенная красота (“нездешняя”, “неземная”, “какой не бывает среди крещеных людей”) может считаться признаком демонической внешности. По некоторым нижегородским поверьям, *болотница* является в виде необыкновенной красавицы, но у нее гусиные ноги» (Виноградова 2005: 25).

<sup>12</sup> Эта аксиологическая поляризация связана с особенностями православия, во многом предопределившего развитие русской культуры в целом (подробнее см. Лотман, Успенский 1994: 220).

<sup>13</sup> Говоря об особенностях языка фольклора, С. Е. Никитина пишет: «Фольклорный мир опредмечивает непредметное, наделяя вещными признаками абстракцию, и одушевляет неодушевленное... Однако это не поэтические приемы, а естественное и единственное видение мира народным мифологическим оком» (Никитина 2000: 559). Не случайно «слово как творящая сила, слово как магическое действие, слово как орудие описаны в языке фольклора конкретно и предметно» (Там же: 567).

<sup>14</sup> О возможности древнего проникновения элементов церковнославянского языка в народную речь говорил еще А. А. Шахматов в своем «Введении в курс истории русского языка»: «Язык Киева в обоих его видах – язык городских классов и язык духовенства – переходил отсюда в другие центры Древней Руси, а из этих центров он различными путями

просачивался и в деревенскую среду, в самую толщу народных масс» Шахматов 1916: 82–83), ссылаясь на наличие в диалектах таких слов, как *виноград*, *овоць*, *сладкий*, *плен*, *плащ*, *шлем*, *враг*, *вред*, *благой*, *срам*, *храм*, *главный* и др., которые по фонетическим признакам являются старославянизмами. Это влияние он связывал не только с тем, что церковнославянский язык был государственным, официальным языком Киевской Руси, но и с ее древнейшими связями с Византией (ср., например, такие заимствованные слова, как *парус*, *кровать*, *терем*, *коромысло*, *баня* и др.). Точку зрения А. А. Шахматов разделял и Б. А. Ларин, который, указывая на существование в диалектах таких слов, как *время*, *срам*, *вред* (наряду с исконно русским *веред*), признавал раннее воздействие церковно-книжного языка на народные диалекты (Ларин 1975: 15). С церковнославянским влиянием связывает и существование в русских диалектах лексики с неполногласием О. Г. Порохова. Наличие прямых лексико-семантических совпадений с неполногласными словами, зафиксированными в старославянском языке и древнерусских памятниках разных периодов, которые отсутствуют в современном литературном языке, свидетельствует, по мысли автора, не только «о генетической общности слов с неполногласием, известных в диалектах, со старославянским языком», но и «о широте охвата церковнославянским влиянием разных функциональных сфер русского языка и показывает отсутствие резкой границы в их разделении на те, которые подвергались такому влиянию, и те, в которых оно отсутствовало» (Порохова 1988: 228–230). Б. А. Успенский, говоря о церковнославянском влиянии в русских говорах, пишет: «Разумеется, не всегда возможно отличить древние заимствования из церковнославянского от более поздних, однако в ряде случаев имеет место характерное расхождение значений между аналогичными по форме церковнославянскими и диалектными словами, которое может указывать на древность заимствования, ср., например, такое расхождение между церковнославянским *благий* и русским *благой* (в русском языке слово приобретает отрицательное значение), ср. еще рус. глагол *блажить* ‘дурить’ при церковнославянском *блажити* ‘прославлять’, а также собственно русские образования отсюда, как *блажь*, *блажной*. В



некоторых случаях до нас дошло церковнославянское слово и не дошло коррелирующее с ним русское... Слово *верема*, встречающееся в древнерусских текстах, не зарегистрировано в великорусских диалектах, т. е. исконная русская форма вытеснена здесь церковнославянизмом *время*. Точно так же церковнославянизм *член* вытеснил, по-видимому, русскую форму *челон*, которая представлена между тем в древнейшей письменности» (Успенский 1994: 39–40). С. Е. Никитина, говоря о специфике языке православных духовных стихов и религиозных текстов представителей русского народного протестантизма – духоборцев и молокан, указывает на стилистическую неоднородность этих жанров, в которых русские диалектные слова сосуществуют рядом с церковнославянскими оборотами и словами. Более того, «хотя духоборцы, в отличие от молокан, не признавали Библии как священной книги, однако очень активно пользовались ею при создании своих религиозных текстов, и библейские цитаты, часто в неточном исполнении, по ним рассыпаны» (Никитина 2000: 560).

<sup>15</sup> В этой связи интересно привести некоторые этнографические данные, которые позволяют прояснить вопрос о церковнославянском влиянии на язык русской культуры.

На запрос Владимирской земской управы на рубеже XIX–XX вв., какие книги сельские жители считают полезными, респонденты назвали «божественные книги» (60,8%), сельскохозяйственные (17,9%), исторические (11,5%), повести и рассказы (3,6%), сказки и прибаутки (2,2%), ремесленные (1,1%), учебные (1,1%), прочие (1,8%) (Громыко 2000: 415). По мнению Ивана Ивина (автора лубочных сочинений, выходца из села Можайского уезда Московской губернии) «для простых людей гораздо ближе была и осталась духовно-нравственная литература. В крестьянской среде прежде всего идут Священное Писание (Библия, Евангелие, Псалтырь), поминанья за здравные и за упокойные, молитвенники, святцы, творения святых отцов – Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Тихона Задонского; жития святых (более ста наименований); сочинения и наставления на религиозно-нравственные темы – «Жизнь Иисуса Христа», «Жизнь Божией Матери», «Понятие о церкви христовой и объяснение семи

церковных таинств», «Поучение, как стоять в церкви», «О грехе и вреде пьянства», «Благочестивые размышления» и др. Наблюдения Ивина подтверждаются и другими источниками. Большинство корреспондентов Этнографического бюро выделяли религиозно-нравственную и историческую темы в качестве основных в кругу читательских интересов крестьян. При этом тяга к чтению Священного писания и других «божественных книг» с возрастом усиливалась.

Это интерес к духовным книгам был вполне естественным для верующих крестьян, которые всегда заботились о спасении души и об устроении церкви, о жизни *по-Божьи*. Во всех слоях русского общества, и прежде всего в крестьянской среде, пользовались популярностью жития святых (согласно анкете владимирских земских статистиков, 58,8 % хранившихся у крестьян книг были духовно-нравственного содержания, из них примерно четверть составляли жития святых). Агиографические сочинения издавна бытовали в тысячах списков» (Громыко, Буганов 2000: 416).

## Литература

Аверинцев 1983 – *Аверинцев С. С.* Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемирной литературы. М., 1983. Т. 1.

Апресян 1999 – *Апресян Ю. Д.* Основные ментальные предикаты состояния в русском языке // Славянские этюды. М., 1999.

Арутюнова 1999 – *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1999.

Бахвалова 1996 – *Бахвалова Т. В.* Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности. Орел, 1996.

Бахтин 1995 – *Бахтин М. Н.* Морфология культуры и языка // *Бахтин М. Н.* Из жизни идей. М., 1995.

Вежбицкая 2001 – *Вежбицкая А.* Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001.

Вендина 2002 – *Вендина Т. И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.

Вендина 2003 – *Вендина Т. И.* Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской традиционной народной культуры // Славянский альманах. М., 2003.

Громыко, Буганов 2000 – *Громыко М. М., Буганов А. В.* О воззрениях русского народа. М., 2000.

Гумбольдт 1984 – *Гумбольдт В.* О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

Гуревич 1984 – *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1984.

Даль – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.

Дионисий Ареопagit 1994 – *Дионисий Ареопagit.* О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994.

Дунаев 2001 – *Дунаев М. М.* Православие и русская литература. Т. I–II, М., 2001.

Жуковский 1969 – *Жуковский В. А.* Письмо Н. В. Гоголю // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.

Запольская 2001 – *Запольская Н. Н.* Библейское антропонимическое пространство в славянских грамматических трактатах XIV–XVII вв. // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Ч. 1–2. М., 2001

Иезуитова 1969 – *Иезуитова Р. В.* В. А. Жуковский // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.

История эстетики 1969 – История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1969.

Карташова, Семенов 1997 – *Карташова И. В., Семенов Л. Е.* Романтизм и христианство // Русская литература XIX века и христианство. М., 1997.

Клибанов 1996 – *Клибанов А. И.* Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.

Колесов 1999 – *Колесов В. В.* Жизнь происходит от Слова. СПб., 1999.

Купреянова 1981 – *Купреянова Е. Н.* А. С. Пушкин // История русской литературы: В 4-х тт. Л., 1981. Т. 2.

Ларин 1975 – *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М., 1975.

Левин 1964 – *Левин В. Д.* Краткий очерк истории русского литературного языка. М., 1964.

Лотман, Успенский 1994 – *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.) // *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. I. М., 1994.

Лурье 1998 – *Лурье С. В.* Историческая этнология. М., 1998.

Никитина 2000 – *Никитина С.Е.* Лингвистика фольклорного социума // *Язык о языке / Сб. М., 2000.*

Никитина 2003 – *Никитина С. Е.* Представление об истине в русских профессиональных культурах // *Логический анализ языка. Избранное. М., 2003.*

НОС – Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып.1–13.

Опыт 1852 – Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.

ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Киров, 1996–. Т. 1–4.

Пелипенко 1998 – *Пелипенко А. А., Яковенко И. Г.* Культура как система. М., 1998.

Порохова 1988 – *Порохова О. Г.* Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах. Л., 1988.

Пушкин 1949 – *Пушкин А. С.* Полн. Собр. Соч.: В 10 т. М.–Л., 1949.

Савельева 2005 – *Савельева Л. В.* Оппозиция «сакральное – светское» в истории азбуки и проблемы современной графики // *Межрегиональная конференция славистов. М., 2005.*

СВГ – Словарь вологодских говоров. Вологда. 1983–2000. Вып. 1–9.

Седакова 2005 – *Седакова О. А.* Церковнославяно-русские паронимы. М., 2005.

Славянская мифология – Славянская мифология. М., 2002.

Славянские древности – Славянские древности. М., 1995–. Т. 1–.

СЛЯП – Словарь языка Пушкина. М., 1956–1961. Т. 1–4.

Смольников 2002 – *Смольников С. Н.* Язык кокшеньгской свадьбы в записи М. Б. Едемского // *Русская культура на рубеже веков: русское поселение как социокультурный феномен. Вологда, 2002.*

СОГ – Словарь орловских говоров. Ярославль; Орел, 1989–2001. Вып. 1–12.

Софронова 2004 – *Софронова Л. А.* Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре. Введение. М., 2004.

Софронова 2006 – *Софронова Л. А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965–2001. Вып. 1–35.

СРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–25., М., 1975–.

СРЯ – Словарь русского языка. М., 1957–1961. Т. I–IV.

СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благоевой. М., 1994.

Стефаненко 2003 – *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология. М., 2003.

Толстой 1999 – *Толстой Н. И.* Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // *Толстой Н. И.* Избранные труды. М., 1999. Т. III.

Топоров 1992 – *Топоров В. Н.* Предисловие к книге В. Айрапетяна «Герменевтические подступы к русскому слову». М., 1992.

Трубецкой 1995 – *Трубецкой Н. С.* Общеславянский элемент в русской культуре // *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык. М., 1995.

Трубецкой 1998 – *Трубецкой Е. Н.* Энциклопедия права. СПб., 1998.

Успенский 1994 – *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М. 1964–1973. Т. I–IV.

Флоренский 1994 – *Флоренский П. А.* Троице-Сергиева Лавра и Россия // *Флоренский П. А.* Соч. в 2-х томах, М., 1994.

Флоренский 1998 – *Флоренский П. А.* Имена. М., 1998.

Флоренский 2002 – *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины. Письмо четвертое. Свет истины. М., 2002.

Черная 2004 – *Черная Л. А.* Граница между сакральным и светским в русской культуре XVII века // *Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре.* М., 2004.

Черных – *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I–II.

Шадриков 2001 – *Шадриков В. Д.* Происхождение человечности. М., 2001.

Шахматов 1916 – *Шахматов А. А.* Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974–. Вып. 1–.

Юрганов 1998 – *Юрганов А. Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998.

ЯОС – Ярославский областной словарь: В 10-ти вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991.

**РУССКОЕ ВЛИЯНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛЕКСИКИ  
СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

Одну из важнейших особенностей истории лексики современного болгарского литературного языка составляет большое влияние, которое оказал на ее формирование русский язык, прежде всего русский литературный язык. Эта особенность неизменно отмечается в трудах, посвященных истории лексики и болгарского литературного языка в целом. Уже Б. Цонев, известный историк болгарского языка, серьезно занимавшийся проблемой влияния русского языка на болгарский, в начале 30-х годов прошлого столетия отмечал, что с созданием в Болгарии в эпоху Возрождения нового литературного языка он сразу же был «наводнен множеством русских слов» (Цонев 1934: 339). Причину этого Б. Цонев видел в том, что «начиная с возрождения болгарского народа и по сей день болгарские писатели как будто не могут обойтись без русской литературы, без русской книги. Все наши писатели воспитывались или в русских школах или на русских книгах. Русская литература была хорошей кормилицей литературы нашей. Через нее болгарская интеллигенция восприняла и западную литературу. Наши переводчики, как бы быстро они ни переводили с западных языков, в большинстве случаев переводят с русского, а не с западноевропейских языков. Имея в виду это столь сильное влияние русской литературы на болгарскую, мы можем себе представить, сколь велико было влияние русского языка на наш литературный язык» (Цонев 1934: 339). Б. Цонев подчеркивает, что особенно много

слов из русского вошло в болгарский после освобождения Болгарии от турецкого господства в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., когда русским влиянием были охвачены многие сферы государственной, общественной и культурной жизни страны. И хотя в печати и тогда, и позднее звучали призывы ослабить, ограничить влияние русского языка, в болгарском закрепилось и по сей день широко употребляется множество слов, вошедших в него из русского. Отметив, что наиболее сильным в Болгарии после ее освобождения было именно влияние русского языка, Б. Цонев далее констатирует: «Язык, болгарский литературный язык, и по сей день кишит русскими словами, которые мы не воспринимаем русскими, потому что их употребляют у нас и млад и стар» (Цонев 1934: 340).

Изложенное мнение авторитетного болгарского ученого здесь особенно важно, потому что он был младшим современником проходившего в описываемое им время мощного воздействия русского языка на лексику его родного литературного языка. В целом так же русское влияние на лексику болгарского языка воспринимается и соотечественниками Б. Цонева второй половины прошлого века. Так, Л. Андрейчин, крупнейший специалист в области истории современного болгарского литературного языка указывает, что «главным источником обогащения нашей народной лексики словами для обозначения большого числа новых понятий, связанных с развитием общественной и культурной жизни, является русский язык, который благодаря своей близости к болгарскому был доступен всем нашим деятелям Возрождения» (Андрейчин 1977: 127). Л. Андрейчин подчеркивает при этом, что в ряде случаев в болгарском языке «усваиваются не только отдельные слова, но и целые словообразовательные типы, которые после этого сохраняют свою продуктивность и на болгарской почве» (там же). Это же констатируется и в академической «Истории новоболгарского литературного языка»: «Благодаря лекси-



ческой близости и некоторым историческим обстоятельствам русский язык становится главным источником дальнейшего интенсивного обогащения лексики болгарского литературного языка новыми словами для понятий общественной и культурной жизни» (История 1989: 342). Заимствованные из русского языка слова болгарами быстро осваивались и многими не воспринимались как чужие. В некоторых словарях иностранных слов, изданных болгарами в эпоху Возрождения, русизмы, как отмечает В. Кювлиева, вообще отсутствуют, поскольку для них они были как бы не чужие, а свои, домашние слова, доказательством чему служит их использование для пояснения слов иноязычного происхождения (Кювлиева 1980: 65). Это же можно сказать и об отношении по крайней мере некоторых болгар нашего времени к отдельным русизмам. С. Илчев, анализируя лексику одного перевода на болгарский язык, сделанного в самом конце XIX в., пишет, что наряду «с болгарскими словами переводчик регулярно употребляет и те заимствования из русского, которые уже вошли в наш язык, и мы не воспринимаем их как русизмы, например, *благо-склонно, остатък, постоянен, постройка, снабдявам, строг, уважавам, украшение, щастие* и многие другие» (Илчев 1979: 507).

Подобную оценку большого вклада русского языка в формирование лексики современного болгарского литературного языка находим во многих трудах исследователей недалекого прошлого и нашего времени. Между тем, несмотря на очевидную высокую значимость этого вклада, современные исследователи указывают, что многие аспекты влияния русского языка на болгарский, в том числе и весьма важные, до сих пор остаются неясными, слабо изученными. Так, отмечается, что все еще нет словаря русизмов в болгарском языке и, как пишет Ив. Добрев в одной из недавних своих статей, нет даже попытки такого начинания (Добрев 2003: 113). Общее же число употребляемых в болгарском языке слов, вошедших из русского, ис-

следователями указывается разное. В свое время Б. Цонев в цитируемой выше «Истории болгарского языка» этому вопросу посвятил специальный раздел «Количество русских слов в болгарском языке», в котором отметил, что, по его подсчетам, таких слов разного происхождения имеется до двух тысяч (Цонев 1934: 344). Другие ученые указывают иное число русизмов в болгарском языке. Так, согласно С. Бояджиеву, опирающемуся в своих подсчетах на данные трехтомного толкового словаря «Речник на съвременния български книжовен език» (София, 1955–1959. Т. 1–3), имеется 1530 слов-русизмов (Бояджиев 1970: 405). Несколько большее – приблизительно 1700 – русизмов насчитывает К. Бабов (Бабов 1987: 40) по данным академического «Речник на чуждите думи в българския език» (София, 1982). Приведенные данные С. Бояджиева и К. Бабова, однако, охватывают не все слова, заимствованные болгарским языком из русского. Они не учитывают огромное число слов исконно нерусского происхождения, которые широким потоком влились в болгарский язык через посредство русского языка – непосредственного источника их заимствования.

В общем следует признать, что установление более или менее точного количества лексических заимствований из русского языка в болгарском – это еще сложная предстоящая задача, решение которой сопряжено с большими трудностями. Одна из них заключается, в частности, в неясности того, следует ли считать русскими заимствованиями огромное число слов церковнославянского и древнеболгарского происхождения, утвердившихся в русском литературном языке, из которого они влились в формировавшийся современный болгарский литературный язык. Говоря об отсутствии словаря русизмов в болгарском языке, И. Добрев одну из причин этого усматривает не столько в огромном числе русизмов, сколько в неопределенности критерия – через русский в современный болгарский возвращено не-

исчислимое количество древнеболгарских литературных производных слов (*abstracta*), в отношении которых не ясно, следует ли вообще их считать русскими заимствованиями (Добрев 2003: 113). В этой связи нельзя не отметить, что в литературе мы встречаемся и с неясным употреблением таких терминов, как «русские слова» в болгарском («руски думи»), «русские заимствования» («руски заемки») и «русизмы» («русизми»). Обычно эти термины употребляются как будто в качестве синонимов, без видимого различия в их значении. В других же случаях очевидно стремление исследователей придать этим терминам различное значение. Показательно в этом отношении приведенное в сноске 12 заглавие статьи К. Бабова: «О *русских словах* и *русизмах* в академическом Словаре иностранных слов в болгарском языке». Б. Цонев в цитируемой выше работе обычно говорит о русских словах в болгарском, хотя иногда употребляет и термин «русизм». Русские слова в болгарском по их происхождению он подразделяет на четыре группы: слова русские народные, древнеболгарские и церковнославянские, русские кальки с западноевропейских языков и неславянские по своему происхождению слова: германизмы, галлицизмы и др. (Цонев 1934: 340–341). Точка зрения Б. Цонева признается и современными учеными, о чем свидетельствует, между прочим, и ее изложение (без каких-либо критических замечаний) в университетском пособии С. Георгиева и Р. Русинова по лексикологии болгарского языка (Георгиев, Русинов 1979: 50–51). Что касается термина «русизм», то некоторыми учеными он понимается в очень суженном значении. Так, по мнению, П. Филковой, русизмы – это заимствования из русского языка, которые «отличаются чертами, характерными для лексики русского языка (например, полногласие, префиксы *вы-*, *пере-* и т. д.) и засвидетельствованы первоначально и в регулярном употреблении в русской (возможно, и в древнерусской) литературе, где выражены нормы русского языка» (Филкова 2000:

56). При таком понимании русизмов в болгарском языке из их числа исключается огромный пласт русских слов западноевропейского и иного (нерусского) происхождения, вошедших в болгарский из русского, а само их собрание в нем сводится едва ли не к заимствованиям только исконно русских слов.

Сказанное выше имеет прямое отношение к предмету настоящей статьи – ранним заимствованиям из русского языка, отраженным в неизвестном исследователям до самого последнего времени первом новоболгарском печатном документе административно-канцелярского назначения – «Инструкции об обязанностях сельских приказов», изданной в Кишиневе в 1821 г.<sup>1</sup> Экземпляр этой «Инструкции» (по-видимому, единственный сохранившийся до наших дней), опубликованной в виде небольшой книжицы с параллельным текстом на русском и болгарском языках, находится в настоящее время в одной из библиотек Одессы. «Инструкция» была составлена скорее всего по распоряжению главного попечителя колонистов Южного края России генерала И. Н. Инзова кем-то из служащих его канцелярии, но не исключается авторство и самого генерала. Она предназначалась для административно-правового и хозяйственного регулирования жизни задунайских болгар-переселенцев в Бессарабии. Напечатана она старой (церковной) кириллицей в Кишиневской духовной типографии.

Важный для анализа языка перевода вопрос о переводчике рассматриваемого документа, остается открытым: имя его не известно. Однако вряд ли могут быть серьезные сомнения в том, что перевод был сделан скорее всего кем-то из болгар-переселенцев, живших в Кишиневе или каком-либо из болгарских сел Бессарабии. С уверенностью, однако, можно утверждать, что переводчик «Инструкции» был уроженцем Восточной Болгарии или родился в Бессарабии в семье уроженцев из той части Болгарии. На это указывают прежде всего широко отраженная в переводном тексте характерная для восточ-

ноболгарских говоров сильная редукция безударных гласных и другие диалектные особенности народной речи жителей Восточной Болгарии. Судя по тексту, переводчик не был особенно опытным книжником. Сложный, перегруженный громоздкими синтаксическими конструкциями со множеством специальной для подобного рода документов лексикой, к тому же местами вообще маловразумительный текст оригинала поставил перед переводчиком немало трудностей, и не во всех случаях он с ними справился. Его перевод показывает, что он нередко испытывал затруднения в понимании русского текста, следствием чего оказались неточная и даже просто ошибочная передача смысла некоторых мест оригинала. Но надо иметь в виду, что неизвестный переводчик не мог опереться на опыт какого-либо своего предшественника в переводе с русского языка столь сложного текста, каким является рассматриваемая здесь «Инструкция». Дело в том, что никаких предшественников по переводу подобных текстов у него не было: он был первым, кому пришлось перевести на родной язык столь сложный и довольно объемистый (19 страниц убористого печатного текста) документ административно-правового назначения<sup>2</sup>. Неизвестный переводчик был, следовательно, первым болгаринем, оказавшимся у самых истоков становления делового стиля современного болгарского литературного языка. Он открыл начальную страницу истории административно-канцелярской лексики в современном болгарском языке, значительная часть которой вошла в него из русского языка.

Нужно впрочем заметить, что к болгарскому переводу «Инструкции» имел некоторое отношение и какой-то другой болгарин, о чем свидетельствуют заметные различия в орфографии отдельных слов в самом тексте, в частности, в заглавиях параграфов документа, с одной стороны, и в вынесенных на поля тех же заглавиях или кратких аннотациях содержания соответствующих параграфов, с другой.

Создается впечатление, что текст маргиналий на страницах «Инструкции» был написан другим лицом (доказательные соображения на этот счет здесь опускаются).

Сказанным выше и определяется повышенный интерес, который рассматриваемая здесь «Инструкция об обязанностях сельских приказов» должна возбудить у исследователей раннего влияния русского языка на формирование современного болгарского литературного языка и особенно его лексики, в частности ее административно-канцелярского пласта, образующего одну из важнейших особенностей его делового стиля.

Во-первых, в существующей литературе, посвященной истории делового стиля и его лексики в болгарском языке, утвердилось мнение, что начало созданию этого стиля было положено переводом с греческого языка Гюльханейского хатта – известного указа султана о равенстве прав всех подданных Османской империи, изданного в 1841 г. в Бухаресте («Превод на преписът на царския саморучний хатишериф»). Перевод этот был сделан Калистом Лукой и просмотрен и исправлен известным возрожденцем Неофитом Рильским. Хр. Първев, исследовавший лексику этого перевода и других текстов административно-делового характера<sup>3</sup>, полагает, что перевод хатишерифа 1841 г. стал начальным моментом возникновения и последующего формирования административного стиля современного литературного языка (Първев 1973: 161). Мнение Хр. Първева разделяют и другие исследователи. Так, Р. Русинов пишет: «Начало формирования административно-делового стиля связывается с переводом хатишерифа 1841 г.» (Русинов 1984: 261–262) Заметим, что, характеризуя таким образом значение данного издания как первого на болгарском языке возрожденческого документа правового характера, авторы цитируемых здесь и других работ упускают из виду другой перевод такого же документа, изданный тоже в Бухаресте, но двумя

годами ранее – в 1839 г., под заглавием «Превод на царският хатишериф, който са е чел в Константинопол в Гюлхане в 22 ден октоврия 1839». Хр. Първев, правда, упоминает его рядом с переводом 1841 г., называя их (оба они сделаны с греческого языка) «первыми переводами законов», представляющими особый интерес» среди возрожденческих изданий документально-юридического характера (Първев 1964: 357). М. Стоянов указывает, что перевод этот сделан М. Кифаловым (Кифалов 1957: 211). Если связывать начальную историю создания делового стиля и его лексики в болгарском литературном языке с изданием именно первого перевода названного указа султана, то, очевидно, первой ее страницей следовало бы считать перевод М. Кифалова, изданный в 1839 г.

Во-вторых, в существующей литературе представлены резко различающиеся точки зрения на роль русского влияния в формировании административно-канцелярской лексики болгарского литературного языка.

Одна из них сформулирована Хр. Първевым, посвятившим истории делового стиля в болгарском языке ряд специальных работ. В одной из них, сетуя на то, что до недавнего времени вопросу о влиянии русского языка на формирование делового стиля у болгар уделялось мало внимания, он писал: «Кто знает, однако, почему роль русского языка в обособлении административного стиля болгарского национального языка осталась вне внимания наших исследователей, равно как и незаслуженно были вообще пренебрегнуты административно-документальные литературно-языковые проявления» (Първев 1986а: 79). Хр. Първев не сомневается, что здесь явно сказались недооценка и пренебрежительное отношение к явлениям, процессам и факторам, прямо связанным с формированием болгарского литературного языка (там же). Не отрицая роли церковнославянского влияния в этом процессе, Хр. Първев первенствующую роль в нем отво-

дит русскому языку. Он указывает: «Можно сказать, что именно в административно-документальных материалах влияние русского языка оказывается очень непосредственным и действенным. Где сознательно, а где неосознанно наши возрожденцы использовали много заимствованных из русских текстов лексических средств, потому что в тот момент соответствующих болгарских не было, или же книжники не хотели использовать слова и выражения разговорной речи, уже чувствуя различие в стилистическом отношении» (Първев 1986а: 79–80). Подчеркнув, что русское влияние в административно-документальных материалах сказалось прежде всего в лексике, отражающей специфические для административно-документальной практики понятия, представления и действия, Хр. Първев заключает: «Это слова и выражения определенной словообразовательной структуры, определенной семантики и именно они в очень большой мере определяют специфику изданий рассматриваемого типа и в конечном счете именно они оформляют своеобразный облик административного стиля вообще» (Първев 1986а: 80). Как видим, роль русского языка в формировании делового стиля болгарского языка в целом и его лексики в частности, по мнению Хр. Първева, была очень велика.

Согласно другой точке зрения решающую роль в рассматриваемом процессе сыграл церковнославянский язык. Е. Георгиева, автор соответствующего раздела в академической «Истории новоболгарского литературного языка», опираясь на некоторые исследования болгарской научной и административно-правовой терминологии, заключает, что из всех сфер функционирования литературного языка церковнославянское влияние именно в терминологической или профессионально ориентированной лексике проявилось наиболее широко и полно, оказалось наиболее длительным (История 1989: 322). Самое характерное, по мнению Е. Георгиевой, в этом процессе то, что церковнославянское влияние выражалось не только в за-



имствовании отдельных единиц ограниченного круга лексики, а охватывало все лексико-грамматические группы слов разных частей речи и особенно профессиональную фразеологию (там же). Правда, как бы обобщая итоговое заключение о результатах данного процесса в рассматриваемом аспекте, Е. Георгиева тут же говорит уже не о церковнославянском, а церковнославянско-русском влиянии: «Без этого всеохватывающего наложенного влияния, глубоко проникшего в систему литературного языка, церковнославянско-русское влияние было бы гораздо скромнее и не столь характерно» (Георгиева, Цойнска 1978: 114). Такой в общем как будто мало заметный переход от церковнославянского к церковнославянско-русскому или, может быть, случайное и не осознанное смешение разных языковых процессов, свидетельствует о чрезвычайной сложности их разграничения, и это отмечается едва ли не всеми исследователями, касавшимися данной проблемы. Здесь же следовало бы, однако, иметь в виду, что, если влияние определяется как общее, церковнославянско-русское, то – при неясности критериев разграничения в нем церковнославянского от русского – нет бесспорных оснований для строгого разграничения конкретных результатов этих влияний, отделения одних от других.

Обратимся теперь к характеристике канцелярско-административной лексики в болгарском тексте «Инструкции об обязанностях сельских приказов». Важной его особенностью является то, что он переведен с русского языка и отражает правовые, административные, хозяйственные и другие реалии жизни в России, с которыми столкнулись болгарские переселенцы в Бессарабии и которые ранее, до переселения в Россию, им в общем были не известны. Уже по одной этой причине следует ожидать, что в языке болгарского перевода данного документа не могут не быть отражены многие русские наименования соответствующих реалий. Упомянутые выше болгарские переводы

султанского указа, изданные в 1839 и 1841 гг. и признаваемые первыми на болгарском языке документами правового характера, были сделаны не с турецкого – языка оригинала, а с греческого. Как отразилось данное обстоятельство на языке этих переводов, из имеющихся его описаний не совсем ясно.

Рассмотрим лексику болгарского текста «Инструкции», которая отражает новые для болгар реалии их жизни в бессарабских колониях. Это как раз та область наименований реалий, в которой (по крайней в части ее) влияние церковнославянского языка как будто в принципе исключается. Переводчик «Инструкции», даже если он и хорошо знал церковнославянский язык, не мог почерпнуть из него необходимые для перевода наименования упоминаемых в ней специфических реалий, характерных для устройства разных сфер жизни в начале XIX в. в Бессарабии, и в целом в России, потому что соответствующих наименований в церковнославянском не было. Поселившись в Бессарабии, болгары сразу же столкнулись с новыми для них административно-управленческими и другими учреждениями и их чиновниками, делопроизводством, канцелярскими атрибутами и пр., а вместе с этим они знакомились – по разного рода письменным предписаниям и при непосредственных контактах с местными чиновниками и другими жителями – и с соответствующими русскими наименованиями, которые в силу необходимости в той или иной мере ими и усваивались. Есть, таким образом, основания утверждать, что, приступая к переводу «Инструкции», неизвестный переводчик уже мог иметь опыт использования в своей речи некоторых русизмов. Другим источником непосредственного заимствования русских слов в работе над переводом послужил ему сам текст оригинала «Инструкции».

К числу русизмов в рассматриваемом переводе следует отнести некоторые новые для болгарских переселенцев наименования людей, отражающие их отношение к месту жительства.

В русском оригинале встречаются следующие слова, обозначающие, как правило, жителей сел, вновь созданных болгарских колоний: *жители, поселяне, пришельцы, переселенцы, колонисты*.

Слово *жители* (форма ед.ч. в русском тексте не встречается) имеет общее значение, указывающее на то, что соответствующие лица где-то живут, имеют место жительства, самим этим словом далее не конкретизируемое. В болгарском переводе во всех случаях употребления оно передается словом *жителци* (не *жители!*)<sup>4</sup>: между *жителцити* коиту са карать 5; сичкити *жителци* да са заимать 8; *жителцити* бессарабски 13; и др. В современном болгарском литературном языке слово *жители* считается русизмом. В рассматриваемом переводе его нет, но оно встречается в других, ближайших по времени издания новоболгарских переводах (например, у А. Кипиловского, 30-е годы XIX в.). Часто встречающееся в оригинале русск. *поселянин* в переводе почти всюду передается народным словом *селянин*, но в двух случаях употреблено *поселенец*: всякому кто из *поселянь* имеешь какое дело – сякуи *поселенецъ* кой каквоту работа има 5; подтверждается всемъ и каждому изъ *поселянь* – подтверждава са на сичкити и секому изъ *поселенцити* 12. В одном случае русск. *поселянин* переведено словом *селачан*: в выгоде собственно *поселянь* – зарадь вашъ си угодь, зарадь секигу *селачану* 18. Единожды употребленное русск. *пришелец* в переводе передано не лексическим эквивалентом, а описательно – конструкцией с относительным местоимением *дету* и личной формой глагола: буди появятся изъ числа *пришелцовъ* на время – аку са евать изъ *онизи дету са душе* на время 9. Отметим, что слово *пришелец* встречается в «Недельнике» Софрония Врачанского. Русск. *переселенец*, употребленное в оригинале в двух случаях из трех с прилагательным *задунайский*, передается словом *преселенец*: каждого изъ колонистовъ задунайскихъ *переселенцовъ* – отъдвадь дунайскити *присиленици* 1; надъ управлениемъ всеми поселениями задунайскихъ *переселенцовъ* – да ги оправа

дету са отъдвать дунавски *присиленици* 3. В одном случае слово *переселенец* в переводе опущено. Что касается слова *колонист*, то в пяти из семи случаев его употребления в русском тексте в переводе оно передается тем же словом: каждой *колонистъ* имеет право – има право секи *колонистъ* 10 и др., а в одном случае – в словосочетании *права колонистовъ* – переведено как *колонистка права* 1. Еще в одном случае слово *колонист* в переводе опущено. Прилагательным *колонистски* (*колонистки*) в других случаях переводится русск. *колонистский*: изъ *колонистскаго* звания – ись *колонискоту* назовавани 8; по всемъ *колонистскимъ* землямъ – по сичката *колонистска* зимя 10.

Из приведенных здесь наименований жителей прямыми заимствованиями из русского языка следует признать, по-видимому, только *поселенец*, *преселенец* и *колонист*.

Любопытно, что разные в русском тексте наименования самого места жительства переселенцев – *село*, *селение*, *заселение*, *деревня* (последнее слово употреблено только один раз), переводятся во всех случаях народным словом *село*: съ другими *селами* – сась другиѣ *села* 4; изъ разныхъ *сель* – въ сякакви села 13; въ *селении* – въ *селото* 9; каждому *селению* – на сяку *село* 15; въ *заселенияхъ* вашихъ – въ *селата* ваши 1; иныхъ какихъ *деревень* – изъ други някуи *села* 6. Отметим также, что слова *колония* как наименования поселения болгар-переселенцев в русском тексте нет; нет его и в болгарском переводе, хотя слово *колонист* и его производные, как видно из приведенных выше примеров, есть в языке и оригинала, и перевода.

Новыми (по сравнению с турецкими в метрополии) для переселенцев оказались и местные административные единицы – округ, область, губерния, русские наименования которых переводчик переносит в болгарский текст: одного *округа* – изъ единъ *округъ* 13; въ *округахъ* – въ *округувити* 13; по всем местам Бессарабской *области* – по сичкити места въ Бессарабскиятъ *область* 11 (так! здесь об-

ласть – слово мужского рода); в Российской Губернии – в Русикити Губерни 11 (так!). Отметим, что часто встречающемуся в русском тексте прилагательному *окружной*, производному от *округ*, в переводе регулярно соответствует русизм такого же образования: *окружной* приказъ – *окружнять* заповедь 12; *окружному* Приказу – на *окружнять* заповедь 12 и др.

Другую группу русизмов составляют взятые переводчиком, вероятно, прямо из русского текста наименования новых для болгарских переселенцев реалий административно-правовой организации их жизни в России – неизвестных им ранее учреждений, чиновников, разного рода документов и др.

Рассмотрим сначала наименования учреждений, осуществлявших властные функции в местах поселения болгар.

Это прежде всего наименование приказа – государственного учреждения, ведавшего управлением жизнью на определенной территории. В данном случае речь идет главным образом о сельских приказах, которые создавались в болгарских поселениях. Именно для облегчения организации таких приказов на местах, установлению их прав и обязанностей, регламентации и субординации их деятельности, с одной стороны, и более широкого информирования населения о них, с другой, и была, как это видно и из ее заглавия, составлена и переведена на болгарский язык «Инструкция об обязанностях сельских приказов». Сельский приказ – главное местное учреждение, которому вменялось в обязанность управление жизнью болгарских переселенцев. Слово *приказ* (в сочетании с прилагательными *сельский*, *окружной*) в русском тексте встречается многократно. В переводе почти во всех случаях оно передается калькой – *заповед*: по приговору *Приказа* – каквоту определи *Заповедать* 9; *будеть Приказъ* строго штрафовать – ще да бади *заповедать* вътарди глубени 11; *Сельской Приказъ* то есть Сельское начальство – селски *заповедъ* сиречи сел-

ско началство 4–5; въ окружномъ *Приказе* – въ окружннать *заповедь* 12 и мн. др. Отметим, что в переводе встречается и прилагательное *заповедски*, производное от *заповед* в данном значении: по исследованию *приказовъ* – по *заповедскнать* издирь 6. Но в очень редких случаях переводчик оставляет русск. *приказ* без перевода: о обязанностях Сельскихъ *Приказовъ* – заради долгать на *Приказете* селски (в заглавии «Инструкции»); о сельскомъ *Приказе* и его обязанностях – за *приказать* селски и неговият долгъ 4 и др.

Кроме приказа (сельского, окружного), болгарские переселенцы имели дело и с другими учреждениями. Таковы суд : *сельский судъ* – *селски садъ* 5; *судебное место* – *садовищата* 13; въ *судебномъ месте* – въ *садовишните места* 13; въ *судной избе* – въ *садовишннать домъ* 6. Важными учреждениями, с которыми неизбежно сталкивались переселенцы, были правление: въ постороннихъ *правленияхъ* – у онизи *правления* куиту са отъ старна 11; въ *управленияхъ* – *оправи* 17; канцелярия: въ *канцелярии попечителя* – въ *канцелярията попечителя* 13; контора: испрашивать разрешения... *канторы* – да получать изволение отъ... *канторатъ* 3 (так! в переводе *канторъ* – слово мужского рода). К этой же группе русизмов (исключая *оправи* при русск. *управления*) можно отнести и слово *громада* в значении «мирской сбор жителей села»: по определениямъ *Громады* и Приказа – по каквоту опридили *громадата* и сась заповедать 8; купно с *Громадою* – на идно сась *грамадата* 9.

Отдельную группу явных русизмов образуют наименования чиновников. Это прежде всего лица, имевшие отношение к работе в приказе. Сельский приказ как орган местного управления составляли выборный, староста и писарь. Старшим должностным лицом в приказе был выборный. В «Инструкции» сказано: «Выборной есть старший, старосты по немъ» (5). Русск. (*сельский*) *выборной* в переводе обычно передается этим же словом – (*селски*) *виборни*, а русск. *ста-*

*роста* – этим же словом во всех случаях, например: избирать себя въ сельские начальники, *выборного* и двухъ *старость* – отъ мизду вази си да си избирати селски началници, единъ *выборни* и двамина *староста* [так!] 4; *выборные и старосты съ сельскимъ писаремъ* – *выборниятъ и старостити и селскиятъ писарь* 4; *сельскому выборному съ старостами* – *селскиятъ выборни сась старостити* 3. Кроме *староста* в русском тексте и в переводе употребляется и слово *старшина*, которым именуется более высокое должностное лицо: о делахъ же... важнейшихъ представляютъ *старшине* – а зарадъ гулеми работи... да са припраща до *старшината* 5; [Сельский приказ] при своемъ донесении представляеть къ *старшине* – и сась тяхноту извистявани да са припраща ду *старшината* 5–6. Но в других случаях этим словом, по-видимому, обозначается любой местный начальник: сельскимъ *старшинамъ* иметь надсмотръ – селскити *старшини* да иматъ да нагледовать 7; сельским *старшинамъ* наблюдать – селскити *старшини* да нагледувать 7; чрезъ *старшинъ* округа – присъ оукружнити *старшини* 17. Приведенные здесь названия представителей местной власти *выборни*, *староста*, *старшина* – очевидные русизмы. Отметим, что в ряде случаев вместо «чистого» русизма *выборни* в переводе употреблена его калька – *избраниятъ*: *выборной* есть старший – *избранниятъ* е по правъ 5; двухъ *старость* и *выборного* – отъ двата *староста избраниятъ* да са нахождатъ 6. Отметим, что словом *избраниятъ* в переводе иногда обозначается не конкретное должностное лицо приказа –выборный, а вообще лицо, избранное в приказ жителями села, т. е., например, кроме *выборного*, также и *староста*. Ср. данное слово в обоих указанных значениях в следующем примере. В оригинале: *Выборной* есть старший, *старосты* по немъ, сельской же писарь исполнитель токмо дель, производимыхъ по распоряжению сихъ *избранныхъ* (т. е. *выборного* и двухъ *старост.* – Г. В.) 5. В русском тексте, как видим, указанные значения – «выбор-

ный» и «избранный» передаются разными словами. В болгарском переводе здесь в обоих случаях употреблено одно и то же слово: *Избраниятъ* е поправъ а *старостити* са дъ негу а селскиятъ писаръ толкози испалнюва работити каквоту распоридатъ *избранити* 5.

Что касается русск. (*сельский*) *писарь*, то в переводе оно чаще передается таким же русизмом, заимствованным, вероятно, непосредственно из текста: *селскиятъ писарь* 4, 5 и др., но в одном случае в переводе вместо него употреблено собственно болг. *писачъ*; ср. в последнем примере: селскиятъ *писарь* толкози испалнюва работити 5, а несколькими строками ниже: той ще да отвичава като *писачъ* 5. Слово *писачъ*, однако, обозначает здесь как будто не писаря – чиновника сельского приказа, а человека, умеющего писать, грамотного, что, как нам кажется, следует из русского текста: [Писарь] за исправность предписанного порядка и исполнение въ сходство предписаний Начальства ответственъ яко *грамотный* 5.

Кроме названных выше, в «Инструкции» речь идет и о представителе чиновничества более высокого ранга – попечителе, которому вменялось в обязанность общее руководство деятельностью сельских приказов, надзор за жизнью болгарских переселенцев и решение возникавших между ними спорных и сложных вопросов. Попечитель представлял высшее начальство, «установленное над управлением всеми поселениями задунайских переселенцев» (с. 3). В болгарском тексте рассматриваемого документа русское наименование этого чиновника – *попечитель* – последовательно передается таким же словом: оу *попечителятъ* 13, *попичитилятъ* 3, до *попечителятъ* 5, на *попечителятъ* 18 и др.

Все перечисленные представители власти по отношению к переселенцам представляли собой *начальников*, собирательным наименованием которых было *начальство*. Оба эти наименования в болгарском переводе передаются соответственно такими же словами: изби-



рать себя въ сельские *начальники* – да си избирати селски *началници* 4; представлять по *начальству* – да са извистява на *началството* 4; ср., впрочем, разный перевод русск. *высшее начальство*: испрашивать разрешения *вышшаго начальства* – да получают изволение отъ *по-голямуту началству* 3; доносить *вышшему начальству* – да са извистява по на *високуту началство* 9; представлять о такомъ къ *вышшему начальству* – да са припраца зарадъ такива ду *по-високуту началству* 9.

Приведенные только что *попечитель*, *начальникъ* – слова не новые в болгарском языке, но в рассмотренных случаях они, на наш взгляд, были внесены переводчиком из русского текста и их тоже следует считать здесь русизмами. С еще большей уверенностью русизмом следует признать здесь слово (*по-високо, по-голямо*) *началство*.

Особую группу русизмов в «Инструкции» составляют наименования, относящиеся к делопроизводству сельского приказа как органа местной власти – к некоторым предметам его канцелярии (конторы) и входящим или исходящим из нее документам. Среди них обязательный атрибут канцелярии – книги (конторские, канцелярские) разного назначения, в частности, для регистрации и хранения в них документов и др. Общее название такого рода сшитых или собранных в один переплет документов и других материалов и в русском, и в болгарском тексте передаются одним и тем же словом *книга* (*книги*), например: завести въ оныхъ (сельских приказах. – Г. В.) различныя *книги* – трябова да има въ тяхъ сякакви *книги* 17. Хотя само слово *книга* в болгарском не новое, однако в приведенном значении, свойственном известной реалии русской (российской) канцелярии, в болгарском переводе оно, на наш взгляд, представляет собой русизм. С передачей же названий, по крайней мере некоторых, тематически специализированных канцелярских книг у переводчика «Инструкции» были, вероятно, затруднения. Во всяком случае лексического

эквивалента, например, русск. *разносная книга* он не нашел; ср.: *разносныя книги* для росписокъ въ приеме и здаче проводимыхъ арестантовъ и пересылаемыхъ пакетовъ – [книги] *зарадь да са разносятъ* зарадь да са расписувать, кога са приймаъ и придавать дету са привождаъ арестанцити и зарадь пакетити дету са припращать 17. (Последний пример показателен между прочим и в том отношении, что наглядно иллюстрирует неспособность или неготовность переводчика, широко использующего конструкции с личными глагольными формами, к введению в свой текст отглагольных абстрактных существительных и страдательных причастий настоящего времени.)

Другая неперемнная канцелярская принадлежность – печать. В русском и болгарском текстах этот канцелярский предмет называется один раз и в обоих текстах обозначается словом *печать*: снабдить сельские приказы казенными *печатьми* – да са даде на селскити заповеди царски *печати* 18. Слово это, как и *книга*, в болгарском не новое, но было ли оно в таком именно значении и ранее известно переводчику «Инструкции», сказать невозможно, как нет оснований определенно утверждать, что в язык его перевода оно перешло непосредственно из русского текста и, таким образом, является в нем русизмом. Отметим, что прилагательное *казенный* в приведенном примере переведено словом *царски*, а не русизмом *казионен*, который, надо полагать, появился в болгарском языке позднее.

К числу несомненных русизмов в болгарском тексте «Инструкции» следует отнести наименования некоторых документов, которые сельский совет выдавал переселенцам и без которых переселенцы не могли беспрепятственно жить и передвигаться на новых для них землях. Таковы, в частности, наименования вида на жительство и особого билета (справки), дававшего жителям право на отлучку из своих сел и поездку в другие места. Вид на жительство – документ, дававший переселенцу право на проживание в определенном месте, в русском

тексте передается одним словом *вид* или в сочетании с прилагательным (причастием) – *письменный вид*, *письменный законенный вид*. В болгарском переводе этот документ также называется *вид* и *писменный вид*: *Отъ кого получать письменные виды* – *Отъ кого да получать писменный видъ* 10 (заглавие одного из параграфов «Инструкции»). Русизму *вид* в данном значении переводчик, однако, в других случаях предпочитает, вероятно, семантически более ему понятное слово *письмо* (в сочетании с прилагательными и причастиями), прямо указывающее на письменный характер соответствующего документа; ср.: *въ работници... не принимать людей не имеющих письменных законенных видовъ* – *зарадъ работници... да са не приймать такива люди, куйту нематъ оузаконени писма* 12. Документ, который давал право переселенцам отлучаться из своих сел, в языке оригинала и в болгарском переводе называется *билет*; ср.: *сельские старшины обязаны на вышесказанные отлучки давать от себя билеты* – *селскити старшини длажни са на одлачкити ... да давать билети отъ тяхъ си* 11; *съ таковыми билетами каждой колонистъ имеет право ходить по всемъ колонистскимъ землямъ и селениямъ* – *сасъ такива билети има право секи колонистъ да ходи по сичката колонистска зима и по силата* 10.

Слова *вид* и *билет* в рассмотренных сейчас значениях переводчику, наверное, были известны еще до того, как он занялся переводом «Инструкции». Как задунайский переселенец, находясь в Бессарабии, он не мог там обходиться без называемых ими документов. Но в любом случае данные слова в языке его перевода заимствованы им из русского.

В болгарском тексте «Инструкции» есть и другие русизмы, имеющие предметы, которые относятся к канцелярии и административной деятельности сельских советов. Таково прежде всего само слово *инструкция* – название основополагающего в этой деятельности доку-

мента, заглавие которого начинается с этого слова; см. также: въ дополнение *Инструкции* сей – зарадь да са испалнива тази *Инструкция* 17; роздать сии *Инструкции* каждому селению по одному экземпляру – да раздаде тази *Инструкция* на сяку сило по идинъ экземпляръ 15. Ср. в приведенном примере и слово *экземпляръ*, которое переводчик перенес из русского текста. С этим документом связаны и такие русизмы как *статья* и *пунктъ*, которыми называются его отдельные части: поселянамъ же по силе сей *статьи* (имеется в виду статья 11 «Инструкции». – Г. В.) поставляется в неперемнную обязанность – а селянити по силата на тази *статья* поставя са [так!] къ непромината дланность 8; даю знать... о некоторых главнейшихъ предметахъ и *статьяхъ*, коихъ отныне неотложно придержаться вы должны – давамъ знаини, каквоту да познаини вие зарадь, някакви най главни зарадь тва и *статии* 17; въ дополнение сего *пункта* (имеется в виду статья 18 “Инструкции”. – Г. В.) предписывается сельскому приказу – зарадь да са испалнива този *пунктъ* на селскиятъ заповедь 12. К русизмам в переводе следует отнести и наименования других деловых бумаг (документов) и предметов канцелярского назначения, например, *дукомент*: обязывющийся *письменнымъ документомъ* – деду са образувать сась *писменни дукоменти* (так!) 13; *форма*: всемъ такимъ поручительствамъ имеютъ быть даны *формы* – на сякакви такива поручительства щать да бадать дадини *форми* 12; пакет: для росписокъ въ приеме и здаче... пересылаемыхъ *пакетовъ* – зарадь да са разносятъ... кога са приимать и придавать... зарадь *пакетити* 17; правила о заимахъ, *контрактахъ* и иныхъ письменныхъ зделкахъ – правила за заимане и за *кондракти* (так!) и за други писмени работи 12.

Рассмотренными выше заимствованиями из русского языка, к которым прибегает переводчик «Инструкции» для передачи наименований новых для жизни болгар-переселенцев реалий, не исчерпывается перечень данной группы лексических заимствований. Важно

отметить, что он употребляет очевидные русизмы и для обозначения таких предметов, которые ему были известны и до его переселения в Бессарабию. Один из такого рода русизмов – слово *навоз*; ср.: а чрезъ то (выпас скота на полях. – Г. В.) будутъ оныя удобриваться посредствомъ *навоза* отъ онаго – а прись тва щать да са одобрать прись тва средство отъ технιάтъ *навозъ* 15.

Из изложенного выше следует, что в изданном в 1821 г. болгарском переводе «Инструкции об обязанностях сельских приказов» имеется большое число слов, взятых из русского языка, в том числе и непосредственно из языка оригинала. Рассмотренные здесь слова, относящиеся к наименованиям новых для болгарских переселенцев реалий, составляют лишь часть административно-канцелярской лексики данного документа, включающей немалое число и других русских заимствований. Есть, таким образом, веские основания утверждать, что начало собственно русского влияния на развитие лексики современного болгарского литературного языка началось не в 40-е годы XIX в., как обычно считается, а двумя десятилетиями раньше – уже в 20-е годы того же столетия. Рассмотренный выше материал убеждает нас также и в том, что начальным моментом истории делового стиля этого языка, один из важных компонентов которого, определяющих его особенности, представляет административно-канцелярская лексика, является не переводной текст султанских указов 1839 и 1841 гг., а изданный в 1821 г. перевод «Инструкции об обязанностях сельских приказов», сделанный неизвестным болгариним. Это был первый у болгар опыт практического решения возникшей потребности в административно-канцелярском (административно-деловом) документе на их родном языке.

### Примечания

<sup>1</sup> Полное название этой брошюры на русском языке (в современной орфографии) – «Инструкция о обязанностях сельских приказов, с пояснением

порядка, как должны управляться, и наблюдая за поселянами своей деревни, чего от них требовать, с сим вместе изложены для жителей правила, как вести себя, и чего придерживаться, для достижения благоустройства и покойной жизни». Название брошюры в болгарском переводе (передаем средствами современной болгарской орфографии) – «Инструкция заради долгат на приказете селски сас явеният рет, как трябова да са управа и да варди за своите селяни, какво от тях трябува да ише, сас това заедно е показано правило, как да управа себе си и защо да са държи да може да достигне добро устройство и спокойнии живот».

<sup>2</sup> Другие подробности об «Инструкции об обязанностях сельских приказов» см.: Венедиктов 1998а, Венедиктов 1998б.

<sup>3</sup> Първев 1964; Първев 1973; Първев 1978; Първев 1979; Първев 1986б.

<sup>4</sup> Все приводимые ниже примеры передаются средствами соответственно современной русской и болгарской графики. Число после примера – номер соответствующей страницы, на которой слева напечатан русский текст, справа – его болгарский перевод. Употребляемые в болгарском тексте лигатуры раскрыты, слитные написания местоименных энклитик, союза (частицы) *да*, форм глагола *съм* и др. пишутся здесь отдельно – согласно нормам современной орфографии: *да гу иматъ* вместо *дагуиматъ*, *дету е* вм. *детуе*, и *за сякуго* вместо *изсякуго* и под. Ударение во всех случаях опущено.

### Литература

Андрейчин 1977 – *Андрейчин Л.* Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977.

Бабов 1987 – *Бабов К.* За руските думи и русизмите в академическия Речник на чуждите думи в българския език // Съпоставително езикознание. 1987. № 1.

Бояджиев 1970 – *Бояджиев С.* За лексиката от чужд произход в книжовния български език // Известия на Института за български език. 1970. Т. XIX.

Венедиктов 1998а – *Венедиктов Г. К.* За един рядък екземпляр на издание от началото на 20-те години на XIX в. на руски и български език //

Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българско-то Възраждане. София, 1998. С. 326–335.

Венедиктов 1998б – *Венедиктов Г. К.* У истоков становления делового стиля современного болгарского литературного языка // *Славяноведение*. 1998. № 3. С. 30–36.

Георгиев, Русинов 1979 – *Георгиев С., Русинов Р.* Учебник по лексикология на българския език. София, 1979.

Георгиева, Цойнска 1978 – *Георгиева Е., Цойнска Р.* Славянски и неславянски езикови влияния в периода на оформяне и стабилизиране на съвременния български книжовен език (С оглед предимно към лексиката) // *Славянска филология. Езикознание*. София, 1978. Т. XV.

Добрев 2003 – *Добрев И.* За руско-българските лексикални успоредици // *Slavia Orthodoxa. Език и култура*. София, 2003.

Илчев 1979 – *Илчев С.* Лексика от един стар превод // *Български език*. 1979. № 6.

История 1989 – *История на новобългарския книжовен език*. София, 1989.

Кювлиева 1980 – *Кювлиева В.* Първи прояви на речниковото дело у нас през Възраждането – речник на чуждите думи от Годор Хрулев // *Български език*. 1980. № 1.

Първев 1978 – *Първев Хр.* Административният стил на българския книжовен език през Възраждането и руското влияние като фактор при неговото обособяване // *Славистични изследвания*. София, 1978. Т. IV.

Първев 1964 – *Първев Хр.* Черковнославянски лексикални особености в първия възрожденски превод на наказателен закон // *Известия на Института за български език*. 1964. Т. XI.

Първев 1973 – *Първев Хр.* Към лексикалната характеристика на първия възрожденски превод на наказателния закон // *Славистични изследвания*. София, 1973. Т. III.

Първев 1979 – *Първев Хр.* Лексиката на Устав на Българският революционен централен комитет // *Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век*. София, 1979.

Първев 1986а – *Първев Хр.* Страници от историята на българския книжовен език. София, 1986.

Първев 1986б – *Първев Хр.* Административният стил през Възраждането // *Първев Хр.* Страници от историята на българския книжовен език. София, 1986.

Русинов 1984 – *Русинов Р.* История на новобългарския книжовен език. София, 1984.

Стоянов 1957 – *Стоянов М.* Българска възрожденска книжнина. София, 1957. Т. I.

Филкова 2000 – *Филкова П.* Русизми и церковнославянизми в лексике българского литературного языка // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Доклады. Белград. 2000.

Цонев 1934 – *Цонев Б.* История на българский език. София, 1934. Т. 2.



## **СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ НА БАЛКАНАХ**

1. Проблематика балканизмов, т. е. отклонений тех или иных особенностей данного языка от пути развития этих особенностей в родственных ему языках в условиях его длительных контактов с географически смежными неродственными языками макроконтекста Балкан, в работах по балканистике чаще всего рассматривается в типологическом аспекте. В последние годы широкое развитие получило осмысление балканизмов в свете теории особой балканской модели мира (БММ), воплощенной в изограмматическом коде балканских языков (болгарского, греческого, албанского, румынского, македонских и части сербских говоров). Реже разрабатывается (хотя, очевидно, и подразумевается) тривиальная на первый взгляд мысль о самом социуме (социумах) как устойчивом коллективе людей, связанных в нечто целое единством социального, культурного и речевого взаимодействия, который собственно и является одним из создателей и носителей балканской модели мира, постепенно формировавшейся в итоге длительных контактов данного социума в географически смежных ареалах с другими речевыми коллективами, входящими в балканский языковой союз (БЯС), сохранявшейся в течение длительного времени, передававшейся следующим поколениям, претерпевавшей дальнейшие изменения в ходе собственной истории и контактов с другими языковыми идиомами как родственными, так и не родственными. Отказ от анализа самого механизма социально-языкового взаимодействия в условиях длительных контактов смежных неродственных языков

в особых условиях Балкан в наши дни нередко выдвигается как конвенциональная, постановочная идея исследований по балканистике, преследующих решение обобщающих, глобальных проблем. Так, в одной из работ читаем: «Принимаемая нами точка зрения состоит в априорном отказе от соотношения источник – объект взаимодействия. Взамен этого выдвигается идея существования некоей общей модели БЯС (приблизительно соответствующей диаструктуре Вайнрайха), на которую ориентированы структуры отдельных балканских языков. Эта модель конвенциональна, как сугубо конвенциональны и вытекающие из нее следствия: любое изменение в структуре отдельного балканского языка есть прежде всего результат воздействия на него модели БЯС, а не контакта с другими языками» (Цивьян 1992: 17). В силу такой постановки вопроса снимается подход к языковым новациям на Балканах (балканизмам) как к явлению социолингвистическому. Внимание переносится на проблематику балканского языкового союза и балканской модели мира в их глубинной сущности.

В настоящей работе предпринимается попытка подойти к осмыслению механизма языковых новаций в языках балканского ареала как к феномену социолингвистическому. На материале категории опосредствованной оценки отношения действия к действительности в болгарском языке, неизвестной большинству индоевропейских языков, в частности другим славянским языкам, кроме македонского (имеются в виду объединенные этой категорией пересказывательные формы, конклюдив, адмиратив и инвертитив), хотелось бы показать, какие изменения в способе осмысления внеязыковой действительности и ее семантическом членении данным социумом и почему должны были произойти для того, чтобы в языковой системе данного идиома грамматикализовались те аспекты опыта, которые ранее не были ей присущи (хотя и существовали в смежных с ним геогра-

фически неродственных идиомах, с которыми он находился в условиях длительных и достаточно тесных контактов).

Появление новой системы модальных категорий болгарского глагола некоторые исследователи – вплоть до наших дней – объясняют как самостоятельное, соответствующее внутренним законам болгарского языка развитие, обходя вопрос о причинах отклонения этой системы от общеславянского пути, а также тот факт, что сходные категории представлены в других балканских идиомах: в албанском языке, в македонских и части сербских говоров. Собственно говоря, тем самым рассматриваемое явление не может быть причислено к понятию «балканизм», поскольку термин «балканизм» указывает на *происхождение общего* для некоторых балканских языков явления.

В других работах генезис этого явления связывается с влиянием морфологической модели турецкого глагола в процессе болгаро-туркской или болгаро-османо-турецкой интерференции. При этом, в свою очередь, не учитывается влияние общевалканского контекста, сложившихся в нем особых представлений об языковой картине мира, о системе лежащих в основе этой модели семиотических оппозиций и законах человеческого менталитета.

Автор данной статьи в постановке и решении интересующего нас вопроса исходит из рассмотрения указанной категории как балканистической формации, происхождение которой обусловлено процессами контактов и языковой интерференции одного из балканских социумов со смежными неродственными социумами.

2. Роль человеческого фактора в понятиях «языковые контакты» и «интерференция» была показана еще У. Вайнрайхом. «О двух или более языках, – пишет Вайнрайх, – говорят, что они находятся в контакте, когда они употребляются альтернативно одним и тем же лицом. Следовательно, местом контакта являются люди, которые используют эти языки» (Weinreich 1963: 1). И далее: «Отклонения от нормы в двух

языках, отклонения, проявляющиеся в речи билингвов в результате того, что они владеют более чем одним языком, т.е. в результате языкового контакта, называются интерференцией» (там же).

Это определение, безусловно, «работает», если под понятием «интерференция» имеются в виду именно *отклонения* от нормы в речи билингвов в результате того, что они владеют более чем одним языком, т. е. если речь идет о случайных, окказиональных, индивидуальных «ошибках», не закрепившихся в системе и норме. Но его явно недостаточно при рассмотрении появившихся в процессе интерференции инноваций, в итоге длительных контактов закрепившихся в норме социума – реципиента, т. е. в случаях, когда речь идет уже не об *отклонениях* от нормы в речи билингвов, а о *сдвигах* на уровне языковой системы данного речевого коллектива, нашедших свое формальное выражение, грамматикализованных. Именно подобные случаи, к которым и относится, в частности, новая для болгарского языка категория опосредствованности оценки отношения действия к действительности, основанная на характерной для балканской картины мира семиотической оппозиции – *внутренний/внешний* в ее модификациях, позволяют говорить об языковых контактах на Балканах как о феномене *социолингвистическом*.

Действительно, чтобы в итоге первоначально окказиональных отклонений от нормы в речи отдельных билингвов произошел сдвиг в норме всего данного речевого коллектива, необходимо освоение этих отклонений всем данным социумом. Только когда член данного социума, употребивший новую особенность в сегментировании внеязыковой действительности и синтезе высказывания, встретит понимание другого члена социума, более того, если он будет неправильно понять, не употребив эту особенность, можно сказать, что языковой контакт привел к интерференции на грамматическом уровне, к сдвигу в норме, принятой данным речевым коллективом как «правильное».

Иными словами, об интерференции на грамматическом уровне, на наш взгляд, речь может идти лишь при наличии предшествовавших этим изменениям сдвигам на уровне языкового осмысления и представления внеязыковой действительности у членов данного речевого коллектива под влиянием модели осмысления той же внеязыковой действительности носителями языка – источника тех или иных сдвигов. Это явление связано с преодолением противоречий в сознании билингвов между закономерностями порождения высказывания, действующими в одном из находящихся в условиях длительных контактов языков, и правилами порождения текста, действующими в другом (других) языке в той же информативной и коммуникативной ситуации. При этом постепенно вырабатываются общие для членов данного речевого коллектива – реципиента способы выражения новых форм сегментирования внеязыковой действительности, которые проходят через процесс грамматикализации и подвергаются дальнейшему развитию на уровне языковой системы, что находит свое отражение и в сдвигах в норме.

Безусловно, этот процесс длителен по времени и проходит через разные стадии развития: от формирования самого еще «дограмматического», «доречевого» стремления выразить в высказывании новую сторону в сегментировании внеязыковой действительности – через этап поиска различных средств контекста и модификаторов, позволяющих выразить эту мысль – до создания особых формальных средств ее выражения, их грамматикализации и дальнейшего закрепления в системе форм и семантических оппозиций того же класса. Эти изменения в разной степени и неодновременно охватывают идиомы в рамках языка – реципиента.

При этом особый интерес представляет то – безусловно существовавшее – предшествующее появлению инноваций состояние, когда потребность в изменении уже возникла на уровне языкового созна-

ния социума, в ходе длительных контактов постепенно усваивавшего чужую языковую модель, но новый способ семантического картирования действительности и формальные средства его выражения еще не были выработаны. Именно этот этап, по-видимому, особенно тесно связан с факторами социолингвистического характера как исходным пунктом языковых изменений.

3. Как известно, некоторые аспекты опыта, обязательно фиксируемые в грамматическом строе одних языков, могут игнорироваться другими языками. Это, в свою очередь, означает, что в то время как в одних языках в процессе синтеза высказывания обязательно присутствует, говоря словами А. Мартине (Мартине 1965: 458), тот или иной «минимальный различительный акт выбора», позволяющий выявить в каких-то грамматических единицах определенный аспект осмысления внеязыковой действительности, в других языках осмысление и актуализация данных аспектов опыта являются необязательными (хотя при необходимости, они, естественно, могут эксплицироваться с помощью тех или иных средств). Например, говорящий на любом славянском языке, кроме болгарского и македонского, в процессе синтеза высказывания не осуществляет обязательной для балканославянских характеристики сообщаемой информации в зависимости от своей точки зрения на собственную позицию в описываемой ситуации, т. е. не проводит обязательного для них в процессе синтеза высказывания выбора между грамматическими (=грамматикализованными) понятиями, связанными с подобной характеристикой. В отличие от этого, скажем, в современном болгарском литературном языке грамматикализован, т. е. закреплён в специальных грамматических единицах (их состав см. Герджиков 1984: 249–251) целый ряд модальных характеристик ситуации в указанном аспекте (см. подробнее: Демина 1959). Семантика этих модальных субкатегорий, объединяемых категорией опосредствованности/неопосред-

ствованности оценки говорящим отношения действия к действительности, может быть представлена в следующей логической последовательности:

непересказывательные формы (НПФ) указывают на включенность говорящего в ситуацию, о которой сообщается (внутренняя, свидетельская позиция говорящего) или оставляют этот аспект характеристики неактуализованным. Ср., например: *Чуваши ли ги? Те са. – Кой? – Картечниците! Чуй: ква-ква-ква! Косят, косят (Й. Йовков); *Знай, туй картечницата е таквоз нещо – без вода не може* (там же);*

пересказывательные формы (ПФ) в имперцептивной функции в контексте сообщения о факте действительности указывают на невключенность говорящего в ситуацию (внешняя, не-свидетельская позиция говорящего; оценка говорящим отношения действия к действительности опосредствована, основана на полученных от другого лица данных). Например: *Имам още двама братя... Малкият засега разнася само позиви, а по-големият с член на младежкото ни дружество и работи добре ... На изборния ден се дигнал сам, още в три часа сутринта, да разнася афиши и карикатури. Но го хванали някакви шайкаджии и така го напердашили, че два дни не може да си мръдне врата* (Г. Караславов);

конклюдивные формы (КФ) в том же типе контекста, указывая на объективную невключенность говорящего в ситуацию, очевидцем которой он не был или не является, вместе с тем категорически включают его в личную оценку данной ситуации, которая восстанавливается им по каким-то сохранившимся следам или наличным признакам факта осуществления данного не воспринятого говорящим лично действия. Создается интересное диалектическое единство невключенности и включенности в ситуацию: умозаключение говорящего. Ср.: *Той идеше откъм морето и, както се виждаше,*

*наблюдавал е нещо, защото на гърдите му висеше открит бинокъл* (Й. Йовков); *Цонка погледна часовника си и каза: Минува десет часа! Сега се с зафанало венчаването в Княжево* (И. Вазов);

адмиративните форми (АФ) сигнализируют о том, что говорящий только что, непосредственно в момент речи, включается в оценку ситуации, о которой он ранее не знал или которую неверно оценивал. При этом несущественно, что послужило для него источником неожиданного, внезапного перехода от незнания к знанию (собственное наблюдение, чужое сообщение или умозаключение): говорящий фактически аннулирует свое собственное мнение, имевшее место до неожиданного открытия, тем самым опосредствованно ссылаясь на него. Ср., например: *Подпоручикът погледна часовника си и възкликна: «Я гледай, то било вече обед!»* (П. Вежинов); *Нали и папа е търговец – на спирт. А пък спирт се правел от царевича и картофи. Представете си – чак сега научих това* (П. Спасов); *Едва тогава усещам мокрота вътре в крака – ботушът е нагизнал в кръв. Един момент на загубено съзнание – помня го; сто значи де била причина* (Л. Стоянов);

ПФ в комментативной функции в контексте сообщения о сообщении могут быть употреблены как в случае невключенности, так и в случае объективной включенности говорящего в ситуацию, в том числе при передаче действий, субъектом которых он сам является. При этом существенно, что включение говорящего в ситуацию опосредствованно, основано на чужом сообщении, представляет собой «сообщение о сообщении», на что и указывают ПФ. Это как бы особый тип цитирования, когда, по словам В. Н. Волошинова, «авторский контекст стремится к разложению компактности и замкнутости чужой речи, к ее размыванию, стиранию границ между своими и чужими словами» (Волошинов 1929: 143). Ср., например: *Колко лесно може да пропадне едно момиче сега! – заговори учителката.* –



*Още в трена почна – это този- да ме придумва, да съм идеала с него в Търново: имал там майка, та щял да я пита, и можело да се венчеем, ха-ха! (А. Страшимиров); *Хич бива ли в тоя студ на босо кал да се меси, а? ... Че ти ще я умориш така... Старата изтръпна... Щяла съм да я уморя! Че ти толкова ли я жалиш, глупче глупав... Щяла съм да я уморя! Повторяше в ума си тя, занемяла от яд. Приказвай! Дрънкай!* (Г. Караславов);*

наконец, э м ф а т и ч е с к и е ПФ, сигнализируя об опосредствованном, основанном на чужом сообщении характере оценки говорящим отношения действия к действительности, одновременно эксплицитно указывают на его несогласие с этой оценкой. Ср.: *Защо не си го хранил? Не те ли е грях? ... Не го давам аз, бай Василе, не си давам коня – започна Иван, като се разпали и вече не усмихваше. – Тоз кон е тъкмо за мене, той ми гледа децата. Не съм го бил хранил! Храня го аз (Й. Йовков).*

История постепенного установления в болгарском языке указанных выше характеристик говорящим своей позиции по отношению к сообщаемой им ситуации, грамматикализованных благодаря выбору формы сказуемого, хронология их появления и включения в язык письменности – сложная и недостаточно изученная проблема, которая может составить самостоятельный предмет исследования (см. по этому вопросу: Демина 1970; Демина 1973; Герджиков 1984). Здесь мы затрагиваем ее лишь в связи с решением других задач. В частности, наше внимание привлекает тот факт, что появление категории опосредствованности охватывало отдельные социумы, входящие в болгарский язык, неодновременно в разных ареалах. Так, в социуме «западные болгарские говоры» по данным Болгарского диалектного атласа до сих пор отсутствует причастие на -л от основы имперфекта, входящее в состав форм категории опосредствованности в восточных говорах. В говоре переселенцев из Северо-Западной и Средней Се-

верной Болгарии (банатском говоре), отделившемся от болгарской языковой территории в конце XVII – начале XVIII столетий, нет, по наблюдениям Ст. Стойкова, категории пересказывания (Стойков 1958: 206). В то же время формы пересказывания, конклюдива и адмиратива находим в языке новоболгарских дамаскинов этого периода, отражающих иной социум, а именно, народно-разговорное койне района Средней Горы и Средней Старой Планины. Но здесь также еще нет форм с причастием от основы имперфекта (Демина 1970). Подобные факты подтверждают важность подхода к изучению языковых сдвигов на Балканах как к феномену социолингвистическому.

Все указанные выше характеристики говорящим лицом сообщаемой им информации как опосредствованной грамматикализованы также в формах албанского адмиратива-комментатива с помощью собственных языковых средств, как и в балканославянских восходящих к форме перфекта. Различительным признаком принадлежности к адмиративной или неадмиративной группе является порядок морфем (ср. в гегском: перфект – *kam kërkue*, адмиративный презенс – *kërkuekam*). При этом в албанском семантический акцент падает на адмиратив, а явление в целом развито слабее (Fiedler 1966: 561–566).

Аналогичная картина наблюдается в тюркских языках, в частности в османо-турецком, где категория «субъективной модальности» на «мыш» зафиксирована с древнейших времен, является исконной. После дифференциации тюркских языков она становится отличительной чертой всей южнотурецкой языковой группы. Ср., например, предложенную К. Церунианом дефиницию значения турецкой глагольной формы типа *алмыш* (с опущением в третьем лице вспомогательного глагола-аффикса *-дыр*): она передает «прошедший факт, причем говорящий знает о нем не путем личного восприятия, а: 1) через третье лицо (по-русски *говорят, что он взял*); 2) или путем

косвенного заключения из позднейших фактов (по-русски *оказыва-ется, он взял*) или, наконец, 3) выражает личное мнение (по-русски *кажется, он взял*); в этом случае иногда имеется налицо союз *дица* ('кажется') и др.» (Церуниан 1924: 175). В случае сохранения в третьем лице аффикса *-дыр* форма имеет значение *perfectum logicum*. Отмечается наличие в турецком и форм с адмиративным значением: *еи адам имиш! той был добър човек! да он хорошии человек!*

4. Вопрос о генезисе указанных сдвигов в балканославянских с учетом наличия похожего явления в албанском глаголе – один из наиболее дискутируемых и нерешенных вопросов славянского и балканского языкознания. Как известно, существует целый ряд гипотез, объясняющих происхождение указанных модальных категорий, в частности болгарского глагола. При всем разнообразии осмыслений и аргументаций в наиболее «чистом», обобщенном виде они могут быть сведены к трем основным допущениям: 1) указанная система модальных категорий болгарского глагола возникла под влиянием внутренних, «самобытных» законов развития болгарского глагола еще в древнеболгарский или ранний среднеболгарский (XII–XIII вв.) период; 2) данная система обязана своим происхождением болгаро-тюркским контактам: ранним, связанным с воздействием со стороны тюркского протоболгарского племени Аспаруха и других тюркских диалектов (гуннов, аваров, куманов, печенегов и др.) на Балканском полуострове, или более поздним, имевшим место в период владычества Османской империи на Балканах (XIV–XIX вв.); 3) категория пересказывания и адмиратив в балканских языках являются результатом экспликации в языковом коде балканской модели мира, в частности характерной для нее оппозиции *внутренний/внешний*.

На наш взгляд, сложнейшая проблема генезиса указанных модальных категорий в конечном счете, видимо, может быть решена лишь при учете всех трех названных выше гипотез – как попытка

синтеза содержащихся в них рациональных моментов. При этом ни одна из них сама по себе не имеет доказательной силы.

Действительно, об инновации в способе языкового мышления у носителей данного языка есть основание говорить лишь в случае, если соответствующие сдвиги привели к возникновению новых единиц языка, т. е. если эта инновация закреплена как в плане содержания, так и в плане грамматического выражения этого содержания, в системе новых формально-семантических оппозиций, определяющих синтез высказывания. При этом сами новые языковые единицы грамматического уровня обычно органически связаны с существовавшими до того элементами, возникают на их базе. Так, интересующие нас модальные категории болгарского глагола возникли на основе старого перфекта. Старая глагольная система постепенно приспособлялась к грамматикализации ранее не формализованных аспектов опыта, а тем самым изменялась и сама.

Пытаясь реконструировать процесс этого приспособления, некоторые сторонники первой гипотезы в самом факте этого действительно неизбежно в том или ином виде имевшего место в историческом развитии болгарского глагола процесса видят доказательство развития интересующих нас категорий по внутренним законам болгарского языка.

Так, например, Св. Иванчев (не отрицая, впрочем, возможности турецкого влияния как «катализирующего»), выдвигает гипотезу появления пересказывательных форм в болгарском в силу явления «синтаксической конденсации»: *Той казва, че Иван е чел книга* → *Иван е чел книга* → *Иван чел книга*, где процесс возникновения ПФ связывается с сокращением двусложного предложения путем опущения главного, а затем – утратой вспомогательного глагола в составе формы перфекта (Иванчев 1976: 355–359). Любопытно, что при этом автор опирается на пример сложного предложения с *verba dicendi* в

современном литературном языке (где, собственно говоря, может быть иная модель соотношения времен в составе главного и придаточного предложений). Тем самым он фактически не скрывает чисто умозрительного характера своего построения.

Определенный резон в самой попытке такой реконструкции имеется – действительно, должен был, очевидно, существовать какой-то механизм постепенного перехода к новым функциям перфекта и становлению целой системы основанных на этом форм. И тем не менее доводы подобного рода, которые, видимо, целесообразно иметь в виду, не объясняют главного: почему, собственно говоря, в болгарском языке возникла тенденция к появлению интересующей нас категории, причем имевшая своими последствиями такие существеннейшие сдвиги, как грамматикализация «усеченного» (без вспомогательного глагола в третьем лице единственного и множественного числа) перфекта и развитие на его основе целой системы ранее не существовавших форм, в том числе включающих в свой состав новое причастие на -л от основы имперфекта, и – главное – создание принципиально новой системы модальных оппозиций, которая обязательно должна учитываться в акте сегментации внеязыковой действительности и синтеза любого высказывания на болгарском языке. Более того, которая существенно сказалась на самой языковой модели мира и языковом менталитете носителей болгарского языка.

Те же соображения можно было бы высказать в адрес тех сторонников «самобытного» происхождения указанных глагольных категорий, которые видят аргументацию своей точки зрения в том, что первые случаи, которые могут рассматриваться, по их мнению, как проявление этих категорий, отмечаются уже в языке седмоградских болгар, покинувших метрополию в XIII в. (не позднее 1266 г. – года последнего венгерского похода против Болгарии), зафиксированном в так называемых «Чергедских молитвах», т. е. в предосмано-турецкий

период. Ср. также материал употребления данных глагольных категорий в языке Валашских грамот XIV–XVI вв. (Попов 1967:15–30). При этом не учитывается возможность доосmano-турецких контактов, которые сыграли решающую роль, например, в возникновении такого раннего балканизма в болгарском языке, как приименное фиксированное постпозитивное притяжательное употребление кратких дательных форм личных местоимений типа *баца ми* (Иванчев 1988: 112).

Все это возвращает нас к рассмотрению второй гипотезы – о роли болгаро-тюркских (болгаро-турецких) контактов как источнике интерференции в сфере модальных категорий болгарского глагола. Как известно, сторонники этой гипотезы, впервые выдвинутой Б. Цоневым (Цонев 1911: 1518), основной аргумент в ее пользу видят прежде всего в удивительном параллелизме морфологической системы непереказывательных – переказывательных времен болгарского глагола и системы «очевидных» – «неочевидных» времен тюркского, в частности осmano-турецкого, глагола. По мнению Л. Андрейчина (Андрейчин 1952: 39–45), сходство болгарской и турецкой модели состава и организации ПФ столь велико, что это позволяет говорить не только о влиянии, но и о калькировании соответствующих турецких форм. В свою очередь, Р. Лёч (несомненной заслугой которого является то, что он поставил вопрос не о «влиянии» турецкого на болгарский и не о «калькировании», а о феномене интерференции, что, безусловно, не одно и то же) также пытается объяснить генезис происшедших в болгарском языке изменений интерференцией на морфологическом уровне, рассматривая ее как результат отождествления соответствующих болгарских и турецких форм: «Ср. болг. *(той) писал е* ‘он (как я достоверно знаю, заключаю) писал’ = тур. *yazmış – tir* с тем же значением и болг. *(той) писал* ‘он (говорят, кажется, видимо, оказывается) писал’ = тур. *yazmış* с тем же значением» (Лёч 1972: 175). Более того, образование нового причастия

на -л от основы имперфекта, употребляющегося в составе ряда ПФ, по мнению Лёча, показывает, что именно -л отождествляется с турецким аффиксом «мыш» (показателем «неочевидности» в турецком – *Е. Д.*). «Таким образом,—пишет Р. Лёч, — перед нами случай, когда при интерференции отождествляются не целые формы или служебные слова, а отдельные морфемы, входящие в состав определенных синтетических форм» (там же: 181).

На наш взгляд, определенный параллелизм морфологической системы модальных категорий болгарского глагола и системы «неочевидных» времен в турецком и других тюркских языках было бы целесообразно рассматривать как явление, вторичное, возникшее в результате своего рода грамматического «кодицирования» ранее неизвестного балканославянским способом семантического членения внеязыковой действительности, начальным толчком к возникновению которого могло послужить тюркское влияние. В этом смысле по-своему прав известный болгарский тюрколог Г. Гылыбов, утверждая, что «болгарская глагольная система не восприняла глагольные формы для пересказывания ни по образцу, ни под влиянием соответствующих форм (разрядка моя. — *Е. Д.*) в турецком языке» — языке другого семейства с диаметрально отличным строем речи на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровне (Гылыбов 1964: 239). Действительно, влияние самих грамматических форм одного из контактирующих языков, причем столь сильное, что это ведет к коренному преобразованию «воспринимающей» системы, вряд ли возможно.

Однако отсюда еще не следует, как это считал Гылыбов, что изменения, происшедшие в болгарской глагольной системе, «возникли исключительно в результате внутренних законов развития болгарского языка, в результате удивительного творческого разнообразия болгарской глагольной системы» (там же: 239–240). Здесь опять-таки

обходится молчанием основной вопрос: что же явилось причиной столь бурного развития болгарской глагольной системы по сравнению с другими славянскими языками (кроме македонского), создания стройной системы ранее не существовавших в нем оппозиций и новых морфологических единиц?

Скорее причиной этих процессов могло стать изменение самого способа сегментирования действительности, потребовавшего определенных сдвигов и на уровне языкового мышления. В этом смысле только на первый взгляд кажется «наивным» утверждение Й. Трифонова (кстати, сторонника «самобытного» болгарского происхождения изучаемых категорий): «Едва ли можно сомневаться в том, что в создании специального способа выражения данного различия отразился наш народный характер. Мы настолько осторожны, что через саму речь стремимся подчеркнуть на каждом шагу, что мы видели своими глазами и о чем только слышали от других людей» (Трифонов 1905: 169).

Но есть ли у нас достаточные основания для того, чтобы появление новой системы модальных категорий болгарского глагола свести к тюркскому (в том числе, османо-турецкому) воздействию, приведшему к интерференции на грамматическом уровне?

На наш взгляд, в действительности картина была более сложной. Возникновение интересующих нас категорий – лишь одно из проявлений «балканистических» процессов, генезис которых разумно искать во всей сложной ситуации многовековых языковых контактов на Балканском полуострове, а не только непосредственно в болгаро-турецком билингвизме. Некоторые ученые идут дальше и ищут объяснение изучаемого явления в рамках собственно балканских языков. Так, например, В. Фидлер появление адмиратива-комментатива в XVII в. в албанском и балканославянских объясняет длительными контактами этих языков на Балканах, не связывая его происхождение с одним каким-то языком и подчеркивая, что следы отмеченной



общности теряются в глубоком тылу собственной языковой семьи (Fiedler 1966: 566).

В работах Т. В. Цивьян выдвигается гипотеза возникновения категории пересказывания и адмиратива как формы экспликации сформировавшейся в условиях длительных и интенсивных межэтнических контактов балканской модели мира, в частности, характерных для ее структуры оппозиций *внутренний/внешний, свой/чужой, видимый/невидимый (видящий/невидящий)* и под. По словам Цивьян, «появление КП (категории пересказывания. – Е. Д.) в ареалах многоязычия дает основание считать актуализатором ее оформления как грамматической категории ситуацию языковых контактов, вызывающую усложнение акта коммуникации». И далее: «Постоянные контакты с представителями иного побуждают к выработке средств, помогающих не обнаруживать свою позицию. Одним из способов такой маскировки и может, как кажется, служить определение своей позиции в пространстве, в том числе и в пространстве текста: внутри/вне. Изначальной функцией КП является однозначное различение своего/чужого, обеспечивающее необходимое в условиях контактов отделение себя от другого» (Цивьян 1992: 34).

При всей убедительности данной гипотезы она все же не отвечает на вопрос, почему при выработке «средств, помогающих не обнаруживать свою позицию», возникла система модальных категорий, с удивительным сходством повторяющая тюркскую (османо-турецкую) морфологическую модель, как и саму специфику характерного для тюркских языков семантического членения внеязыковой действительности и связанный с этим языковой менталитет. По-видимому, было бы целесообразным признать, что при формировании отдельных фрагментов балканской модели мира, в частности, характерной для нее оппозиции *внутренний/внешний*, нашедшей свое отражение в ее языковом коде, в том числе в появлении интересующей нас кате-

гории балканославянского и албанского глагола, заметную роль сыграл тюркский фактор, хотя его воздействие в процессе интерференции балканских языков, безусловно, не было единственным или решающим. Достаточно сказать, что в турецком языке нет характерной для балканских языков (румынского, албанского, болгарского) системы пост-позитивного артикля, наряду с категорией опосредствованности оценки отношения действия к действительности (или, в осмыслении Б. Цонева, категорией определенности/неопределенности), участвующей в языковом воплощении семиотической оппозиции *внутренний/внешний*.

Не случайно те немногие из индоевропейских языков, в которых грамматикализованы те или иные семантические модальные различия, похожие на рассматриваемые в настоящей работе, находились в длительных контактах либо с тюркскими языками (это, кроме балканославянских и албанского, новоармянский и некоторые иранские языки), либо с угро-финскими, для которых данное явление также характерно (это балтийские языки – литовский и латышский).

По-видимому, только факт отсутствия длительных ареальных и историко-культурных контактов балканских языков с тюркскими, которые потенциально могли дать начальный импульс появлению изучаемых сдвигов в семантическом членении внеязыковой действительности и закреплению их в системе языковых единиц, позволил бы принять «балканскую» гипотезу в ее «чистом» виде.

Итак, неизвестная славянским языкам (кроме македонского) глагольная категория опосредствованности оценки отношения действия к действительности при своем оформлении в болгарском языке ориентировалась на морфологические средства родного, славянского языка, как это имеет место и при становлении других балканизмов. В то же время наличие изограмматических параллелей этой категории в албанском языке, македонских и части сербских говоров, сама се-

мантическая ориентация этой категории на характерную для балканской языковой модели мира систему семиотических оппозиций типа *свой/чужой*, *внутренний/внешний* свидетельствуют о ее балканском характере. В свою очередь, удивительный параллелизм морфологической и семантической системы упомянутой категории болгарского глагола и системы «очевидных» – «неочевидных» времен тюркского, в частности османо-турецкого, глагола позволяет предположить, что при формировании отдельных фрагментов балканской языковой модели мира, воплощенной в языковом коде балканских языков, определенную роль сыграл тюркский фактор, хотя его воздействие в процессе интерференции балканских языков, естественно, не было единственным и решающим.

### Литература

Андрейчин 1952 – *Андрейчин Л.* Въпросът за националната самобитност на езика // Известия на Института за български език. София, 1952. Кн. II.

Волошинов 1929 – *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия на езика. Л., 1929.

Герджиков 1984 – *Герджиков Г.* Преизказването на глаголно действие в българския език. София, 1984.

Гълъбов 1964 – *Гълъбов Г.* Грамматика на турския език. София, 1964.

Демина 1959. – *Демина Е. И.* Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Основные вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.

Демина 1970 – *Демина Е. И.* Към историята на модалните категории на българския глагол // Български език. София, 1970. Год. XX. Кн. 5.

Демина 1973 – *Демина Е. И.* К вопросу о генезисе модальных категорий болгарского индикатива // Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. М., 1973.

Иванчев 1976 – *Иванчев Св.* Проблеми на развитието и функционирането на модалните категории в българския език // Помагало по българската морфология. Глагол. София, 1976.

Иванчев 1988 – *Иванчев Св.* Българският език – класически и екзотичен. София, 1988.

Лёч 1971 – *Лёч Р.* О специфическом характере грамматической интерференции, связанной с происхождением так называемых пересказывательных форм болгарского языка // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.

Мартине 1965 – *Мартине А.* Структурные вариации в языке // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. IV.

Попов 1967 – *Попов К.* Нови данни за произхода на преизказните глаголни форми в българския език // Език и литература. София, 1967. Год. XXII. № 6.

Стойков 1958 – *Стойков С.* Изчезване на имперфект и аорист в банатския говор // Славистичен сборник. София, 1958. Т. I.

Трифонов 1905 – *Трифонов Й.* Синтактични бележки за съединението на минало действително причастие с глагола «съм» в новобългарския език // Периодическо списание на Българското книжовно дружество в София. София, 1905. Кн 66.

Церуниан 1924 – *Церуниан К.* Курс османских разговоров. М., 1924. Т. I.

Цивьян 1992 – *Цивьян Т. М.* Концепт языкового союза и современная балканистика. М., 1992.

Цонев 1911 – *Цонев Б.* Определени и неопределени форми в българския език. София, 1911.

Fiedler 1966 – *Fiedler W.* Zu einigen Problemen des albanischen Admirativs. // Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Heft 3, 1966.

Weinreich 1963 – *Weinreich U.* Languages in contact. The Hague, 1963.

## **ОТРАЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА СЕРБОЛУЖИЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ**

Начало контактов серболужицкого языка с немецким относится к концу X в. – времени утраты серболужичанами своей политической самостоятельности. Именно тогда судьба серболужицкой народности оказалась тесно связанной с немецкой историей.

Взаимодействие серболужицкого языка с немецким пережило длительную историю, каждый этап которой имел свои особенности. Контакты двух языков усилились во времена внутренней колонизации земель к востоку от Солавы и Эльбы (XII–XIV вв.), в которой участвовали и лужицкие сербы. В некоторых районах Нижней Лужицы, к западу от берегов Эльбы и Солавы, значительная часть серболужичан в XIII–XV вв. была ассимилирована. Германизация охватила периферию основной части серболужицкой языковой территории (Kerngebiet). В центре же ее (к востоку от Эльбы) в XIII–XV вв. сформировалась более или менее компактная, особенно в Верхней Лужице, область серболужичан, где в конце XV в. они составляли более половины населения. Внутренняя колонизация, сопровождаемая изменениями в этническом составе населения, способствовала развитию немецко-серболужицких языковых контактов. Эти контакты, происходившие в специфических политических и социальных условиях, определили особые условия развития серболужицкого языка и культуры.

В течение длительного времени на серболужицкой языковой территории постепенно укреплялись позиции немецкого языка за счет

серболужицкого. При контакте двух различных этнических групп – немецкой и серболужицкой – специфические исторические условия развития серболужичан обусловили процесс постепенного формирования одностороннего двуязычия, при котором двуязычными становились только серболужичане. При разной степени влияния немецкого языка на серболужицкий, обусловленного в известной мере различной политикой церковной власти и официальной администрации на отдельных территориях, немецкий язык становился господствующим языком. Отметим, что в городах на серболужицкой языковой территории при смешанной структуре населения он был основным языком; в деревнях же, населенных серболужичанами, до конца XVIII в. он оставался вторым языком, а серболужицкий функционировал как основной разговорный язык.

В первой половине XX в. для серболужичан характерно состояние полного коллективного двуязычия, которое в разное время и на разных территориях переходит в немецкое одноязычие.

В настоящее время в большинстве населенных пунктов Верхней и Нижней Лужиц используются два языка: наряду с литературным немецким языком, просторечием и немецким диалектом здесь употребляются верхне- и нижнелужицкий литературные языки (письменные и устные формы), некодифицированные разговорные формы, близкие верхне- и нижнелужицким диалектам, письменные формы разговорного языка, употребляющиеся в частной переписке; верхне- и нижнелужицкие региональные формы (собственно верхне- и нижнелужицкие диалекты и так называемые переходные говоры).

Основным носителем серболужицкого языка является сельское население, которое в большинстве своем говорит только на том или ином серболужицком диалекте.

Литературными языками владеет незначительная часть населения, получившая знание серболужицкого языка в школе. Основная часть

серболужичан, владеющих серболужицкими литературными языками, сосредоточена в культурных центрах серболужицкой языковой территории и их окрестностях (Бауцен – Верхняя Лужица, Коттбус – Нижняя Лужица).

Немецкий язык – общегосударственный язык в Германии – основное средство общения в районах со смешанным немецко-серболужицким населением, при этом большинство населения немецкой национальности не говорит по-серболужицки, а все серболужичане владеют немецким языком. Доминирующее влияние немецкого языка проявляется во всех сферах коммуникации – на радио, телевидении, в торговле, просвещении, кино, здравоохранении, прессе, рабочих коллективах и т. д.

Взаимовлияние немецкого и серболужицкого языков и характер немецко-серболужицкого двуязычия проявляется по-разному в различных районах Лужицы. Так, в районах с компактным серболужицким населением (католические районы на западе верхнелужицкой территории) наблюдается переход от более комплексного двуязычия к более координированному двуязычию, при этом в немецком произношении среднего и старшего поколения отмечается сильное влияние серболужицкого языка, на других уровнях языковой системы – влияние немецкого языка. Представители молодого поколения владеют обоими языками, а взаимовлияние языков проявляется слабо. В культурных центрах серболужичан немецко-серболужицкое двуязычие характеризуется большей стабильностью. В протестантской части Лужицы (часть Верхней Лужицы, центральная часть Нижней Лужицы) серболужицкий язык является средством коммуникации лишь в некоторых сферах общественной жизни, и здесь совершается быстрый переход от комплексного немецко-серболужицкого двуязычия к немецкому одноязычию. В серболужицком языке среднего и старшего поколений, хорошо вла

деющими обоими языками, обнаруживается сильное влияние немецкого языка на всех уровнях языковой системы. Здесь определяющую роль играют региональные формы коммуникации (Ермакова 1988; Калнынь 1997; Jodlbauer 2001).

Характер немецко-серболужицкой интерференции при употреблении местного диалекта может быть различным в конкретных диалектах и часто определяется коммуникативной ситуацией; в большей степени он зависит от престижности серболужицкого литературного языка для носителя данного диалекта, находящегося под сильным влиянием немецкого языка.

Рост общественного престижа немецкого языка (ставшего общегосударственным языком для немцев и серболужичан) способствовал усилению его влияния на серболужицкий язык и превращению первоначально двустороннего характера немецко-серболужицкого двуязычия в односторонний: немецкий язык стал мотивирующим фактором развития серболужицкого языка и одновременно доминирующим источником интерференции. Под интерференцией мы понимаем общие языковые черты, явления, возникшие в результате языковых контактов. Различия, существующие между нормами двух языковых систем, вызывают трудности в одновременном владении ими, в результате чего у билингов возникают отклонения от норм каждого из языков. При этом характер интерференции зависит от ряда условий, как, например, от степени владения обоими языками, врожденных языковых способностей, методов изучения языков, от существования или отсутствия у говорящего пуристических установок или только стремления быть правильно понятым (что не предполагает строгого следования языковым нормам), степени терпимости к интерференции, обусловленной как индивидуальными особенностями, так и социально-общественными условиями коммуникации в данном двуязычном коллективе (Вайнрайх 1972: 27–28).



В условиях немецко-серболужицких языковых контактов в разное время и на разных стадиях развития двуязычия можно наблюдать как различные формы их проявления, так и результаты языковой интерференции – от попеременного употребления одного и другого языка в зависимости от ситуации коммуникации (переключение с одного языка на другой и обратно) до образования единой языковой системы или состояния языкового сдвига, замены одного языка другим, что в условиях немецко-серболужицкого двуязычия означает переход к немецкому одноязычию (это наблюдается, например, в ряде областей Лужицы, особенно на территории Нижней Лужицы)<sup>1</sup>.

Немецко-серблужицкая интерференция при доминирующем одностороннем влиянии немецкого языка на серболужицкий в разной степени проявляется на уровне составных частей языка и даже их компонентов – фонологии, лексики, грамматики, словообразования, синтаксиса.

Относительно высокой степени развития она достигает прежде всего в области серболужицкой лексики. Здесь наблюдается заимствование из немецкого языка не только отдельных слов, но и формирование из заимствованной лексики функционально связанных лексических слоев (например, для определения абстрактных понятий, относящихся к сфере церкви, культуры, науки и т. п.). В области серболужицкой грамматической системы немецкое влияние охватывает в большей степени отдельные фрагменты этой системы (например, отдельные категории и формы глагольной системы).

Немецко-серболужицкая интерференция по-разному проявляется в серболужицких литературных языках и в серболужицких диалектах. Немецкие заимствования в большей степени повлияли на облик серболужицкого народного языка, что является результатом живого общения серболужицкого и немецкого населения, незначительного влияния серболужицких литературных языков на языковую ситуа-

цию в диалектах, их невысокого (сравнительно с немецким литературным языком) престижа среди сельского населения серболужичан. В серболужичских диалектах наблюдается такой наплыв немецких заимствований, особенно в лексике, что иногда можно говорить об изменении «славянского облика» соответствующих диалектов при сохранении в основном серболужичского грамматического механизма, как наиболее формальной части языка.

Важность изучения немецко-серболужичской интерференции и ее результатов в современных серболужичских литературных языках определяется тем, что в них представлены германизмы как часть стандартизированной, относительно стабильной формы существования языка серболужичан на данном этапе истории. Их описание и характеристика может послужить своеобразной точкой отсчета для дальнейших наблюдений над динамикой процессов интерференции на территории распространения серболужичского языка. Изучение серболужичских литературных языков как стандартизированных вариантов серболужичского языка, сформировавшихся в условиях длительных немецко-серболужичских языковых контактов и доминирующего влияния немецкого языка в настоящее время приобретает для серболужичской народности особое значение «символа веры». В новых исторических условиях, когда встает вопрос о перспективах развития серболужичского языка и сохранении его своеобразия при взаимодействии не только с немецким языком, но и с языками других сообществ, а также с так называемым мировым языком, изучение результатов языковой интерференции в том виде, как они представлены в современных серболужичских литературных языках, имеет особое значение.

В современной соработке при отсутствии систематических исследований всех проявлений немецкого влияния на серболужичскую лексическую и грамматическую системы появился ряд работ, осве-

щающих некоторые проблемы немецко-серболужицкой языковой интерференции на материале серболужицких литературных языков и диалектов: характер влияния немецкого языка на словоизменение имени и глагола верхнелужицкого литературного языка (Лётч 1956), результаты немецкого влияния на глагольную систему на материале некоторых верхнелужицких диалектов, в частности в области глагольного вида и категории наклонения (Löttsch 1968; 1969; 1970). Ф. Михалк (Michałk 1963; 1968; 1969; 1971) исследовал результаты влияния немецкого языка на серболужицкий в области имени существительного, освещая, в частности, процесс использования и усвоения носителями серболужицкого языка международной терминологии при посредничестве немецкого языка. Ему принадлежат статьи, посвященные влиянию немецкого языка на серболужицкий в сфере синтаксиса (Michałk 1962a). Ф. Михалком была сделана попытка исследования вопросов языковой интерференции в ситуации конкретного говора с целью дать количественную оценку главным образом лужицко-немецкой интерференции на примере одного из серболужицких говоров переходного пояса с помощью специально разработанной методики (Michałk 1968). Речь шла о степени отклонения от нормы немецкого языка у двуязычных информаторов ряда верхнелужицких деревень.

Процессу расширения словарного состава серболужицкого языка в условиях немецко-серболужицкой языковой интерференции посвящен ряд работ Г. Шустера-Шевца (ср., например, Šewc 1975: 278–285), где автор определяет один из результатов серболужицко-немецких языковых контактов в области словообразования как слабое использование словообразовательных возможностей серболужицкого языка, которое ведет к их обеднению и ослаблению.

Вопросам развития словарного состава серболужицких литературных языков и проблеме немецко-серболужицкой интерференций

в этой области посвящен ряд работ таких лужицких лингвистов, как Г. Шустер-Шевц (Шустер-Шевц 1989; 1995; Šewc 1977a), Г. Енча (Енч 1989; Jentsch 1996; Jenč 2003). Большое значение в исследовании серболужицкой лексики имели исследования К. Бильфельдта (Bielfeldt 1933; 1968), а также Г. Шустера-Шевца, связанные с созданием этимологического словаря серболужицкого языка (Schuster-Šewc 1957–1981). Из работ нелужицких авторов отметим исследование Дж. Стоуна о лексических изменениях в верхнелужицком литературном языке в период национального возрождения (Stone 1968, 1971, 1985) и О. Б. Ткаченко о немецких заимствованиях в современном нижнелужицком литературном языке (Ткаченко 1995: 50–89).

Как показывает краткий обзор литературы, посвященной вопросам немецко-серболужицкой языковой интерференции, различные аспекты этой проблемы еще ждут своих исследователей.

В данной работе рассмотрено отражение немецко-серболужицких языковых контактов в области лексики, морфологии и частично словообразовании на разных этапах истории серболужицкого языка. Речь идет о степени и характере проявления влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки, а также об отношении носителей серболужицкого языка к германизмам. Основой описания процессов немецко-серболужицкой языковой интерференции послужил верхнелужицкий литературный язык. Это объясняется тем, что на начальном этапе развития серболужицких литературных языков явления, наблюдаемые в верхне- и нижнелужицком литературных языках, во многом совпадают и, учитывая ограниченные рамки статьи, не могут быть рассмотрены отдельно: нижнелужицкий материал привлекается в качестве дополнения и комментариев к явлениям немецко-серболужицкой интерференции в верхнелужицком литературном языке. Отметим также, что языковая ситуация в Нижней Лужице в 40-х годах XIX в. была неблагоприятной для развития нижнелу-

жицкого литературного языка: в этот период серболужицкий язык в прусской части Лужицы был изгнан из школы, а в церковной жизни использовался в очень ограниченной степени. Светская литература на нижнелужицком литературном языке появляется лишь в 60-е годы XIX в. Ее количество невелико, а по содержанию она представляет собой главным образом переводы произведений верхнелужицких авторов. Влияние верхнелужицкого литературного языка на нижнелужицкий проявляется на всех уровнях языковой системы, и особенно в лексике, и на современном этапе истории.

История отражения немецко-серболужицких языковых контактов в серболужицком письменном языке позволяет выделить несколько этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями.

**Первый этап** охватывает долитературный период развития серболужицкого языка (XVI – конец XVII в.) и начальный период развития серболужицких литературных языков: для верхнелужицкого – конец XVII – начало XVIII в. – до 40-х годов XIX в. Для нижнелужицкого литературного языка – начало XVIII в. – до 60-х годов XIX в.

**Второй этап** – с 40-х годов XIX в. (для верхнелужицкого литературного языка) и 60–80-е годы XIX в. (для нижнелужицкого литературного языка) – до запрета серболужицкого языка в период фашизма.

**Третий этап** – послевоенные годы, когда складывается новая языковая ситуация на всей территории Лужицы для развития серболужицкого языка и его литературных форм.

К XVI в. относятся самые ранние памятники серболужицкой письменности, связанные с периодом Реформации. В это время возникает верхне- и нижнелужицкая церковная письменность. Сложность и противоречивость языковой ситуации этого периода определялась двумя тенденциями – с одной стороны, существовала необходимость расширения влияния новой церкви на серболужичан, что

способствовало развитию письменного церковного языка даже в условиях германизаторской политики властей; с другой стороны, в связи с изменениями в этническом составе населения на серболужицкой языковой территории усиливается влияние немецкого языка, что находит отражение в процессе постепенного формирования двуязычия у серболужичан. В дальнейшем развитие билингвизма у носителей серболужицкого языка составляло фон, на котором появлялись, совершенствовались и функционировали различные формы серболужицкого языка, в том числе и литературные.

Уже на этом литературном этапе развития серболужицкого языка наблюдаются конкретные результаты немецко-серболужицких языковых контактов раннего периода. Первые верхнелужицкие (протестантские и католические) и нижнелужицкие переводы библейских текстов, появившиеся в связи с распространением учения М. Лютера, отражают сильное влияние немецкого языка. Практически речь шла о посредничестве немецкого языка в усвоении ряда понятий, при этом во многих случаях можно говорить о дословном переводе оригинального текста. Германизмы, особенно в лексике, представлены в названиях абстрактных религиозных понятий, множестве калек, гибридных и сложных слов, содержащих морфемы немецкого и лужицкого происхождения, часть которых свойственна и современным серболужицким диалектам. Ср., например, употребляемые в в.-луж. Агенде 1696 г. (Riotté 1959): Schuz (=Schutz), wobwarnowacz (=bewahren), domapytacz (=heimsuchen), hohre wsali, hohrebere (=annehmen, aufnehmen), falzna, firz tam, fromnych, hamt, herba, kelech, lejder, Majestetu, knjeni, Muttery, naturu, Pfararow, regiowacz, troszt, wachuje, zejch, ztand, ztundu, zrajisu, schoz (=Schatz); в н.-луж. Книге песнопений и Катехизисе Моллера 1574г.: stunse/stundy, Mordar, gnadu, Knechta, stroffu, Then P ropheta, Flamny, bamssoy (=bamž, нем. Pabst), kertzarstwu, keluch, kerlyssche, keyssoru, lust, trostwowachu (Schuster– Šewc 1958).

К грамматическим германизмам относится в первую очередь употребление указательного местоимения *tón, ta, to* и неопределенного местоимения *jeden, jedna, jedne* в качестве определенного и неопределенного артиклей. В этом отношении наиболее полное соответствие серболужицкого и немецкого языков представлено в верхнелужицком Катехизисе Варихия 1597 г. (Meуer 1923). В других ранних памятниках серболужицкой письменности наблюдаются разные степени такого соответствия. Для в.-луж. перевода 1696 г. характерны случаи пропуска названных артиклей в сопоставлении с немецким оригиналом (Riotte 1959: 54–55). В дальнейшем, ближе к концу XVIII в., употребление артикля сокращается, особенно в первых произведениях светской литературы. Но в ряде случаев (при субстантивированных прилагательных, причастиях, числительных и группах слов) обязательное употребление артикля сохраняется, в том числе и при образовании рамочной конструкции, состоящей из развернутого определения и определяемого им существительного, а также при простом определении и особенно при однородных адъективных определениях.

Под влиянием немецкого языка в с.-луж. памятниках раннего периода стали употребляться страдательные причастия прош. вр. от непереходных глаголов на *-nu, -tu* типа *radnuć – radnjenu, dorosć – dorosćenu, wukćeć – wukćetu* и т. д. вместо более ранних причастий прош. вр. на *-ł, -ła, -ło* (в немецком языке здесь не учитывается различие между переходными и непереходными глаголами). Но в н.-луж. Катехизисе А. Моллера 1574 г. зафиксирована форма на *-ł – wobrosli su*.

Под немецким влиянием вместо древнего префикса *su* начинает употребляться префикс *sobu* (=нем. *mit*): ср., например, *sobu – bratr, sobu – hić, sobu – pisać*.

Языку с.-луж. памятников раннего периода свойственны и конструкции с глаголом *wordować/wordowaś*.

По немецкой модели в в.-луж. Агенде 1696 г. образуются конструкции с глаголом *dać* (нем. *lassen*): ср. *njedaj so nam do grunta skazyć; njebudźe so dać posunuć twojima nogoma* (нем. *wird deinen Fuß nicht gleiten lassen*).

Ср. также употребление предлога *z* с Т.п. (*a wón budže z knjezom nad tebi*) в Агенде 1696 г., от которого позднее отказались. Немецкое выражение «*etwas Gutes*» переводится соответственно *něšto dobreho*, но *štož woni nam su zle činili* (вместо ожидаемого *zleho* в соответствии с нем. «*alles, damit sie uns beleidiget*»). Во многих случаях переводчик пытается отойти от дословного перевода.

Сильное влияние немецкого оригинала на серболужицкий перевод обнаруживается не только в протестантском культовом языке, отражавшем реформационные традиции, но и в первых в.-луж. католических переводах. Иногда оно даже более значительно, чем в протестантских переводах.

На первом этапе существования с.-луж. литературных языков влияние немецкого языка остается значительным. Эти литературные языки не могли составить конкуренции немецкому языку, что объясняется частично и их консервативностью. При отсутствии светской литературы с.-луж. лексика была представлена в основном церковной терминологией, в которой значительную часть составляли немецкие заимствования, различного типа кальки с немецкого языка, гибридные по характеру словообразовательные формы.

Успехи в развитии надрегиональных литературно-языковых норм в с.-луж. письменности, представленной главным образом переводами библейских текстов, становятся очевидными в первой половине XVIII в., хотя ряд внеязыковых факторов повлиял на то, что создание единой серболужицкой литературно-языковой нормы оказалось невозможным.



Создание наддиалектной нормы протестантского варианта на базе будышинского диалекта связано с именем М. Френцеля, осуществившего перевод Нового завета М. Лютера (1670–1706 гг.) (Frentzel 1993). Перевод Библии 1728 г. (Biblia 1728) в значительной мере является трудом М. Френцеля, и в дальнейшем он способствовал возникновению единого литературного верхнелужицкого языка.

Если первые переводы на серболужицкий язык дают представление о воздействии немецкого языка на соответствующий диалект, так как сами они были основаны на местных диалектах и были свободны от стремления к «очищению» языка, то при создании переводов, основанных на базе определенного диалекта (будышинского – для протестантского варианта в.-луж. литературного языка; куловского, а затем и кросчанского – для католического варианта в.-луж. литературного языка, кочезубского – для н.-луж. литературного языка), возникла необходимость отбора языковых фактов при выборе диалектной основы надрегиональной литературно-языковой нормы и учета языковых элементов других диалектов. Отметим, что при издании библейских текстов этого периода (например, н.-луж. перевода Нового завета 1709 г.) перевод на серболужицкий язык сопровождался параллельным немецким текстом.

Верхне- и нижнелужицкие переводы библейских и церковных текстов, свидетельствующих о воплощенной в них наддиалектной литературно-языковой норме, характеризуются сильным влиянием немецкого языка (ср. у М. Френцеля: *lezowac̣z/lazowac̣z, musyc̣z/derb-jec̣z, pabsch, rechnowac̣z*). Это влияние наблюдается не только в протестантских, но и католических переводах на верхнелужицкий язык. Часть немецких заимствований в лексике проникла в католическую литературу из соответствующей протестантской литературы. Но в ряде случаев в католических библейских переводах находим серболужицкие слова там, где в протестантских переводах употреблены

немецкие заимствования. Частично это объясняется различием в диалектных базах обоих вариантов.

Проникновение в верхнелужицкую письменность германизмов, а в некоторых случаях и прямых заимствований из латинского языка вело к усвоению определенного круга интернациональной (общеевропейской) лексики, связанной с церковной терминологией: верхнелужицкая художественная поэзия и проза появляются лишь во второй половине XVIII в. Производным от усвоения германизмов является процесс утверждения интернациональной лексики в серболужицких литературных языках. Часть этой лексики принадлежит общему фонду ряда европейских языков. Ср., например, заимствования, характерные для Латинско-лужицкого словаря Ю. Светлика (1721 г.), одного из основоположников католического варианта в.-луж. литературного языка (Michałk 1972): *abt, amarant, awtoritość, bormiśtr, bramnik, cepter, djaboł, eksempel, figura, formuju, general, halbaster, hantwark, hawtman, helement, helefant, kelušk, kips, koler, kronować, pfara, ploster, šminka, šnorkař, trometař.*

Как отмечает Ф. Михалк (там же 1972: 77), наблюдаемые в языке Ю. Светлика германизмы, вероятно, частично были типичными для народного языка его времени, а частично были книжными, что можно было бы объяснить стремлением переводчика сделать свой язык по возможности более понятным народу.

В языке Ю. Светлика отмечается множество калек с немецкого, которые свойственны и современным диалектам, особенно часто встречаются кальки немецких глаголов с отделяемыми приставками, которые представлены серболужицкими сочетаниями «наречие+глагол», например: *rubam dele, dele znjesu, dele hladam, stawam horje, zlězu horje, horje wopruju, zběham (so) horje, bjeru za džěčo horje, čahnu horje, džělu won, pjelnju won, won wołam, dycham won, čahnu nutř, běžu nutř, nutř zabiju, nošu nutř* (там же 1972: 83).

Кроме того, встречаются кальки типа *domach pótam, dźěržu wachu, radu dźěržu, wo rjanosć njesu, wo móc pžinjesu, tónsamy, porsćany kłobyčk* (там же 1972: 84).

В XVII–XVIII вв. наиболее ярко проявились различия между двумя вариантами верхнелужицкого литературного языка в области немецких заимствований: протестантская религиозная литература в отношении заимствований более консервативна, чем католическая, где пуризм проявил себя уже в 1862 г., в то время, как консервативный характер протестантского варианта сознательно сохранялся еще почти сто лет (там же 1972: 84–85). Ср., например, в протестантском переводе М. Френцеля *herzog* – у Ю. Светлика *wójtowa* и соответственно *rychtař* – *sudnik*, *loslist* – *list togo rozwěrwanja*, *hojchlarja* – *tajency*, *ploga* – *złósc* (там же 1972: 85).

В начальный период развития серболужицких литературных языков отмечается большое количество немецких заимствований, а также переводов немецких слов на серболужицкий по немецкому образцу с использованием серболужицких морфологических средств. Ср., например, из области терминологической лексики с абстрактным значением: *swyfl* (нем. *Zweifel*), *kumšt* (нем. *Kunst*), *eksempł* (нем. *Exempel*), *hnada* (нем. *Gnade*), *frejota* (нем. *Freiheit*), *fromny* (нем. *Fromm*), *fromnosć* (нем. *Frömmigkeit*), *swyflowaé* (нем. *Verdammen*); *srjedźicer* (нем. *Mittler*), *winowatosć* (нем. *Schuldigkeit*), *wopisać* (нем. *beschreiben*) (Jentsch 1996: 214–215).

В качестве основных германизмов в области грамматики, распространенных в этот период, можно отметить указанное выше употребление определенного артикля, образование форм будущего времени от глаголов *с/в* с *буду*, а также форм процессуального пассива с помощью глаголов *буć* и *буwać* (в соответствии с немецкими глаголами *sein* и *werden*) и причастий на *n/t*, которые представляют собой кальки с немецкого – настоящее время – *буwa+n/t*.

причастие // budžo+n/t причастие; будущее время – budžo bóć+n/t причастие.

В переводах М. Френцеля в соответствии с формами пассива у Ю. Светлика, образованными с помощью глагола *bywać* и *n/t* причастия находим формы так называемого косвенного пассива, например: *bywachu křćeni* у Ю. Светлика; *dachu so křćić* – у М. Френцеля. В более поздних изданиях Нового завета может употребляться и так называемый возвратный пассив, ср. например: *budžo ćisnjena* (Ю. Светлик), *budže ćisnjena* у М. Френцеля в соответствии с формой *so ćisnje* в издании Библии 1960 и 1966 гг.

Форма будущего времени пассива типа *budžo bóć+n/t* причастие, по наблюдениям Ф. Михалка, характеризует лишь произведения Ю. Светлика (перевод Библии и Перикопы 1690 г.), а в дальнейшем заменяется формой *budže + n/t* причастие.

Форма пассива настоящего времени типа *bywa+n/t* причастие синонимична форме типа *budžo+n/t* причастие, которая может употребляться и как форма будущего времени. Обе личные формы глагола (*bywa* и *budžo*) являются переводом немецкой личной формы глагола *wird*, которая в немецком языке выполняет тройную функцию–форму будущего времени от глагола *sein*, форму настоящего времени глагола *werden* и личную форму вспомогательного глагола *werden* при образовании аналитических форм пассива.

В переводе М. Френцеля и в переводе Библии 1728 г. формы пассива с *bywać* не выступают. Ее быстрому исчезновению из верхне-лужицкого литературного языка способствовало то обстоятельство, что в народном языке (за исключением куловского диалекта) этот глагол не употребляется.

Калька типа *budžo+n/t* причастие, напротив, могла удержаться надолго, так как она была известна в народном языке как форма будущего времени и в ряде случаев выступала в функции настоящего времени.

В начальный период развития с.-луж. литературного языка формы будущего времени типа «буду + инфинитив» образовывались от глаголов любого вида. Ср., например, у М. Френцеля *budže porodźić, budže zbožny sćinić, budža dóstać, budže zapłaćić, budžetaj wój namakać* (Michałk 1972: 89–90).

Как и в разговорном языке, этот период развития с.-луж. литературного языка характеризуется широким употреблением личного местоимения *wón, wona, wone...* в именительном падеже, хотя личная форма глагола уже указывает на лицо. Такое употребление данного местоимения объясняется влиянием немецкого языка. Для языка Ю. Светлика характерны конструкции, возникшие под влиянием употребления немецкого местоимения *es*, которое может выступать на месте субъекта, а также функционировать в роли субъекта и объекта. Влияние немецкого языка проявляется и в употреблении указательного местоимения *tón, ta, to* и неопределенного местоимения *jeden, jena, jene* в соответствии с употреблением немецких артиклей — определенного и неопределенного.

Ф. Михалк отмечает в языке перевода Нового завета Ю. Светлика употребление личного местоимения во всех случаях, где оно присутствует в немецком тексте. Эта же особенность характерна и для перевода Нового завета М. Френцеля.

В дальнейшем употребление личных местоимений, особенно характерное для языка Ю. Светлика, постепенно сокращалось, как в католическом, так и в протестантском вариантах в.-луж. литературного языка.

Влиянием немецкого языка обусловлены и некоторые явления, наблюдаемые в синтаксической структуре предложения в в.-луж. литературном языке. Так, в католическом варианте у Ю. Светлика наблюдается употребление в начале предложения местоимения *wone* в качестве заменителя субъекта в соответствии с немецким местоимением *es*. Различия заключаются лишь в том, что *wone* может стоять

как перед личной формой глагола, так и перед другим словом. Само местоимение *wone* может быть заменено на местоимения *wón*, *wona*, *woní* и т. д., если субъект не может быть выражен формой местоимения среднего рода, ед. ч., например, Mt. 7, 27: На wón přídže dešć dele... (нем. und es kam ein Regen herab); Mt. 8, 26 ...ha wona so sta jena wulka ćichota (нем. und es ward ganz still).

Частотность этого германизма сокращается в значительной степени уже в Перикопах 1750 г. В протестантском варианте этот германизм отсутствует, в том числе и у М. Френцеля.

В католическом варианте в соответствии с немецким местоимением *es* на конце относительного придаточного предложения выступает форма В.п. от *wone* – *je*. Ср. у Ю. Светлика: Mt. 11, 10: Přetož tutón je jo, wot kotrohož pisane jo... (нем. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht...).

В переводе М. Френцеля, а также в переводе Библии 1728 г. употребляется соответственно местоимение *tón*. Этот германизм отсутствует и в народном языке, где местоимение *to* употребляется как заменитель субъекта, например, у М. Френцеля Mt. 3, 3: Přeto tón samy je tón, wot kotreho tón profeta Esajas prawit je.

Влияние немецкого языка, а именно употребление немецкого определенного и неопределенного артиклей, проявляется в использовании лужицких указательных (*tón*, *ta*, *te*...) и неопределенных местоимений (*jeden*, *jedna*, *jedne*...) в соответствии с применением артиклей в немецком языке. Это явление свойственно народному языку, а частично и современному литературному языку.

Для раннего периода развития в.-луж. литературного языка характерна высокая частотность употребления «определенного артикля». Он употребляется в нескольких позициях: при существительном или субстантивной группе без предлога; при существительном или субстантивной группе с предлогом; при субстантивированных

адъективах; при личных именах и географических названиях; при субстантивных группах с притяжательным местоимением. Последняя позиция, по мнению Ф. Михалка, является лужицкой инновацией, не имеющей соответствия в немецком языке.

Между католическим и протестантским вариантами в.-луж. литературного языка различия в применении «определенного артикля» наблюдаются в частотности его использования в первых двух позициях. Этот германизм в католическом варианте распространен в большей степени, чем в протестантском варианте. В протестантском варианте не наблюдается употребление «определенного артикля» в субстантивных группах с притяжательным местоимением. В дальнейшем в католическом варианте устранение «определенного артикля» пошло значительно дальше, чем в протестантском, и свелось в конце концов к нулю.

По наблюдениям Ф. Михалка (там же: 96–97), частотность употребления «неопределенного артикля» на первом этапе развития в.-луж. литературного языка значительно уступает «определенному артиклю», тем более, что в ряде случаев трудно определить, является ли *jeden, jedna, jedne...* артиклем, числительным или местоимением. В католическом варианте, в языке Ю. Светлика и Перикопах 1750 г. «неопределенный артикль» употребляется часто; в протестантском же варианте он представлен с самого начала в минимальной степени. Ср., например: в переводе Ю. Светлика – *jena wulka žalosc* (Mt. 2, 18); *na jenu horu* (Mt. 5, 1), *jeden wusadny* (Mt. 8, 2) – в переводах 1728 и 1797 гг. соответственно *wele skoržbu, na hohru / na horu, wusadny*.

Влияние немецкого языка проявляется до известной степени и в употреблении серболужицких предлогов, при этом чаще в католическом варианте, чем в протестантском. Ср., например, в переводе Ю. Светлика употребление предлога *před* (нем. *vor*) с Т. п.: Mt. 3, 7:

čekać před tym přichodnym hněwom; в переводе 1728 г.; 1797: беспредложный Д. п. pschichodnemu niwu čzeknucź; njewu čzeknucź. Ср. также употребление предлога k в переводе Ю. Светлика и переводах 1728 и 1797 гг. Mt. 4, 3 ...te kamjenje budža k chłěbej sčinjene – te kamenje chłjeb budža; также у М. Френцеля ...te kamjenje chłěb byli. Ср. также употребление предлога nad: в переводе Ю. Светлика Mt. 7, 28 ...da dźiwachu so éi ludže nad tej joho hučbu. У М. Френцеля, в переводах 1728 г. и 1797 г.: ...dźiwachu sso ludžo jara jeho wuczbi.

Предлог ze (нем. mit) употребляется с Т. п.: dźelać z widłami, jěć z kolesom; z motyku kopać, pola su z njerodžu zarosćene.

Влияние немецкого языка на синтаксис в.-луж. переводов Библии на раннем этапе развития в.-луж. литературно-языковой нормы относительно незначительное. Это подтверждается наблюдениями над особенностями построения предложения как в переводах Ю. Светлика, так и в переводах М. Френцеля, т. е. в обоих вариантах верхнелужицкого литературного языка, но в католическом варианте влияние немецкого несколько больше, чем в переводе М. Френцеля.

В указанных переводах отмечается конечная позиция глагола, личной формы вспомогательного глагола в придаточных предложениях; рамочная конструкция предложения; позиция личной формы глагола перед субъектом в вопросительных предложениях и в утвердительных предложениях после объекта или адвербиального обстоятельства. Ср., например, соответствующие фрагменты в переводах Ю. Светлика (а), М. Френцеля (б), переводах 1728 и 1797 гг. (в): 1) Mt. 2, 9 а) ...hdyž tego krala słyšeli běchu... б) Jako woni teho krala běchu słyšeli... / Jako woni teho kraal ssłyscheli bjechu; 2) Mt. 2, 19: а) Hdyž pak Herodes wumrěł bě... б) Jako pak Herodes běše wumrěł... в) Jako pak Herodas wumrěł bješe... Ср. Перикопы 1750 г. – Hdyž (pak) běše Herodas wumrěł.



Порядок слов, характерный для немецкого языка, в в.-луж. (католических и протестантских) и н.-луж. переводах Библии не используется последовательно.

Для н.-луж. литературного языка XVII–XVIII вв. отмечаются те же германизмы, что и в в.-луж. текстах. Ср., например, в лексике: в грамматике 1761 г. Гауптмана находим *ten Brust, ten Camsol, ten Banner, jaden Compan, ten Artiki, ten Floß* (нем. *der Fluß*), *ten Grunt, die Gasse, ta Sacha, ta Gluka, ten Hampt, moi Schuz a Rettowańe*.

**Второй этап** развития серболужицко-немецких языковых контактов и соответственно второй этап, переломный, в развитии германизмов в серболужицких литературных языках, начинается в 40-х годах XIX в. В это время впервые выдвигается лозунг «очищения» серболужицких литературных языков от «чужих» элементов, прежде всего, от германизмов. Появляются стимулы и условия для развития серболужицкой литературы светского содержания, прессы, культуры, развитие которых требовало изменения консервативного характера с.-луж. литературных языков. Издание популярных произведений на серболужицком языке стало основной задачей Серболужицкой матицы, созданной в 40-е годы XIX в. В связи с этим возникла необходимость выработки новых орфографических норм формирующегося в.-луж. единого литературного языка, расширения его лексического состава и совершенствования на всех уровнях языковой системы на основе научного изучения как самого литературного языка, так и народного языка серболужичан, который рассматривался деятелями серболужицкого возрождения в качестве критерия «чистоты» языка, базы для корректирования и обоснования вырабатываемых норм с.-луж. литературных языков на новом этапе развития.

При существующих особенностях серболужицких литературных языков к началу XIX в. речь в первую очередь шла об их «очищении», защите от внешних влияний и, прежде всего, от усиливающегося

гося влияния немецкого языка, освобождения от немецких элементов, многие из которых заняли прочное место в серболужицком языке в связи со специфическими условиями предшествующего исторического развития серболужичан.

Наряду с «очищением» от немецких заимствований проводилась и политика определенной реславянизации, которая, как и «очищение» от германизмов, должна была привести к приобретению серболужицкими литературными языками славянского характера.

В 40-е годы XIX в. на фоне развития светской литературы, периодической печати, формирования отношения к языку как объекту научного исследования у создателей серболужицкой светской литературы и научных работ появляется необходимость в выработке принципов отбора грамматических и лексических средств. Пуристические тенденции, начавшие проявляться в 40-е годы XIX в., действовали в течение длительного времени, включая и послевоенные годы (Ермакова 1998; 2000; Stone 1968).

«Очищение» письменного языка проявилось в отказе от германизмов на всех уровнях литературно-языковой нормы, при этом речь идет прежде всего о в.-луж. литературной норме. Как уже отмечалось выше, нижнелужицкая светская литература появляется лишь в 60–80-е годы XIX в. Неблагоприятная политическая ситуация в Пруссии, где серболужицкий язык и культура подвергались особенно сильному гонению, обусловили менее интенсивное развитие н.-луж. литературного языка, который до середины XIX в. остается на уровне ранних церковных произведений. Н.-луж. светская литература была представлена главным образом переводами произведений верхнелужицких авторов. Этим можно объяснить и сильное влияние на нее в.-луж. литературного языка на всех уровнях языковой системы и особенно в лексике. При этом в н.-луж. литературном языке значительно меньше, чем в верхнелужицком, проявлялись пуристические тенден-

ции; в лексике сохраняется много старых немецких заимствований (Ткаченко 1995).

В период с.-луж. национального возрождения речь шла о сокращении не только состава немецких заимствований в с.-луж. литературной лексике, но и состава калек с немецкого. Из заимствований, характерных для предыдущего периода, сохраняются главным образом термины из церковно-религиозной сферы и некоторые германизмы из бытовой сферы (*warnować, hnada, żohnowanje, zatamać*). Значительную часть новой лексики составили европеизмы и интернационализмы, вошедшие в употребление при посредничестве немецкого языка. Ср. также новые германизмы, вошедшие во все словари: *bryła, štrumpa, tinta, tefła/tofl, Heleifanta, byrgar, forman, harfa*.

О результатах действия пуристических тенденций в XIX в. в период национального возрождения дает представление первый лексический компедиум в.-луж. литературного языка, созданный Х. Т. Пфу-лем (Pfuhl 1968) при участии крупных деятелей с.-луж. национального возрождения. В нем зафиксированы неологизмы, заменившие употреблявшиеся до сих пор германизмы: например, *štunda* → *hodźina*, *tawzynt* → *tysac*, *lasować* → *čitać*, *cwyfel/cwyfl* → *dwěl*, *rachnować* → *ličić*, *wajchtař* → *straźnik*, *loft* → *powěťř*, *frejota* → *swoboda*, *zejch* → *znamjo* и т. д. Изменения происходят в употреблении так называемых гибридных форм и сложных слов, образованных с участием немецких элементов: ср. вместо *hawptměsto* → *hłowne město*, *hejgenwola* (Eigenwille) → *swojowola*, вместо протестантского (h) *eksempł* → *přikład*, характерный для католического диалекта (Ермакова 2000).

Отметим, что с.-луж. диалекты не были столь значительно затронуты подобного рода изменениями, да и в литературных языках после 1840 г. сохранилось множество германизмов, которые употребляются вплоть до наших дней. Ср. *blach* (Blach), *butra* (Butter), *trošto-*

wać (trösten) warnować, parować, hnada, žohnowanje, zatamać, fakla, štrympa, hamor, knefl, špihel и др.

Появились и новые германизмы, ср., например, bryla, štrumpa, tinta, tafla/tofl, helefanta, Bургar, fóрман, bjelda.

В период национального возрождения лексический состав с.-луж. языка пополняется в области таких терминологических систем, как абстрактная лексика, животный мир, общественно-политическая лексика, лексика, связанная с образованием, воспитанием, наукой; административная лексика, искусство, лингвистическая терминология, эмоциональная и интеллектуальная деятельность человека, лексика, связанная с понятиями времени; терминология промышленная, техническая и финансовая; географическая, названия месяцев и т. д. (Stone 1971; Трофимович 1989).

Благодаря сознательной борьбе с чрезмерным влиянием немецкого языка в 40-е годы XIX в. значительно сокращается состав немецких заимствований в с.-луж. литературной лексике, изменяется состав калек с немецкого: ср. вошедшие в употребление после 1940 г. wukraj (нем. Ausland), přědskok (нем. Vorsprung), lětdžesatk (нем. Jahrzehnt), wobdarjenu (нем. begabt), rozestajić (нем. auseinandersetzen ‘объяснять’) (Stone 1971; Jenč 2003).

Пуристические тенденции действовали на протяжении всей истории развития с.-луж. литературных языков, что нашло свое отражение в лексикографических трудах начала XX в. (словари Ф. Резака, Ю. Краля). Это было высшим проявлением защиты народной самобытности в специфических условиях с.-луж. языковой ситуации и формирования единого в.-луж. литературного языка. Отметим, что пуризм лексикографов носил более экстремальный характер, чем пуризм писателей, и часто вел к исключению из словаря не только явных германизмов, но и европеизмов (или интернационализмов, имеющих латинские и греческие корни). В этот период уходят неко-

торые глагольные конструкции, где вместо обычного префикса в славянских языках употребляется наречие. Ср. *nutřwidžeć, pŕjódknjesć/pŕědnjesć, pŕjeduryć, horjećahnyć, wonkawostajić* – соответствия *dowidžeć, pŕědnjesć, pŕedřeč, pŕedślowo, woćahnyć, wuwostajić*.

Подобные сложные глагольные словообразования сохраняются в диалектной речи.

Пуристические тенденции проявились и на грамматическом уровне. Лишь в некоторых случаях можно говорить об определенном сужении употребления грамматических германизмов, но большая их часть сохраняется и в период возрождения. Например, применение указательного местоимения *tón, ta, to*, количественных числительных в атрибутивном употреблении, отрицательного местоимения *žadyn* и др. На искоренение грамматических германизмов были направлены реформы, предложенные Смолером, Йорданом, Пфулем. Они выступали против некоторых аналитических форм перфективных глаголов, в частности форм пассива с помощью заимствованного глагола *wogdować* (нем. *werden*). При этом меньшее внимание уделялось очищению с.-луж. синтаксиса, хотя, по мнению с.-луж. поэта Я. Барта-Чишинского, именно в этой области языка немецкий пустил особенно глубокие корни. Деятельность пуристов в период национального возрождения имела противоречивый характер, тем более, что большую роль играла субъективная позиция того или иного учёного по отношению к лексическим и грамматическим германизмам. Установка на реславянизацию с.-луж. литературных языков вела к отрыву этих языков от народного языка серболужичан, так как большая их часть пользовалась своим родным диалектом наряду с немецким языком и оставалась пассивным адресатом, на язык которого с.-луж. литературный язык не оказывал заметного влияния, а немецкий язык в значительной степени выполнял для серболужичан функции литературного языка. Несмотря на все усилия серболужицких писателей

уже в предвоенные годы на фоне развивающегося билингвизма носителей с.-луж. языка, растущего влияния немецкого языка появляются основания говорить о значительном упадке с.-луж. литературных языков. И, конечно, огромную отрицательную роль в их судьбе сыграл факт насильственного перерыва в живой традиции этих языков, запрет на с.-луж. язык в период фашистской диктатуры.

**Третий этап** в истории серболужицких литературных языков и немецко-серболужицких языковых контактов начинается в новых исторических условиях послевоенной Германии. В рамках этого этапа также можно выделить периоды, характеризующиеся определенными особенностями, которые в значительной степени связаны с постоянно изменяющейся языковой ситуацией на территории распространения серболужицкого языка, с отношением к литературно-языковой норме самих носителей языка, с развитием разговорной формы серболужицкого языка. В последние годы по-новому встал вопрос о роли языковой интерференции в пределах регионов, отличающихся по плотности серболужицкого населения: ср., с одной стороны, сельские районы Верхней Лужицы, культурные центры Верхней и Нижней Лужицы (которые обычно являются объектом исследования при определении жизнеспособности серболужицкого языка, его потенциала и перспектив развития) и, с другой стороны, районы с преобладающим немецким населением, особенно в Нижней Лужице.

Характерно, что некоторые исследователи видят единственный шанс и гарантии сохранения серболужицкой языковой субстанции в развитии литературных языков, особенно нижнелужицкого и его разговорной формы и влиянии на нее верхнелужицкого литературного языка. В этом круге вопросов изучение немецко-серболужицкой языковой интерференции остается важной проблемой сорабистики. Изучение лексики современных с.-луж. литературных языков предполагает выяснение судьбы германизмов, проч-

но вошедших в литературные языки и включенных во все словари; определение состава германизмов, продолжающих употребляться, хотя и исключенных из словарей; германизмов, которые на определенном этапе были заменены лужицкими терминами, а затем, получив специальное значение, снова вошли в употребление; германизмов, несмотря на усилия пуристов заменить их лужицким словом, остающихся в употреблении, хотя соответствующий им лужицкий термин имеет несколько иное значение; германизмов, продолжающих существовать в серболужицких литературных языках наряду с лужицким термином.

Расширение словарного состава серболужицких литературных языков тесно связано с особенностями немецкого словообразования. Для этого процесса характерно стремление обойтись без прямого заимствования из немецкого языка (как это наблюдается в диалектах), за исключением интернационализмов типа *kino*, *klima*, *majs* и т. д. На влияние немецкого языка указывает один из главных способов образования новых слов – словосложение (сочетание двух основ с помощью соединительной гласной или образование типа сращения; сочетание прилагательного с существительным или двух прилагательных; широкое распространение калек с немецкого, в том числе сложных наименований, выраженных сочетанием прилагательного с существительным, наряду с развитием универбизации, в результате которой образуется один (а не два) термина для выражение определенного содержания (Šewc 1975). Ср., например, *zynkopask*, *słowoslěd*, *žywjenjoběh...*; *dalokowid*, *starowěk*, *młodogramatikar...*; *staromodny*, *wulkomyslny...*; *zemjepis*, *rěčespyt...*; *wěryhódny*, *wšehomócnu...*; *třiróžk*, *ludličenje*, *mjezybilanca*, *sobustaw*, *sněhběły*, *zasowidženje*, *wokołopuć...*; *spanska spa*, *husaca kwětka*, *jězbný plan*, *sadowy štom...*; *jězdný lisćik* → *jezdženka*, *sadowy štom* → *sadowc*, *spanska stwa* → *lěharnja...*

Немецкий язык (особенно его диалекты) оказал большое влияние и на распространение суффикса -ag в верхнелужицком литературном языке. Влияние это было продолжительным и проявилось в общей активизации этого суффикса на почве серболужицкого языка, хотя, как отмечает Г. Шустер-Шевц, и в самом серболужицком языке есть предпосылки для расширения образования имен действующего лица с помощью суффикса -ag. Этот способ образования слов со значением лица является высоко продуктивным и наиболее характерной чертой серболужицкого языка. Ср., например, *lëtar, skotar, pjeriznar...*

В области словообразования длительное и интенсивное двуязычие серболужичан привело, по мнению некоторых исследователей (Šewc 1975), к известному обеднению словообразовательных средств собственно с.-луж. литературных языков в результате ослабления словообразовательных способностей у носителей серболужицкого языка.

Поскольку ситуация коллективного двуязычия требует сознательного отношения к образованию новых слов и терминологии, то для сохранения серболужицкого языка как живого и полноценного средства общения необходимо по возможности полное использование средств с.-луж. языка.

В современных с.-луж. литературных языках некоторые несъемные прилагательные заимствованы или образованы по немецкому образцу: ср. *fajn, prima, blond, njeboh*, наречное слово *gady* (нем. *gern*), *parjedań, bosy* и т.д.

В области грамматической структуры влияние немецкого языка на серболужицкие литературные языки наиболее ярко проявляется в серболужицкой глагольной системе: в образовании отдельных форм и в характере отдельных фрагментов глагольной системы.

Так, грамматическая категория залога представлена двумя рядами прямых и косвенных *Genega verbi* в активе и пассиве, т. е. располагает большим набором формальных средств для выражения различных



залоговых отношений, чем в других славянских языках. В частности, она включает специальные грамматические формы, указывающие на то, что S не выступает собственно производителем действия, а является его инициатором, желающим и способствующим его совершению (Faßke 1981; Ермакова 1990, 1992). Ср., например, формы косвенного актива и косвенного интранзитива, которые образуются с помощью сочетаний вспомогательного глагола *dać* (*dawać*) со, его личных форм во всех временах и наклонениях, с инфинитивом полнозначного глагола: ср. в.-луж. наст. вр. *dam* (*wu*)*dźětać*; буд. вр. *budu* (*wu*)*dźětać dać*; претеритум *dach* (*wu*) *dźětać*; перфект *sym* (*wu*)*dźětać dał*. Косвенный интранзитив *Da so dźělić*. Ср. немецкие образования с модальным глаголом *lassen* + инфинитив типа *Er lässt den Motor anlaufen* «Он запускает мотор»; *Sie läßt sich ein neues Kleid nähen* «Она заказала /ей шьют/ новое платье».

В с.-луж. литературных языках противопоставлены два ряда глагольных образований – аналитических форм пассива со значением процессуальности, образованных формами вспомогательного глагола *bu*+*n/t* причастие, и синтаксических конструкций, немаркированных в отношении этого признака и представленных сочетанием личных форм глагола *być/ byś* с *-n/t* причастиями, что в известной степени напоминает ситуацию в немецком языке: немецкие формы пассивного залога, образованные с помощью глагола *werden* и причастия II спрягаемого глагола, обычно имеют процессуальное значение; синтаксические конструкции, образованные сочетанием личных форм глагола *sein* и причастия II переходных глаголов, как правило, употребляются со статальным значением: ср. *Das Fenster wurde geöffnet* = *Das Fenster war geöffnet*; в.-луж. *wón bu bity* «его били» и *Durje su zawrjene* «двери закрыты».

Под влиянием немецкого языка в с.-луж. литературных языках широкое распространение получили формы косвенного пассива, образованные с помощью глаголов *dostać/dóstawać* и страдательного причас-

тия смыслового глагола (в в.-луж. разговорном языке и диалектах *krydnúć* (нем. *kriegen*) + причастие).

В с.-луж. литературных языках, хотя и в меньшей степени, чем в разговорном языке и диалектах, могут использоваться конструкции, которые, по мнению Г. Фаске (Faßke 1981: 332), возникли под влиянием немецкого языка, где пациенс действия в отглагольном существительном проявляется как прямой объект – ср., например, немецкое сложное слово *Kartoffellessen* – в.-луж. *běrnzyběranje, chodojtypalenje, swinorězanje, kartyhraće*.

Употребление простых форм прошедшего времени – аориста и имперфекта – в в.-луж. литературном языке соответствует немецкому языку: они применяются главным образом в повествовании, формы же перфекта обычно свойственны диалогической речи персонажей литературного произведения.

Проблема категории вида в серболужицком языке в разное время разными исследователями решалась по-разному. Иногда речь шла об утрате грамматической категории вида в серболужицком языке под влиянием немецкого языка, где она вообще отсутствует (Лётч 1956). Существование категории вида было аргументированно доказано в работах Ф. Михалка и Г. Фаске (Michałk 1959; Faßke 1981; Michałk 1962; Faßke 1964; Faßke-Michałk 1963). В виде предположений высказывалось мнение, что влияние немецкого языка на серболужицкие литературные языки в области категории вида может проявляться в некотором ослаблении ощущений в видовых различиях и сужении диапазона ее действия в этих языках (ср., например, употребление в серболужицком глаголов совершенного вида при обозначении узального действия) (Löttsch 1968).

Существует точка зрения, что в с.-луж. системе залогов и во временной системе в процессе языковой интерференции проявляется тенденция установления полного или частичного соответствия

(функционального или даже формального) между отдельными категориями немецкого и серболужицкого языков, т. е. тенденция к максимальному их сближению (там же).

Однако явные отличия наблюдаются в формальной структуре аналитического претерита в немецком и серболужицком языках: в немецком он образуется с помощью вспомогательных глаголов *haben* или *sein* + причастие II, а в серболужицком ему соответствует форма, состоящая из вспомогательного глагола *być* (в.-луж.) / *byś* (н.-луж.) + так называемые формы на *-Ń*.

В немецком языке перфектное и аористное значения претерита формально последовательно различаются только в пассиве, в активе же оба значения чаще всего выражаются формой перфекта, а конкретное их значение определяется контекстом и ситуацией. В серболужицком языке формы претерита с перфектным и аористным значением противопоставлены формально не только в пассиве.

Формально соответствует немецкому языку и с.-луж. аналитическая форма *nam parisaŋe* с перфектным значением (наряду с *sym parisaŋ*), но функционально она не идентична немецкой форме и не может иметь аористного значения (там же).

Как и в немецком языке, различие между пассивом и рефлексивными формами интранзитива заключается в том, что сигнализация перфектного значения обязательна только в пассиве (ср. формы *su woblecęne*). Р. Лётч приходит к выводу, что под влиянием немецкого языка в серболужицком образовалась такая система *Genera verbi*, которая позволяет говорить о существовании в лужицком третьей системы, отличной от немецкой, но возникшей в серболужицком под ее воздействием.

Длительные языковые контакты немецкого и серболужицкого языков, по мнению некоторых исследователей (Radłowski 1968), могут иметь кардинальные последствия для серболужицкого языка с

точки зрения принципиальных изменений в структуре глагола, в частности, в ликвидации такой важной грамматической категории, как категория вида, путем замены видовой оппозиции, создаваемой бесприставочными глаголами, глагольными образованиями, включающими наречия. Последние используются для семантической модификации глаголов и могут интерпретироваться как конкуренты глагольных приставок. Ср. в немецком, где у значительной группы глаголов господствует принцип раздельности приставки и глагола. В этой функции в серболужицком специализируются наречия *dele*, *deleka(ch)*, *horje*, *horjekach*, *domoj*, *doma*, *hromadže*, *hromadu*, *nutř*, *prěki*, *sobu*, *wokoło*, *won*, *róžno*. Ср. примеры образований с этими наречиями и конкурирующих с ними префиксальных глаголов: в.-луж. *zestorkać* – *hromadže storkać*, *roztorhać* – *róžno torhać*, *zašić* – *nutř šić*, *wudać* – *won dać*, *wotwozyć* – *preć wozyć* и т. д.; ср. *wokoło běhać* (нем. *herumlaufen*), *prěc wzać* (нем. *wegnehmen*), *won ćahnyć* (нем. *herausziehen*) (Faßke 1981: 528–529). В литературном языке такое использование наречий в качестве конкурентов глагольных префиксов наблюдается там, где отсутствуют глагольные приставки с таким же или подобным категориальным значением. Подобные наречия могут стоять в конце предложения, как отделимые приставки в немецком языке (там же: 529).

В результате языковой интерференции в этой области грамматической структуры из двух подсистем, основанных на немецком и серболужицком материале, возникает одна интегрированная система. При этом новая префиксация не предполагает автоматической ликвидации старых словообразовательных оппозиций, выражающих грамматическую категорию вида. Значение глаголов, образованных новыми префиксами, полностью включает в себя значение немецких глаголов, т. е. *horje wzać* это не только *přijeć*, но и «*ein Aufnahme machen*» (Radłowski 1968: 92).

С лужицкими глаголами в этой функции могут выступать заимствованные немецкие приставки *fort, los, an, ran, dran, nach, rüber, hin* и др., употребляемые попеременно наряду с лужицкими. Новые приставки обнаруживают тенденцию к неразделимому объединению с глаголом (ср. в отлагольных существительных, а также в словообразовании существительных и прилагательных, например, *horjestaće, horjewzaće*).

Из германизмов в системе серболужицкого глагола можно отметить еще встречающиеся в литературном языке (но характерные главным образом для народного языка) аналитические формы буд. вр. от глаголов с/в типа *budu zwarić*, а также предпочтительное употребление в повелительном наклонении конструкций с морфемой *njech*: они являются обязательными и не заменяются формой императива 3 л., если референт субъекта предложения является конкретным лицом, например: *njech Jan čita!* (нем. *Laß das Kind spielen!*).

Относительно высокая частотность императива 3 л. непосредственно связана с влиянием немецкого языка, который не знает императива 3 л. и применяет конъюнктив I (=императиву 2 л. ед.) и выражает или безразличие говорящего, или желание, направленное на безличный, неопределенно-личный агент или сверхестественное существо. В лужицком языке находим в этом случае императив 3 л.: *čert jeho bjef!* (нем. *hole ihn der Teufel!*).

В составе лужицких модальных глаголов отмечается заимствованный из немецкого языка глагол *dyrbjeć* (нем. *dürfen*), употребляемый в значении нем. *müssen*. Глагол *njetrjebać* используется в значении нем. *brauchen* только с отрицанием и является антонимом к *dyrbjeć*; *měć* – в значении нем. *sollen*, *dać* – в значении *lassen*; *směć* – в значении нем. *dürfen*.

Как в немецком языке, лужицкие модальные глаголы часто употребляются в формах инфинитива или сложного будущего, выражающего предположение.

Как правило, глаголы образуют с/в путем добавления приставки: *bić-rozbić*, *ŗebić* и т.д. Исключение в основном составляют глаголы, построенные по немецкому образцу: ср. в.-луж. н/в *wobknjeżić* ‘владеть’, *wurpadać* ‘выглядеть’.

Влияние немецкого языка в некоторых случаях наблюдается в изменении глагольного управления: в.-луж. *zub mje boli* (Ак.) → *zub mi boli* (Д) (нем. *tut mir weh*).

В послевоенные годы (1940–1950-е) сложная языковая ситуация в Лужице потребовала подъема авторитета и престижа серболужицких литературных языков и создания произведений художественной и научной литературы непосредственно на литературном языке серболужичан, а не через стадию немецкого (с последующим переводом на серболужицкий); выработки правильной языковой политики, которая могла бы воспрепятствовать проникновению в литературный узус немецких заимствований; ограничения негативного влияния немецкого языка на функционирование литературного языка серболужичан; правильной оценки употребляющихся в литературном языке германизмов, хотя многие из них стали составной частью серболужицких литературных языков и не нашли соответствующего места в словарях: ср., например, *toša, toška* (нем. *Reise-, Handtasche*), *wata* (нем. *Watte*), *sej wumolować* (нем. *malen*). Некоторые заимствования используются лишь как стилистическое средство для придания литературному стилю разговорного характера, в то время как в нейтральном стиле употребляются соответствующие серболужицкие слова (ср. *koštować – płacić*).

Целый ряд причин, в том числе экстралингвистического характера – дискриминация серболужичан в Пруссии, урбанизация Нижней Лужицы, ассимиляционные процессы, слабое развитие своей интеллигенции, ощущение недостаточного признания нижнелужицкого литературного языка как обладающего самостоятельной ценностью и

статусом, – повлияли на ускорение в ряде районов Нижней Лужицы перехода через стадию двуязычия к немецкому одноязычию.

Большое значение для дальнейшей судьбы серболужицкого языка и его литературных форм приобретает в новых исторических и экономических условиях не только немецко-серболужицкая интерференция, но и языковая интерференция в широком смысле слова. Речь идет о расширяющемся взаимодействии серболужицкого языка с языками других сообществ и с так называемым мировым языком, в роли которого выступает английский язык.

В условиях тенденций глобализации господствующая роль немецкого языка как общегосударственного языка Германии определяет возможный ускоренный переход через стадию двуязычия к немецкому одноязычию.

### Примечания

<sup>1</sup> С развитием немецко-серболужицкого двуязычия связана проблема описания того особого кода, который возникает в результате контакта серболужицкого и немецкого языков. Так, Л. В. Щерба (Щерба 1915; Ščerba 1926: 1–19) полагал, что в результате идентификации лексического значения немецкого и лужицкого слова возникает система, в которой одному означаемому соответствует два означающих. С точки зрения конвергенции языков (Розенцвейг 1972: 7–8) в результате интерференции происходит изменение контактирующих языков в сторону обобщения их характеристик. При описании интерференции возможно составить представление о соотношении родного и неродного языка билингва в процессе языкового контакта. В противопоставлении интерференции в речи при переключении с одного языка на другой интеграции двух контактирующих языков (интерференции в языке) выражается сущность точки зрения У. Вайнрайха (Weinreich 1953: 11).

По мнению лужицкого лингвиста Ф. Михалка (Michałk 1968, 103), у У. Вайнрайха речь идет по существу о синхронной и диахронной интерференции, которую можно наблюдать как на уровне речи, так и на уровне

языка. В случае же немецко-серболужицкой интерференции и ее результатов, с точки зрения Ф. Михалка, речь идет не об одном смешанном языке, а только о двух языках, влияющих друг на друга, так как в каждом из языков слово или грамматическая форма вызывает различные виды ассоциаций и имеет иную дистрибуцию, полисемию и синонимику (Michałk 1968: 102–103). Поэтому в случае синхронной интерференции с точки зрения системы языка, испытывающей влияние другого языка, наблюдаются дополнительные факультативные варианты как результат языкового контакта и интерференции.

Польский лингвист М. Радловский (Radłowski 1968: 85) признает известную правоту точки зрения Л. В. Щербы лишь в отношении интерференции в области лексики, но сомневается в ее безоговорочном применении в области грамматики, так как в каждом языке каждая грамматическая категория имеет свой набор различительных признаков, отличный от набора признаков соответствующей категории в другом языке (ср., например, серболужицкую и немецкую глагольные системы). Конвергентное переустройство контактирующих языков действует по принципу экономии, направленному на полную идентификацию немецкой и серболужицкой структур (в частности глагольных). Направление же процесса «опрощения» определяют внеязыковые факторы – престиж языка, степень знания билингвами обоих контактирующих языков, частота их употребления и сферы применения (Radłowski 1968, 89)

### Литература

Вайнрайх 1972 – *Вайнрайх У.* Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Языковые контакты. М., 1972. Вып. IV

Енч 1989 – *Енч Г.* О развитии лексической нормы верхнелужицкого литературного языка со второй половины XIX в. до настоящего времени // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Ермакова 1988 – *Ермакова М. И.* Особенности функционирования современных серболужицких литературных языков // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988.



Ермакова 1990 – *Ермакова М. И.* Синхронно-сопоставительная характеристика категории залога в серболужицких и русском литературных языках // Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990.

Ермакова 1992 – *Ермакова М. И.* Так называемые прямые genera verbi в серболужицких и русском литературных языках // *Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich.* Warszawa, 1992.

Ермакова 1998 – *Ермакова М. И.* Проблемы развития верхнелужицкого литературного языка в период национального возрождения // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998.

Ермакова 1999 – *Ермакова М. И.* Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации // Проблемы славянской диахронической социолингвистики и динамика литературно-языковой нормы. М., 1999.

Ермакова 2000 – *Ермакова М. И.* Роль пуризма в истории верхнелужицкого литературного языка // *Folia slavistica.* Пале Михайловне Цейтлин. М., 2000.

Калнынь 1997 – *Калнынь Л. Э.* Особенности языковой ситуации в Нижней Лужице как следствие языковой ассимиляции // Славяноведение. М., 1997. № 12.

Лётч 1956 – *Лётч Р. О.* О характере влияния немецкого языка на словоизменение имени и глагола верхнелужицкого языка / *Дипломная работа.* Л., 1956.

Розенцвейг 1972 – *Розенцвейг В. Ю.* Языковые контакты. М., 1972.

Ткаченко 1995 – *Ткаченко О. Б.* Лексические германизмы современного нижнелужицкого литературного языка // Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1995.

Трофимович 1989 – *Трофимович К. К.* У истоков терминотворчества в верхнелужицком литературном языке // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Щерба 1915 – *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Петроград, 1915.

Шустер-Шевц 1989 – *Шустер-Шевц Г.* Возникновение современного верхнелужицкого литературного языка в XIX в. и проблема влияния чешской модели // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.

Шустер-Шевц 1995 – *Шустер-Шевц Г.* Серболужицкий язык и его изучение // Проблемы становления серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1995.

Biblia 1728 – Biblia, to je cyłe Swjate Pismo Stareho a Noweho Zakona, prjedy do němskeje wot Martena Lithera, nětko pak do horneje Lužiskeje serskeje rěče <...> wot někotrych ewangelskich předarjow přeložena. W Budešini, 1728.

Bielfeldt 1933 – *Bielfeldt H.H.* Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Leipzig, 1933.

Bielfeldt 1968 – *Bielfeldt H. H.* Zum Bestand der deutschen Lehnwörter im Obersorbischen // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968.

Faßke-Michałk 1963 – *Faßke H., Michałk F.* Tesy k hornjoserbskemu slowjesu // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. R.A., 1963. Č. 10.

Faßke 1964 – *Faßke H.* Die Vetschauer Mundart. Bautzen, 1964.

Faßke 1981 – Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart / Verfasst von Helmut Faßke unter Mitarbeit von Siegfried Michalk. Bautzen, 1981.

Frentzel 1993 – *Frentzel Michael.* Postwitzscher Tauf-Stein... Ein sorbisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1688. Herausgegeben und mit einer wissenschaftlichen Einleitung versehen von Heinz Schuster-Šewc. Köln-Weimar-Wien, 1993.

Jentsch 1996 – *Jentsch H.* Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19 Jahrhundert // Z historii jazykow lužyckich. Warszawa, 1996.

Jenč 2003 – *Jenč H.* Leksikaliske wosebitosće hornjoserbskeje spisowneje rěče za čas nastaća přeneje (ewangelskeje) serbskeje biblije // Rozhlad. lět. 53. 2003. № 11–12.

Jodlbauer 2001 – *Jodlbauer R., Spiess G., Steenwijk H.* Die aktuelle Situation der niedersorbischen Sprache. Ergebnisse einer sociolinguistischen Untersuchung der Jahre 1993–1995. Bautzen, 2001.

Löttsch 1968 – *Löttsch R.* Někotre wuskutki němskeho wliwa na werbalny system serbšćiny // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968.

Löttsch 1969 – *Löttsch R.* Zum indirekten Passiv im Deutschen und Slawischen // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, 1969.

Lötzsch 1970 – *Lötzsch R.* Zur Frage der Interferenz morfologischer System (Am Beispielleslawischer Tempussysteme) // Aktes du X Congres International des Linguistes. Bucarest, 1970.

Meyer 1923 – *Meyer K. H.* Der oberwendische (obersorbische) Katechismus des Warichius (1597). Text mit Einleitung und grammatischer Bearbeitung. Leipzig, 1923.

Michałk 1959 – *Michałk S.* Über den Aspekt in der obersorbischen Volkssprache // ZfSl. 1959. IV.

Michałk 1962 – *Michałk S.* Der Einfluss der Deutschen auf die Stellung des verbum finitum im sorbischen Satz // ZfSl. 1962. VII. H.2.

Michałk 1968 – *Michałk S.* Přinošk ke kwantifikaciji řečneje interferency // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968

Michałk 1969 – *Michałk S.* Über den Einfluss des sorbischen auf das Neulautsitzische // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Berlin, 1969.

Michałk 1971 – *Michałk S.* Mundart und Umgangs-Sprache der Bilingualen von Gross Partwitz im Kreis Hoyerswerda // ZfSl. 1971. XVI. H. 1.

Michałk 1962 – *Michałk F.* Der obersorbische Dialekt von Neustadt. Bautzen, 1962.

Michałk 1963 – *Michałk F.* Wo změnje genusa při přijimanju substantiwow z němčiny do serbšćiny // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. R.A., 1963. Č. 10/2.

Michałk 1972 – *Michałk Fr.* Latnizny I germanizmy w řeči J.H. Swětlika. Přinošk k stawiznam hornjoserbskeje spisowneje řeče // Lětopis. Rjad A. 1972. Č. 19/1.

Pfuhl 1968 – *Pfuhl Chr. Fr.* Obersorbisches Wörterbuch. Bautzen, 1968.

Radłowski 1968 – *Radłowski M.* Z zagadnień bilingwizmu na Łužycach // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968.

Riotte 1959 – *Riotte J. C. E.* Die obersorbische Agenda von 1696. Text und Untersuchungen. Berlin, 1959.

Schuster – Šewc 1957–1981 – *Schuster–Šewc H.* Historisch-ethymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1951–1981.

Schuster–Šewc 1958 – *Schuster–Šewc H.* Vergleichende historische Lautlehre der Sprache des Albin Moller. Berlin, 1956.

Schuster-Šewc 1967 – *Schuster-Šewc H.* Sorbische sprachdenkmäler. 16–18. Jahrhundert. Bautzen, 1967. S. 359–360.

Šewc 1975 – *Šewc H.* Prašenje tworjenja nowych słowow w serbšćinje // Šerbska šula. Bautzen, 1975.

Šewc 1977 – *Šewc H.* Prašenje tworjenja slowow w serbšćinje (na přikładze hornjoserbšćiny) // Sorabistiske přednoški 1977. Budyšin, 1977.

Šewc 1977 – *Šewc H.* Wuwoiče spisowneje rěče pola Lužyskich Serbow // Sorabistiske přednoški 1977. Budyšin, 1977.

Stone 1968 – *Stone G.* Der Purismus in der Entwicklung der Wortschatzes der obersorbischen Schriftsprache // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968.

Stone 1971 – *Stone G.* Lexical Change in the Upper Sorbian Literary Language during and following the National Awakening // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin, 1971. R.A. Č. 18/1.

Stone 1985 – *Stone G.* Wo Smolerjowych leksikaliskich innowacijach // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. R.A., 1985. R.A., Č. 32/1.

Wienreich 1953 – *Weinreich U.* Languages in Contact. N. G., 1953.

Ščerba 1926 – *Ščerba L. V.* Sur la notion de melange des langues // Яфетический сборник. Л., 1926. IV.

## ВЛИЯНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА СТАРΟΣЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Старославянский язык формировался в эпоху раннего средневековья (IX – начало XI вв.) в процессе перевода с греческого книг Св. Писания и другой теологической литературы. Как известно, первые переводы греческих книг на славянский были сделаны свв. Кириллом и Мефодием и их учениками. Со временем круг учеников и последователей славянских первоучителей расширялся (будем называть его далее кругом «древних книжников»), но сохранял свою элитарность<sup>1</sup>.

Необходимость перевода текстов, написанных на одном из наиболее богатых и развитых языков в истории мировой цивилизации – греческом языке византийского периода, ставила перед древними книжниками среди прочих задачу передачи славянскими языковыми средствами соответствующей греческой лексики, вследствие чего и создавался старославянский *фонд книжной лексики*. По мере становления и развития старославянского языка этот фонд пополнялся словами, предназначенными и для обозначения ранее не известных в славянском мире понятий и реалий, и для *замены* славянских слов, почерпнутых древними книжниками из народной славянской речи, даже используемых ими в переводах, но не удовлетворявших их, видимо, своей простотой.

Для древних книжников, осуществлявших как сами переводы, так и разного рода редакторскую правку (в том числе и правку, в ходе которой они справлялись с греческими рукописями), греческий язык

был языком, непосредственно включенным в процесс формирования лексического фонда старославянского языка. Один источник пополнения этого фонда – употребление грецизмов-заимствований. Небольшое количество грецизмов – наряду с другими заимствованиями (латинизмами, германизмами) – попало в старославянский язык из народной славянской речи<sup>2</sup>, однако основная масса старославянских грецизмов<sup>3</sup> заимствовалась непосредственно при переводе оригиналов с греческого языка (т. е. в процессе «текст → текст»). Другой источник – словотворчество древних книжников, использовавших для создания книжной лексики *славянский* «строительный материал», но также в процессе «текст → текст». Словотворчество древних книжников осуществлялось как путем операции расширения семантического объема уже существовавших в народной славянской речи лексем<sup>4</sup>, так и путем создания *новых* лексем на базе славянских или греческих корневых морфем и славянских словообразовательных морфем. Путем операции расширения семантического объема славянского слова, имеющего с греческим словом «точки соприкосновения» в структуре значений, передавалось обусловленное определенными контекстами значение греческого «соответствия»<sup>5</sup>. Путь же создания древними книжниками *новых* лексем включал в эти процедуры собственно словообразовательные механизмы. В данной работе нас и будет интересовать влияние греческого языка на старославянские словообразовательные процедуры, и, в частности, мы обращаем внимание на две группы явлений, это влияние отражающих: 1) образование новых лексем с помощью славянских словообразовательных морфем от производящих основ греческого происхождения и 2) явления калькирования.

1. Явление образования новых лексем с помощью славянских словообразовательных морфем от производящих основ греческого происхождения особо «массовый характер» имело в сфере образования

прилагательных, наблюдается также оно и при образовании существительных. Следует отметить, что палеослависты мало уделяют внимания данному явлению, хотя, конечно, некоторые исследования по этому вопросу имеются<sup>6</sup>.

Перевод греческих текстов вводил в старославянский язык в виде грецизмов названия множества неизвестных ранее славянскому миру понятий и реалий, географических названий и имен собственных. От этих грецизмов с помощью славянских словообразовательных морфем древние книжники свободно образовывали прилагательные и существительные. Это были уже *славянские* лексемы, которые должны были восприниматься основной массой христианизировавшихся славян<sup>7</sup> как в какой-то мере понятные, так как содержали в своей структуре в качестве значимой части слова славянский аффикс, состоявший, как правило, из «яркой», выразительной последовательности фонем. При этом старославянский словообразовательный механизм давал возможность образования лексем со славянскими аффиксами не только от основ старославянских грецизмов, но и непосредственно от греческих слов оригиналов, т. е. для перевода греческой лексемы в указанном процессе «текст → текст» в качестве производящей основы использовалась основа греческого соответствия, наличие же мотивирующего слова в языке старославянском не было обязательным. Данное явление, свидетельствующее о приоритете для старославянского словообразования в некоторых случаях отношений «текст → текст» над парадигматическими отношениями внутри старославянского лексического инвентаря, составляло характерную особенность старославянского словообразовательного механизма, которая анализируется далее при демонстрации конкретного материала.

Среди лексем с основами греческого происхождения особенно распространены в старославянских рукописях прилагательные с при-

тяжательным значением. С производящими основами греческого происхождения сочетались главным образом суффиксы прилагательных *-ov/-ev-*, *-in-*, *-ьsk-* и словообразовательный формант, восходящий к суффиксу *-j-*, который в эпоху старославянского языка проявлял себя как «йотовое» морфонологическое чередование согласных в исходе производящей основы<sup>8</sup>.

Образование прилагательных с основами греческого происхождения *от наименований лиц и имен собственных* было основным «предназначением» суффиксов *-ov/-ev-* и *-in-*, а также в значительной мере «йотового» морфонологического чередования согласных в исходе производящей основы.

Вариант *-ov-* суффикса *-ov/-ev-* в старославянском языке более частотен, так как он, как правило, присоединялся к производящей основе греческого происхождения без изменения твердого конечного согласного (*архангелъ* – *архангел-овъ*, *фараонъ* – *фараон-овъ* и др.), либо, в случае окончания производящей основы на *-j-*, с усечением производящей основы (*архиреи* [arxierej-ъ] – *архире-овъ*, *фарисей* [farisej-ъ] – *фарисе-овъ* и др.). Вариант же *-ev-* сочетался с производящими основами, имеющими в исходе мягкий согласный (типа *салатиль* [salatil'-ъ] – *салатил'-евъ*), в том числе с основами, оканчивающимися на *-j-* без усечения (*аньдрѣи* [an'drěj-ъ] – *аньдрѣквъ* [an'drěj-ev-ъ], *арин* [arij-ъ] – *ариквъ* [arij-ev-ъ] и др.). Ограничения в сочетаемости производящих основ греческого происхождения с суффиксом *-in-* связаны с исконной сферой его применения: сочетаясь со славянскими основами, этот суффикс образует прилагательные от существительных со старыми основами на *ā* и *ī* ж. и м. р.<sup>9</sup>

По данным Словаря 1994, *от имен собственных* с вариантом суффикса *-ov-* образовано 94 прилагательных с основами греческого происхождения, с вариантом суффикса *-ev-* – 20 прилагательных, также 20 прилагательных с суффиксом *-in-* и 21 прилагательное с



йотовым морфонологическим чередованием согласных в исходе производящей основы. Бóльшая часть этих прилагательных образуется от старославянских грецизмов: адамовъ от адамъ, аминадавовъ от аминадавъ и т. д.; андрѣквѣ от андрѣи, ариквѣ от арии, иликвѣ от илиа и т. д.; ѡеонинъ от ѡеона (греч.  $\Theta\acute{\epsilon}\omega\nu$  (Rare: 504)), ѡминъ от ѡма, левѣгинъ от левѣгии и т. д.; аронъ от аронъ, авраамль от авраамъ, аурлиганъ от аурлиганъ и т. д. Однако характерной чертой этой семантической группы прилагательных, причем со всеми словообразовательными формантами, является отсутствие в инвентаре старославянского языка соответствующих имен собственных для значительной их части. Так, по данным Словаря 1994, соответствующих имен собственных не отмечено у 39 прилагательных из 94 с вариантом суффикса -ov- (адавовъ, альфевовъ, арфаксатовъ, асуровъ, авимелеховъ, вааловъ, елмодановъ, еносовъ, еслимовъ, еверовъ, наредовъ, нровъ, нсаавовъ, кадъмовъ, каниановъ, касамовъ, коревовъ, корѣбовъ, косамовъ, ламеховъ, лаваановъ, маатовъ, маннановъ, маттатовъ, мелеанновъ, наанѣговъ, нахоровъ, наоуѡевовъ, рагавовъ, роуфовъ, семеновъ, сероуховъ, севтыровъ, симовъ, ситовъ, тимевовъ, фалековъ, филистионовъ, хамовъ), у 11 прилагательных из 20 с вариантом суффикса -ev- (адъдиквѣ, наннѣквѣ, ноанаквѣ, ноананквѣ, малеленлевъ, маттатаквѣ, маттатиквѣ, мельхиквѣ, нриквѣ, рисиквѣ, фаноуилевъ), у 4 из 20 прилагательных с суффиксом -ip- (варахининъ, икменининъ, соусининъ, хоузѣанинъ), у 10 из 21 с йотовым морфонологическим чередованием согласных (аласурь, авнанъ, завоулонь, онадавль, македонъ, матоусааль, невѣфталимль, салаанъ, таранъ, хоузайнъ).

В отношении этих прилагательных приходится предполагать, что либо соответствующие имена собственные в качестве старославянских грецизмов имелись в переводах эпохи старославянского языка,

но не встречаются в сохранившихся до наших дней старославянских рукописях, либо эти прилагательные (что, видимо, случалось гораздо чаще) могли быть образованы в процессе перевода непосредственно от основ употребляющихся в тексте оригинала греческих имен собственных. При этом субституция славянских звуков сопровождалась определенными адаптациями греческих основ. Использование варианта суффикса *-ev-* сопровождалось добавлением *-j-* к греческим основам, оканчивающимся на гласный: Ἀδδί – **адъдикъ** [ad̥di-j-evъ], Ἰαννάι – **наннѣкъ** [ianne-j-evъ], Ματταθίας (Ματταθί-ας) (Pape: 872) – **маттатикъ** [mattati-j-evъ], Μελχί – **мельхикъ** [melyxi-j-evъ], Ἰωανάν (Ἰωανά-ν) – **иоанакъ** [ioana-j-evъ], Ματαθά – **маттатакъ** [mattata-j-evъ], Ῥησά – **рисикъ** [risi-j-evъ]. Использование суффикса *-in-* сопровождалось присоединением в качестве «прокладки» к греческим основам, оканчивающимся на гласный, комплекса *-ij-*: **икменинъ** [ijemen-ij-in-ъ] от греч. Ἰεμενί, **соусинъ** [sus-ij-in-ъ] от греч. Χουσί, **варахинъ** [vaxij-in-ъ] от греч. Βαραχίου<sup>10</sup>. Как аналогичное явление мы рассматриваем и прибавление мягкого согласного *-ń-* к греческим именам, оканчивающимся на «альфу» и использованным в качестве производящих основ при образовании прилагательных с «йотовым» морфонологическим чередованием согласных в исходе основы. Представляется, что нет необходимости «восстанавливать» имена собственные в лексическом инвентаре старославянского языка на основании наличия соответствующих прилагательных, как это предлагал Р. Мароевич, который считал, что прилагательные **авнань**, **салань**, **тараень**, **хоузань** были образованы от восстановленных им имен \***авнанъ**, \***саланъ**, \***таранъ**, \***хоузанъ** (Мароевич 1983: 48). В реальном словообразовательном процессе этого «дополнительного шага», видимо, не было, и прилагательные **авнань**, **салаень**, **тараень**, **хоузань** были образованы непосредственно от греческих имен Ἀβιά, Σαλά, Θάρα, Χουζᾶ соответственно. Ес-

ли учесть, что наиболее частотные прилагательные этого типа — **аро́нь**, **константи́нь** (ср. **константи́нь градъ** ‘Константинополь’), **симо́нь**, **соломо́нь**, **завоу́лонь** — имели в конце основы -п’<sup>11</sup>, можно предполагать, что показатель -п’ и воспринимался древними книжниками как примета притяжательных прилагательных этого типа при образовании их от имен собственных<sup>12</sup>.

*От наименований лиц* с теми же словообразовательными формантами образовано несколько меньшее количество притяжательных прилагательных, наряду с образованиями от основ греческого происхождения среди них встречаются лексемы и со славянскими основами. Группа из 14 прилагательных с вариантом суффикса -ов-, содержащих производящую основу греческого происхождения, существенно пополняет в старославянских рукописях группу из четырех прилагательных, образованных от наименований лиц со славянскими основами. Ср. прилагательные с основами греческого происхождения: **архангѣловъ**, **архиреѡвѣ**, **дѣяволѡвѣ**, **доуѣвѡвѣ**, **иѣмоновѣ**, **патриархѡвѣ**, **синагоговѣ**, **тектонѡвѣ**, **фараоновѣ**, **фарисеѡвѣ**, **фарисѣѡвѣ**, **христосѡвѣ**, **хръстосѡвѣ**, **хръстовѣ**, и четыре прилагательных со славянскими производящими основами: **женнѡвѣ**, **пастѡуѡвѣ**, **скждальниковѣ**, **съпасѡвѣ**. Прил. **кесаркѣ** ‘принадлежащий кесарю’ также образовано от грецизма — сущ. **кесарь**<sup>13</sup>, но с вариантом суффикса -ев-. С суффиксом -ип- с основами греческого происхождения в старославянских рукописях встречаются только три прилагательных: **амемоуѣрминнѣ** [amemurminijь] от **амемоуѣрмини** [amemurminijь] (греч. ἀμεμουρμίνης ‘халиф’), **фарисеиннѣ** [farisejinь] от **фарисеи** [farisejь] (греч. φαρισαῖος), **сотониннѣ** от **сотона** (греч. Σατανᾶς), в то время как со славянскими основами — четыре: **вогородичиннѣ**, **вокводиннѣ**, **непригазниннѣ** (от **непригазнъ** ‘злой дух, дьявол’), **равѣтиннѣ**. Несколько прилагательных образовано от грецизмов-наименований лиц с помощью «йотового»

морфонологического чередования согласных в исходе производящей основы: **днѣвоуль** от **днѣвоуль**, греч. διόβολος (ESJS 3: 132), **епискоупль** ‘епископский’ от **епискоупъ** и **пискоупль** ‘то же’ от **пискоупъ**, греч. ἐπίσκοπος (ESJS 3: 166), **нгоумейъ** от **нгоумень**, греч. ἡγοούμενος (ESJS 4: 239), **фараонь** ‘фараонов’ от **фараонъ** и **фараоушь** ‘то же’ от **фараость**, греч. φαραόν, вариант φαραώ (ESJS 3: 169). Чаще, однако, этот словообразовательный формант используется для образования прилагательных от наименований лиц со славянскими основами, в том числе и с основами, осложненными продуктивными суффиксами, – суффиксом **-ьп, еп)-ік(ъ)**: **блѣзньничъ** от \***блѣзньникъ**<sup>14</sup>, **грѣшьничъ**, **мжчєнничъ**, **правдѣнничъ**, **противьничъ**, **скѣдальничъ**, **оучєнничъ**; суффиксом **-ьс(ь)**: **ловьчъ**, **младѣнчъ**, **творьчъ**; суффиксом **-іс(а)**: **вьдовичъ**, **дѣвичъ**; суффиксом **-тєл(ь)** **томитєль**.

Самое большое число старославянских прилагательных с основой греческого происхождения – 145 лексем по данным Словаря 1994 – образовано с помощью суффикса **-ьск-**, хотя этот суффикс широко использовался и для образования прилагательных от славянских производящих основ<sup>15</sup>. По своей семантике старославянские прилагательные с суффиксом **-ьск-** – это прежде всего прилагательные от географических названий и названий племен и народов: из 222 лексем, отмеченных в старославянских рукописях, 101 лексема образована от названий стран, областей, городов, рек и т. п. и 20 лексем образованы от названий племен и народов. В силу специфики старославянских текстов, в значительной степени расширявших географические познания славян, этот суффикс показывает высокую продуктивность при образовании наименований в этой сфере, сочетаясь, за очень редким исключением, с производящими основами греческого происхождения. Ср., например, образования от грецизмов–названий стран: **аравиньскъ** [aravijьskъ] от **аравниа** [aravija], греч. Ἀραβία,

**БАВУЛОНЬСКЪ** от **БАВУЛОНЪ**, греч. Βαβυλών, **ИДОУМЪНЬСКЪ** [idumějъskъ] от **ИДОУМЪНА** [iduměja], греч. Ἰδομαία; от грецизмов – названий *областей*: **ГЕНИСАРЕТЬСКЪ** от **ГЕНИСАРЕТЬ**, греч. Γεννησαρέτ, **ДЕКАПОЛЬСКЪ** от **ДЕКАПОЛЬ**, греч. Δεκάπολις, **ИСАУРЬСКЪ** от **ИСАУРИНА** [isaurija] (с усечением основы), греч. Ἰσαυρία и др.; от грецизмов – названий *городов*: **АМАСИНСКЪ** [amasijъskъ] от **АМАСИНА** [amasija], греч. Ἀμάσεια, **НАЗАРЕТЬСКЪ** от **НАЗАРЕТЬ**, греч. Ναζαρέθ и др.; от грецизмов–названий *гор*: **ЕЛЕОНЬСКЪ** от **ЕЛЕОНЪ**, греч. ἔλαιών, **ЛИБАНЬСКЪ** от **ЛИБАНЪ**, греч. Λίβανος, **СИНАНСКЪ** [sinajъskъ] от **СИНА** (с добавлением к основе -j-, аналогичным упомянутым выше наращениям основ греческих имен собственных, типа Ἀδδί – ad̆di-j-evъ, Ματαθά – mattata-j-evъ и др.), греч. Σινά, **СИОНЬСКЪ** от **СИОНЪ**, греч. Σιών и др.; от грецизмов–названий *рек и водоемов*: **НОРЪДАНЬСКЪ** от **НОРЪДАНЪ**, греч. Ἰορδάνης, **СИЛОУАМЬСКЪ** от **СИЛОУАМЪ**, греч. Σιλωάμ и др.

Как и в рассмотренных выше типах прилагательных, соответствующие географические названия не всегда были в лексическом инвентаре старославянского языка, и прилагательные с суффиксом -ъsk- могли образовываться непосредственно от основ греческих географических названий. В некоторых случаях и при наличии в старославянском языке соответствующих грецизмов производящей основой следует признавать все же основу греческого слова, а не старославянского. Так, например, для прил. **ТИВЕРИИДЬСКЪ** в качестве производящей основы была взята, видимо, основа греч. Γεν. Τιβεριάδος [Тибериод-ос] при наличии старославянского грецизма **ТИВЕРИНА** ‘Тивериада’, греч. Τιβέριας. В ряде случаев производящие основы прилагательных со значением ‘относящийся к какому-либо городу’ брались от греческого названия жителей этого города. Например: **ГАДАРИНЬСКЪ** – от названия жителей οἱ Γαδαρηνοί [Γαδαρην-οί] города Γάδαρα. Такая словообразовательная процедура

была возможна даже в тех случаях, когда в лексическом инвентаре старославянского языка имелось географическое название-грецизм. Ср.: **ниневѣгитѣскъ** ‘ниневийский’, в котором производящая основа была взята от названия жителей города οἱ Νινευῖται [Νινευῖτ-αἱ] при наличии старославянского грецизма **ниневи** ‘Ниневия’, греч. Νινευῖ.

Манера древних книжников использовать для прилагательных с суффиксом **-ъsk-** в качестве производящих основ основы греческих лексем поддерживалась также и характерной особенностью славянского перевода – тенденцией встречающиеся в тексте греческих оригиналов географические названия, особенно арамейского происхождения, переводить не существительными, а сочетаниями прилагательного на **-ъsk(ъ)** с существительными **страна, земля, прѣдѣлы, градъ, градьць, рѣка**. Например, в Мт 14,34: ἦλθον εἰς τὴν γῆν [ἐπὶ τὴν γῆν εἰς] Γεννησαρέτ ‘*букв. пришли в край Генисарет*’ – **придоша на земльѣ Генисаретскѣ** Зогр, Мар, Ас; в Саввиной же книге в результате, видимо, справки с греческим текстом, Γεννησαρέτ переведено существительным: **придѣ въ земльѣ генисаретѣ**; в И 7,42: ἄπο Βηθλεὲμ τῆς κώμης... ‘*букв. из Вифлеема, того селения...*’ – **от витлеѣмъскааго грѣца...** Мар, Зогр, Ас; в Саввиной же книге в результате справки с греческим текстом Βηθλεὲμ переведено существительным: **отъ вифлеѣомы вси...**), и др.

Прилагательные от названий *племен и народов* также образовывались по большей части либо от основ старославянских названий греческого происхождения, либо непосредственно от основ греческих слов: **аморѣнскъ** [амогѣнскъ] от греч. τῶν Ἀμορραίων [Ἀμορραίων], **аравьскъ** от греч. τῶν Ἀράβων [Ἀράβων]), **едемьскъ** от греч. τῶν Ἐδῶν, **елиньскъ** от **елинъ**, греч. Ἑλλην, **етиопьскъ** от формы мн. ч. **етиопѣни** [etiop-ĕn-i] с усечением суффикса **-ĕп(ipъ)** или непосредственно от производящей основы греч. τῶν Αἰθίοπων [Αἰθίοπων], и др. Прил. **самарѣнскъ** образовано от производящей

основы *samaġĕn-*, хотя и греческого происхождения (греч. Σαμαρίτης, житель области Σαμόρεια), но уже распространенной славянским суффиксом *-ĕn(iŋь)*. Интересно, что прил. **самарѣньскъ** употреблялось наряду с прил. **самаренскъ** и **самарьскъ**, образованными от основы грецизма-названия области **самарита** [samarija] (греч. Σαμόρεια), разделяя, таким образом, образования со словообразовательным значением 'относящийся к племени или народу', подчеркнутым славянским суффиксом *-ĕn(iŋь)*, и образования со значением 'относящийся к стране, области'.

Сочетался также суффикс *-ъsk-* с основами греческого происхождения и при образовании прилагательных от *наименований лиц*. В старославянских рукописях мы насчитываем 19 таких лексем: **анѣльскъ** от **анѣлъ** (греч. ἄγγελος), **апостольскъ** от **апостолъ** (греч. ἀπόστολος), **арханѣльскъ** от **арханѣлъ** (греч. ἀρχάγγελος), **архиренскъ** [arxierejъskъ] от **архирен** [arxierejъ] и **архирѣискъ** [arxierejъskъ] от **архирѣи** [arxierejъ] (греч. ἀρχι-ερεὺς), **демоньскъ** от **демонъ** (греч. δαίμων (ESJS 2: 125)), **епарьшьскъ** от **епарьхъ** (греч. ἑπαρχος), **епискоупьскъ** от **епискоупъ** (греч. ἐπίσκοπος), **еретичьскъ** от **еретикъ** (греч. αἰρετικός (ESJS 3: 167)), **икренскъ** [ijerejъskъ] от **икрен** [ijerejъ] и **икрѣискъ** [ijerejъskъ] от **икрѣи** [ijerejъ] (греч. ἱερεὺς), **кръстнианьскъ** от формы мн.ч. **кръстниани** (греч. οἱ χριστιανοί), **патриаршьскъ** от **патриархъ** (греч. πατριάρχης), **презвѣтерьскъ** от **презвѣтеръ** (греч. πρεσβύτερος), **риторьскъ** от \***риторъ** (греч. ῥήτωρ), **садоуѣенскъ** [sadukejъskъ] от **садоуѣен** [sadukejъ] (греч. σαδδουκαῖος), **сотониньскъ** от **сотона**, (греч. σατανᾶς), **фарисенскъ** [farisejъskъ] от **фарисен** [farisejъ] и **фарисѣискъ** [farisejъskъ] от **фарисѣи** [farisejъ] (греч. φαρισαῖος).

О «неустойчивости» и «неукорененности» в языке ряда прилагательных на *-ъsk(ъ)* с греческими основами свидетельствует довольно

часто встречающаяся вариативность их основ, т. е. при одинаковом значении лексем и переводе ими одного и того же слова греческих оригиналов используются разные варианты основ. Укажем на следующие случаи: александринскъ [aleksandrijskъ] и александрскъ [aleksandrskъ], аравинскъ и аравскъ, архiereискъ и архнерѣискъ, арменинскъ, арменскъ и рамѣнскъ, галиленскъ и галилѣискъ, герѣгесинскъ и герѣгесинскъ, декаполитскъ и декапольскъ, евангелскъ и евангелинскъ, еврейскъ и еврейскъ, икренскъ и икрѣискъ, иудейскъ и иудѣискъ, иконинскъ и иконскъ, магдаланскъ и магдалинскъ, римскъ и роумскъ, самаренскъ и самарскъ, сиринскъ и сирскъ, страхотскъ и трахонитскъ, фарисейскъ и фарисѣискъ, ханаанскъ, хананейскъ и хананѣискъ. Такое варьирование производящих основ говорит о том, что эти лексемы создавались древними книжниками буквально «по потребности» в процессе перевода греческого текста, редактирования или переписывания с протографа.

\*\*\*

Среди суффиксов существительных очень высокую степень сочетаемости с производящими основами греческого происхождения демонстрирует суффикс -ĕnip(ъ)/-(j)anip(ъ): из 24 существительных с суффиксом -ĕnip(ъ)/-(j)anip(ъ), отмеченных в Словаре 1994, лишь три образованы от славянских основ (гражданинъ ‘гражданин, житель’, солоунианинъ ‘уроженец, житель города Солуня’ и жателанинъ ‘жнец’<sup>16</sup>). Данный суффикс «специализировался» в старославянском языке на образовании существительных, называющих лицо по месту (страна, город, местность) жительства или происхождения, а также – в форме мн. ч. – племен и народов, показывая высокую продуктивность в силу специфики старославянских текстов, содержащих большое количество названий стран,



городов, племен и народов, неизвестных или малоизвестных ранее славянам.

В силу той же специфики старославянских текстов не все лексемы с суффиксом -ěnin(ь)/-(j)anin(ь) имеют мотивирующие слова в старославянском лексическом инвентаре. Характерную особенность типа старославянских существительных с суффиксом -ěnin(ь)/-(j)anin(ь) составляет возможность их образования непосредственно от основ греческих соответствий, употребляющихся в тексте греческих оригиналов. Иногда такое образование имеет место не только при отсутствии старославянских мотивирующих слов, но и при наличии последних.

Итак, в ряде случаев можно указать старославянские грецизмы, которые могли бы быть мотивирующими для существительных с суффиксом -ěnin(ь)/-(j)anin(ь): егѣптьтъ 'Египет' → егѣптьтѣнинъ 'египтянин'; икѣроуѣсалимъ 'Иерусалим' → икѣроуѣсалимѣнинъ 'житель Иерусалима' или икѣроуѣсалимѣганинъ 'то же'; дамаскъ 'Дамаск' → дамацѣанинъ 'дамаскинец'; галилеѣа 'Галилея' → галилеѣганинъ 'галилеянин' и галилѣѣа 'Галилея' → галилѣѣганинъ 'галилеянин'; херсоѣнъ 'Херсон' → херсонѣанинъ 'житель Херсона'; издранѣль 'Израиль' → издранѣлѣнинъ 'израильтянин'; римъ 'Рим' → римѣанинъ 'римлянин'; содома 'Содом' → содомѣанинъ 'житель Содомы'; самарѣа 'Самария' → самарѣнинъ 'самаритянин' (с усечением основы [samar-i]a), ср. такое же усечение основы при образовании прил. самарѣскъ); сврѣа 'Сирия' → сврѣнинъ 'сириец, житель Сирии' (с усечением основы [sug-i]a), ср. такое же усечение основы при образовании прил. сврѣскъ наряду с образованием прил. сврѣнискъ [sugijъskъ] от неусеченной основы); перси 'персы' и 'Персия' → персѣнинъ 'перс, персиянин'.

В других случаях, в отсутствие в старославянских рукописях мотивирующих лексем, можно предполагать образование существительных с суффиксом -ěnin(ь)/-(j)anin(ь) непосредственно от основ

греческих соответствий: гапакса Синайской псалтыри **агарѣннѣ**, употребленного во мн. ч. (**агарѣнѣ** вм. **агарѣне**) со значением ‘агаряне (племя)’, от основы греч. Ἀγαρηνοί [Ἀγαρην-οί] (с субституцией последовательности фонем [ην] продуктивным славянским суффиксом); гапакса Синайской псалтыри **ѣтнопѣннѣ**, употребленного во мн. ч. со значением ‘эфиопы’, от основы греч. Αἰθίοπες [Αἰθιοπ-ες]; гапакса Синайской псалтыри **измаилитѣннѣ**, употребленного во мн. ч. со значением ‘измаильтяне’, от основы греч. Ἰσραηλίται [Ἰσραηλίτ-αι]; гапакса Супрасльской рукописи **коринѣннѣ**, употребленного во мн. ч. со значением ‘коринфяне’, от основы (с усечением до согласного) греч. Κορίνθιοι [Κορίνθ-ι-οι] ‘коринфяне’ (или, возможно, переводчик, свободно владевший греческим языком, использовал основу греческого названия самого города Κόρινθος [Κόρινθ-ος]); употребленного во мн. ч. со значением ‘жители города Гоморры’ в чтении тетра Мк 6, 11 сущ. **гоморяннѣ** – от основы греч. Γόμορροι [Γόμορр-οι] (ср. также образованное от этой же основы прил. **гоморьскѣ**); гапакса Синайской псалтыри **зефетаннѣ** [zefejaninѣ], употребленного во мн. ч. со значением ‘жители пустыни Зиф’ (Словарь 1994 дает форму ед. ч.), от основы греч. Ζιφαῖος [Ζιφαῖ-ος].

Иногда и при наличии в старославянских рукописях слов, которые можно было бы считать мотивирующими для существительных с суффиксом -ѣnip(ъ)/-(j)anin(ъ), реальной производящей основой все-таки следует признавать основу греческого соответствия. Так, ориентируясь на соотношение семантики старославянских лексем, можно было бы считать сущ. **издраниль** ‘Израиль’ мотивирующим для сущ. **издранитѣннѣ** ‘израильтянин’, однако производящая основа [izdrailit-] для **издранитѣннѣ** принадлежит греческому соответствию Ἰσραηλίτης [Ἰσραηλίτ-ης], тогда как основа сущ. **издраниль** [izdrail-] является производящей для синонимичного сущ.

издранлѣнинъ [izdraĩlaninъ]. Именно лексема издранлѣтинъ употребляется в нескольких старославянских рукописях – в евангельском и псалтырном текстах, в Супрасльской рукописи, в то время как образованное от уже старославянского грецизма издранлѣ сущ. издранлѣнинъ является гапаксом Марииинского евангелия. Аналогично и сущ. назарѣнинъ ‘назарейнин’, судя по соотношению семантики сущ. назаретъ ‘Назарет’ и сущ. назарѣнинъ ‘назарейнин’, можно было бы считать мотивированным существительным назаретъ, однако реально производящей основой для сущ. назарѣнинъ является не [nazaret-] с яркой последовательностью фонем [et] в исходе (было бы \*nazaretĕninъ), а [nazar-], и она, видимо, была взята от греческого соответствия Ναζωραῖος [Naζωρ-αῖ-ος].

Высокую степень сочетаемости с производящими основами греческого происхождения демонстрирует также суффикс -уі(i) при образовании наименований лиц женского пола. Так же, как и рассмотренные выше существительные с суффиксом -ĕnin(ъ)/-(j)anin(ъ), существительные с суффиксом -уі(i) называют лицо *по месту жительства или происхождения*. Из девяти существительных с данным суффиксом в этом словообразовательном значении, отмеченных в Словаре 1994, только для сущ. солоуіанчѣни ‘солуньянка’ производящую основу можно считать славянской. Для некоторых из них можно предполагать в качестве мотивирующих слов старославянские грецизмы или старославянские лексемы с основами греческого происхождения, несколько же лексем, очевидно, были образованы непосредственно от греческих слов, употребленных в тексте греческих оригиналов.

В тех случаях, когда в старославянском языке существовали соответствующие наименования лиц мужского пола, существительные с суффиксом -уі(i) можно рассматривать по отношению к ним в качестве *femīnina* («парных» наименований), т. е. предполагать прежде всего производство от старославянских лексем. Поскольку, начиная с

В. А. Погорелова (Погорелов 1930: 3–5), данные лексемы не раз становились предметом внимания палеославистов, укажем для каждой из них предлагаемое нами морфемное членение: **ѣГҀПҀТҀѢНҀТҀИ** [eġurɣt-ĕp-yŋi] ‘египтянка’ (греч. Αἴγυπτία) можно считать образованным с усечением суффикса -ĕnip(ъ)/-(j)anip(ъ) от **ѣГҀПҀТҀѢНҀНҀ** ‘египтянин’; **ѢЛНҀТҀИ** [elin-yŋi] ‘гречанка, эллинка’ (греч. Ἑλληνίς) – образованным от **ѢЛНҀ** (греч. Ἕλλην) ‘грек, эллин’; **КРҀСТІАНҀТҀИ** [kġstijan-yŋi] ‘христианка’ (греч. χριστιανή) – образованным от **КРҀСТІАНҀ** ‘христианин’ (греч. χριστιανός) или с усечением суффикса единичности -ip(ъ) от **КРҀСТІАННҀ** [kġstijan-ip] ‘то же’; **САМАРҀТҀИ** [samag-ĕp-yŋi] ‘самаритянка’ (греч. Σαμαρίτις) – образованным с усечением суффикса -ĕnip(ъ)/-janip(ъ) от **САМАРҀНҀ** [samag-ĕnip] ‘самаритянин’; **СОЛУҀНҀТҀИ** [soluŋ-an-yŋi] ‘солунянка’ (греч. ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ) – образованным с усечением суффикса -ĕnip(ъ)/-(j)anip(ъ) от **СОЛУҀНҀНҀ** [soluŋ-anip] ‘солунянин’.

Можно было бы считать, что по той же модели, с усечением суффикса -ĕnip(ъ)/-(j)anip(ъ), образовано и сущ. **СОМАНИТҀѢНҀТҀИ** ‘сонамитянка’, однако соответствующее наименование лица мужского пола в старославянских рукописях не встречается. Видимо, это существительное было образовано непосредственно от его греческого соответствия Σουμανίτις (вар. Σουνανίτις), где Σουμανίτ- было взято в качестве производящей основы [somanit-ĕnyŋi], а комплекс -ĕnyŋi уже был переосмыслен древними книжниками как словообразовательная морфема с соответствующим значением, т. е. значением наименования лица женского пола по месту его жительства или происхождения. Так же и сущ. **СИРОФОНІКІСАНҀТҀИ** ‘сирофиникиянка’, появившееся в чтении тетра Мк 7, 26 (Зогр, Мар), было, видимо, образовано непосредственно от греческого соответствия в тексте оригинала. В качестве производящей основы здесь используется грече-

ское слово Συροφωνίκισσα целиком, к которому присоединяется суффикс -уї́(i) в модификации -пуї́(i), т. е. [syrofonikisa-puї́i]. Надо полагать, что частое повторение комплекса -пуї́ в наименованиях лиц женского пола (ср. рога-пуї́i, samarě-пуї́i, soluńa-пуї́i) сформировало у древних книжников восприятие яркой последовательности фонем -пуї́i как значащей части слова. Знаменательно, что В. А. Погорелов в свое время видел в наименованиях лиц женского пола с греческими основами именно «славянский суффикс -нѣни» (называя его то суффиксом, то окончанием) (Погорелов 1930: 4; 3).

Наименование жительницы города Ханаан ханаанѣни [хапаап-уї́i] ‘хананеянка’ образовано от грецизма ханаанѣ (греч. Χαναάν), хотя в старославянских рукописях хапаапѣ употребляется только как имя, название же местности – словосочетание земля ханаанова. Системные мотивационные отношения могли бы быть установлены и для сущ. магѣдалѣни [magѣdal-уї́i] ‘Магдалина, Магдальская’, как образованного от грецизма могѣдаламѣ ‘Магдала’ (греч. Μαγδαλάν), однако в этом случае они, видимо, не отражали бы реального пути образования лексемы магѣдалѣни при вхождении ее в старославянский лексический инвентарь. Название местности Магдала как могѣдаламѣ появляется в евангельском тексте только в Саввиной книге, известной своими инновациями. В других же старославянских кодексах употреблено прилагательное с суффиксом -ѣск- магѣдаланѣскѣ. (Ср. в Мт 15, 39: ἦλθεν εἰς τὰ ὄρια Μαγδαλάν – **приде въ прѣдѣлы магдаланѣскы** в Зографском и Мариинском, **магдалинѣскы** в Ассеманиевом. В Саввиной же книге, вероятно, в результате справки с греческим текстом Μαγδαλάν переведено существительным: **прѣиде въ прѣдѣлы могѣдаламѣ**.) Таким образом, реальное образование сущ. магѣдалѣни при переводе евангельского текста было осуществлено, видимо, как непосредст-

венное от основы греческого соответствия Μαυδαληνή. Первоначально это был, видимо, грецизм с закономерной субституцией звуков, который затем был переосмыслен (как считал В. А. Погорелов, изменен «по аналогии» (Погорелов 1930: 3)) в качестве суффиксального образования.

При образовании существительных сочетаемость с основами греческого происхождения наблюдается также у суффикса -ьstv(о). Эти существительные образуются *от наименований лиц*. Судя по данным Словаря 1994, в старославянском языке можно насчитать до девяти подобных образований, для семи из них в качестве мотивирующих слов можно указать старославянские грецизмы: **апосто́льство** от **апосто́ль** (греч. ἀπόστολος), **диако́ньство** от **диако́нь** (греч. διάκονος), **еписко́упьство** от **еписко́упь** (греч. ἐπίσκοπος), **иере́ньство** [iʲerejъstvo] от **иере́нь** [iʲerejъ] (греч. ἱερέυς), **кръстиа́ньство** от **кръстиа́нь** (греч. χριστιανός), **патриа́рьство** от **патриа́рь** (греч. πατριάρχης), **презвѣтеръство** от **презвѣтеръ** (греч. πρεσβύτερος). Сущ. **риторъство** тоже, видимо, следует считать образованным от старославянского грецизма \***риторъ** (греч. ῥήτωρ)<sup>17</sup>.

Гапакс же Супрасльской рукописи **анагно́стьство** ‘служба чтеца’, возник, скорее всего, как образование с суффиксом -ьstv(о) от греческого сущ. ἀναγνώστης ‘чтец’ непосредственно при переводе греч. τῶν ἀναγνώστων τάξις. Грецизм \***анагно́сть** (греч. ἀναγνώστης) вряд ли мог быть мотивирующим для этого существительного, так как он встречается в гораздо более поздних церковнославянских памятниках (см. SJS I: 33; Срезневский I: 22).

Существительные от основ греческого происхождения *с другими суффиксами* в старославянском языке были единичны, но возможны. Так, среди наименований лиц по месту их происхождения находим образования с суффиксом -in(ъ): гапакс Саввиной книги

(в чтении Л 4,27) **сврннѣ** ‘сириец’ (греч. Σύρος), который в системе старославянских словообразовательных мотивационных отношений можно считать образованным от названия страны **сврнѣ** ‘Сирия’ (греч. Συρία); сущ. **роуминѣ** ‘римлянин’, в котором суффикс **-in(ъ)** вычленяется путем сопоставления с прил. **роумьскъ** ‘римский, латинский’, наречием **роумьскы** ‘по-латыни’. Среди наименований лиц можно указать также на образование с суффиксом **-ьnik(ъ)** – сущ. **клиросьникѣ** [kliros-ьnikъ] ‘клирик’, где в качестве производящей основы использована целиком греческая лексема κληρος ‘клир’. Среди существительных с конкретным предметным значением отметим сущ. **ѡмѣианьница** ‘кадильница’, образованное с суффиксальным комплексом **-ьnis(a)** от грецизма **ѡмѣианѣ** ‘ароматическая смола для курения, ладан’, греч. θυμίανα. (Написание этого грецизма колеблется в старославянских рукописях как **ѡмѣианѣ/ѡмѣианѣ/тьмианѣ/тимианѣ/темианѣ**.)

\*\*\*

Анализ сочетаемости славянских словообразовательных морфем с производящими основами греческого происхождения обнаруживает избирательность древних книжников по отношению к словообразовательным морфемам. Конечно, в процессы взаимодействия с языком греческих оригиналов были вовлечены в первую очередь продуктивные словообразовательные аффиксы, но их вовлеченность не всегда объясняется только продуктивностью. Как показывает анализ материала, разные славянские словообразовательные морфемы обнаруживают не одинаковую «словообразовательную валентность» по отношению к производящим основам греческого происхождения. Так, «основной» суффикс прилагательных **-ьn-**, самый распространенный, обладавший самым широким спектром словообразователь-

ных значений и, по данным Словаря 1994, входящий в структуру более чем тысячи старославянских лексем, такой «валентности» не демонстрирует: из более чем тысячи лексем можно указать лишь несколько прилагательных с основой греческого происхождения: **аерьнь** от **аерь** (греч. ἄηρ), **алгоуинь** [algujъnъ] ‘из алоэ’ от **алгоуи** [algujъ] (греч. ἄλοή), **змръньнъ** от **змръна** (греч. σμύρνα), **кадильнь** и **канъдильнь** от **кадило** ‘ладан, фимиам’ и **канъдило** ‘лампада’ соответственно (ср.-греч. κανδήλα или κάνδηλον), **кинъсьнъ** от **кинъсь** ‘налог, подать’ (греч. κήνος), **мврнь** от **мвро** (греч. μύρον), **нардънъ** от **нардъ** (греч. νάρδος), **роусалнь** от **роусалня** (ж. р. мн. ч.) ‘Троицын день’ (ср.-греч. ῥουσάλια первоначально ‘праздник роз’), **сжвотънъ** от **сжвота** (ср.-греч. \*σάββατον), **хризъмънъ** от **хризма** (греч. χρίσμα), а также гапакс Маринского евангелия субстантивированное прил. **елиньнъ** в значении ‘грек’ от **елинь** ‘то же’ (греч. Ἕλλην). При этом даже среди этих нескольких прилагательных не все лексемы образованы от «книжных» грецизмов, заимствованных в процессе перевода, т. е. в процессе «текст → текст», так как лексемы **кадило**, **роусалня**, **сжвота**, **хризма** проникли, видимо, в народную славянскую речь до создания библейских переводов: **хризма**, начиная с евангельских и псалтырных текстов, переводит не греч. χρίσμα, а греч. μύρον; **кадило**, начиная с псалтырного текста переводит не греч. κάνδηλον, а греч. θυμίαμα; **роусалня** и **сжвота** заимствованы, возможно, не прямо из ср.-греч. ῥουσάλια и ср.-греч. \*σάββατον, а через латинское посредство (Фасмер III: 520; 792). О неестественности для старославянского словообразования сочетаемости суффикса прилагательных -ъп- с производящими основами греческого происхождения свидетельствует и различие в старославянских кодексах в чтении Мт 22, 19: отмеченному выше прилагательному с суффиксом -ъп- **кинъсьнъ**, образованному от старославянского грецизма **кинъсь** ‘налог, подать’, в



Саввиной книге в этом чтении соответствует прил. **Кинъсовъ** **Кипъсовъ** с суффиксом **-ov-**. Ср.: **склазь кинъстны** Мар, Ас – **склазь киносовы** Сав.

Суффикс **-ov-/-ev-**, напротив, обнаруживает самую высокую степень такой «валентности» по отношению к основам греческого происхождения: из 133 прилагательных с вариантом суффикса **-ov-**, отмеченных в старославянских рукописях, только 11 лексем образованы от славянских основ, а из 32 прилагательных с вариантом суффикса **-ev-** от славянских основ образованы всего 8 лексем. Как было показано выше, основным «предназначением» суффикса **-ov-/-ev-** было образование прилагательных от наименований лиц и имен собственных, однако в сочетании с основами греческого происхождения этот суффикс проявляет «экспансию» и в образовании прилагательных других семантических групп. Так, «старые» славянские притяжательные прилагательные от названий животных, используемые и в старославянских текстах, – это прилагательные с суффиксом **-ьj-** (**коуринъ** [kɔrɨjъ] ‘петуший, петушиный’, **львинъ** [lʲvɨjъ] ‘львиный, льва’, **псьинъ** [pʲsɨjъ] ‘собачий, песий’, **скотинъ** [skotɨjъ] ‘относящийся к скоту’) или с йотовым морфонологическим чередованием согласных в исходе производящей основы (**вельбъждь** ‘верблужий’, **козьль** ‘козлиный’, **овьчь** ‘овечий’, **овьнь** ‘бараний’, **орьль** ‘орлиный’, **осьль** [osʲlʲ] ‘ослиный’, **яръмьничъ** ‘вьючного животного’, **клень** ‘олений’, **юньчь** ‘молодого быка’). Встречаются также в старославянских рукописях четыре прилагательных, образованных от славянских наименований живых существ, с суффиксом **-ip-** (**голвинъ** от **голвьь**, **змнинъ** [zmɨjɨpъ] от **зми** [zmɨjъ] или **змиа** [zmija], **звѣринъ** от **звѣрь**, **осьлатинъ** от **осьла**, Греч. **осьлате**) и три – с суффиксом **-ьsk-** (**коньскъ** от **конь**, **львьскъ** от **львь**, **звѣриньскъ** с «удвоенной суффиксацией» – от **звѣрь**). С основами греческого происхождения при образовании прилагательных от наиме-

нований животных эти словообразовательные форманты не сочетаются, но используется суффикс -ov-/-ev-. Если от славянских наименований животных с суффиксом -ov-/-ev- в старославянских рукописях встречаются только прилагательные **львовъ** ‘льва’ и **змиквъ** [zmijevъ] ‘змея, змеиный’, то с основами греческого происхождения – четыре прилагательных. Три из них образованы от соответствующих старославянских грецизмов: **аспидовъ** ‘змеиный, гадючий’ от **аспида** (греч. ἄσπις, Gen. ἄσπιδος [ἄσπιδ-ος]), **ехидновъ** ‘гадючий’ от **ехидна** (греч. ἔχιδνα [ἔχιδν-α]), **китовъ** ‘китовый’ от **китъ** (греч. κῆτος [κῆτ-ος]). Прилагательное же **еродовъ** ‘цапли’, гапакс Синайской псалтыри (Пс 103, 17), было, видимо, образовано непосредственно от основы греч. ἐρωδιός (Gen. ἐρωδιὸν), так как сущ. \*еродъ или \*ерода в старославянских рукописях не употребляется. Лексема **еродовъ** была «неукорененной» в языке, в более поздних списках Псалтыри греч. ἐρωδιὸν переводится как **еродиквъ**, т. е. с вариантом суффикса -ev- (соответственно при этом без усечения греческой основы и с добавлением -j-: ἐρωδι-οὐ – erodij-evъ (см.: SJS I: 582))<sup>18</sup>.

Наблюдается экспансия суффикса -ov-/-ev- и в семантическую группу прилагательных с основами греческого происхождения, образованных от географических названий. Как было показано выше, здесь была «сфера действия» суффикса -ъsk-. Тем не менее в старославянских рукописях встречаются следующие прилагательные с суффиксом -ov-: **дамасковъ**, **ефремовъ**, **икроусалимовъ**, **норъдановъ**, **кисовъ**, **сионовъ**. За исключением прил. **сионовъ**, все эти лексемы малочастотны, что говорит об их «неукорененности» в языке – ср. единственное употребление прил. **норъдановъ** в Синайском евхологии (5а 1–2) по сравнению с частотностью прил. **норъданъскъ** с суффиксом -ъsk-, которое встречается в старославянских рукописях 19 раз. В отношении же прил. **сионовъ** следует, видимо, учесть, что название горы Си-

он в сознании древнего книжника было не столько географическим, сколько символизирующим, – в качестве обозначения города Давидова, – царство Божие на земле и на небе. Прилагательные **дамасковъ**, **ѣфремовъ**, **икроусалимовъ**, **норъдановъ**, **сионовъ** образованы от старославянских грецизмов, гапакс же **ѣсовъ** – от усеченной основы греческого слова *Κίτων* [*Кіѡ-ѡν*] в составе названия канала: *ἐν τῷ χεῖμαρρῷ Κίτων* – **въ потоцѣ ѣсовѣ** Пс 82, 10 Син.

Наблюдается экспансия в семантическую группу прилагательных с основами греческого происхождения, образованных от географических названий, и форманта, в эпоху старославянского языка проявлявшего себя как йотовое морфонологическое чередование согласных: **ертмоуѣнь**, **икроусалимль**, **кврестинь**, **силоуамль**, **сионь**, **совааль**. Что касается прилагательных **кврестинь** и **совааль**, соответствующие географические названия в виде существительных-грецизмов в старославянском лексическом инвентаре отсутствовали, и, видимо, эти гапаксы образованы непосредственно от основ слов, взятых из греческого текста. Ср.: *εἰς τὴν κυρεστῶν πόλιν* – **въ кврестинь градъ** Супр 218,9; *τὴν Συρίαν Σωβάλ* – **соуриж совааль** Пс 59, 2 Син.

С другой стороны, и для суффикса **-ьsk-** наблюдается тенденция к «экспансии» в образование от основ греческого происхождения прилагательных с самой различной семантикой: **евангелнискъ** [*evanġelijъskъ*] и **евангелъскъ** [*evanġelъskъ*] (с усечением основы) от **евангелник** [*evanġelije*] (греч. *εὐαγγέλιον*), **идольскъ** от **идоль** (греч. *εἰδωλον* (ESJS 4: 237)), **моуѣниѣнискъ** [*musikijъskъ*] ‘занимающийся музыкой’ от греч. *μουσική* [*моуѣик-ġ*] ‘музыка’ или *μουσικός* [*моуѣик-ѡс*] ‘музыкант’ (греческий оригинал текста в Синайском евхологии [88а 3] не найден). К прилагательным, образованным от географических названий, с точки зрения семантики близки прилагательные с суффиксом **-ьsk-** **адъскъ** и **адовъскъ** от **адъ** (греч. *ἄδης*), а также **тръторъскъ** от **тръторъ** (греч. *τάρταρος*).

2. Другим важнейшим способом образования *новых* старославянских лексем из славянского «строительного материала», в котором отражено влияние языка греческих оригиналов, было разного рода *калькирование*. В течение многих десятилетий палеославистических исследований роль греческого языка в формировании старославянской лексики рассматривалась, главным образом, именно как проблема калькирования. Поиск разного рода калек – как греческих, так и латинских – занимает внимание палеославистов еще с начала прошлого века (см., например: (Погорелов 1925) и (Meillet 1926)).

Традиционно изучение калькирования базируется на сопоставлении пар – калькированного слова адаптирующего языка и калькируемого слова языка-источника. На этой исследовательской методике основаны оба известных труда по калькированию в старославянском языке – К. Шуманна (Schumann 1958) и Н. Молнара (Molnár 1985). Шуманн в работе 1958 г. лаконично сформулировал свои теоретические принципы классификации калек и дал в соответствии с ними перечень калек, извлеченных им из старославянских рукописей. Основная часть результирующей монографии Молнара 1985 г., замечательной по своей тщательности и привлечению обширных материалов как славянских, так и неславянских языков, представляет собой своеобразный хорошо иллюстрированный индекс калек в старославянских евангельских кодексах. В обеих работах рассматриваются как лексемы, уже существовавшие в народной славянской речи, но претерпевшие операцию расширения семантического объема, так и *новые* образования, созданные путем калькирования. Изменившие семантику исконно славянские лексемы квалифицируются авторами как семантические калки (Lehnbedeutungen в терминологии Шуманна, semantic calques в терминологии Молнара) или псевдокальки (Lehnschöpfungen, Lehnübertragungen у Шуманна, pseudocalques или также calque neologisms у Молнара). Проблему так называемого «се-

мантического калькирования» сейчас оставляем в стороне, так как применительно к старославянскому материалу она требует, как кажется, отдельного специального изучения<sup>19</sup>. Что же касается исследования «истинных калек» (*Lehnübersetzungen* по Шуманну, *real structural calques* по Молнару), то здесь традиционная методика сопоставления пар, видимо, не является достаточно разработанной для адекватного описания старославянского материала, чем и объясняются многочисленные случаи, когда зачисление старославянских лексем в кальки вызывает оправданные недоумения<sup>20</sup>. При данной методике каждая изолированная пара (калькируемого и калькированного) оказывается как бы «вырванной» из общего контекста изучения старославянских словообразовательных процессов, а между тем истинные (морфологические) кальки создавались древними книжниками из/или с использованием славянского «строительного материала», с помощью славянских словообразовательных морфем, которые вводили эти лексемы в круг лексем определенной славянской структуры.

В богатом и чрезвычайно разнообразном материале морфологических калек, употребляющихся в старославянских рукописях, нельзя не уловить разные тенденции, разные «подходы» древних книжников к этому специфическому способу старославянского словообразования. Одна из тенденций обусловлена тем, что для древнего книжника был важен *облик* славянского слова, которое должно было быть «достойным» выполнения своей функции перевода соответствующего слова греческого оригинала и выглядеть достаточно сложным и книжным. По мере становления и развития старославянского языка нарастало и стремление древних книжников приблизить морфемную структуру старославянского слова к морфемной структуре греческого соответствия<sup>21</sup>. В результате такого стремления появлялись лексемы типа гапакса Синайского евхология **въставительъ** [въ-stav-i-teľь]

‘создатель’, который при наличии в старославянском языке слов со значением ‘создатель’, не калькирующих греческие соответствия (ср. **сѣздатѣль** – *πλάστης*, **сѣдѣтель** – *δημιουργός*, **обрѣтѣльникъ** – *εὐρετής*), повторяет формальную морфемную структуру греч. *ἐφευρετής* [ἔφ-ευρ-ε-τής]<sup>22</sup>.

Также стремлением древних книжников приблизить морфемную структуру старославянского слова к морфемной структуре греческого соответствия объясняется образование ряда таких лексем, как **сѣпоспѣшьникъ** (греч. *συνεργός*), **сѣпричастникъ** (греч. *συκοι-ωνός* и *συκληρονόμος*), **сѣпринимникъ** (греч. *συμμέτοχος*), **сѣсто-льникъ** (греч. *σύνεδρος* и *συκόθεδρος*), где префикс *сѣ-*, соответствующий греческому префиксу *συν-* в словах греческого оригинала, является как бы лишним, искусственно добавленным в подражание греческому слову, так как в старославянском языке существовали лексемы **поспѣшьникъ**, **причастникъ**, **принимникъ**, **стольникъ** с тем же значением, но без этого префикса (подробнее см.: Ефимова 2004: 40–41). Впечатление искусственности создает префикс *сѣ-*, калькирующий греческий префикс *συν-*, и в таких лексемах, как гапакс Супрасльской рукописи сущ. **сѣдыханик** [сѣдыханиѣ] ‘единодушие, единомыслие’, которое образовано путем префиксации сущ. **дыханик** ‘дыхание’ явно под влиянием греческого соответствия *σὺμ-πνοία* ([сѣм-пнoиa], префикс *συν-* выступает здесь в виде алломорфа *сѣм-*). То же можно предположить и в отношении дважды употребленного в Супрасльской рукописи сущ. **сѣвоннъ** [сѣвоjнъ], калькирующего греческий префикс *συν-* своего соответствия *συστρατιότης*.

С другой стороны, для старославянского калькирования было характерно калькирование с неполным соответствием морфемных и семантических структур старославянских и греческих слов, что говорит уже об относительной самостоятельности этой словообразовательной процедуры.

Так, греческими кальками обычно считаются старославянские лексемы, соответствующие греческим лексемам с  $\alpha$ -privativum. Однако при более тщательном сопоставлении структур старославянских и греческих лексем обнаруживается, что в ряде случаев «калькируется» только префикс, в остальном же морфемные структуры не совпадают – либо формально, либо с точки зрения семантики морфем. Например, **беспосагани** [besposagajǫ] ‘незамужний’ с основой -posag-, производной в эпоху старославянского языка, соответствует греч. ἀλειρούαμος с двукорневой основой [ἀ-λειρ-ό-γαι-ος]; **вещинник** [beštinije] с производной в эпоху старославянского языка основой -šip- соответствует греч. ἀκαταστασία, образованному от префиксального κατάστασις, и др. Или, например, греч. ἀκήρατος переводится и как **бесъмрътънъ** (Супр 146, 26), где семантика производящей основы -sъmгъ- совпадает с семантикой греч. корня -κηρ- ‘гибель, смерть’, и как **бесконьчънъ** (Евх 65а 13), где основная семантика производящей основы -копсь- – ‘край, граница’, и только в редком переносном употреблении копсь может означать ‘смерть’ как ‘конец жизни, кончина’ (см. Супр 142, 1). Т. е. при калькировании этого типа греческих лексем древний книжник создавал новые старославянские слова, сообразуясь как с яркой приметой слова греческого оригинала –  $\alpha$ -privativum, так и со славянским языковым материалом, подчиняясь славянским морфемным и семантическим структурам и славянским словообразовательным моделям. То же можно сказать и о калькировании греческих лексем с префиксом  $\alpha$ - в значении негации. Ср., например, образование гапакса Супрасльской рукописи **непрѣзорство** с отрицательным префиксом не- от сущ. **прѣзорство**, где префикс не- переводит префикс  $\alpha$ - в его греческом соответствии ἀκενόδοξον, хотя в остальном морфемные структуры двукорневой композиты ἀκενόδοξον [ἀ-κεν-ό-δοξ-ον] и ст.-слав. **непрѣзорство** с двумя префиксами ([ne-prě-zor-ьstv-o]) не совпадают.

Часто несоответствие морфемных структур старославянских и греческих слов обуславливалось аффиксальным оформлением старославянской лексемы при отсутствии такового у лексемы греческой. Такая особенность старославянского калькирования вытекала из общей ситуации соотношения греческих и старославянских лексем в тексте оригиналов и славянском переводе, так как старославянскими существительными, в большей своей части содержащими в морфемной структуре суффиксы, присущие именно этой части речи, переводились как греческие существительные с специальными суффиксами существительных, так и греческие лексемы, таких суффиксов не содержащие и функционировавшие в зависимости от контекста и в роли существительных, и в роли прилагательных. Так, среди наименований лица можно заметить некоторую тенденцию к соответствию старославянских существительных с суффиксом *-tel'(ь)* греческим существительным с суффиксом *-της* (например, *цѣлительъ* – *θεραπευτής*, *дѣлительъ* – *μειριστής*, *досадительъ* – *ὕβριστής*, *гонительъ* – *διώκτης*, и т. д.), хотя возможно и соответствие с именами без специальных суффиксов (ср. *хранительъ* – *φύλαξ*, *томительъ* – *τύραννος*, *чистительъ* – компаратив *πρεσβύτερος*, и др.). Существительные же с не менее продуктивными суффиксами *-(ьп)ik'(ь)* или *-ьс(ь)* чаще переводят греческие имена без специальных суффиксов существительных (например, *грѣшникъ* – *ἁματωλός*, *законникъ* – *νομικός*, *вестоудьць* – *ἀναιδής*), хотя возможно и их соответствие греческим суффиксальным существительным (ср. *исповѣдникъ* – *ὁμολογητής*, *занмодавьць* – *δανειστής*).

Явления калькирования были наиболее свойственны старославянскому словообразованию при образовании двукорневых лексем – как суффиксально-сложным способом, так и способом чистого сложения. Так же, как и при образовании лексем от основ греческого происхождения, в словообразовательных процессах с элементами каль-



кирования обнаруживается избирательность древних книжников по отношению к использованию славянских словообразовательных морфем: образование с такими суффиксами, как -ЬС(Ь)/-ЬС(А) или -Ьj(е), имеет «массовый» характер, другие суффиксы используются реже или не используются совсем.

Среди *наименований лиц* большинство существительных, образованных с помощью калькирования, содержат суффикс -ЬС(Ь)/-ЬС(А). Сопоставление этих лексем с их греческими соответствиями демонстрирует, как правило, неполное соответствие морфемных или семантических структур греческих и старославянских лексем. Так, почти у всех старославянских двукорневых лексем с суффиксом -ЬС(Ь)/-ЬС(А) опорный компонент имеет глагольную семантику, греческие же соответствия по большей части представляют собой композиты со вторым компонентом именного происхождения; старославянские лексемы суффиксально оформлены, тогда как греческие соответствия в большинстве являются не суффиксально оформленными существительными, а субстантивно употребляемыми прилагательными. Ср.: **винопивыца** [vin-o-pi-v-ьса] и **винопница** [vin-o-pij-ьса] – οἰνοπότης [oiv-o-pótēs], **животворыць** [živ-o-tvor-ьсь] – ζωοποιός [zō-o-poiós], **миротворыць** [mir-o-tvor-ьсь] – εἰρηνοποιός [eírhēn-o-poiós], **мъздодавыць** [mъzd-o-da-v-ьсь] – μισθοδοτής [misth-alo-dó-tēs], **правословыць** [prav-o-slov-ьсь] – ὀρθόδοξος [óρθ-ó-doxos], **пръвородыць** [prъv-o-rod-ьсь] – πρωτότοκος [prwt-ó-tokos], **родотворыць** [rod-o-tvor-ьс-ь] – γενεσιουργός [gene-si-ourgós], **срьдъцевѣдыць** [srъdъс-e-věd-ьсь] – καρδιогνώστης [kardi-o-ǰnóstēs], **страстносыць** [strast-o-nos-ьсь] – ἀθλοφόρος [áθl-o-fóros], **христоворыць** [xrist-o-bogъсь] – χριστομάχος [xrist-o-máchos], **чюдотворыць** [čud-o-tvor-ьсь] – θαυματουργός [thavmat-ourgós], **ядропишыць** [jêdr-o-piš-ьсь] – ὀξύγραφος [óξύ-ǰrafos].

Структурой старославянской модели сложений с суффиксом -ЬС(Ь), где компонент с глагольной семантикой должен был быть опорным, следует, видимо, объяснять перемену мест компонентов – в сравнении с греческими соответствиями – в двукорневых лексемах на -lubьсь, образованных суффиксально-сложным способом на базе глагола lubiti: φιλόανθρωπος [φιλ-άνθρωπος] – члoвѣкoлюбьць [člověk-o-lub-ьсь]; φιλόχριστος [φιλ-ό-χριστος] – христoлюбьць [xřst-o-lub-ьсь]; φιλόαργυρος [φιλ-άργυρος] – сьрeбрoлюбьць [sьrɛbr-o-lub-ьсь]; φιλόζήμιος [φιλ-ο-ζήμιος] – живoтoлюбьць [život-o-lub-ьсь]. Опорным является компонент -lubьсь и в сложениях, для которых – в отсутствие подобранных греческих оригиналов – греческие соответствия не известны: чистoлюбьць [čist-o-lub-ьсь], крoтoлюбьць [krot-o-lub-ьсь], нищeлюбьць [ništ-e-lub-ьсь], словoлюбьць [slov-o-lub-ьсь].

Обычно принято подчеркивать повторяемость первого компонента старославянских сложений (см., например: Цейтлин 1977: 193). Эта повторяемость, однако, диктуется морфемной и семантической структурами их греческих соответствий. Ср. следующие лексемы с суффиксом -ЬС(Ь) и первым компонентом bog-: богoбoрьць [bog-o-bog-ьсь] – θεομάχος [θεο-μάχος], богoчьтьць [bog-o-čьтьсь] – θεοσεβής [θεο-σεβής], богoлюбьць [bog-o-lub-ьсь] – θεοφιλής [θεο-φιλής], богoносцьць [bog-o-noсьсь] – θεοφόρος [θεο-φόρος], богoсловьць [bog-o-slov-ьсь] – θεολόγος [θεο-λόγος], богoвидьць [bog-o-vid-ьсь] – θεόπτης [θε-όπτης]. Все эти лексемы образованы на базе глаголов: вратн (основа наст. вр. bog'-o), чистн (основа наст. вр. čьt-o), любити, носити, плохо зафиксированного \*словитн (известного по довольно позднему списку 1456 г. Георгия Амартола (Срезневский III: 417)) и видѣти. Лексему богoсловьць можно рассматривать и как результат «обновления», т. е. суффиксального оформления, лексемы богoсловъ с тем же значени-

ем ‘богослов’ (Ен 366 11), которая представляет собой более точную с точки зрения морфемной структуры кальку греческого соответствия θεολόγος, также суффиксально не оформленного (ср.: [bog-o-slovъ] – [θεο-λόγος]). Ср. также лексемы, содержащие в качестве первого компонента sam-: **самодръжьць** [sam-o-drǫž-ьсь] – αὐτοκράτωρ [αὐτ-ο-κράτ-ωρ]; **самовидьць** [sam-o-vid-ьсь] – αὐτόπτης [αὐτ-όπτης]; **самовластьць** [sam-o-vlast-ьсь] – αὐτοκράτωρ [αὐτ-ο-κράτ-ωρ]. Среди этих лексем **самодръжьць** и **самовидьць** также образованы на базе глаголов (drǫž-a-ti и vid-ě-ti), а гапак Супрасльской рукописи **самовластьць** представляет собой нехарактерное для сложений с суффиксом -ьс(ь) образование на базе имени **власть**. На базе того же имени было создано и еще одно нехарактерное для сложений с суффиксом -ьс(ь) образование – сущ. **четвертьтовластьць** [četvŕgt-о-vlast-ьсь] ‘тетрарх’ – τετραάρχης [тетра-άρχης]. Лексему же **шестокрилатьць**, так же как и лексему **животворьць**, можно рассматривать как случай «обновления», т. е. суффиксального оформления калек с тех же греческих соответствий: наряду с гапаксом Супрасльской рукописи **шестокрилатьць** в Синайском евхологии в соответствии с тем же греч. ἑξαπτέρουος употребляется гапакс **шестокрилатъ** (без суффикса -ьс(ь), но с тем же значением); наряду с гапаксом Ассеманиева евангелия **животворьць** в ряде старославянских рукописей в соответствии с тем же греч. ζωολοός субстантивно употребляется действительное причастие **животворъ** с тем же значением.

На самостоятельность старославянских словообразовательных процедур при образовании двукорневых лексем с суффиксом -ьс(ь)/-ьс(а) указывает ряд сложений, представляющих собой частичные кальки своих соответствий в греческих оригиналах, совпадая семантически лишь с одним из двух компонентов: **домаживьць** [doma-ži-v-ьсь] ‘местный житель, туземец’ – οἰκογενής [oik-o-

γενής] букв. ‘родившийся дома’; **побѣдотворьць** [poběd-o-tvog-ьсь] ‘победитель’ (букв. ‘сотворивший победу’) – τροπαιοφόρος [τροπάι-ο-φόρος] ‘победоносный’; **страстотръпць** [stast-o-trъp-ьсь] ‘страдалец, мученик’ (букв. ‘терпящий страдания’) – ἄθλοφόρος [ἄθλ-ο-φόρος] букв. ‘несущий в себе страдания’ (ср. более точную с точки зрения семантики кальку **страстносьць**); **законодавьць** [zakon-o-da-v-ьсь] ‘законодатель’ – νομοθέτης [νομ-ο-θέ-της] букв. ‘полагающий, устанавливающий закон’ (при θέτης ‘кладущий, налагающий’, отглагольное имя от гл. τίθημι); **звѣздозьрьць** [zvězd-o-zьg-ьсь] ‘звездочет, астролог’, букв. ‘наблюдающий звезды’ – ἀστρομαγικός [ἄστρ-ο-μαγικός] ‘астролог’, (т. е. ‘занимающийся изучением звезд как магической наукой’, при μαγικός ‘магический’).

Значительно меньшее количество среди *наименований лиц*, образованных с помощью калькирования, двукорневых сложений с суффиксом -tel(ь). Эти кальки также демонстрируют как полное, так и частичное совпадение морфемных структур: **благодѣтель** [blag-ō-dě-telʲ] и **благодатель** [blagodatelʲ] – εὐεργέτης [εὐ-εργ-έ-της], **идолослужитель** [idol-o-služ-i-telʲ] – εἰδωλόατρος [εἰδωλ-ο-λάτρ-ης], **миродръжтель** [mir-o-drǫž-i-telʲ] – κοσμοκράτωρ [κοσμ-ο-κράτ-ωρ], **самодръжтель** [sam-o-drǫž-itelʲ] – αὐτοκράτωρ [αὐτ-ο-κράτ-ωρ], **словописатель** [slov-o-pis-a-telʲ] ‘писатель, летописец’ – λογογράφος [λογ-ο-γράφ-ος], **шарописатель** [šag-o-pis-a-telʲ] ‘тот, кто пишет красками’ – ζωγράφος [ζω-γράφ-ος] ‘живописец (т. е. пишущий с натуры)’, **вьседръжтель** [vʲsedrǫžitelʲ] – παντοκράτωρ [παντ-ο-κράτ-ωρ], **законоучитель** [zakon-o-uč-i-telʲ] – νομοδιδάσκαλος [νομ-ο-διδάσκ-αλ-ος].

Еще менее характерно калькирование в сочетании с суффиксом -(ьн)ik(ь), хотя это был один из самых распространенных и продуктивных старославянских суффиксов при образовании *наименований*

*лиц*. Здесь можно указать на следующие лексемы: греч. εὐεργέτης [εὐ-εργ-έ-της] калькируется с неполным соответствием семантической структуры как **БЛАГОДАТНИКЪ** [blag-o-dat-ьn-ikъ]; греч. αὐτοῦργός [αὐτ-οῦργ-ός] калькируется с неполным соответствием морфемной структуры как **САМОДѢЛЬНИКЪ** [zam-o-děl-ьnikъ]; греч. τετράρχης – наряду с указанным выше калькированием как **ЧЕТВЕРТВОЛАСТЬЦЬ** – калькируется также и с суффиксом -ьnik(ъ) сущ. **ЧЕТВЕРТВОЛАСТЬНИКЪ**. Калькирующее греч. ἀνθρωπάρεσκος сущ. **ЧЛОВѢКОУГОДНИКЪ** ‘тот, кто угождает людям’ было образовано, скорее всего, путем чистого сложения на базе сущ. **ОУГОДНИКЪ** в качестве опорного компонента. На мысль о калькировании наводит изоморфность (правда, неполная из-за оформления специальным суффиксом существительных старославянских слов при отсутствии такового у греческих) лексем с первым компонентом *ino-*, образованных с суффиксом -ьnik(ъ) суффиксально-сложным способом: **ИНОПЛЕМЬНИКЪ** [in-o-plemen-ьnikъ] – ἀλλογενής [ἀλλ-ο-γεν-ής], **ИНОСТРАНЬНИКЪ** – ἀλλόφυλος [ἀλλ-ό-φυλ-ος]. Однако возможно, что эти сложения с *ino-* были самостоятельными славянскими образованиями, так как в других лексемах с *ino-* такой изоморфности не обнаруживается – ср.: **ИНОЯЗЫЧЬНИКЪ** [in-o-jezyč-ьnikъ] – βάρβαρος, **ИНОВѢРЬНИКЪ** [in-o-věg-ьnikъ] – αἰρετικός. Сущ. **НЕИЗРЕЧЕНЬНИКЪ** ‘неизъяснимое существо’ образовано от прил. **НЕИЗРЕЧЕНЬНЪ**, калькирующего греч. ἀνέκφραστος (ср. [ne-izd-řeč-en-ьпъ] и [ἀν-έκ-φρασ-τ-ος]).

Всего на две кальки можно указать среди двукорневых лексем-наименований *лиц*, встречающихся в старославянских рукописях, с суффиксом -ic(a). Сущ. **БОГОРОДИЦА** – калька с греч. θεοτόκος с неполным соответствием морфемных структур (т. е. с опорным глагольным компонентом в старославянском слове и именным в греческом, – ср. ст.-слав. **РОДИТИ** и греч. ὁ τόκος), а также с суффиксаль-

ным оформлением старославянского слова при отсутствии такового в греческом (ср. [bog-o-god-ica] – [θεο-τόκος]). Сущ. **кръвоточица** [krǫv-o-toč-ica] ‘женщина, страдающая кровотечением’, гапак Супрасльской рукописи, можно считать суффиксальным «обновлением» субстантивно употребленного также в Супрасльской рукописи причастия **кръвоточащница**, которое является более точной калькой с греческого причастия αἰμόρροοῦσα [αἰμο-ρροοῦσα] ‘страдающая кровотечением’.

Образованные с помощью калькирования неодушевленные двукорневые существительные в подавляющем своем большинстве имеют в морфемной структуре суффикс -ьj(e).

Только как поморфемные кальки с греческого могут быть объяснены имеющие *абстрактное* значение лексемы с суффиксом -ьj(e) **дъводоушик**, **лювостраньник**, **славословесник**, **тъщесла вики**, **цѣломѣдрики**. Сущ. **цѣломѣдрики** ‘здравомыслие’ с опорным именным компонентом mǫdǫr- (от **мѣдръ** ‘мудрый’) – калька греч. σωφροσύνη [σω-фро-сύν-η], где первый компонент сѣl- калькирует греч. σοῦς, в соответствии со значениями которого, как отмечала Р. М. Цейтлин, формировались семантические особенности старославянских калек с компонентом сѣl- (Цейтлин 1977: 268; ср. также: Фасмер IV: 297). Сущ. **дъводоушик** ‘сомнение’ с опорным именным компонентом duš- (от **доуша** ‘душа’) калькирует греч. διψυχία [δι-ψυχ-í-α] (ср. δι- (= δισ-) ‘дважды, вдвое’ и ψυχή ‘душа’). Сущ. **лювостраньник** ‘гостеприимство’ с опорным именным компонентом stranǫp- (от **страньнъ** ‘чужеземец; путник, странник’) – калька греч. φιλοξενία [φιλ-ο-ξεν-í-α]. Сущ. **славословесник** [slav-o-sloves-ij-e] ‘прославление, славословие’ с опорным именным компонентом sloves- (от **словеса** ‘слова, речь’) – калька греч. δοξολογία [δοξ-ο-λογ-í-α] (ср. δόξα ‘слава’, λόγος ‘слово’). Сущ. **тъщеславник** ‘тщеславие’ с опорным именным компонентом slav- (ср. **слава** ‘слава’) –



φοποιᾶ; **ВИНОДАТНИК** – οἰνοδοσία; **ВЪСЕСЪЖЕЖЕННИК** – ὀλοκαύτωμα; **ГРѢХПАДАНИК** и **ГРѢХЪПАДАНИК** – παράπτωμα; **ДЪЛГОТРЪПѢНИК** – μακροθυμία; **ДЪЛГОТРЪПѢНИК** – μακροθυμία; **ДОБРОГОВѢНИК** – εὐλάβεια; **ДОБРОДѢЯНИК** – εὐεργεσία; **ДОБРОСЪТВОРКНИК** – εὐποιᾶ, есть гл. **ДОБРОСЪТВОРИТИ** – εὐεργετεῖν, ἀγαθοποιεῖν и др.; **ЖИТОМѢРКНИК** – σιτομέτριον; **ИНОМЪШАКНИК** – ὁμόνοια; **ЗАКОНОПОЛОЖЕННИК** – νομοθεσία; **ЗЪЛОДѢЯНИК** – τὸ κακοπραγεῖν, есть гл. **ЗЪЛОДѢЯТИ**; **КОКОТОГЛАШЕННИК** – ὀλεκτοροφωνία; **КРЪВОВАДЕННИК** – αἵμοβόρον; **КОУМИРОСЛОУЖЕННИК** – εἰδωλολατρεία; **КОУПНОСЖЦНИК** – τὸ ὁμοούσιον; **КОУРОГЛАШЕННИК** – ὀλεκτοροφωνία; **ЛИХОДАЕННИК** – ἄδηφα-γία; **ЛЪЖЕСЪВѢДѢНИК** – ψευδομαρτυρία; **ЛЮБОСЪТШАНИК** – φιλη-κοῖα; **НИЗЪХОЖДЕННИК** – κατάβασις, есть гл. **НИЗЪХОДИТИ** – καταβαίνειν; **ПАКЪВЪТНИК** – παλιγγενεσία; **ПЛОДЪТВОРКНИК** – παιδοποιᾶ; **ПРЪВОВЪЗЛЕЖЕННИК** – πρωτοκλισία; **ПРЪВОВЪЗЛѢГЯНИК** – πρωτοκλισία; **РЖКОПИСАНИК** – χειρόγραφον; **СКВРЪНОДАЕННИК** – μιароφαγία; **СТАЪПОТВОРКНИК** – πυργοποιᾶ; **СЪРБРОЛЮБЯКНИК** – φιλαργυρία; **ТѢЛОПЪСАНИК** – στηλογραφία; **ТОЖДЕРОЖДЕННИК** – ὁμογενής; **ТЪЩЕГЛАШЕННИК** – κενοφωνία; **ЦѢЛОМЪДРОВЯНИК** – τὸ σωφρονῆσαι, есть гл. **ЦѢЛОМЪДРОВАТИ** – σωφρονεῖν; **ЧАРОДѢЯНИК** – θαυματουργία; **ЧОУДОДѢЯНИК** – θαυματουργία; **ЧОУДОДѢНИК** – θαυματούρημα; **ЧОУДОТВОРКНИК** – θαυματουργία. Наличие или отсутствие исходных глаголов в пределах дошедших до нас старославянских рукописей можно считать во многом делом случая.

Некоторые из лексем, *не калькирующих* греческие соответствия в текстах, дошедших до нас в составе старославянских рукописей, могли также быть обязанными своим образованием влиянию языка греческих оригиналов. Так, гапакс Саввиной книги **КРЪВОТОЧЕННИК** употреблен в чтении Лк 8, 43 для перевода греч. ῥύσις αἵματος (другие старославянские кодексы ближе следуют за греческим текстом: ἐν ῥύσει αἵματος – **ВЪ ТЧЕНИИ КРЪВЕ** Мар, Зогр, Ас). Очевидно,



этот гапак возник под влиянием употребляемого во всех старославянских кодексах прил. **крѣвоточнѣъ**, калькирующего адъективно употребляемое греческое причастие αἰμορροῦν. Или, например, такая сугубо книжная лексема, как гапак **благоиспытаниѣ**, не являющаяся калькой греческого соответствия ἀκρίβεια в тексте относительно поздней старославянской рукописи – Зографских листков, могла быть образована как калька в тексте более раннего, но не дошедшего в составе старославянских рукописей перевода. То же можно сказать и о лексеме **козьлогласованиѣ**, нигде в пределах старославянских рукописей не встречающейся как перевод греч. сложения τραυφῶδία (морфемной и семантической структуре которого она следует), но которая в трех апостольских чтениях (Рим 13, 13; Гал 5, 21; 1 Пет 4, 3) в древнейших списках разных изводов, и в том числе в Рим 13, 13 в Ен, употребляется как перевод греч. κῶμος.

В процедурах образования существительных-калек с *абстрактным* значением использовался также суффикс -ьstv(о), хотя и меньше, чем суффикс -ьj(e). Кальками греческих соответствий являются несколько двукорневых лексем, образованных с суффиксом -ьstv(о) суффиксально-сложным способом. В сложениях на базе гл. **любити** (как и в других сложениях на базе гл. **любити**) наблюдается перемена мест компонентов в сравнении с греческими соответствиями, так как компонент с глагольной семантикой в старославянских сложениях должен быть опорным: **братолювьство** – греч. φιλαδελφία [φιλ-αδελφ-ί-α]; **чловѣколювьство** – греч. φιλανθρωπία [φιλ-ανθρωπ-ί-α]; **серебролювьство** – греч. φιλαργυρία [φιλ-αργυρ-ί-α]. Глагольное происхождение имеют также опорные компоненты лексем **хрьстоубниство** [хгьst-oubij-ьstv(о)] (от гл. **оубити**) – греч. χριστοκτονία [χριστ-ο-κτον-ία] и **лихонимьство** (от гл. **имѣти**) – греч. πλεονεξία [πλεον-εξ-ί-α]. С опорным компонентом именного происхождения образованы **доброродьство** – греч. εὐγένεια, **зъловѣрь-**

**ство** – греч. ἑτεροδοξία, **многобожество** – греч. πολυθεία. Отметим, что если сущ. **доброродство** и **многобожество** являются семантически точными кальками своих греческих соответствий, то **зълѡвѣръство** ‘ложная вера, ересь’ калькирует греч. ἑτεροδοξία с неполным соответствием семантических структур первых компонентов – ср. ст.-слав. **зълъ** ‘плохой’ и греч. ἕτερος ‘другой’ (т. е. ἑτεροδοξία буквально означало ‘другое мнение’).

Нельзя не заметить влияния соответствующих слов греческих оригиналов и в ряде префиксальных образований с суффиксом -ьstv(o). Префиксация отрицательным префиксом **не-** существительных **нечоувьство** и **недостоинство** (гапаксы Супрасльской рукописи), образованных от более распространенных лексем **чоувьство** (Супр 3) и **достоинство** (Супр 2, Хил 1), аналогична префиксации их греческих соответствий ἀναίσθησία [ἀν-αίσθησία] и ἀνάξιον [ἀν-άξιον], также префигированных отрицательным префиксом ἀ- (алломорф ἀν-). Также и гапакс Супрасльской рукописи **непрѣзорьство** образован с отрицательным префиксом от сущ. **прѣзорьство**, а префикс **не-** в нем также соответствует греческому префиксу ἀ- в его соответствии ἀκενόδοξον, – хотя в остальном морфемные структуры двукорневого композита ἀκενόδοξον [ἀ-κεν-ό-δοξ-ον] и ст.-слав. **непрѣзорьство** [ne-prě-zor-ьstv-o] с двумя префиксами не совпадают<sup>24</sup>. Путем префиксации префиксом **сь-** образован гапакс Супрасльской рукописи **сѣдѣнство** [sь-dějьstvo] – от более распространенного **дѣнство** (Супр 2, Зогр-лл 1). При этом структура сущ. **сѣдѣнство** явно калькирует структуру его греческого соответствия, префиксального сущ. συνέρχεια [συν-έρχεια]. Гапакс Супрасльской рукописи **несѣвѣтьство** образован префиксально-суффиксальным способом от **сѣвѣть** – аналогично греческому префиксально-суффиксальному образованию с отрицательным префиксом ἀ- ἀβουλία [ἀ-βουλ-ί-α] (от βουλή); сущ. **невѣръство** – от **вѣра** ана-

логично греч. ἀπιστία (от πίστις); **НЕВѢДСТВО** – в соответствии с греч. ἄγνοια. Изоморфны греческим соответствиям с α-privativum ἄθανασία и ἄθεία и префиксально-суффиксальные образования с суффиксом -βστ(ο) и префиксом bez- **БЕСЪМРТЬСТВО** и **БЕЗВОЖСТВО**.

Среди существительных-калек с абстрактным значением образования с *другими суффиксами* единичны. Так, мы считаем калькой греческого сущ. σωφροσύνη образование с суффиксом -ost(ь), гапак Синайского евхология **ЦѢЛОМЖДОСТЬ** (ср. [cěl-o-mqdr-ost-ь] – [σω-φρο-σύν-η]), – несмотря на то, что эта лексема употреблена в тексте, к которому пока не найден полностью соответствующий греческий оригинал (текст Ἀκολουθία εἰς ἀδελφοποιίαν πνευματικῆν, л. 9b 7–8). Более употребительной в старославянских рукописях, в том числе и в Синайском евхологии, калькой греч. σωφροσύνη являлось образование с суффиксом -ьj(e) **ЦѢЛОМЖДРИК** [cěl-o-mqdr-ij-e] с тем же значением. На его фоне гапак **ЦѢЛОМЖДОСТЬ**, так же как и гапак Клоцова сборника с тем же значением **ЦѢЛОМЖДРЬСТВНИК**, выглядят попытками древних книжников создать «более удачные» кальки, с более яркими значащими последовательностями фонем, чем суффикс -ьj(e), т. е. с словообразовательными морфемами -ost- и -βστ-ьj-.

Таким образом, мы видим, что при формировании лексического фонда старославянского языка, с одной стороны, лексика греческих оригиналов не только давала древним книжникам образцы морфемных и семантических структур, но и использовалась ими непосредственно в словообразовательных процедурах в качестве производящих основ для создания новых лексем. При образовании некоторых из таких лексем можно наблюдать и приоритет для древних книжников отношений «текст → текст» над парадигматическими отношениями

внутри старославянского лексического инвентаря. С другой стороны, новые старославянские лексемы создавались по законам старославянского словообразовательного механизма, по исконным славянским моделям. При этом славянские словообразовательные морфемы обнаруживали разную «словообразовательную валентность» как при сочетании с основами греческого происхождения, так и при оформлении разного рода калек по славянскому типу слова. Старославянское калькирование в части создания новых лексем являлось неотъемлемой частью старославянского словообразовательного механизма, демонстрируя самостоятельность старославянских словообразовательных процедур. В целом же влияние языка греческих оригиналов проявлялось не только и не столько в прямом калькировании греческих лексем, сколько в выборе и дальнейшей разработке славянских словообразовательных моделей.

#### Примечания

<sup>1</sup> «Древними книжниками» мы называем как самих переводчиков и редакторов славянских переводов «первого ряда», так и обычных писцов. В эпоху существования старославянского языка переписывание рукописи имело более или менее творческий характер и вносило в нее «субъективный компонент», о чем свидетельствуют многочисленные следы «справ» с греческими протографами, мелких редактирований, лексических замен (не говоря уже об инновациях в области орфографии) в сохранившихся до нашего времени старославянских и несколько более поздних церковнославянских рукописях разных изводов, восходящих к старославянским протографам.

<sup>2</sup> Старославянские лексемы-грецизмы, проникшие в славянскую народную речь не в процессе «текст → текст», переводят совсем другие по происхождению лексемы в тексте греческих оригиналов. Ср., например, ст.-слав. **коуѣница**, образованное от ср.-греч. **κουκκία** (Фасмер II: 435), которое переводит в Супрасльской рукописи греч. **τὰ βρεκτά**; ст.-слав. **маньтинца**,

образованное с славянским суффиксом -ic(a) от ср.-греч. μαγτίον (Фасмер II: 567), которое переводит в Синайском евхологии греч. παλλίον и περιβόλαιον, и др.

<sup>3</sup> Под термином «старославянский грецизм» имеем в виду заимствованную лексему, языком-источником для которой по отношению к старославянскому языку являлся греческий язык, – независимо от ее происхождения и путей проникновения в язык греческий.

<sup>4</sup> Операция расширения семантического объема славянского слова была описана Р. Вечеркой и определена им как *excessive semantic identification* (Večerka 1997: 368). Фактически то же явление применительно к «терминологической лексике» было изучено в целом ряде работ Е. М. Верещагиным, который называет этот прием «транспозицией» (см., например: Верещагин 1997: 40 и сл.). Е. М. Верещагин понимает «термин» очень широко: его «терминологическая лексика» составляет значительную часть старославянской книжной лексики, и фактически «термин» Верещагина во многих случаях приближается к нашему понятию «книжной лемемы».

<sup>5</sup> В палеославистике принято пользоваться термином «греческое соответствие», т. е. слово греческого оригинала, которое переводит та или иная старославянская лексема. Мы продолжаем использовать этот термин в соответствии с всеобщей практикой, хотя осознаем, что «соответствием» логичнее было бы называть старославянское слово, а не греческое.

<sup>6</sup> См., например, большую статью В. А. Погорелова 1930 г. (Погорелов 1930), отдельные замечания у А. Вайана (Vaillant 1974).

<sup>7</sup> Основная масса христианизировавшихся славян – для которых новый литературный язык и был предназначен в первую очередь – даже и при некотором знакомстве с греческим, была ориентирована, конечно, прежде всего на языковой материал славянской народной речи. Мы сохраняем в отношении этой части социальной базы старославянского языка наше прежнее определение «пассивный потребитель» (см.: Ефимова 1994: 25; Ефимова 1999: 26–27; Ефимова 1999 а: 75 и сл. и др.), так как «пассивный потреби-

тель», в отличие от «пассивного пользователя» Г. П. Нешименко (понятие, введенное ею при анализе языковой ситуации в современных славянских странах (Нешименко 1998: 463)), *не генерирует* текст, но только *воспринимает* его – главным образом, «на слух», но также и при чтении. *Генерирование* же текста в условиях функционирования старославянского языка было прерогативой древних книжников.

<sup>8</sup> Основное словообразовательное значение суффиксов *-ov/-ev-* и *-ip-* в старославянском языке определяется как притяжательное значение индивидуальной принадлежности; словообразовательное значение «йотового» морфологического чередования согласных имело спектр от притяжательного индивидуальной принадлежности до относительного, однако все же чаще встречается притяжательное значение; словообразовательное значение суффикса *-ьsk-* имело спектр от притяжательного индивидуальной принадлежности до качественного, однако чаще встречается притяжательное значение индивидуальной принадлежности или относительное. (Материал, на основе которого сделано данное заключение, содержится в готовящейся к печати монографии автора «Старославянская словообразовательная морфемика».)

<sup>9</sup> Кроме того, два прилагательных из отмеченных в старославянских рукописях образованы от старых основ на согласный: *осьлѣтинъ* от *осьла* и *смѣкѣвинъ* от *смѣкы*.

<sup>10</sup> При наличии в старославянском инвентаре соответствующих грецизмов-имен собственных, комплекс *-ij-* присутствовал уже в структуре этих имен: *маринъ* [mar-ij-ip-ъ] от *мариа* [mar-ij-a], греч. Μαρία, *мосинъ* [mos-ij-ip-ъ] от *моси* [mos-ij-ъ], греч. Μωσῆς, *пионинъ* [pion-ij-ip-ъ] от *пиони* [pion-ij-ъ], греч. Πόνιος, *захаринъ* [zahag-ij-ip-ъ] от *захариа* [zahag-ij-a], греч. Ζαχαρίας. Не очень понятно наращение производящей основы в случае с гапаксом Зографского евангелия *хуѣѣанинъ* [huzěan-ip-ъ], образованного от греческого имени Χουζῆ. Возможно, здесь имела место контаминация суффикса прилагательных *-ip-* с суффиксом существительных *-ĕn(ipъ)/-(j)an(ipъ)* при переосмыслении незнакомого

еврейского имени как наименования жителя какой-то местности или города (ср. также мнение о влиянии в этом случае суффикса *-aninъ* М. Бродовской-Гоновской (Brodowska-Honowska 1960: 72)).

<sup>11</sup> М. Прикрылова справедливо отмечает, что среди прилагательных, образованных от имен собственных с помощью суффикса *-jъ-*, наибольшее число оканчивалось на *-пъ* (Přikrylová 2001: 430–431).

<sup>12</sup> О своем наблюдении, что в данные прилагательные «вставляется согласная н», писал В. А. Погорелов уже в работе 1930 г. (Погорелов 1930: 20). М. Бродовская-Гоновская «извлекала» из прилагательных *авнаиъ, салаиъ, тарайъ, хуцаиъ* самостоятельный «суффикс *-лъ*» (Brodowska-Honowska 1960: 171–172) (т. е. *-п(ь)?*), для чего, как кажется, нет оснований, так как такой словообразовательной морфемы в старославянском языке не было: суффикс *-п(ь)*, непродуктивный в старославянском языке, встречается в нескольких старославянских существительных (*брань, казнь* и др.); суффикс *-п-* прилагательных, также непродуктивный в старославянском языке, вычленяется в нескольких лексемах с *о*-основами (*сланъ, желъзнъ* и др.), и только в лексеме *отъвьрънь*, членимость которой в старославянском языке вызывает сомнения, – с *і*-основой. Однако этот суффикс не образует прилагательных притяжательных.

<sup>13</sup> Ст.-слав. лексема *цъсаръ/цъсаръ*, от которой также образовано с суффиксом *-ев-* прил. *цъсаркъвъ*, обычно считается заимствованием из латинского, возможно, через посредство готского (Фасмер IV: 291; ESJS 2: 93). Однако непосредственным источником заимствования лексемы с начальным *k-* *кесаръ* (вариант *кесаръ*) следует, видимо, считать все же греч. *καῖσαρ* (см.: ESJS 5: 308).

<sup>14</sup> Сущ. *\*blaznъnikъ*, от которого образовано прил. *блазньничъ* не встречается ни в кругу старославянских рукописей, ни в обследованных нами более поздних списках памятников, восходящих к старославянским протографам. Аргументацию мотивированности прил. *блазньничъ* именно существительным *блазньникъ* см. у Р. М. Цейтлин (Цейтлин 1977: 90).

<sup>15</sup> Среди прилагательных с суффиксом *-ьsk-* процент основ греческого происхождения не так высок, как среди прилагательных с суффиксом *-ov/-ev-* – ср.: 122 лексемы из 133-х с вариантом суффикса *-ov-* и 145 лексем из 222-х с суффиксом *-ьsk-*.

<sup>16</sup> В сущ. **жѣтелианинѣ** [žɛ-telʹ-aninʹ] ‘жнец’ суффикс *-(j)anin(ъ)* является избыточным, представляя собой пример «удвоенной суффиксации», так как то же значение имело сущ. **жѣтель** без этого суффикса.

<sup>17</sup> Хотя лексема **риторѣ** в сохранившихся до нашего времени собственно старославянских рукописях не встречается, она употребляется в апостольском тексте Деяний (Деян 24, 1), причем, при плохой сохранности текста Деяний в древнейших рукописях, **риторѣ** отмечено как в Христианском, так и в Матичином списках (т. е. в древнейших списках как русского, так и сербского изводов). В Супрасльской рукописи находим и образованное от сущ. **риторѣ** по регулярной модели с суффиксом *-ьsk-* прил. **риторьскѣ**.

<sup>18</sup> Именно в сильной тенденции к экспансии суффикса *-ov/-ev-* при образовании прилагательных от основ греческого происхождения в другие семантические группы следует видеть причину образования прил. **аспидовѣ** и **сѣндьновѣ** с этим суффиксом, а не во влиянии варианта м. р. **аспидѣ**, зафиксированного в списках паримийника конца XIII – начала XIV вв., как предполагает (правда, не очень уверенно) М. Прикрылова (Прикрылова 1997: 26–27).

<sup>19</sup> Представляется, например, что многие лексемы, определенные К. Шуманном или Н. Молнаром как «семантические кальки», более адекватно описываются как результат операции «транспозиции» по Е. М. Верещагину.

<sup>20</sup> Недаром Г. Лиминг подверг в свое время довольно резкой критике по этому параметру абсолютно добросовестный труд Молнара – сказалась недостаточная разработанность традиционной методики исследования (Lee-  
ming 1986).



<sup>21</sup> Это стремление особенно характерно было для книжников Преславской школы, что неоднократно отмечалось палеославистами (см., например: (Иванова-Мирчева 1975: 38–39).

<sup>22</sup> Значение ‘создать, сотворить’ у гл. **въставити** в старославянских рукописях не встречается, но оно отмечено в Изборнике 1073 г. – рукописи, восходящей в старославянскому протографу (л. 7г 27).

<sup>23</sup> О закономерности морфологического чередования при образовании этой лексемы и однокоренных с ней см. в статье С. М. Толстой (Толстая 1996: 586).

<sup>24</sup> Ср. образования с суффиксом **-ьstv(o)**, в которых префикс **ne-** входил в производящую основу: **неистовство** [neistov-ьstv-o] (греч. *μανία*) от **неистовъ**, **неплодство** [neplod-ьstv-o] (греч. *στεῖρωσις*) от **неплоды**, **неприязньство** [neprijazn-ьstv-o] (греч. *πovnρία*) от **неприязнь**. Сущ. **несытьство**, образованное от прил. **несытъть**, имеет соответствием греч. *ἀλλήστια* с отрицательным префиксом *ἀ-*, однако этот префикс обнаруживается уже в соответствии прилагательного **несытъть** – греч. *ἄλληστος*.

### Литература

Верещагин 1997 – *Верещагин Е. М.* История возникновения древнего общеславянского литературного языка. М., 1997.

Ефимова 1994 – *Ефимова В. С.* О некоторых тенденциях развития литературного языка в произведениях Иоанна Экзарха Болгарского // Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. Тезисы докладов международной научной конференции. Москва, 24–26 мая 1994 г. М., 1994. С. 24–26.

Ефимова 1999 – *Ефимова В. С.* О некоторых тенденциях развития первого литературного языка славян в произведениях древнеболгарских писателей (на материале отадъективных наречий) // Проблемы славянской диахронической социолингвистики: динамика литературно-языковой нормы. М., 1999. С. 23–67.

Ефимова 1999а – *Ефимова В. С.* О некоторых проблемах морфемного членения в старославянском языке // Славяноведение. 1999, № 2. С. 67–78.

Ефимова 2004 – *Ефимова В. С.* О влиянии языка греческих оригиналов на словообразовательные процессы в старославянском языке // Славяноведение. 2004, № 4. С. 35–47.

Иванова-Мирчева 1975 – *Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж.* Хомилията на Епифаний за слизането в ада. София, 1975.

Мароевич 1983 – *Мароевич Р.* Заметки по историческому словообразованию. 1–2 // Этимология. 1981. М., 1983. С. 44–49.

Нещяменко 1998 – *Нещяменко Г. П.* Значимость оппозиции «носитель – пользователь» языка (языкового идиома) для изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. Доклады российской делегации. М., 1998. С. 460–474.

Погорелов 1925 – *Погорелов В. А.* Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы: I. Латинское влияние в переводе евангелия. Bratislava, 1925.

Погорелов 1930 – *Погорелов В. А.* Формы греческих слов в кирилло-мефодиевском переводе Евангелия (Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы) // *Byzantinoslavica*. Praha, 1930. Roč. 2. Sv. 1. S. 1–28.

Прикрилова 1997 – *Прикрилова М.* Притежателни прилагателни, завершващи на -овъ/-евъ в старобългарския език // Преславска книжовна школа. Шумен, 1997. Т. 2. С. 23–30.

Словарь 1994 – Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

Срезневский – *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. В 3-х т. М., 1989.

Толстая 1996 – *Толстая С. М.* К типологии морфонологических моделей в славянских языках: йотация в отглагольных именах на \*-enъje // Русисти-

ка. Славистика. Индоевропейстика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 584–597.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М., 1986–1987.

Цейтлин 1977 – *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974 –.

Brodowska-Honowska 1960 – *Brodowska-Honowska M.* Sł owotwórstwo przymiotnika w języku staro-cerkiewno-sł owiańskim. Kraków – Wrocław – Warszawa, 1960.

ESJS – Etymologický slovní k jazyku staroslově nského. Praha, 1989 –.

Leeming 1986 – *Leeming H.* [Rec.]: *Molnár N.* The calques of Greek origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. A Theoretical Examination of Calque Phenomena in the Texts of the Archaic Old Slavic Gospel Codices. Köln; Wien, 1985 // Slavonic and East European review. London, 1986. Vol. 64. № 4. P. 578–579.

Meillet 1926 – *Meillet A.* L’hupothèse d’une influence de la Vulgate sur la traduction slave de l’Evangile // Revue des Etude slave. Paris, 1926. T. 6. Fasc. 1/2. P. 39–41.

Molnár 1985 – *Molnár N.* The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. A Theoretical Examination of Calque Phenomena in the Texts of the Archaic Old Slavic Gospel Codices. Köln; Wien, 1985.

Pape – *Pape W.* Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig, 1870. Bd. III. Wörterbuch der griechischen Eigennamen.

Přikrylová 2001: *Přikrylová M.* Staroslavě nská posesívni adjektiva na *-jb*, *-tjb* // Cyrillo-Methodiana in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. Praha, 2001. S. 429–438.

Schumann 1958 – *Schumann K.* Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Berlin, 1958.

SJS – Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1968–1998. T. I–IV.

Vaillant 1974 – *Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves*. Paris, 1974. T. IV. La formation des noms.

Večerka 1997 – *Večerka R. The Influence of Greek on Old Church Slavonic // Byzantinoslavica*. 1997. № 2. P. 363–386.

### Принятые сокращения рукописей

Ac – Ассеманиево евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Kurz J. Evangeliiář Assemanuv*. Praha, 1955.

Евх – Синайский евхологий, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum*. D. 2. Ljubljana, 1942.

Ен – Енинский апостол, старославянская рукопись XI в.; изд.: *Мирчев К., Кодов Хр. Енински апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1965.*

Зогр – Зографское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zographensis nunc Petropolitanus*. Berolini, 1879.

Зогр-лл – Зографские листки, старославянская рукопись XI в.; изд.: *Минчева А. Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978. С. 39–44.*

Клоц – Клоцов сборник, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Dostál A. Clozianus*. Praha, 1959.

Мар – Мариинское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Ягич И. В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.*

Рыл – Рыльские листки, старославянская рукопись XI в.; изд.: *Гошев И. Рилски глаголически листовце. София, 1956.*

Сав – Саввина книга, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. Ч. I / Изд. подг. *О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева*. М., 1999.

Син – Синайская псалтырь, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Северьянов С. Н. Синайская псалтырь. Graz, 1954.*

Супр – Супрасльская рукопись, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *S. Severjanov. Codex Suprasliensis / Editiones monumentorum slavlicorum veteris dialecti. Graz, 1956. Vol. I–II; Заимов Ђ, Каналдо М. Супрасълски или Ретков сборник. В 2-х т. София, 1982–1983.*

Хил – Хиландарские листки, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *Минчева А. Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978. С. 24–38.*

**ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  
НА НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ: ЛЕКСИКА**  
(СТАТЬЯ I<sup>1</sup>)

...новое понимание действительности возможно только когда каждая словесная формулировка добывается из нового опыта; не как разматывание неудержимого словесного клубка, но как очередное отношение к вещи. И о любой вещи спрашивают – что она, собственно, такое?

*Лидия Гинзбург*

1. Сильное воздействие, которое литературный русский язык через властные и казённые структуры (администрация, канцелярия, армия, школа и др.), в досоветской и, в меньшей мере, посткоммунистической России через церковный дискурс, а с первых десятилетий XX века, кроме упомянутых институтов, через эффективные специальные средства информации и манипуляции сознанием, оказывал и оказывает на территориальные говоры, априорно представляется очевидным<sup>2</sup>. Однако его выявление в прямых образцах и полнообъёмное изучение оказываются задачами не столь простыми, как может показаться поначалу.

Первой сложностью является разграничение общеязыковой лексики и словарных единиц, принадлежащих только литературной, кодифицированной формации или возникших и первоначально функционировавших только в ее границах.

Отсутствие единых суждений о функциональном расслоении русской лексики может быть наглядно показано различиями в квалификации одних и тех же слов в разных, в том числе словарных описаниях. Сошлемся на единственный, но очень показательный эдиционный казус. Во введении к выпущенному в 1977 году Томским университетом «Словарю просторечий русских говоров среднего Приобья» вся диалектная лексика разделяется на три категории: слова «общерусские, употребляющиеся не только в системе диалекта, но и в литературном языке, и в городском просторечии», «диалектно-просторечные, входящие в систему и диалекта, и городского просторечия» и «собственно диалектные, или областные, бытующие только в системе диалекта» (Сл. прост.: 4; разрядка наша. – А. Ж.). Сам словарь посвящен описанию лексики, относимой ко второй категории, то есть не являющейся общерусской, а тем самым литературной. Если отвлечься от возможного – и присутствующего в словаре – смешения социолингвистической и стилистической трактовки понятия «просторечие» (см.: Журавлев 1977: 390–391), то предложенное в нем общее разбиение выглядит достаточно логичным и в целом возражений как будто не вызывает<sup>3</sup>. Однако включение в этот словарь тех или иных конкретных лексических единиц часто вызывает недоумение. Например, в него помещены, понимаясь как нелитературные, слова *лопáтить* ‘пересыпáть лопатой’ (о зерне) и *пóрча* ‘по суеверным представлениям, болезнь от колдовства’ (Сл. прост.: 61, 101). В словаре Ожегова – Шведовой первое рассматривается как «разг.» (ТСРЯ 1992: 341), то есть как слово, которое «не выходит из норм литературного словоупотребления, но сообщает речи непринужденность» (там же: 7), второе фигурирует без каких-либо ограничительных помет (там же: 583); составители новейшего питерского однотомного словаря оставили без помет оба этих слова (БТС 2004: 505, 929), то есть отнесли их к стили-

стически нейтральным и вполне литературным, с чем, кажется, и нужно согласиться. Замечательно, что наряду с единицами вроде *тверёзый, ихний, поврózь, сыночка, холостёжь, выкаму́ривать* в упомянутом обском лексиконе присутствуют, следовательно, оцениваясь сходным образом, такие слова, как *нёбыль, смире́нный, достава́ться* безл. «о больших неприятностях, трудностях», *дух* ‘запах’, *зады́* ‘место позади домов, усадьбы’ и множество подобных. Настораживает, однако, что этой нелитературной и необщерусской лексикой злостно пользуются в авторской речи просто-таки сонмы прозаиков, пишущих по-русски<sup>4</sup>. С другой стороны, томские лексикографы объект своего словаря в его названии определили «термином» *просторечия* (в форме множественного числа!), очевидно приписав ему значение ‘единицы лексики и фразеологии...’, хотя в строго нормированном функциональном стиле, который представляют научные тексты, такое употребление весьма нежелательно. Здесь щепетильные и искушенные лингвисты сами уподобились не слишком грамотным носителям русского языка, примерно в этом же смысле применяющим слово *диалект*: «...грубо в наших казачьих краях говорят / “Хорошая мысль приходит опосля” / такой есть *диалект*» (политик Иван Рыбкин в эфире «Эха Москвы», 2004).

При обращении к заявленной теме важной и непросто преодолимой является проблема достаточности источников информации.

Непосредственные наблюдения над живой диалектной речью с целью нахождения интересующих диалектолога лексических и семантических фактов, у каждого отдельного исследователя понятным образом ограничиваются его чисто физическими возможностями. В лучшем случае собиратель, для которого осуществимо долгосрочное вживание в говор, использует так называемую методику включенного наблюдения, но подобный опыт<sup>5</sup> вряд ли может быть применен к значительному числу конкретных диалектных или идиолектных ситуаций.



В отличие от информации, которая относится к компактным фонетической (в большей степени) и морфологической (в меньшей) систем и добывается обычно с помощью направленного опроса (и даже тестирования), словарный состав, области лексической семантики, деривации и под. поддаются такому обследованию со значительным трудом, прежде всего в силу иной их статистики, а кроме того, присутствия в их организации фактора синонимии. Опрос крайне неэффективен, если вообще применим как метод, для обнаружения специальных фактов сочетаемости слов, для выявления фразеологии.

В целях определения сфер и конкретных путей воздействия литературного языка на диалекты региональная лексикография оказывается также сравнительно ограниченным источником сведений. В подавляющей своей массе диалектные словари построены на дифференциальном принципе (обычно понимаемом чересчур прямолинейно), и слово, попавшее в территориальный говор из кодифицированных сфер языка, помещается в диалектный лексикон лишь в том случае, когда его значение трансформировано явным образом, а такие обычные при миграции слова из подсистемы в подсистему явления, как сокращение числа словарных значений и упрощение семантической структуры слова, которые уже сами по себе суть серьезный различительный момент, как правило либо остаются неотмеченными, либо диалектологом-собирателем и лексикографом даже не осознаются. Но если подобные изменения лексикографом и регистрируются, они описываются в словаре как правило атомарно, в качестве изолированного факта, вне соотнесения элемента с другими элементами лексико-семантической микросистемы или смыслового ряда.

Кроме того, далеко не всегда, к сожалению, можно доверять точности семантических толкований в лексикографических изданиях, имеющих дело с диалектным материалом. Чрезвычайно распространенными их недостатками являются, с одной стороны, неполнота и, с

другой, избыточность дефиниций. В конкретных случаях они нередко соединяются. В «Словаре диалектной личности» В. Д. Лютиковой, например, глагол *творить* получил истолкование ‘читать молитву’ (Лютикова: 162). Неполнота определения заметна в использовании неоднозначного глагола «читать» (‘зрением воспринимать написанное’ или ‘произносить (наизусть)’), а избыточно включение существительного *молитва*: в значение толкуемого глагола этот элемент не входит, о чем свидетельствует иллюстрация: «Богородишную *молитву* не *творила*». Истолковано, в сущности, устойчивое сочетание *творить молитву*, однако составитель словаря отчета в этом себе не дал. Из-за нечеткости контекстов, откуда извлекаются вокабулы для словарных статей, в толкованиях встречаются и прямые ошибки. В Новгородском областном словаре слово *фáльша* (усвоенное говором со сменой принадлежности морфологической парадигме) толкуется как ‘главное в каком-л. деле’ («Вся фальша в подвязи, подвязать надо хорошо, чтобы ткать хорошо» – Новг. сл-рь 12: 3); однако намного более вероятно значение ‘неисправность, причина сбоя в работе устройства; механизма’, ср. значения ‘изъян, порча’ и ‘неполадка’, формулируемые для того же слова в словаре говоров Карелии и сопредельных областей (Сл. Карелии 6: 677). Многочисленные кабинетные кривотолкования полевых данных, не ревизуемые повторными наблюдениями «на месте», вносят неопределенность и могут затемнять реальные процессы в семантике диалектных слов, пути смысловой эволюции при перемещении лексики и фразеологии из одних функциональных областей в другие. Иллюстрирующие контексты нередко не дают потребителю лексикографической продукции возможности проверить, насколько точно сформулировано значение. Исходя из единственной фразы «Ты все пишешь, чтоб в *прологу*-то не забыли про нас», одинокому слову *пролог* (р. Урал, СРНГ 32: 174) приписать значение ‘книга с историческим содержанием’, как это сделано в словаре, можно лишь

с невысокой надежностью. Из контекста «Я говорила ему: *прихожанки* штоб не приходили» понятно, что речь идет о приглашаемых квартирантом ‘гостях, посетительницах’, но имеет само слово *прихожа́нка* (если оно существует в говоре как узуальная единица) значение ‘женщина легкого поведения’ (Сл. Ср. Урала V: 20; СРНГ 32: 49), неясно: «толкуются» определяемые словом персоны, а не его лексическое значение, ср. *Нечего гостей водить!* – о нежелательных личностях, визиты которых предполагают предосудительные занятия, при том что само существительное *гости* такой словарной семантики не несет (в отличие, например, от существительного *девки*).

Несомненны значительные трудности в сличении формально совпадающих лексических единиц, формирующих словарный состав литературного языка и лексикон диалекта. Они могут существенно различаться в членении референтных зон, включенностью в подгруппы, несовпадающие по инвентарному составу и тем самым различающиеся структурой внутригрупповых (полевых) семантических связей и соотношений, закономерностями смыслового развития (например метонимического переноса). В грамматическом отношении о внешнем формальном совпадении литературных и диалектных слов сплошь и рядом можно говорить лишь применительно к некоторой части их морфологических парадигм: различия в наборе и характере реализации грамматических значений (например, рода у существительных с консонантной финалью при тождестве или близости лексического значения, видовых характеристик у глагола – двувидовой в литературном языке, но лишь несовершенного вида в диалекте, и т. д.) делают это «совпадение» в сущности фиктивным.

Установление таких различий должно быть непременной составляющей исследования «межидиомного» перемещения лексики. Однако они отнюдь не всегда прослеживаются с целенаправленностью. Например, в «Словаре русских народных говоров» глаголы *смоби́ли-*

*зовать* ‘мобилизовать (в армию, на какие-л. работы)’ (киров., СРНГ 39: 22) и *смобилизоваться* ‘мобилизовать себя на выполнение какой-л. работы; организовать’ (моск., 1932, там же) имеют видовую помету «сов.». Естественно думать, что в говорах, где они записаны, у беспрефиксной формы *мобилизовать* вероятна (но не жестко обязательна) специализация на передаче граммемы только несовершенного вида, что составляет существенное отличие от положения с этим словом в литературном идиоме. Однако, опираясь на слишком узко понимаемый принцип дифференциальности, формы *мобилизовать* сводный диалектный лексикон не дает вообще, и это следует считать явной неполнотой предложенного словарем описания.

Трудности могут состоять также в частом отсутствии уверенности в том, принадлежит ли зарегистрированное в лексиконе слова говору или идиолекту и даже является ли оно воспроизводимой языковой лексической единицей или его нужно расценивать только как запечатленный факт творимой (и не всегда «уклюжей») речи. В областные словари попадает огромное количество слов и значений, сомнительных по части принадлежности диалектному словарному составу и его семантической системе. Более того, туда могут попадать формы явно «случайные», обреченные на дальнейшее вытеснение, «исправление». Без особых колебаний можно утверждать, что формы *нападóры* ‘помидоры’ (СРНГ 20: 60) и *процамдúрия* ‘случай, происшествие’ (СРНГ 33: 36; по всей вероятности, недоосвоенное *процедура*), записанные соответственно в 1931 году в Поветлужье и в 1928 году в русских говорах Латвии, сейчас в тех краях не встречаются. Такие, кажется, лишь однократно зарегистрированные смещения значений кодифицированных слов, как *необходíмость* ‘все, что нужно для жизни’ («Всю необходимость привезут» – Сл. Карелии 4: 5), *молодéжь* ‘молодость’ («В молодёжи-то всё озорство помню» – Новг. слр 5: 92), *вnezáпно* ‘невинно, необоснованно, зря’ (Селигер 1: 112),

*профессия* ‘проделка’ («Занимается нехорошими профессиями, бабник несчастный» – кубан., СРНГ 33: 21), *эластичный* ‘хорошо обтесанный, без шероховатостей’ (Сл. Карелии 6: 938), или аффиксальные образования и сложения вроде *недостойность* ‘недостаток в чем-л.’ (Сл. дон. казач.: 317), *согрубьянить* ‘сказать грубость, нагрубить’ (вят., СРНГ 39: 205), *большесрочник* ‘осужденный на значительный срок лишения свободы’ (перм., Акчим. сл-рь I: 81), *беднокалиберный* ‘юный, молодой’ («Я была беднокалиберного возраста» – Селигер 1: 32, ср., однако, смол., калуж. *калибер* – «о категории людей разного имущественного, общественного положения, различной значимости и т. п.» – СРНГ 12: 352; к сложению ср. *мелкокалиберный*), по-видимому, являются достоянием индивидуального лексикона либо окказионализмами. Однако не вызывает сомнений, что в идиолектных явлениях, если вывести из них слишком индивидуальные «поэтизмы» и прямую патологию, срабатывают те же механизмы адаптации, в основном реализуют те же тенденции, что и в общих идиомах. Поэтому большинство слов с единичной фиксацией, несомненно «штучного» производства, из анализа может не устраниваться.

2. Предлагаемые наблюдения над освоением литературной лексики носителями диалектной речи опираются на материалы региональных словарей, за известными очень немногими исключениями (Псковский, Брянский, опыты томских диалектологов, в определенном смысле Акчимский) – дифференциальных. Характер преобладающего большинства источников ограничивает возможности описания и исследования.

Здесь не будут рассматриваться и каким-либо образом оцениваться общие и сами по себе очевидные процессы роста словарного состава территориальных говоров за счет притока слов, принадлежащих литературному идиому.

Особенности тематического расширения («обогащения») диалектных лексиконов в период коренной (насильственной в своей сущности) ломки традиционного деревенского уклада достаточно красноречиво изображены в имеющихся разработках того и более позднего времени<sup>6)7)</sup>. Если новая лексика входит в лексический состав диалектов без заметных формальных и семантических перемен, в дифференциальных словарях она не отражается.

Процессы вытеснения локальных слов общерусскими словами и специализированными новообразованиями, вплоть до забвения старой лексики, требуют для своего отражения в словарях особых лексикографических приемов, и диалектных лексиконов, ставящих перед собой эту задачу, нет вовсе (если не относить к этому возможному типу лексикографической продукции Псковский словарь «с историческими данными», из материалов которого информация об утрате тех или иных слов извлекается косвенным и не всегда надежным образом; использование в некоторых словарях помет «(у)стар.» и «нов.» не может быть признано регулярным и вполне корректным, см.: Рут 1998).

В силу той же неполноты словарей перестройка семантических отношений в различных группировках лексики может быть затронута лишь фрагментарно: для суждений о перераспределении «компетенций» между составляющими лексической ассоциации в случае проникновения в нее слов из литературного идиома должна быть уверенность в том, что те или слова, не имеющие узколокальной привязанности, в данном говоре известны. Дифференциальный принцип, применяемый словарями и к лексическим семантике (регистрируются только значения данного слова, отличные от тех, что имеются в литературном языке), не позволяет в значительном объеме проследивать и перестроение внутрисловных смысловых структур.

Ниже внимание будет уделено главным образом изменениям в семантике отдельного слова, словообразованию, сочетаемости слов и фразеологии, а также явлениям народной этимологии. Фонетические и морфологические изменения будут затронуты бегло – лишь в той мере, в какой они имеют отношение к появлению формально самостоятельных единиц номинации.

Написание и толкования слов воспроизводятся (за немногими исключениями) в том виде, в каком они даны в словаре-источнике, даже если они неточны (пропуски важных элементов значения, скрывающая и даже дезориентирующая избыточность дефиниций) или ошибочны. В случаях, когда этими обстоятельствами можно пренебречь, они не оговариваются. Фонемная структура слов, усвоенных диалектом из литературного языка, может отличаться от «оригинальной», однако составители словарей осознают это далеко не всегда; исправления вносятся лишь при необходимости. Многие приводимые ниже примеры представляют собою результат преобразования сразу по нескольким линиям<sup>8</sup>; обсуждаются как правило лишь те особенности, которые позволяют включить слово или фразеологизм в данную рубрику, а прочие моменты могут не оговариваться.

3. Преобразования, которым подвергается слово, мигрируя из литературного идиома в народные говоры, касаются (могут касаться) всех без исключения языковых уровней – от смены акцентных характеристик до сдвигов в синтаксическом поведении слова, от сужения его семантики до формирования на базе книжного заимствования новой диалектной фразеологии.

В области **фонетики** и просодии многие констатируемые явления обнаруживают близость тем, которые были выявлены при анализе иноязычных заимствований (при посредничестве литературного языка) в русском просторечии (см.: Журавлев 1984). Упомянуть, хотя бы

поверхностно, их нужно потому, что лексикализация фонетических преобразований приводит к появлению формально новых словарных единиц. Это различные, обусловленные разными причинами мены звуков: лабиализация безударных нелабиализованных гласных (*бурдóвый* ‘бордовый’, *гусудáрства* ж., *мухрóвый* (*полотéнец*), *пóршунь*), делабиализация безударного [у] (*капишóн*, *саргúч*, *сергúч*), ослабление подъема и переднеязычного характера ударного [и] (*илимéневый*, *элюмéневый* ‘алюминиевый’), оглушение звонких (*битóн* ‘бидон’), включая фонологизацию позиционного глухого (*гибрúт*, *-та* ‘турнепс’), озвончение глухих (*бакéт* ‘пакет’, *гардóн* ‘картон’, *гарнúз* ‘выступ на печной стене’, *картóвь*, *-ви* ‘картофель’), утрата смычки у аффрикаты (*сантробéжка* ‘медогонка’ ← *центробежнýй*, *сóколь* ‘деревянная обшивка фундамента’ ← *цоколь*), гиперкорректная аффрикатизация фрикативных (*концёрвы*, *пульц*, *процифóнить* ‘отругать’, ср. *сифонить*, *снабждéние*), отвердение мягких плавных (*каррýз*, *прынци*, *прынциóвка* ‘пульверизатор’ ← *спринцовка*, *склырóз* ‘атеросклероз’), замены [ф] (*палáнга* ‘членистоногое фаланга’, *хвóрточка*, *квасóн* ‘фасон’); вокальные и консонантные ассимиляции (*берслéт* ‘браслет’, *блóмба* ‘пломба’, *камарím* ‘аквамарин’, *мармазóн* ‘чернокнижник, колдун, шарлатан’ ← *фармазон* ← *франкмасон*, *мартерьяр* ‘материал’, *палталóны*, *сапарát* ‘сепаратор’, *скиртиóн* ‘скорпион’), диссимиляции (*бальёры* ‘поплавки’ ← *барьер*, *камфóр* ‘фарфор’, *лесóра* ‘рессора’), упрощение групп согласных (*гáстун* ‘платок’ ← *галстук*, *салты́рь*), метатезы (*берслéт*, *булгáхтер*, *грамóнь* ‘гармоника’, *лерúгия*, *маряли́я*, *мáрмер* ‘мрамор’, *сгип* ‘гипс’), устранение хиатуса (*азия́т* бран., *киво́т*, *киёт* ‘киот’, *радивóн* ‘аккордеон’, ср. также *радио*) и консонантные протезы (*вúндар* ‘унтер-офицер’, *екипáж* ‘багаж, кладь’, *ефéст* ‘эфес’, в том числе весьма «нетрадиционные», например с помощью [б]: *балта́рь* ‘алтарь’, *балхирéй* ‘архиерей’)<sup>9</sup>; сокращение количества слогов (*барисóвый* ‘бар-



барисовый', *беркулёз*, *блáвестить*, *декóсовый* 'фильдекосовый', *дисциплíрованный*, *нарóдец* 'инородец', *рикулít* 'радикулит', в том числе за счет ложной депротезы – *рéнда*, *рендováть*, *рестováть*, *рестáнт*; нередко с иными фонетическими заменами: *врогáн* 'ураган', *палкáн* 'пеликан'); перемена места ударения, изменение ритмического рисунка слова и др. Нужно сказать, однако, что многие из перечисленных явлений отмечаются также применительно к словесному материалу, не связанному с влиянием литературного языка и имеющему исконную для говора природу (см.: Кузнецова 1985). Но иноязычные по происхождению слова (в народных говорах – заимствованные опосредованно), будучи в русском языке лишены внутренней формы и не встречая поддержки родственными формами, подобным преобразованиям подвергаются легче.

В области **морфологии** имени из явлений, при заимствовании из литературного языка в диалекты приводящих к возникновению формально новых лексических единиц, в первую очередь следует отметить изменения рода существительных: *бакáлбá* 'деревянный стакан, кружка' (волог., СРНГ 2: 58; ср. *бокал*), *балдриáн* 'валерьяна' (екатеринб., СРНГ 2: 80), *жýпело* 'ад' (1926, Яросл. сл-рь 4: 51; СРНГ 9: 227), *кáмфóр* иркут. 'ведро для приготовления пищи на углях', в Бурятии 'маленькая печка' (СРНГ 13: 30; ср. литер. *конфорка*), *канáлей* 'каналья' (тамб., СРНГ 13: 36), *комóда* 'комод', 'буфет' (Сл. Ср. Урала Доп.: 243), *лбóстро* 'зеркало' (Бурятия, СРНГ 17: 247), *магазiна* (вят., 1915, СРНГ 17: 288), *мир* 'миро, благовонное масло' (казаки-некр., СРНГ 18: 170; перм., Акчим. сл-рь II: 133), *музéя* (Акчим. сл-рь II: 145), *плáтин* 'платина' (кемер., СРНГ 27: 95), *политикáнтства* жен. 'уловки, ухищрения' («Политиканством своей чю добился» – курган., СРНГ 29: 75), *ремóнта* (ряз., СРНГ 35: 59), *ренгéна* 'рентгеновское обследование, «рентген»' (Яросл. сл-рь 8: 131), *сод* 'сода' (СРНГ 39: 205; ср. *йод*), *фатó* 'фата' (Сл. дон. казач.: 550) и

под. Не следует думать, что такие преобразования касаются только заимствований или хотя бы слов с темной словообразовательной структурой: *безобра́зия* жен. (перм., Акчим. сл-рь I: 60), *браксочета́ний* муж. (Сл. дон. казач.: 53), *известия* жен. («Я еще не слышала последнюю известию» – Яросл. сл-рь 4: 135), *способия* жен. ‘пособие, пенсия’ (Новг. сл-рь 10: 136), *за́йма* жен. ‘заём’ (моск., 1936, СРНГ 10: 106).

Легче прочего объясняется формальная перемена рода грамматического рода в случаях типа *буга́лтера* ‘женщина бухгалтер’ («...была бухгалтерой...» – Арханг. сл-рь 2: 156) приведением названия профессиональной должности в соответствие с полом именуемого; типа *каприз* ‘прихоть’ → *капри́за* ‘капризный человек, ребенок’, *пси́ха* ‘психически неуравновешенный человек’ (Сл. Карелии 5: 341) и под. – втяжением в круг имён общего рода *егоза*, *пласа*, *сквальга*. Другой фактор – аналогическое выравнивание. Слово *кончи́н* ‘конец чего-л.’ (томск., СРНГ 14: 273; Псков. сл-рь 15: 183; забайк., Сл. семейских: 210) возникло, скорее всего, путем и семантического, и формального изменения литературного *кончина*: в одном отношении – с «уклонением» от значения ‘смерть’, то есть с «сокращением» семантических компонентов (‘человеческой жизни’), не находящих выражения в морфемной конструкции, в другом – по аналогии с существительными мужского рода *зачин*, *почин*, диал. *начин*: «Я не знаю ни начин [песни], ни кончин, забыла», «Тут *начин*, а тут *канчин*...». Повсеместно наблюдаемая смена существительным *фамилия* женского рода средним вызвана параллелизацией со словом *имя* – они постоянно выступают в синтагматической связи.

При заимствовании литературного слова в говоры изменения могут затрагивать и категорию ч и с л а. Имя существительное может усваиваться с утратой граммы сингуляра: *минерáлы* ‘минеральная вода, добываемая в г. Кашине’ (твер., СРНГ 18: 167; с метонимиче-

ским смещением в значении), метафорические названия комнатных растений *майóры* ‘*Zippia* L., сем. сложноцветных; угольки’ (дон., кубан., СРНГ 17: 305), *папи́рoсы* ‘комнатный цветок с трубчатым стеблем’ (новосиб., СРНГ 25: 205). Оттопонимическое (истоки – в библейском ономастиконе) *вавилóны* ‘большой дом, большая постройка’ (дон., 1874, СРНГ 4: 8) претерпело переход из одной группы «*tantum*» в другую. Напротив, принадлежа в литературном языке к разряду *pluralia tantum*, в диалекте существительное может восполнить лакуны в дефектной морфологической парадигме, получив возможность употребления в единственном числе и, кроме того, вписавшись в систему грамматического рода: *кани́ка* ‘каникулярное время’ («...на канику разъехались» – олон., СРНГ 13: 41), *конце́вра* ‘консервы’ (новосиб., СРНГ 14: 272).

Слово литературного языка может быть воспринято диалектом с переменной частеречной отнесенности, ср. *большинство* нареч. ‘преимущественно, главным образом, чаще всего’ («Жэлна... кричить: кэ-кэ-кэ, вясной бальшыństwo, када зываить адна адну» – Брян. сл-рь 2: 70, иных употреблений слова этим, заметим, полным словарем говора не дается; «... [кот] большинство спит», «Я табак курю большинство» – Селигер 1: 59; Псков. сл-рь 2: 103; Сл. Ср. Урала Доп.: 37; арханг. – СГРС I: 145; томск. «Вода прибывает весной, в апреле большинство и в мае тоже» – Сл. Сибири 1 (1): 81), яросл. *содбom* ‘часто’ (СРНГ 39: 211, «в знач. безл. сказ.»)<sup>10</sup>. Сюда же примыкают случаи приобретения существительным функции предлога: слово *преподобие* отождествилось с предлогом *наподобие*: «Она приподобие шёлку, похожа на шёлк» (Приамур. сл-рь: 223).

Малоизученной оказывается область формальных преобразований в системе перемещенного глагола. Хотя появлению особых словарных единиц приводят многочисленные морфонологические «вибрации» (ср. *содáржевать* ‘вмещать, заключать, содержать в себе’ (р.

Урал: «Рыба жир в себе содаржует», 1976, СРНГ 39: 205), *содърживать*, *содърживать*... (СРНГ 39: 213–214), *сойматься* ‘сфотографироваться’ (влад., муром. СРНГ 39: 231), *трудящей* ‘очень трудолюбивый’ (Сл. Ср. Урала VI: 109) и мн. др.), для целей этой работы они представляют в общем периферийный интерес. Материал заимствований из литературного языка вовлекается, естественно, в процессы перестройки грамматической системы глагола (скажем, выветривания собственной грамматической семантики у ряда причастных форм), но эти процессы протекают в более широком лексическом пространстве. Некоторые явления во взаимодействии глагольной грамматической и лексической семантики, приобретающие характер «тенденции», будут затронуты ниже.

#### 4. Семантика.

Когда усваивается извне (заимствуется из языка в языка, перемещается из литературного языка в народные говоры, первоначально усваивается индивидуальным носителем языка) слово со скольконибудь сложной семантической структуры, стандартом является ее свертывание. Многозначное слово как правило заимствуется лишь в одном из своих значений; наращение иных значений – это обычно следующие этапы «биографии» слова в данном идиоме (языке, диалекте). В нашем случае документировать явления семантической редукции могут лишь словари полного типа. По данным Псковского, например, словаря, существительное *бюлетень* из четырех своих значений, выделенных в БТС 2004 для литературного языка, сохраняет, понятно, лишь одно – ‘листок временной нетрудоспособности’; *библиотека* – из трех одно, ‘учреждение...’, *буфет* – из трех одно, ‘шкаф...’; согласно Брянскому словарю, у слова *гардероб* воспринято лишь одно значение из трех – ‘шкаф...’, *вскрытие* известно только как медицинский термин, и т. д. Очевиден крен в

сторону значений, связанных с бытовыми референтами. Словарные описания диалектной лексики, построенные на дифференциальном принципе, не дают возможности уверенно судить о «потерях» подобного рода для большинства слов, пришедших в говоры из литературного языка, поскольку у исследователя в руках оказывается материал почти всегда ущербный; меру редуцированности семантической структуры заимствованного в диалект слова приходится устанавливать, доверяя лишь собственной интуиции.

По той же причине, то есть в силу дифференциального характера региональных словарей, у наблюдателя-читателя поневоле складывается впечатление, что всякое попадающее в говоры из литературного идиома слово (или его ближайшее производное) подвергается смысловым смещениям. Разумеется, это далеко не так, но все же обилие семантических сдвигов (иной раз труднообъяснимых) составляет заметную особенность осваиваемой лексики: *банкрѳт* ‘обманщик, плут’ (Псков. сл-рь 1: 107), *бáндериша* ‘толстая, крупная женщина’ (Новг. сл-рь 1: 31), *безовкúсица* ‘плохо выполненная работа’ (Новг. сл-рь 1: 44), *благодáтный* ‘доброжелательный’ (Яросл. сл-рь 1: 61), *благодéтель* ‘бездельник’ («...развалился, как блъгадетель...» – Брян. сл-рь 1: 57), *блик* ‘блестящая лысина’ (олон., 1926, СРНГ 3: 24), *блокáда* ‘мера чего-н., пучок или мешок’ («У меня брусничного листа столько блокад засушено» – Селигер 1: 46), *браконьёр* ‘дармодед’ (перм., Акчим. сл-рь I: 87), *гáвань* ‘водоворот в реке’ (арханг., СГРС III: 5; объяснение см. в: Ивашова 1998: 115), *живородящий* ‘быстро растущий (о растениях)’ (урал., СРНГ 9: 156), *искуситель* ‘сведущий человек, знаток’ (яросл., 1849, СРНГ 12: 224), *каникулы* ‘первый лов рыбы после ледохода’ (томск., СРНГ 13: 41), *капитáл* ‘пища, еда, питание’, *капитáльный* ‘богатый’, калуж. ‘сытый, толстый’ (СРНГ 13: 52), *космос* ‘космический аппарат’ («Мы думали космъс какой запустифшы» – Псков. сл-рь 15: 314), *линейка*

‘приставная лестница’ (Сл. Ср. Урала Доп.: 283), ‘тропинка вдоль деревенской улицы’ (Новг. сл-рь 5: 25), *магнетó* ‘железо’ (иркут., СРНГ 17: 290), *нали́чность* ‘внешний вид’ (твер., СРНГ 20: 20), *неглиже́* ‘распущенно, невыдержанно’ (яросл., СРНГ 20: 370), *необходíмый* ‘недопустимый, непростительный’ (Сл. Карелии 4: 5), *но́мер* ‘участок леса, предназначенный для вырубki’ («Номера вырубают, крупной лес вырубают» – Новг. сл-рь 6: 65), *первобы́тные* [‘невежественные, неотесанные?’]: *как первобытные* («Он сидит поет, а они курятник разинули, как первобытные» – Фраз. сл-рь Сиб.: 163), *прискóрбно* ‘обидно’ (ряз., Деул. сл-рь: 459), *престóл* ‘органы управления’ («Хто у престолу-то, дак сыт был, а хто робил – дак голодной», «Каких-то бродяг наставят к престолу. Оне и вылупаются» – перм., Акчим. сл-рь IV: 123), *профóрма* ‘образец’ (вят., СРНГ 33: 21), *прызидéнт* ‘опытный, бывалый человек’ (яросл., 1902, СРНГ 33: 71), *психологíческий* ‘раздражительный, неуравновешенный’ (Сл. Карелии 5: 341), *психоло́гия* ‘помешательство’ (Сл. Карелии 5: 341), *пу-теши́ствие* ‘происшествие, случай’, ‘история, рассказ’ (Сл. Карелии 5: 359), *резóн* ‘разговорчивый, общительный человек’ («Она вообще так-то резон, не резонится с вами» – Сл. Карелии 5: 511), *резóнный* ‘резвый, бойкий’ (Сл. Ср. Урала Доп.: 483), *рассéянный* ‘беззаботный’, ‘нерешительный’ (Сл. Карелии 5: 467), *ру́копись* ‘навык письма, умение писать’ (Сл. Карелии 5: 581), *самоуве́ренность* ‘самоуверенность’ («Заревела и на пол так и ботнула [жена], лежит без ума, это все от самоуверенности» – арханг., СРНГ 36: 108), *скомбини́роваться* ‘устроиться, расположиться’ (томск. *Мы скомбинировались поспать* – СРНГ 38: 70), *сообразно́сть* ‘способность понимать, соображение’ (калуж., СРНГ 39: 326)...

Расхождения в семантике слова в исходной системе и его рецепции другой системой (здесь – в литературном языке и в территориальном говоре) не всякий раз следует понимать как результат зако-

номерных смысловых преобразований – семантического «развития», имеющего истоки во внутрисловных потенциях. Часто, если не главным образом, речь должна идти не о работе собственно языковых механизмов семантической эволюции, а о низкой степени знаний о называемом словом предмете, о крайней размытости образа, стоящего за словом, в сознании осваивающего это слово индивида (ср.: Волотковская 2003: 99–100). Некий смутный момент ‘назначенности, обязательности, неотлучности’, ощущаемый в семантике слова *конвой* и его производных разрешил существительному *конвоёр* приобрести значение ‘активный [точнее, непременный. – А. Ж.] участник какого-н. дела, мероприятия’ («А мы кнвайрём бьили, биз нас ни сўпретки, ни гулянки» – Псков. сл-рь 15: 148). В ряде случаев предельно неясная для носителя диалекта, «пустая» семантика заимствованного слова позволяет его использование в совершенно произвольной новой содержательной функции: *атомный* ‘?’ → *атомный квас* ‘квас, поставленный [так!] на постоянно обновляющейся закваске’ («Сольёш да нальёш – он опять живёт, атомной квас» – Арханг. сл-рь 1: 75; ср. широко известное выражение *купоросные щи* ‘щи без мяса, из одной капусты’ – новг., псков., твер., моск., СРНГ 16: 104).

Свойством неопределимо большей части, если не большинства, производных слов является их идиоматичность – невыводимость значения целого из значений составляющих, или отсутствие обязательной симметрии между структурой значения и морфемным строением слова. Невосприятие идиоматичности, неосознаваемая носителем диалекта конвенциональность отношений между формой и значением нового для него слова служит почвой для распространённого явления *реидиоматизации* – переосмыслений, не нарушающих видимого формального строения слова и состоящих в приписывании ему семантики, отличной от той, которая реализована

в исходной словесной единице, при том, что эта новая семантика не противоречит возможностям ее соотнесения с морфемной структурой: один семантический «довесок», не находящий прямого морфемного выражения, подменяется другим «довеском». Примеры подобных переосмыслений слов, проникающих из литературного языка в говоры, чрезвычайно многочисленны. Ср.: *бэ́женка* ‘суетливая, чересчур подвижная женщина’ (Селигер 1: 32); *бюджéтница* ‘банковский работник’ (Селигер 1: 77); *грузови́к* ‘лошадь как тягловое животное’ (Сл. дон. казач.: 120; если это не метафора); *допризы́вница* ‘любовница’ [до армейской службы молодого человека?] (Новг. сл-рь 2: 97; с формальным развитием – родовой коррелят к *допризывник*); *жи́тельство* ‘все, что требуется для жизни’ («Всё моё жительство сгорело» – курган., Лютикова: 46); *инвали́дка* ‘жена инвалида’ (Псков. сл-рь 13: 280); *ли́чность* ‘лицо, передняя часть головы’ (Акчим. сл-рь II: 111); *маши́нист* ‘водитель грузового автомобиля’ (перм., Акчим. сл-рь II: 126, к *машина* ‘автомобиль’, вряд ли сужение значения ‘оператор (любой) машины’); *парохо́дство* ‘навигация’ (арханг., СРНГ 25: 240); *писа́тель* ‘иконописец’ (Сл. Карелии 4: 518); *планта́тор* ‘руководитель работ на овощных плантациях’ (р. Урал, СРНГ 27: 82), но: *планта́торь* то же (куйбыш., там же) [с подгонкой к русскому суффиксу *-арь*, фонологически, возможно, /-ар’/]; *показáтель* ‘указательный палец’ (перм., Акчим. сл-рь IV: 79); *прихо́жанин* ‘приходской священник’ (тул., СРНГ 32: 49); *пятиле́тка* ‘пятилетний срок заключения’ (Сл. Карелии 5: 380); *разоблачи́ть* ‘отличить, узнать’ («...не могу розоблачить, это клюква или вишенё» – курган., Лютикова: 141); *фабрикант* ‘фабричный рабочий’ (Сл. Ср. Урала Доп.: 548); *чита́льня* ‘процесс чтения’ («А по читальне никто не признавал, что самоучка» – Сл. Карелии 6: 796; ср. *говорильня*); *язы́чество* ‘пустые разговоры’ (Сл. Карелии 6: 956; формальный «вклад» литературного языка здесь достаточно вероятен, но уже



применительно к словам *язы́чник* ‘сплетник’ – Сл. дон. казач.: 603, *язы́чница* ‘сплетница’ – Приамур. сл-рь: 339, оправданы большие на этот счет сомнения, ср. *язы́чный* ‘любящий поговорить; такой, который сплетничает’ – Сл. дон казач.: 603; Новг. сл-рь 12: 124). В некоторых случаях можно подозревать, что расхождение значений слова в литературном языке и говорах вызвано более поздним возникновением литературного слова, с диалектным совпавшего только формально. Значения *безрабо́тица* ‘кто не может работать по возрасту’ (Псков. сл-рь 1: 157), собир. ‘бездельники, тунеядцы’ (волог., СГРС I: 87), ‘отсутствие хозяйственно важных дел, работы’, собир. ‘люди, не принимающие участия в хозяйственно важных работах’ (перм., Акчим. сл-рь 1: 60), *безрабо́тица* ‘свободный от работы, праздный человек’, ‘безделье, праздность’ (Арханг. сл-рь 1: 151), ср. *безрабо́тник* ‘бездельник’ (курган., Лютикова: 8), могут быть старыми и в говорах исконными, однако их отсутствие в словаре Даля, где регистрируется лишь прилагательное *безработная* (*пора*) ‘праздничная или гулевая, когда нет работы’ (Даль<sub>2</sub> I: 72), заставляет думать, что эти слова все же суть результаты переосмысления литературного *безработица* ‘отсутствие работы как способа добывания средств к существованию’, облюбованного советской публицистикой, бичевавшей язвы западного капиталистического образа жизни.

Превратным осмыслениям подвергаются слова, когда воспринимающему недостаточно ясна семантическая нагрузка аффикса: *воззвать* ‘позвать’ (моск., СРНГ 5: 23), *возмо́жный* ‘зажиточный’ (колым., амур., СРНГ 5: 26; ср. олон., волог., енис. *мало-мо́жный* ‘незажиточный; бедный, необеспеченный’, СРНГ 17: 336); *громкоговори́тель* ‘привычка громко говорить’ («Я навы́кла, у меня́ такой на́вык получи́лся, у меня́ громкоговори́тель вы́работан» – Арханг. сл-рь 10: 77), *пита́тель-ный* ‘упитанный’ (Сл. Карелии 4:

521), *обога́ти-тель-ный* 'обильный, богатый' («Эти края обогатилые золотом» – Сл. Карелии 4: 95).

Не искусенные в анализе формального устройства лексики, носители говоров часто останавливаются в осмыслении лишь некоторой части морфемной цепи, которую представляет собою слово, заимствуемое из литературного языка. Результатом такой десемантизации (правильнее было бы сказать – «недосемантизации») как правило небазового элемента (в сложных словах это может быть и корневая морфема) оказывается подгонка значения усвояемой многоморфемной единицы к содержанию иной, знакомой и формально более простой, которая «получается» «за вычетом» морфемы, выскользнувшей из внимания воспринимающего. Ср. *благó-дарíть* 'подарить' («Псалтирь-то мне монашка благодарила» – Сл. Ср. Урала Доп.: 29, с несхождением в глагольном виде), *перво-нача́льный* 'начальный' (о школе) (Сл. Карелии 4: 427), *вос-пита́нье, вос-пита́ние* 'питание' (арханг., СРНГ 5: 140; Яросл. сл-рь 3: 39), *иску́с-ствен-но* 'искусно' («Искусственно жарить на гармошке» – твер., СРНГ 12: 224), *нрав-ствен-ной* 'своенравный' (Сл. Ср. Урала II: 213, ср. *нравный*). «Недоосмысление» в редких случаях может касаться и опорного в словообразовательном плане элемента (морфемного комплекса): *скоро-пости́жн-о* 'очень быстро (что-либо сделать)' («Скоропостижно ей надо картошку выкопать» – курган., Лютикова: 152), *скоро-пости́жн-ый* (человек) 'быстро выполняющий работу' (Сл. Карелии 6: 127), *междо-ме́т-ие* 'перерыв, промежуток времени между чем-либо' («...чай, водка и ужин. В междометие – карты...» – волог., СРНГ 18: 79).

Но даже если морфемное строение нового слова носителю диалекта ясно и их значения «по отдельности» идентифицированы правильно, он может усматривать между ними не те зависимости, которые реализованы литературным лексиконом, в результате чего слову

как целому приписывается превратная мотивированность. Заимствованное из литературного языка существительное *самолюбие* употребляется в значениях 'свобода, самостоятельность' («К детям не хочу ехать, самолюбия не будет»), 'произвол' («Раньше было много самолюбия-то. Вот захотят, дадут вина кому-то, вот на семью-то и не дадут полного надела» – Сл. Карелии 5: 629). Очевидно, что внутренняя его форма истолкована как 'привычка или склонность (*люб-*) действовать самому, не завися от других или не считаясь с другими'. Еще более эффектно несоответствие литературной и диалектной семантики у слова *водородный*: в тверском говоре оно зарегистрировано в значении 'изобилующий, богатый водой' («...водородный ключок – и зимой, и летом бежит» – Селигер 1: 115), которое находится в резонансе со смысловой стороной географического термина *родник*. Будучи следствием формального влияния извне, диалектное употребление этого калькированного слова обнажает его притупившуюся для носителя литературного идиома внутреннюю форму.

К наиболее простым смещениям лексической семантики нужно отнести, вероятно, сдвиги в пределах некоей («данной») ветвящейся классификационно-смысловой схемы.

Обычны встречи с «горизонтальными» сдвигами – перескоком на соподчиненное звено семантического дерева: *атлёт* 'человек, отличающийся быстротой действий' («Атлет по-моиму быстрый какой» – Брян. сл-рь 1: 21), ср. *атлёт* 'бойкий, разбитной человек, сорви-голова' (Псков. сл-рь 1: 74; ряз., Деул. сл-рь: 47); *багряный* 'полосатый, пестрый' (терск., СРНГ 2: 35); *бисер* 'жемчуг' (псков., СРНГ 2: 296); *бóмба* 'мина' («Адин паренёк на бóмбы пьдарвался» – Псков. сл-рь 2: 112); *дежурить* 'водить, галить (в игре в прятки)' (арханг., СГРС III: 203); *инострáнец* 'человек нерусской национальности', *инострáнка* 'уроженка другого края; не местная' (Псков. сл-рь 13: 291), ср. *иностранóнец* 'не местный житель, приез-

жий' (самар., СРНГ 12: 205); *кли́ма(н)т* 'погода' (смол.), 'почва' («Здесь одинакий клима́т, все песок» – влад.; волог., том.), 'условия жизни' (арханг., урал.) (СРНГ 13: 296); *легкомы́сленной* 'умный, сообразительный' (курган., Лютикова: 74; любопытно, что в том же идиолекте значения 'неумный, полный легкомыслия', 'несерьезный, беззаботный, ветренный' передаются словообразовательно вполне параллельным сложением *легкоу́мной*); *на́ция* 'класс, сословие' (олон., псков., ворон.), 'семейство' (арханг.), '...' («И мордва нация, и русские нация, и пензенские тоже будет нация», новосиб., 1960), 'вид, порода' («Крот то тоже крыса, но другая, нация у них разная», новосиб., 1979), 'физический облик, наружность человека, характерные внешние признаки, роднящие его с другими людьми; порода' («...вся нация батькина», новг.; зап.-брян., зап., южн., сиб.), 'обычай' (арханг., перм., ульян.), 'мода' (олон., урал.), 'манера, привычка, способ поведения; черта характера; характер' (широко) (СРНГ 20: 276); *патро́н* 'кулек, пакет' (Сл. Карелии 4: 409); *пéнсия* 'пособие любого вида' (в данном случае – 'алименты': «Судья сказал, что сын будет платить пенсию» – перм., Акчим. сл-рь IV: 22), ср. *стипéндия* 'пенсия' (Фраз. сл-рь Сиб.: 36); *пинжа́к* 'мужская верхняя теплая одежда, род полупальто' (перм., Акчим. сл-рь IV: 45); *пла́стырь* 'целебная мазь' (Сл. Карелии 4: 534); *провиáнт* 'ружейные припасы охотников' (перм., Акчим. сл-рь IV: 142); *созна́тельный* 'чуткий, внимательный, хороший, подходящий для семейной жизни' (том., СРНГ 39: 225), *удобре́нье* 'приправа к пище' (ряз., Деул. сл-рь: 573), *фарва́тер* 'главная дорога' (Сл. Карелии 6: 678).

Реже в границах рассматриваемого материала отмечаются сдвиги «в е р т и к а л ь н ы е» – смена родового наименования видовым или наоборот («сужение» и «расширение» значения), например, *ме́бель* 'утварь, скарб' (орл.), 'всякая рухлядь' (терск., СРНГ 18: 63; с «восстановлением» значения этимона, ср. лат. *res mobiles* 'движимое

имущество, движимость'), *артэль* 'группа молодежи, объединенная в одну компанию по возрастному признаку' (Войтенко I: 17) на фоне преобладающего в говорах значения '(любой) коллектив людей'. Встречаются семантические смещения синекдохиального склада: *псалтырь* 'псалом' («...псалтырь спую» – урал., СРНГ 33: 98), *растительность* 'растение' («Вёх – ядовитая растительность, коровы отравливались» – Селигер 1: 98, ст. Вёх).

В фактах затронутого характера сказывается приспособление новых слов к привычным культурным реалиям (ср.: Волотковская 2003: 97–98): *балкón* 'сеновал; место во дворе на хлебах' (Новг. сл-рь 1: 29); *бомбить* 'глушить (рыбу) взрывчаткой' (перм., Акчим. сл-рь I: 82); *брюслетки* 'обшлага у женской блузки, мужской рубашки' (перм., СРНГ 3: 223, с фонетическими, ср. *бруслет*, и аффиксальными осложнениями); *галета* 'пирог с картофелем, перезимовавшим в поле' (волог., СГРС III: 10); *графин* 'глиняный горшок' (волог., СГРС III: 123); *диван* 'широкая лавка, наглухо приделанная к стене, от угла до входной двери' (моск., Войтенко: 177), далее, с аффиксацией, *диванка* 'деревянная скамья со спинкой' (том., СРНГ 8: 47); *карниз* 'выступ... над шестком русской печи для сушки ложек, вилок', 'деревянное основание русской печи', 'настил над сенами, где складывают старые вещи', 'утепление вокруг дома из досок и мха, охватывающее его нижнюю часть' (Яросл. сл-рь 5: 21), также *гарниз* 'выступ на печной стене' (волог., СГРС III: 16), с ложноэтимологической подгонкой к *гарнизон*); *навильон* 'занавес вокруг кровати, в прошлом – полог, балдахин' (Сл. дон. казач.: 353); *предмет* 'вид продуктов' («...продавцов... по каждому предмету: по муке там, по сахару»), 'профессия, специальность' («На три предмета учился: на шофёра, на лесничего» – Сл. Карелии 5: 140); *тамбур* 'сени в деревянном доме', 'кладовая в сенях' (Приамур. сл-рь: 295), *тамбура* 'навес, крыша над крыльцом', 'пристройка (около хлева)

для хранения сена' (Сл. Карелии 6: 438); *фóрточка* 'небольшое отверстие (в печи, самоваре и т. п.)', 'небольшая дверца, задвижка' (Сл. Карелии 6: 688), 'растворяющееся окно', 'калитка' (Сл. дон. казач.: 551); *шпиль* 'орудие для переноски сена' (Новг. сл-рь 12: 106).

Многие примеры семантических изменений при миграции слов из литературного языка в говоры напоминают «обычные» метонимические переносы: *алкогóль* 'болезненное влечение к спиртным напиткам («...ат алкаголя лячился» – Брян. сл-рь 1: 17); *áтом* 'атомная бомба' (Псков. сл-рь 1: 74; перм., Акчим. сл-рь 1: 44); *бамбúка* 'бамбуковая лыжная палка' (перм., Акчим. сл-рь I: 50); *инкубáтор* 'птица, выведенная в инкубаторе' («Ани кладу́ща и бес пятунá, éти анкубáтары...» – Псков. сл-рь 13: 284); *командирóвка* 'поселок сезонных рабочих, лагерь заключенных и место, где они ведут работы', 'лесные поляны, луга на месте заброшенных поселков сезонных рабочих и заключенных' (перм., Акчим. сл-рь II: 57); *план* 'земля, принадлежащая колхозу' (волог.), 'участок пахотной земли' (твер.) – ср. кемер. 'поле в соответствии с землемерным планом' (СРНГ 27: 80); *по-лítica* 'политический ссыльный', также собир. («Вся политика уедет...» – СРНГ 29: 74); *совéт* 'гражданин Советского Союза, не житель Прибалтики' (Литва, 1960, СРНГ 39: 183), *совéт* 'председатель сельского, поселкового совета' (р. Урал, СРНГ 39: 183), *сельсовéт* 'председатель...' («...работала трактористом, потом сельсоветом...» – Сл. Карелии 6: 53). Думается, однако, что многие из подобных случаев предпочтительнее рассматривать не как «правильное» ветвление семантики отработанными в языке способами, но как следствие неполного овладения словом. В частности, русскоязычные сельские жители Литвы могли приведенное слово *совет* 'житель СССР – не Прибалтики' «извлечь» из прилагательного *советский*, едва ли не идентифицируя последнее как деэтнонимическое (*Советы* 'СССР' могло восприниматься как реализация модели именования

стран по народам, к которой относятся польск. *Włochy* ‘Италия’, ст.-рус. в *Чехах*, далее *из Варяг в Греки*).

Неточно усваиваясь носителями диалектов, слова литературного языка часто меняют свои грамматические особенности, как следствие, синтаксические (сочетаемостные) свойства. В литературном языке глагол *атрофироваться* соединяется с названиями телесных органов, биологических тканей, переносно с наименованиями чувств, волевых качеств и под., и означает ‘подвергнуться атрофии – ослаблению естественных функций, вплоть до полного прекращения деятельности’. В словаре брянских говоров этот глагол регистрируется как соединяющийся с наименованиями людей (также, понятно, с личными местоимениями) и несущий модально-отложительное значение ‘прекратить делать что-н.; отказаться от чего-л.’, <отвыкнуть>. Следствием такого усвоения оказывается способность этого глагола управлять инфинитивом и требование сочетаний с «от + родит. п.»: «Сичяс уш мыла *брать атрафирьвъльись*, фсё пьрашок бяруть (для стирки)», «3 девачками я сафсем *атрахфиравълась ат* госпада бога» (Брян. сл-рь 1: 21). Приобретя значение ‘большая неприятность, несчастье’, слово *стихія* резервировало и возможность управлять предложно-падежным сочетанием «с + твор. п.» («Может, как стихия с коровой, может, ногу вывернет...» – Сл. Ср. Урала Доп.: 518; «У нас столько стихии было с коровам» – Сл. Карелии 6: 335).

Носители говоров часто испытывают трудности с освоением сохраняющихся залоговых характеристик отглагольных адъективных форм, что позволяет этим причастиям/прилагательным выступать в иных, по сравнению с литературным языком, значениях: *невредимый* ‘безвредный’ («...нивридима́я трава́ для живóтных...» – забайк., Сл. семейских: 297; «Он художничал, он невре́димый гля нас был» – томск., СРНГ 20: 360), *успева́емой* ‘ловкий, расторопный’ (Сл. Ср. Урала VI: 134), *сидя́щий* ‘седалищный’ (ворон. *сидя́щий нерв* – Шес-

такова 1972: 285), *вѣрующий* 'имеющий отношение к вере, религии' («...верующий календарь, там всё про Бога написано. В церкви куплено» – Селигер 1: 92; может быть, из «Календарь верующего?»), *умѣриший* 'предназначенный для покойника': *умершая сорочка* 'саван' (Сл. Карелии 6: 228). Отмечаются случаи полного неосознания причастной семантики, повлекшего замену ее формального показателя, усиленного префиксом, собственно адъективной морфемой: *прорезиновый* 'прорезиненный' (*фартук* – новг., СРНГ 32: 218; *плащи* – перм., Акчим. сл-рь 4: 150).

Вновь освоенные диалектами слова нередко испытывают метафорические переносы, которых не отмечено в литературном идиоме: *аэроплáнчик* 'стрекоза' (Сл. дон. казач.: 28); *багрýдный* 'красивый' («...места ти багрядные...» – Новг. сл-рь 1: 22; случай любопытен тем, что прилагательное *багрýнный* повторяет семантическую историю прилагательного *красный*; несомненно контаминативное влияние *нарядный*); *бант* 'махровый венчик у цветка' (Селигер 1: 27); *баобáб* 'белый гриб' (Арханг. сл-рь 1: 109); *блáговестить* 'красть' (перм., СРНГ 2: 305; иронический эвфемизм); *вагóнчики* 'разновидность кружев' (твер., СРНГ 4: 10); *валѣт* 'кавалер' (иван.), 'зажиточный хозяин' (иркут.), 'лакей' (псков., твер.) (СРНГ 4: 26); *галифѣ* охотн. 'верхняя часть лап тетерева' (арханг., СГРС III: 11); *га́истук* 'полоска между жабрами в пасти у рыбы' (Селигер 1: 167); *гвардѣец* 'цинния' (Сл. дон. казач.: 104); *дѣмон*, множ. *демонá*, бран. 'безобразник, хулиган, проказник', 'дурак, слабоумный' (арханг., СГРС III: 206); *дуст* 'ехидный, вредный человек' (Новг. сл-рь 2: 110; редкий пример переноса 'вещество' → 'человек (как носитель свойства)'); *канún* 'наставленная в беспорядке грязная посуда' (ср.-урал., СРНГ 13: 45) (из канун 'поминальное пиршество'); *кали́бр* 'характер, свойство <человека>' (Псков. сл-рь 13: 419); *кáнда́ла* 'косоглазая женщина' (*кривая кáнда́ла* – вят., СРНГ 13: 38; ср. *камбала*); *кара-*



*мэ́лька*, *карамéлина* ‘вид рыбы’ (Новг. сл-рь 4: 22); *кóмпас* ‘припособление для завивки волос’ (Волог. сл-рь, И–К: 95); *полиро́вать* ‘обучать, воспитывать, приучать к хорошим манерам’, *полиро́ванный* ‘образованный, умеющий обращаться с людьми’ (смол., курск., орл., калуж., СРНГ 29: 74), ср. *(за)дать полира́цию* ‘задать взбучку, отругать, наказать’ (смол., СРНГ 29: 73); *самура́й* «о комаре» (Сл. Карелии 5: 633); *содо́м* ‘шумная ссора, ругань’ (сев.-рус.), ‘сор, грязь, беспорядок в доме’ (яросл., р. Урал), «о распалившихся детях» (псков., арханг., пенз., терск.), ‘большое количество детей’ (псков., калуж., ряз., сарат., дон., терск.) (СРНГ 39: 211; Деул. сл-рь: 532); *шпи́лька* ‘утолщение, шип на коже осетровых рыб’ (Сл. дон. казач.: 596); *шпи́ндель* ‘человек небольшого роста’ (Новг. сл-рь 12: 106); *шплинт* ‘человек небольшого роста’ (Новг. сл-рь 12: 106); *эшелóн* ‘большая семья’ (Сл. Карелии 6: 940).

Материал, показанный в настоящем беглом и вынужденно концентрированном обзоре семантических трансформаций, случающихся при освоении говорами литературной лексики, может вызвать отчужденную иронию. Неглубокий взгляд найдет в нем повод для насмешки и самодовольства, в лучшем случае – для конструктивных упреков отечественной системе просвещения. Однако видеть в этих искажениях слов литературного языка и их значений только проявления безграмотности носителей диалектов – непростительное для лингвиста высокомерие.

Гораздо больших насмешек и упреков заслуживают те носители языка, для которых публичное пользование кодифицированным идиомом составляет профессиональную обязанность. Стоит прислушаться к русской речи на телевидении, к тому, как политики, деятели культуры, тележурналисты понимают новые для них слова. *Виртуальный* у них не ‘возможный’, а только ‘связанный с электроникой, компьютерный, телевизионный и под.’ (когда приглашенный на беседу искусст-

вовед сказал о *виртуальных мирах Филонова*, ведущий с трудом подавил удивление: неужели уже тогда были эти технологии?). Слово *одиозный* 'они используют как 'замечательный', 'заслуживающий оды' («*Одиозная фигура вратаря Овчинникова*, который в течение... не пропустил ни одного мяча»), или же 'ожидаемый' (А. Адабашьян: «Наконец она произнесла свою *одиозную реплику*»). *Легендарный* – не 'увековеченный в легендах', а 'заслуживающий внимания, многообещающий' («*Легендарный по своей безопасности внедорожник*» – о новейшей модели). *Бравурный* – 'воинственный, угрожающий' («Режим Саакашвили делает очередные *бравурные* заявления»). *Прототип* – 'отражение, воспроизведение' (Е. Ханга: «...женщина, а это [показывает на скульптуру] – ее прототип»). *Артефакт*<sup>11</sup> – не 'предмет искусственного происхождения', а 'феномен, нечто особенное' (о небрегом памятнике архитектуры: «*Дом-артефакт* власть не волнует»; о находке кладбища ящеров в Пермской области: «Лаборатория завалена артефактами») или 'состоявшийся факт' (М. Леонтьев: «[Олигархи отгеснены.] Это *уже артефакт*»). *Рядоположенный* – не 'находящийся в том же логическом ряду, сопоставимый', а 'находящийся по соседству' (В. Христенко: «Тогда это приведет хоть к какому-то соответствию во всех [жест: 'вокруг'] странах *рядоположенных*», с трансформированием прилагательного в страдательное причастие). *Патриот* – 'поклонник, ценитель' («Ее *бельгийское* высочество – *патриот* *российского* спорта»). *Лояльность* – 'расположение, благосклонность' («Вы не рискуете потерять мою *лояльность*?»). О вопиющей безграмотности выражения *полифоническая мелодия* (для мобильных телефонов) говорить так же бесполезно, как приучать журналистов правильно употреблять выражение *на порядок (выше, ниже)* или слово *эпицентр*. Продолжать можно долго, но и сказанное свидетельствует о том, что с овладением новой лексикой у многих публичных персон дело обстоит ничуть не лучше, чем у простых кре-

стьян. Даже хуже: у последних нет притязаний на изысканность лексикона, тогда как первые бесконечно озабочены желанием показать образованность, но не догадываются, как иной раз малы и смешны в своей претенциозности.

В сатирическом взгляде на диалектные факты сказывается сильная недооценка их внутренней логики, системного устройства разных уровней языка и системного же характера преобразований при перемещении элементов одного идиома в другой. Территориальные говоры – такой же полигон для семантических испытаний и проб, как и литературный язык. В конце концов, в основе любого отступления от узуса, в лексической семантике в том числе, любого внутреннего сдвига в языке, приводившего к крупным историческим изменениям, лежала ошибка. И к этому следует относиться философски.

### Примечания

<sup>1</sup> В настоящей публикации нашли место вводная часть работы и раздел, посвященный лексической семантике. Последуют разделы, касающиеся народной этимологии, словообразования, лексической сочетаемости и фразеологии.

<sup>2</sup> Регистрации, систематизации и попыткам осмысления материала, относящегося к XX веку, посвящена обширная литература, начиная с 20-х годов (наиболее заметные работы принадлежат перу А. М. Селищева, Н. М. Каринского, Ф. П. Филина, Н. П. Гринковой, В. И. Чагишевой, Л. И. Баранниковой, Ю. И. Чайкиной, И. А. Оссовецкого, Т. С. Коготковой, Ф. Л. Скитовой и др.). К сожалению, на начальном этапе многим из посвященных этой теме исследований были свойственны прежде прочего социологическая направленность, а нередко прямая до вульгарности пропагандистская заданность. Собственно языковые механизмы освоения литературной лексики (как и связанных с ним механизмов фонетической и грамматической адаптации) изучены далеко не в полной мере.

<sup>3</sup> Здесь не место углубляться в классификационно-терминологические проблемы, но стоит оговорить неудобство термина «общерусский» применительно к рассматриваемой стратификации. При всей конвенциональности терминологии отрицательный ответ, например, на вопрос «входят ли крайние вульгаризмы (т. н. матерные слова) в общерусскую лексику?» оставляет странное чувство. Глагол \**jěbati* признается общеславянским по той причине, что известен всем славянам; современный же русский глагол *jebat'*, по обсуждаемым функционально-«стратиграфическим» построениям, общерусским не является, потому что употребляется не во всех функциональных разновидностях речи (хотя известен и понятен каждому нормальному носителю русского языка). Для адекватности подобной терминологии при ее разработке необходимы разграничение и учитываемость параметров «известность (понятность носителю)» и «употребимость (функциональная принадлежность)». В данном контексте выражению «общерусская лексика», наверно, можно было бы предпочесть формулу «общезыковая лексика».

<sup>4</sup> Загоскин, Бестужев-Марлинский, Аксаков, Соллогуб, Гоголь, Герцен, Гончаров, Тургенев, Писемский, Григорович, Мельников-Печерский, Толстой, Достоевский, Гарин-Михайловский, Лесков, Боборыкин, Короленко, Олеша, Симонов, Пастернак, Гранин, Бакланов, Владимов, братья Стругацкие, Айтматов, Искандер... – это только немногие, даже из сравнительно известных, авторы, цитаты из чьих текстов приведены в соответствующих позициях Национального корпуса русского языка в Интернете (<http://www.ruscorgo.ru>): «Особенно доставалось Глафире Петровне» («Дворянское гнездо»), «Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух» («Стихотворения в прозе»); «Он обыкновенно ходил *задами* села» («Доктор Круппов»)...

<sup>5</sup> Реализованный, например, при создании «Деулинского словаря». См.: Введение // Деул. сл-рь; Оссовецкий 1982.

<sup>6</sup> Лучшей остается работа А. М. Селищева: Селищев 1939 (1968).

<sup>7</sup> Рост словаря и расширение понятийной сферы – процессы несомненные. Но всегда ли мы имеем дело с действительным усвоением говорами новых слов? Высказывания вроде «...само население активно работает над усвоением литературного языка, над “исправлением” привычного ему говора» (Ягодинский 1941: 103), «...на наших глазах происходят грандиозные изменения в языке деревни, вызванные социалистической перестройкой сельского хозяйства. Было бы преступно, если бы мы, свидетели знаменательных сдвигов в сельской речи, игнорировали все новое (ведущее в системе современных говоров) и записывали бы только частные, локально ограниченные явления» (Филин 1949: 7) в духе победных реляций на съездах ВКПб – сплава энтузиазма и лжи, воспринимаются, и не только сейчас, как аберрации лингвистического зрения. В одном диалектологическом задачнике можно прочесть: «393. Найдите в предложениях новые для говора слова, относящиеся к социалистическому строю и новым общественным отношениям. ...3. *М'ин'э ан'ат' вызывáют' на б'урó райко́ма*» (Баранникова – Бондалетов 1980: 95). Не отпускает ощущение макароничности приведенного «диалектного» примера: *вызывают(ь) на бюро райкома* – очевидное чужеродное клише, цитата, а не порождение живой речи. Насильственная прививка подобных выражений не гарантировала их усвоения: как они появились, так и исчезают. Может быть, следовало говорить о своеобразной «диалектно-советской» диглоссии, поразившей на несколько десятилетий нашу деревню?

<sup>8</sup> Например, слово *массажёрка* ‘повитуха’ (ср.-урал., СРНГ 18: 16) является чересступенчатым производным с суффиксом *-к(а)* («коррелят» по роду к подразумеваемому, но реально не засвидетельствованному \**массажёр* – деривату от ненормативно образованного глагола *массажировать* ‘массировать’, переосмысленного с приближением к знакомым реалиям как ‘повивать, принимать новорожденного ребенка’) либо результатом замены суффикса *-ист-* в слове *массажистка*, по формальной ассоциации со словом *пассажир(ка)*. Таким образом, слово одновременно может рас-

смагиваться по меньшей мере в рубриках «деривация», «семантический сдвиг», «замена аффикса» и «ассоциативные преобразования».

<sup>9</sup> Вновь следует оговорить возможность ошибочных интерпретаций. В словаре старообрядцев Забайкалья, например, зарегистрирован глагол *ябшáться* [япшáцца] ‘общаться, знаться; якшаться’ (Сл. семейских: 536). Подозрения насчет его возникновения в результате контаминации распространенного литературного, но китчeveго глагола *общаться с якшаться*, как и о протетическом наращении [j], напрасны: приведенные текстуальные иллюстрации заставляют видеть здесь банальное мнимосандхияльное переразложение – приписывание собирателем и лексикографом слову финального фонетического элемента предшествующего в контексте слова: «мижду сабóй япшáюцца», «с табóй япшáюсь».

<sup>10</sup> К сожалению, диалектные словари, в целом характеризующиеся невысоким, сравнительно с академической лексикографией, обращенной к лексике литературного языка, теоретическим уровнем, нередко допускают заметные погрешности в квалификации тех или сторон описываемого материала, в том числе грамматической. В сводном СРНГ, например, констатируется частеречный дрейф слова *биржа*: «3. В знач. нареч. Очень много (чего-либо)... Калуж.» (СРНГ 2: 292). На самом деле перемены синтаксического поведения, подобной тому, что отмечена применительно к слову *большинство*, нет: текстуальная иллюстрация («...у нас их (мух) биржа целая!») к наречной трактовке слова не подталкивает.

<sup>11</sup> Единственно оправданная орфография. Лат. *artifex* ‘мастер’, *artificium* ‘искусство, ремесло’ и проч.

### Литература

Акчим. сл-рь – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Вып. I.– Пермь, 1984–.

Арханг. сл-рь – Архангельский областной словарь. Вып. 1.– М., 1980–.

Баранникова – Бондалетов 1980 – Баранникова Л. И., Бондалетов В. Д.

Сборник упражнений по русской диалектологии. М., 1980.

Брян. сл-рь – Словарь брянских говоров. Вып. 1–. Л. (СПб.), 1976–.

БТС 2004 – Большой толковый словарь русского языка. СПб.

Войтенко – *Войтенко А. Ф.* Словарь говоров Подмосковья. Вып. 1–. М., 1995–.

Волог. сл-рь – Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–.

Волотковская 2003 – *А. В. Волотковская.* Лексика городской культуры в русских народных говорах // Ономастика и диалектная лексика. Вып. 4. Екатеринбург, 2003.

Даль<sub>2</sub> – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955 (перепечатка 2-го изд.: СПб.; М., 1880–1882).

Деул. сл-рь – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.

Журавлев 1984 – *Журавлев А. Ф.* Иноязычные заимствования в русском просторечии (фонетика, морфология, лексическая семантика) // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.

Журавлев 1997 – *Журавлев А. Ф.* Просторечие // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.

Ивашова 1998 – *Ивашова Н. М.* К семантическому освоению вторичных заимствований в говорах Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика. II. Екатеринбург, 1998.

Кузнецова 1985 – *Кузнецова О. Д.* Актуальные процессы в говорах русского языка (лексикализация фонетических явлений). Л., 1985.

Лютикова 2000 – *Лютикова В. Д.* Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.

Новг. сл-рь – Новгородский областной словарь. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000.

Орл. сл-рь – Словарь орловских говоров. Вып. 1–. Ярославль; Орел, 1989–.

Осовецкий 1982 – *Осовецкий И. А.* Лексика современных русских народных говоров. М., 1982.

- Псков. сл-рь – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л. (СПб.), 1967–.
- Приамур. сл-рь – Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
- Рут 1998 – *Рут М. Э.* Новое в диалектном лексиконе и помета «нов.» в современных региональных словарях: заметки лексикографа // Ономастика и диалектная лексика. II. Екатеринбург, 1998.
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Т. 1–. Екатеринбург, 2001–.
- Селигер – Селигер. Материалы по русской диалектологии. Словарь. Вып. 1–. СПб., 2003–.
- Селищев 1939 (1968) – *Селищев А. М.* О языке современной деревни // *Селищев А. М.* Избранные труды. М., 1968.
- Сл. дон. казач. – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
- Сл. Карелии – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.
- Сл. прост. – Словарь просторечий русских говоров среднего Приобья. Томск, 1977.
- СЛРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.
- Сл. свад. лекс. Орловщины – [*Костромичёва М. В.*] Словарь свадебной лексики Орловщины. Орел, 1998.
- Сл. семейских – Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999.
- Сл. Сибири – Словарь русских говоров Сибири. Т. 1–. Новосибирск, 1999–.
- Сл. Ср. Урала – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. I–VII. Свердловск, 1964–1988; Дополнения. Екатеринбург, 1996.
- Соликам. сл-рь – Словарь говоров Соликамского района Пермской области. Сост. *О. П. Беляева*. Пермь, 1973.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1, 2. М.; Л., 1965–1966; вып. 3–. Л. (СПб.), 1968–.



ТСРЯ – *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Филин 1949 – *Филин Ф. П.* Говоры современной деревни и «Диалектологический атлас русского языка» // Бюллетень диалектологического сектора ИРЯ АН СССР, вып. 6. 1949.

Фраз. сл. Сиб. – *Фразеологический словарь русских говоров Сибири.* Новосибирск, 1983.

Шестакова 1972 – *Шестакова Е. Н.* Материалы к диалектному фразеологическому словарю Воронежской области // Труды Самаркандского государственного университета имени Алишера Навои. Новая серия, выпуск № 237. Вопросы фразеологии. VI. Восточнославянская диалектная фразеология и фразеография. Самарканд, 1972.

Ягодинский 1941 – *Ягодинский А. С.* Народные говоры Чарозерского района Вологодской области // Диалектологический сборник. I. Вологда, 1941.

Яросл. сл-рь – *Ярославский областной словарь.* Ярославль, 1981–1991.

## ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НА ДИНАМИКУ РУССКИХ ДИАЛЕКТОВ

Языковые идиомы, имеющие статус территориальных диалектов, в пределах конкретного языка всегда сосуществуют с кодифицированным стандартом. Только при таком условии территориально ограниченный языковой идиом получает статус диалекта. В ситуации, не предполагающей сопоставление с кодифицированной формой языка, территориально ограниченный идиом имеет статус языка, обычно бесписьменного, но иногда претендующего на создание письменности. Если это удастся, то автоматически происходит расхождение соответствующего языкового образования на стандарт и диалекты, в разной степени отличающиеся от кодифицированной формы.

Диалекты и кодифицированная форма языка вступают в отношения контакта, результаты которого обусловлены как собственно языковыми факторами, так и обстоятельствами, имеющими социальное содержание. В ходе контакта осуществляется влияние одной формы языка на другую.

Названные формы языка имеют разный статус с точки зрения их социальной ценности и престижности. В любом современном обществе высок престиж литературного языка как культурного символа нации. Но уровень сниженности социальной оценки диалектных форм в разных языковых сообществах варьируется. Колебания достаточно велики: от недопустимости использования диалекта только в официальной ситуации до несовместимости диалектной речи с ка-

кой-либо претензией говорящих на образованность и относительно достойный социальный статус. Если диалект недопустим лишь в официальной сфере общения, то в обществе это проявляется не только в виде терпимости к диалектам, но и в поддержке их за пределами ситуаций, требующих использования кодифицированного языка, т. е. в семейном, неофициальном общении. Это означает, что имеет место переключение кода в зависимости от ситуации общения (Блумфилд 1968: 66; Жирмунский 1968: 25). Подтверждение такого отношения к диалектным формам языка обычно находят в немецкоязычной среде, для которой характерна оценка диалектов как компонентов национальной культуры. Ср. в этой связи суждение Л. Вейсгербера (Weisgerber 1976: 107) – «... диалект – это языковое открытие родины... независимая ценность диалектов состоит в том, что они дают гармонию внешнего и внутреннего мира, что они действительны и в сравнении с литературным языком».

Особенность русской языковой ситуации XIX–XX вв. состоит в том, что диалекты в ней расцениваются как непрестижное средство общения, присущее социально сниженным (некультурным) слоям населения. Это может отражаться и в оценке диалектной речи как незстетичной. Показательна в этом отношении сноска, сопровождающая первый из рассказов в «Записках охотника» И. С. Тургенева – «орловское наречие отличается вообще множеством своеобразных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов» (Тургенев 1970: 7). В самом произведении, во многом посвященном описанию крестьянского быта, диалектная лексика немногочисленна и всегда подчеркнуто дистанцирована от авторской речи путем заключения слова в кавычки или объяснения его значения в сноске.

Нормальной функцией языковой политики государства является максимальное распространение кодифицированной формы языка. В

ходе этого процесса происходит контакт диалектов с литературным языком через школьное образование, средства массовой информации, через общение говорящих на диалекте с носителями стандарта. В зависимости от оценки диалектной формы языка в обществе, распространение литературного языка в принципе может сочетаться как с сохранением диалектов, так и с ориентацией на их полное устранение. Последняя тенденция характерна для русского общества вообще и для периода с начала 30-х годов XX в. в особенности, когда на оценку русских диалектов как непрестижных форм языка наложилась еще и их политическая компрометация. В русской лингвистике было выдвинуто положение, в соответствии с которым диалекты следовало ассоциировать с сельским населением, не имеющим политической перспективы, и поэтому тормозящими социалистическое переустройство деревни (Филин 1938: 173; Филин 1973: 356; даты этих публикаций свидетельствуют о неизменности в течение почти сорока лет точки зрения автора на судьбу русских диалектов). Социальный прогресс виделся в устранении варьирования форм языка в обществе, когда в языковой экспликации каждого его члена исключается любая внеязыковая информация о говорящем (связь с определенной территорией, генерацией, профессией, уровнем образования). Для носителей диалектов это означает замену одного языкового стереотипа другим. Процесс оценивался как безальтернативно положительный, поскольку ассоциировался с демократизацией культуры в обществе. Предполагалось, что диалекты как особые формы языка исчезнут (нивелируются). В этой связи стоит вспомнить замечание де Соссюра: «нельзя найти в самом языке возможность прекращения его существования: только случайное событие, насилие или непреодолимая высшая сила внешнего характера могут уничтожить его» (Соссюр 1990: 47). Такие внешние непреодолимые силы социального характера действовали по отношению к русским диалектам, отражаясь на судьбе их носителей и тем самым на

судьбе самих идиомов. Но в составе этих сил отнюдь не главное значение имело само по себе влияние литературного языка на диалекты.

Контакты русских диалектов с литературным языком не могут не отражаться на языковом облике диалектов. Но процесс влияния литературного языка и его эффективность не были предметом специального изучения в русской диалектологии, что находится в известном противоречии с канонизированным представлением об отмирании/нивелировании диалектов. Именно на фактическую неизученность проблемы еще в 1940-е гг. было обращено внимание Н. П. Гринковой (Гринкова 1947: 177). Автор отмечает, что указание на воздействие литературного языка на диалекты «в большинстве исследований выглядит скорее как отписка по поводу материала, не подлежащего изучению», а «процесс воздействия литературного языка не изучается и как он происходит – неизвестно».

В дальнейшем в русской лингвистике утвердилось мнение, что вследствие контактов диалекта и литературного языка у носителей диалекта складывается диалектно-литературное двуязычие, т. е. способность переключаться с одного кода на другой в зависимости от ситуации общения. Вариант этого суждения – констатация сосуществующих систем в диалекте (А – литературная, Б – диалектная) (Фонетика 1968: 189). Однако в литературе нет описания конкретной реализации названного двуязычия (или сосуществующих систем) в речи носителей какого-либо конкретного русского диалекта. Обычно за проявление двуязычия принимается параллельное употребление носителями диалекта диалектных слов и их литературных эквивалентов. В этом случае проявление двуязычия ограничивается одним уровнем языка, так как «переключение кода» в словаре не всегда сопровождается тем же в фонетике и грамматике (Баранникова 1974: 55).

Определяя результаты контакта русских диалектов с литературным языком, следует иметь в виду, что официальная языковая поли-

тика, ориентированная на устранение диалектов, проецируется на общество, в котором содержание этих контактов неоднородно. Языковой контакт, как лингвистический термин, означает «соприкосновение языков, возникающее вследствие особых географических, исторических и социальных условий, приводящих к необходимости языкового общения человеческих коллективов, говорящих на разных языках» (Ахманова 1966: 535). Хотя это определение не подразумевает специально «соприкосновение» диалектов и кодифицированной формы языка, но условия, порождающие контакт, актуальны и в этом случае. Для изменений в языке/речи носителей русских диалектов значение имеет характер давления той языковой среды, в которой они находятся.

Диалекты функционируют в среде сельского населения, являясь для него родным языком. Носители диалектов в своей речевой деятельности (в языковом сознании) соприкасаются с литературным языком при разных обстоятельствах.

Носитель диалекта, будучи изолирован от родного языкового коллектива и помещен в среду лиц, говорящих только на литературном языке (городская среда), ставится перед необходимостью изменения своего языкового поведения. Формируется ощущение непрестижности своего языка и стремление в своем речевом поведении не выделяться на общем фоне. В этом случае носитель диалекта практически не имеет выбора, поскольку происходит безальтернативное давление литературного языка на диалект. В такой ситуации межязыковой контакт способствует отказу (с разным успехом) от своего языка, так как по необходимости имеет место, во многом сознательное (обязательное), овладение другим языком (или другой формой языка). Наличием разной степени сходства между диалектами и стандартом не отменяется тот факт, что речь идет об овладении языком, отличающимся от материнского (*Muttersprache* по немецкой терминологии).

Если носитель диалекта живет в коллективе людей, говорящих на этом же диалекте, то соприкосновение с литературным языком происходит через школьное образование, предлагающее прямую коррекцию речи, и через общение с лицами, говорящими на стандарте. В обоих случаях носитель диалекта имеет выбор – заменять или нет особенности своего языка литературными эквивалентами (если они замечены и осознаются). Выбор не очевиден. Литературный язык в сравнении с диалектом в сельской среде обычно оценивается как более престижный и «культурный», но это суждение носит отчасти отвлеченный характер. Повседневная жизнь и устоявшаяся картина мира обслуживаются диалектной формой языка, которой пользуется окружение носителя диалекта. Языковая практика среды может стать препятствием на пути отказа от диалекта, поскольку правильным считается то, что общепринято окружением говорящего. В данном случае действует *давление диалектной языковой среды*. Ср. в этой связи: «*Всякая устойчивая социальная группа – помимо всех других условий своего образования – объединяется общностью языка... Тесная и длительная солидарность не может существовать без этого. А с другой стороны – только при противопоставлении или столкновении с другой группировкой обнаруживается сплоченность коллектива. Язык, таким образом, оказывается всегда фактором социальной дифференциации не в меньшей мере, чем социальной интеграции*» (Ларин 1977: 191).

Программы обследования русских диалектов для атласов ориентированы на запись отдельных явлений грамматики и лексики, которые обычно маркируются как старые и новые (в русской диалектологии этому соответствует такое устоявшееся определение, как «*речь передовых и отсталых слоев населения*»). Но при этом никогда не ставится задача выяснить, как сами носители диалекта относятся к тем изменениям, которые, сообразно обстоятельствам официальной

жизни, предлагается включить в их язык. Априорно допускается, что носители диалекта безразличны к изменениям их языка, пассивно подвергаясь давлению литературной речи. Между тем эта проблема имеет разные аспекты и заслуживает изучения на основе специальной методики.

Именно ситуация, предполагающая (хотя отчасти и бессознательный) выбор языка или отдельных его компонентов, а не априорно дающая преимущество одному из них, наиболее явно эксплицирует феномен межъязыкового контакта, в рамках которого проявляются конкретные языковые реакции на соприкосновение идиомов друг с другом.

Результатом влияния одной формы языка на другую является проникновение в эту последнюю элементов первой. Функционирующие в сельской среде русские диалекты, вступая в контакт с кодифицированной формой языка, меняются в одних своих компонентах и демонстрируют стабильность других. Причины, порождающие такую ситуацию, могут быть выявлены именно в результате изучения механизма влияния литературного языка на диалекты.

Как отмечалось не раз, собственно *структурные* компоненты диалекта (фонетика, морфология) менее чем лексика, подвержены изменениям, вызванным контактом с литературным языком.

Причины, по которым орфоэпия часто не может преодолеть диалектную фонетику, отчасти заложены уже в специфике контакта на этом уровне. В условиях, когда речь не идет о специальной постановке произношения (что в сельской среде не реально), для носителя диалекта возможность сопоставления диалектной фонетики с литературной реализуется при устном контакте/диалоге с лицами, говорящими на стандарте. Такой контакт – явление динамическое, для которого характерно отсутствие временного интервала между языковым намерением, его реализацией и восприятием сказанного. Так,



Л. В. Щерба отметил: «Сознательная группировка слов свойственна лишь письменной речи... Сознательность же обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю» (Щерба 1974: 25, сноска 3). Каждый речевой акт в диалоге эфемерен – реализовавшись, он в тот же момент перестает существовать, уступая место следующему акту. В этих условиях может возникнуть лишь оценочное отношение к речи партнера по диалогу без фиксации, тем более репродуцирования, ее специфических компонентов. Поэтому само по себе общение носителей диалекта с лицами, говорящими на литературном языке мало что дает для овладения орфоэпией.

Но, кроме того, диалектная фонетика, как таковая, обладает рядом особенностей, которые являются причиной ее стабильности.

Специфика диалектной фонетики может проявляться уже на системном уровне. Имеется в виду *артикуляционная база*. Как материальный субстрат звукового строя диалекта она формируется на стадии овладения языком, т. е. в детстве. Автоматизм комбинации органов речи и переключения артикуляции делают артикуляционную базу очень устойчивой. Тем более что элементы артикуляционной базы не поддаются избирательному изменению. Изменяться может общая звукообразующая установка.

Артикуляционная база русских диалектов достаточно дифференцирована.

Как установил С. С. Высотский, севернорусские говоры при фонематическом тождестве с литературным вокализмом различаются артикуляцией гласных. Различия касаются размещения гласных в более передней или более задней части полости рта. Это, так называемые, «трапециды гласных» (Высотский 1967: 72–73). Артикуляционная взаимосвязанность гласных в рамках таких моделей стабилизирует артикуляцию гласных и тем может препятствовать усвоению орфоэпии. Одним из выражений этого является

устойчивость севернорусского оканья. Явление это структурно более сложно, чем неразличение безударных гласных неверхнего подъема. Однако вопреки престижности аканья и его большей структурной простоте (совпадение, а не различие безударных гласных) севернорусское оканье (несовпадение безударных гласных) достаточно стабильно. Причина в том, что артикуляция гласных на севере уже и напряженнее, чем в литературном языке. Орфоэпическое произношение типа *vadá, dalá* требует освоения в предударном слоге более широкого гласного, чем тот, который присущ диалекту. Изменение же одного гласного не может происходить изолированно, а лишь в рамках общей трансформации модели, что возможно лишь при специальной постановке произношения. Кроме того, при наличии в диалекте ёканья (*e > o – н'осú, а также жонá*) следует освоить правило, согласно которому не каждый безударный *o* должен заменяться гласным *a*. О сложности этого правила для носителя окающего диалекта свидетельствует ситуация, когда молодой человек, имеющий представление об аканье, желая приблизить свою речь к стандарту, произносит *m'apló* (Пинежский р-н Архангельской обл.).

К числу особенностей артикуляционной базы, практически не поддающихся коррекции, в консонантизме русских диалектов относятся: напряженная артикуляция смычных согласных, локализация согласных высокого тона в палатальной зоне, разный уровень палатализованности согласных («мягкие ~ полумягкие согласные»), отсутствие палатализованности перед передними гласными, высокий уровень веляризованности задненебных согласных. Замена этих особенностей орфоэпическими эквивалентами в ходе обычных контактов носителей диалектов с литературной речью невозможна. Поэтому артикуляционная база является сильнейшим консервационным фактором фонетики диалекта.

Следующий уровень фонетической специфики диалекта связан с *качеством дискретных звуковых единиц*. Такая единица может быть свободна от позиционной обусловленности и это наиболее благоприятно для замены диалектного звука орфоэпическим эквивалентом – например, освоение взрывного *g* вместо фрикативного *ɣ*. В этом случае артикуляция знакома, так как взрывной задненебный присутствует в качестве позиционно обусловленного звука (*kag by*).

Сложнее усваивать звук, *отсутствующий вообще* в диалекте. В качестве примера этого обычно приводится цоканье, для коррекции которого необходимо освоить различие аффрикат зубного и переднеязычного ряда и правила их употребления. Известную сложность представляет замена невелиризованного латерального согласного, присущего части русских говоров, велиризованным, т. е. произношение *l* вместо *l̥*.

Возможность замены диалектной черты орфоэпическим эквивалентом значительно осложняется, если фонетическая особенность отражает *правила фонетической синтагматики* идиома. Отказ от диалектной фонетической черты в этом случае означает не просто замену одного звука другим в данной позиции, но перестройку фонетической программы слова, т. е. освоение нового звукового линейного стереотипа. На этом в русских диалектах основана устойчивость диалектных моделей предударного вокализма, в которых выбор предударного гласного зависит от гласного под ударением. Так, диссимилятивное аканье – произношение на месте *o*, *a* предударного «не *a*» перед слогом с гласным *a* (*вады́ – вьда́*) практически неустранимо даже у лиц, в целом соблюдающих правила орфоэпии. Следы межсловного сандхи, при котором звонкий согласный произносится перед словом, начинающимся на гласный или сонорный согласный (*по-ги[б н]а войне, завод[д ы]мени Лихачева*), сохраняются даже в речи некоторых дикторов радио.

В этом плане показательна неодинаковая устойчивость позиционно свободной и позиционно обусловленной частей одной и той же диалектной особенности. Так, обычно при общем усвоении взрывного *g* вместо фрикативного *ɣ* сохраняется результат оглушения *ɣ > x* перед паузой (*снеґа, снех > снега, снех*, а не *снек*). Произношение *k* на месте звонкого задненебного согласного не связано с овладением новой артикуляцией или новой последовательностью сегментов. Но должен быть усвоен новый линейный стереотип, согласно которому звонкий задненебный согласный перед паузой должен заменяться не фрикативным, а взрывным согласным. О сложности обретения такого навыка свидетельствует произношение типа *снех* у выходцев из южнорусских регионов, в целом владеющих литературным языком.

Возможна и такая ситуация, когда диалектная фонетическая черта охраняется как артикуляционной базой данного говора, так и правилами звуковой синтагматики. Примером этого являются изменение *v > ʋ* перед согласным и на конце слова и недопустимость мягких губных согласных на конце слова (*д'ева > д'еўка, дрова > дроў, сын, кроў, озим*). Эти черты поддерживаются:

1) отсутствием навыков переключения губно-зубного сближения в следующий согласный или паузу – это переключение возможно лишь из билабиального сближения; трудностью переключения палатализованности в губном ряду в паузу – это переключение возможно только из твердого губного согласного;

2) произносительной программой, согласно которой *v* должен заменяться *ʋ*, мягкие губные твердыми в условиях антиципации следующего согласного или паузы; отсутствие указанной звуковой мены для говорящего автоматически сигнализирует и иное качество следующего сегмента (создает произносительное затруднение).

Диалектная фонетика обладает и таким потенциалом стабильности, который включается лишь при появлении системных наруше-

ний – одно из таких явлений описано в работах (Пауфощима 1978; Кириллова, Новикова 1988: 69). Оно состоит в том, что при переходе от оканья к аканью может появляться связь между качеством предупредного и ударного слогов. Это выражается в том, что предупредный «не о» раньше всего появляется перед слогом с *a*, позже всего – перед слогом с гласными *o*, *y*. Выбор предупредного гласного по модели оканья не содержит ориентацию на качество гласного под ударением. При нарушении оканья такая ориентация появляется в виде связи между гласными соседних слогов, и этим тормозится замена оканья аканьем.

Устойчивость диалектной фонетики указывает на то, что социальные предпосылки влияния литературного языка на структуру диалекта оказываются менее эффективными, чем устойчивость системной организации фонетического строя диалекта. Фонетическая структура русских диалектов не столь безусловно открыта для замены диалектных черт орфоэпическими, как принято считать. Это нормальное свойство идиома, являющегося средством общения в определенном социально маркированном коллективе. Сфера функционирования русских диалектов – сельские пункты, население которых говорит на диалекте. Здесь при контакте диалектов с литературным языком некоторые структурные особенности менее престижного идиома сохраняют свою значимость даже на фоне высокого социального статуса более престижной формы языка. В данном случае имеет место ситуация, когда при конкуренции языкового и социального признаков идиомов приоритет отдается языковому признаку.

Фонетика своего языка в любых ее проявлениях у носителей диалекта обычно не вызывает отрицательной оценки и, напротив, высокая оценка своей речи часто проявляется при сопоставлении его с соседними диалектами. Традиционная фонетика практически может исчезнуть лишь вместе с носителями диалекта. Именно благодаря

этому, в частности, до сих пор фонетистам удается наблюдать в русских диалектах традиционную фонетику и при новых методах исследования обнаруживать неизвестные ранее явления.

По-иному реагирует на контакты с литературным языком *диалектная лексика*. Этот раздел диалекта, в отличие от его структурных компонентов, по определению социализирован, поскольку лексика обслуживает среду обитания, быт, духовные ценности, традиции (т. е. картину мира) носителей диалекта. Этому соответствует определение лексического состава говора как «целостного единства, полностью обслуживающего носителей данного говора» и в своем составе не совпадающего полностью с лексикой говора какого-либо другого близкого населенного пункта (Словарь. Деулино 1969: с. 9, 26).

Лексика диалекта реагирует на все изменения, происходящие в жизни его носителей. Утрачиваются слова, обозначающие исчезнувшие реалии, приходят, соответственно, новые слова для вновь возникших явлений. Но существует и прямое предложение заменять традиционную лексику литературными эквивалентами. Однако такое предложение не всегда достигает эффекта, поскольку ему может противостоять оценка своего диалектного слова как семантически более адекватного. Подобная ситуация так комментируется в художественном произведении, описывающем быт мезенских поморов: «Два с половиной века, как приказано *крень* именовать *килем*, а для Паисия *крень* – до сих пор *крень*....ведь *крень-то* все-таки родное слово» (Маслов 1983: 174), или – «*няша*...грунт здешний. Можно было бы, вероятно, и *шлом няшу* назвать, но бесстрастное ил совсем не то» (там же: 82). Отражение того, насколько традиционная лексика глубоко сохраняется в подсознании носителей диалекта, можно видеть в таком явлении, как реставрация диалектных слов в речи носителей диалекта преклонного возраста, ранее освоивших литературный язык (возвращение, казалось бы, утраченных в речевой практике индивидуума слов) (Коготкова 1970).

Как было сказано, при обследовании русских диалектов не ставится задача, выяснить, как оценивают носители диалекта изменения в их языке – довольны/нет, испытывают ли психологический дискомфорт, сожалеют ли об уходящем языке, понимают ли, что в их языке сокращаются/обедняются возможности адекватного отражения окружающего их мира?

В этой связи можно отметить, что фонетическая и лексическая деформация диалекта не равнозначны по своим последствиям для языкового сознания носителей диалекта. Изменения формальной стороны языка (фонетика, морфология) могут не осознаваться или не вызывать специальной оценки (хотя известны факты насмешливого отношения к акающему произношению в окающей диалектной среде – это расценивается как высокомерное стремление противопоставить себя окружающим).

Изменение в диалектной лексике наиболее очевидно должно ассоциироваться в сознании носителей диалекта с трансформацией материнского языка. А это в свою очередь порождает сдвиги в традиционной картине мира носителей диалекта, если даже обычный носитель диалекта не всегда может сформулировать свои впечатления от вновь возникшей языковой ситуации. Остаются актуальными слова В. Даля, который писал в 1852 г.: «...с языком, с человеческим словом, речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – это осязаемая связь, союзное звено между телом и духом, без слов нет сознательной мысли, а есть только чувство и мычание» (Даль 1935: с. III).

Для получения относительно верного представления о том, как меняется / уже изменилась лексика русских диалектов, желательно с максимально доступной полнотой выявить корпус слов, исчезающих из употребления или сохранившихся в памяти немногих. При работе с информантами это не всегда возможно – слова могут быть забыты или воспоминание о них вызывает затруднение.

Но существуют лица, владея диалектом, могут адекватно сопоставить его с литературной формой языка и показать, как деформация лексики диалектов может менять картину окружающего мира в сознании говорящих. Этот нетрадиционный в диалектологии источник языковых сведений содержат произведения русских писателей круга «деревенской прозы» 1960–70-х годов (Белов, Астафьев, Личутин, Маслов и др.).

Их творчество пришлось на то время, когда утратило свою актуальность резко отрицательное отношение к включению диалектных элементов в художественную прозу. Используя в своих произведениях лексические средства родных для этих писателей диалектов, они демонстрируют такой диапазон ресурсов диалекта, которые в своих отдельных компонентах, возможно, отчасти уже забыты/утрачены обычными его носителями. Писатели являются диалектно-литературными билингвами и вполне осознают эквивалентность явлений, различающихся в этих формах языка. Но обращаясь к описанию той картины жизни, которая обслуживалась их материнским диалектом, они используют средства этого диалекта. Это означает, что в конкуренции диалектного и литературного явлений диалектизм оценивается автором как семантически более адекватное средство. Таким образом, писатель раскрывает специфику выразительности лексических средств диалекта.

Примером сказанного в особенности могут быть тексты писателя В. Личутина. Он владеет поморским диалектом региона Мезени (Архангельская обл.), будучи сам родом из этих мест. Описывая жизнь поморов, он широко вводит в литературный текст местную лексику, отказываясь от литературных эквивалентов, безусловно, ему известных. Это – слова *говоря* (речь), *отмелое* место (мелкое), *ровдужные* рукавицы (замшевые), *корга* (каменистый берег), «чтобы *заразить* несчастного в темя и выключнуть очи» (ударить насмерть), *выступки*



(ботинки), *вонные амбары* (внешние, на другой стороне улицы), «и что за *касть?*» (мерзость), *постель* (подстилка), *место* (постель) и т. п. Слова используются не только в речи персонажей, но и в авторской речи.

В целом процент диалектной лексики в произведениях этого автора очень велик. Если заменить диалектные слова литературными, то это полностью изменит ту картину мира, которая задумана автором. Как иллюстрацию сказанного, ср. фрагмент текста, описывающего трагический эпизод жизни зверобоев на Новой Земле:

«Кто спохватится о поморянине, когда *пластается он доска доскою* на сиротском ложе, в *нетопленной зимовейке*, дожидаясь конца, а ветер *скорбит*, *толчется* с воем в *волоковое*, наглухо задвинутое оконце, когда бродят у стены песцы, чуя поживу, когда от догорающей сальной *плошки непродых* и последний артельщик уже давно мертв, *зальдился*, согнулся *корчужкою* на соседнем *примосте*, и оленья *постель* ему и последняя утеха, и *погребница*, и *жальник*. И крепит тогда умирающего поморянина лишь *дух несносимый* да Господь, *дозирающий* у изголовья, чтобы вовремя принять в райский вертоград отмучившуюся душу... Кто поймет ту крайнюю тоску и муку новоземельского *ушкуйника*, что угасает от *скорбута*... когда слеза, скатившаяся в *сголовьще*, не высыхает, но *замревает* в морозные алмазы. Мир и покой праху твоему извечный добровольный скиталец Гандвика, морской паломник и *помытчик*. Во истину, кто в море не бывал, тот и Богу не маливался» (Личутин 2000: 395) (курсив мой. – Л. К.). Если этот текст лишить местной поморской лексики, заменив ее литературными словами, то будет получена картина, полностью отличающаяся от той, какую подразумевал автор.

Контакты русских диалектов с литературным языком в том виде, как это предлагает современная языковая ситуация сокращают лексический фонд диалектов.

Возникает вопрос, как трансформация диалектных лексических средств отражается в сознании носителей диалекта. Сама по себе та деформация картины мира, с которой сталкиваются носители русских диалектов, не может вызывать положительных эмоций. А поддерживаемое официальной политикой ощущение неполноценности своего языка, очевидно подтвержденное изменениями лексики, порождает социальную и культурную неуверенность, нарушает связи между поколениями и, в конечном счете, обедняет язык и речь. Социальные, драматические по своим последствиям, эксперименты (коллективизация, раскулачивание, ликвидация неперспективных деревень и др.), которым подверглось русское крестьянство во второй половине XX в., не могло не привести к кардинальным изменениям в его картине мира. Существенный вклад в это внесло вытеснение диалектов как форм языка, в которых отражены национальные ценности культуры и жизненного опыта разных регионов России.

В современной ситуации диалектная лексика в наибольшем ее разнообразии и выразительности сохраняется в речи старшего поколения. Так, информанты, речь которых отражена в (Словарь. Деулино. 1969), имеют год рождения от 1887 до 1909 (все информанты женщины). При этом в некотором противоречии с указанными датами находится утверждение, что материал словаря «представляет собою синхронный срез лексики говора, произведенный в первой половине 60-х годов XX в.» (с. 26). Очевидно, что речевая деятельность более молодых носителей диалекта, живущих в этот период, не отражена в словаре.

Представители старшего поколения носителей русских диалектов не только сохраняют исконную лексику, но и в наибольшей степени владеют такой сложной формой речи, как монолог, что можно соотнести с сохранившимся в их памяти традиционным лексическим фондом. Более молодое поколение в этом плане явно проигрывает старшему.

Рассмотрение вопроса о том, как отражается на русских диалектах влияние кодифицированного стандарта, позволяет сделать следующие выводы.

Диалекты в своих собственно *структурных* компонентах обладают потенциалом устойчивости, позволяющим сохранять диалектные черты вопреки предлагаемой возможности заменить их литературными эквивалентами. Происходит это, естественно, в том случае, если носитель диалекта живет в диалектной среде. Будучи помещен в среду лиц, говорящих на литературном языке, носитель диалекта оказывается перед проблемой овладения другим языком. В этом случае альтернативы нет и контакт диалекта и стандарта по своему характеру подобен контакту разных языков (овладение другим языком, сохранение акцента).

Изменения *лексического состава* в русских диалектах происходит достаточно интенсивно. Это обусловлено в первую очередь социальными факторами (обстоятельствами жизни) и лишь во вторую — влиянием литературного языка (требованием/предложением овладеть литературной лексикой). В этом случае получаемый в диалектах результат нельзя признать продуктивным, поскольку происходит обеднение и утрата целых лексических пластов, память о которых остается лишь в диалектологических словарях. Поскольку язык в своих разных формах является достоянием национальной культуры, то и утрата традиционной лексики является потерей для национальной культуры.

По идее, следовало бы ориентировать носителей диалектов на параллельное использование диалектных и литературных лексических средств, в зависимости от разных ситуаций общения. Это предполагает внедрение в языковое поведение носителей диалектов принципа переключения кода, как это имеет место в немецкоязычной практике. Но это уже совсем другая языковая политика.

## Литература

- Ахманова 1966 – *Ахманова А. О. С. Словарь лингвистических терминов.* М., 1966.
- Баранникова 1974 – *Баранникова Л. И. Русские народные говоры в советский период.* Саратов, 1974.
- Блумфилд 1968 – *Блумфилд Л. Язык.* М., 1968
- Высотский 1967 – *Высотский С. С. Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах // Очерки по фонетике севернорусских говоров.* М., 1967.
- Гринкова 1947 – *Гринкова Н. П. Воронежские диалекты.* М., 1947.
- Даль 1935 – *Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.* М., 1935.
- Жирмунский 1968 – *Жирмунский В. М. Проблемы социальной дифференциации языков // Язык и общество.* М., 1968.
- Кириллова, Новикова 1988 – *Кириллова Н. В., Новикова Л. Н. Активные процессы в фонетике современных русских народных говоров.* Калинин, 1988.
- Коготкова 1970 – *Коготкова Т. С. Литературный язык и диалекты. // Актуальные проблемы культуры речи.* М., 1970.
- Ларин – *Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание.* М., 1977.
- Личутин 2000 – *Личутин В. Раскол.* Кн. 1. М.: Информпечать, 2000.
- Маслов 1983 – *Маслов В. Крень. Повести и рассказы.* М.: Современник, 1983.
- Пауфошима 1978 – *Пауфошима Р. Ф. Перестройка системы предупредительного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах.* М., 1978.
- Словарь. Деулино 1969 – *Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И. А. Оссовецкого.* М., 1969.
- Соссюр 1990 – *де Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике.* М., 1990.
- Тургенев 1970 – *Тургенев И. С. Сочинения.* Т. 3. М.: Наука, 1970.
- Филин 1938 – *Филин Ф. П. Исследования по лексике русских говоров.* М.–Л., 1938.

Филин 1973 – *Филин Ф. П.* Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.

Фонетика 1968 – Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / Под ред. М. В. Панова. М., 1968.

Щерба 1974 – *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. М., 1974.

Weisgerber 1976 – *Weisgerber L.* Die Leistung der Mundart im Sprachganzen // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.

## МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ВЛИЯНИЯ В КАРПАТО-БАЛКАНСКОМ АРЕАЛЕ

Проблематика межъязыковых взаимодействий (в частности, места и роли иноязычных элементов в отдельных языках) привлекает внимание исследователей прежде всего в связи с изучением истории языков (resp. групп языков), в том числе и функционирующих в карпато-балканской макроне<sup>1</sup>. На современном этапе развития науки существует ясное представление о том, что, с одной стороны, необходимо различать подобные иноязычные элементы, проникшие *письменным* путем (и отмечаемые ныне преимущественно в книжных/литературных языках), и элементы, усвоенные в процессе непосредственных *живых* контактов носителей (и фиксируемые, как правило, в территориальных и социальных диалектах). В настоящее время, благодаря успехам, достигнутым в последние десятилетия диалектологией и лингвогеографией<sup>2</sup>, возникли благоприятные условия для активизации изучения именно этого, «диалектного» (также – ареального) аспекта межъязыковых взаимоотношений в макроне, поскольку формируется качественно новая по объему и характеру фактографическая база. С другой стороны, подобные исследования актуализируют проблему более четкого разграничения вопросов *происхождения* (генезиса) того или иного иноязычного элемента (лексема, аффикса, семантики и под.) и *путей* (обстоятельств) его *распространения* в других языках<sup>3</sup>: осуществляется ли оно в результате прямых контактов или опосредованно, через какие-либо третьи языки<sup>4</sup>.

Карпато-балканская макророна (=КБМ) во многих отношениях – геофизическом (resp. природно-экономическом), этнокультурном, лингвистическом и др. – может рассматриваться и изучаться как определенное *единство*<sup>5</sup>. При том, что отдельные ее части (карпатская и балканская зоны) достаточно автономны и обладают набором специфических черт<sup>6</sup>, установление и описание которых являются задачей особых направлений ареалогических исследований: карпатистики и балканистики соответственно<sup>7</sup>. Карпато-балканская макророна на протяжении многих веков и даже тысячелетий характеризуется постоянными миграциями населения, активными контактами и взаимодействиями различных этносов, их культур и языков. Эта тема, в связи с проблемой этно- и глоттогенеза славян, подробно обсуждается О. Н. Трубачевым в его последней книге (Трубачев 2002: 5–8, 10, 22, 24–26, 31, 113–116 и др.), ср. также предложенные им карты (с. 23, 28–30), реконструирующие на основании данных этимологии пути возможных перемещений древних народов (в том числе и славян) и их контакты на всем пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы, включая карпато-балканскую область, с III–I тыс. до н. э. до начала дунайско-балканской миграции славян (середина I тыс. н. э.)<sup>8</sup>.

В дальнейшем, когда славяне расселяются к югу от Дуная, они начинают взаимодействовать с новыми этносами и этническими группами. Так, в зоне *Карпат* отмечаются активные контакты с восточнороманским населением<sup>9</sup>, а также с тюркскими (доосманскими) группами (кипчаками, печенегами, булгарами) и древними венграми<sup>10</sup>; по мере движения к югу славяне вступают в контакт с албанским<sup>11</sup> и греческим<sup>12</sup> населением. В результате славянской миграции на Балканский полуостров «установилась обширная языковая непрерывность от северных отрогов Карпат до южных районов Балканского полуострова»; впрочем, она в этом виде просуществовала, как от-

мечал С. Б. Бернштейн, недолго: «В связи с этногенетическими процессами в Дакии и Паннонии после VI в. н.э. начался длительный период постепенного разобщения славянского населения, обитавшего к северу и к югу от Дуная» (Бернштейн 1973: 37)<sup>13</sup>. Последние по времени, значительные по масштабу и результатам славяно-неславянские контакты на Балканах (и шире – в КБМ), начиная с XIV в. связаны с турецкими завоеваниями в Юго-Восточной Европе (см., например: Hazai, Kappler 1999; Соболев 2004 и др.).

I. Таким образом, в целом **славянский** этнический элемент в той или иной форме постоянно присутствует в карпато-балканской области на протяжении последних 1500 лет<sup>14</sup>, оказывая, в зависимости от действия различных социально-исторических и иных факторов, большее или меньшее воздействие на соседние этносы и – соответственно – их языки. Следовательно, изучение славянского влияния на языки карпато-балканской макрзоны – именно в силу длительного и экстенсивного характера этого влияния – объективно является одним из наиболее важных аспектов проблематики межъязыковых взаимодействий в карпато-балканском ареале. Начало изучению славянского вклада в языки макрзоны положили труды Ф. Миклошича: «Die slavischen Elemente im Rumunischen» (1861), «Die Slavischen Elemente im Magyarischen» (1870), «Albanische Forschungen. I. Die slavischen Elemente im Albanischen» (1870). В дальнейшем славяно-неславянским языковым отношениям исследователи уделяли серьезное внимание, и в настоящее время в этой области достигнуты заметные результаты<sup>15</sup>. Особенно заметен прогресс в изучении славянского влияния на неславянские языки КБМ на *диалектном* уровне, и, прежде всего, в ареальном аспекте, что позволяет пространственно (и далее – хронологически) стратифицировать славизмы в румынском, венгерском, албанском и др. языках. Например, карты «Общекарпатского диалектологического атласа (=ОКДА)<sup>16</sup>, как и иные источники,



дают представление о синхронном распространении некоторых лексических и семантических славизмов, вошедших в иные языки в различные периоды истории славяно-неславянских контактов в КБМ.

Некоторые из наиболее старых заимствований из древнеславянского/древнеболгарского языка (примерно до XII в.) представлены в румынском и венгерском, а также в албанском языках в следующем виде.

1. Репрезентанты слав.\**koъь* (ЭССЯ 11: 196) известны, по материалам ОКДА (1, № 54), практически во всей КБМ с широким кругом значений. При этом данное лингвистическое пространство оказывается достаточно расчлененным именно по семантическому признаку. Наиболее частотным является значение ‘корзина и под.’; ареалами различной величины и конфигурации представлены значения ‘постройка (для початков)’, ‘короб в мельнице’, ‘рыболовная снасть’, ‘дымоход’, ‘вид улья’ (редко); лишь в карпатской зоне (слав., венг., рум.) известно значение ‘кузов воза’ и др. О болг. *кош*, помимо данных ОКДА (архив), см. БЕР 2: 690 (подробнее: Калнынь, Клепикова 1989: 98–100); о географии алб. *kosh* (и дериватов): Ylli 1997: 131–133.

2. Продолжения слав.\**rodъ* (см. Фасмер III: 296; БЕР 5: 430 и др.), по данным ОКДА (1, № 12) и иным источникам, хорошо представлены в диалектах КБМ в ряде значений образующих ареалы различной величины. Ср., например, ‘чердак’; ‘потолок’ (говоры зоны Карпат, серб., мак.; венг. *rod* [rod] – лишь ‘чердак’), ‘пол’ (укр., серб., мак. *rod*; ср. и алб. *rod* ‘то же’ – Ylli 1997: 200–201), а также локальные значения – рум. *rod* ‘нижняя часть телеги’, ‘полотно косы’, ‘насест’, рум. *rod*, венг. *rad* ‘мост’, серб. ‘равнина’ и др. По данным архива ОКДА и материалам БЕР, лексема *pod* (реже – *пода*) широко отмечается в болгарских говорах в значениях ‘пол’, ‘ящик для муки (в мельнице)’, а также ‘скамейка; лавка (для хранения домашних вещей)’ (Клепикова 1986: 79–81).

3. Репрезентанты слав.\**хорна* (> \**хорнити* – ЭССЯ 8: 78–79) в значении ‘корм, пища’ и под. (: ‘кормить, питать’) характерны для балканославянских языков (ОЛА 6, № 55). Старыми заимствованиями из славянского являются рум. *hrană* (диал. *ranr*), (а)*hrăni* (диал. [a]hărăni, [a]răni) ‘то же’ – Rosetti III: 67,68), их география описывается как на картах ALR sn ([a]hrăni ‘кормить скот’ – № 313, ‘[военный] паек’ – № 951, ‘хорошо] зарабатывать’ – № 1364), так и в словарях (ср. DEx.: 408) Подробнее см. Клепикова 2000: 169–172; данные о некоторых других старых славизмах см. Клепикова 2005: 158.

4. Рефлексы слав.\**обрьпкъ* ‘вид обуви’ (< слав.\**обрьпо* [:\**obpęti*] – ЭССЯ 29: 55) и слав.\**обрипкъ* ‘то же’ (< \**obrinati* – ЭССЯ 28: 196) представлены прежде всего на Юге Славии: ср., по данным ОКДА (2, № 27), серб. *орá:пси*, *о'рəпəк*, мак. *опинок* ‘то же’ (МРР 2: 153) и зап.-болг. *опин 'ак* (*опин 'ѣк*, *опън 'ак*, *опънок*, *опънѣц* и др. (БДА III: № 283, IV, № 351; Младенов 1983, № 4; БЕР 4: 901 и др.)). В карпатской зоне отмечено лишь зап.-слвц. 'ора:пкi ‘то же’ (ОКДА); далее на севернославянской территории известно рус. диал. *опонки* ‘то же’ (СРНГ 23: 271). Рум. *оринсă* (=си) ‘то же’ распространено практически на всей дакорумынской территории (ОКДА) и является старым славизмом (DLR VII: 240–241, там же и вторичные значения). Подробнее об этом в (Клепикова 2004: 78); хорошо отражено в албанском: *oringë* (*orengë*, *orangë*) (Ylli 1997: 179).

5. Рефлексы слав.\**gręda* (ЭССЯ 7: 122) зафиксированы в ОКДА (1, № 7, также 4–6) в значении ‘виды балок (в конструкции дома)’ и под. и оцениваются как старые славизмы в румынском (о *grindă* – DEx.: 384) и венгерском (*gerenda*). В славянских диалектах макрозоны: польск. 'gżada ('gżenda), мор. 'hřada, слвц. 'hrada, укр. h'r'ada (h'r'etka), серб. gré:da, g're'da (ОКДА); ср. также ю.-болг. g'reda (архив ОКДА), сев.-зап. болг. *грѣда* (БЕР 1: 277, при том, что сев.-вост. болг. *гринда* – из рум.*grindă*). Ар. *grindă* ‘балка’ считается славизмом, сохра-

няющим назализм (Scărlătoiu 1980: 45). В карпатской зоне, помимо отмеченных выше, имеются и такие значения, как ‘жердь в доме (для одежды)’, ‘насест’, ‘остров’ и др., на Юге Славии мак. ‘бревно через речку’ (ОКДА).

Примеры некоторых более *поздних* заимствований из славянских языков делятся на две группы – (I) из болгарского и сербского (более изученным является этот пласт в румынском) и (II) из восточнославянских (например, из украинского).

(I). 1. Болг. *ралица* ‘соха’, ‘плуг’, ‘часть (сохи, плуга)’ и под. фиксируется в северо-западных и иных говорах, в р-не Тетевен, Русе, Севлиево Дряново, Сливен, Елена, Родопы и др. (подробнее БЕР 6: 171) > рум. *gariță* (*raliță*) ‘то же’ (юг – ALRsn I, № 99; Rosetti. III: 68, 46; Mihăilă 1973: 41; также: Скурт 1978: 358 и др.).

2. Болг. *ватали* ‘деталь ткацкого станка’ (из *\*хватало* – БЕР 1, 123), рум. *vatale* ‘то же’ (восток – ALRsn № 475; ср. и Младенов 1983, № 9; Скурт 1978: 71).

3. Болг. *дръг* (*дъръг* и под.) ‘палка; прут, стебель’ и др. (к слав. *\*drogъ* – БЕР 1: 434; ЭССЯ 5: 129) > рум. *drog* (*dorglu*, *dorglă*, *droglă*) ‘палка (для помешивания углей)’ и др. (запад – ALRsn № 1059). Ср., впрочем, более раннее заимствование (того же происхождения) – молд. *дрынг* ‘палка (для битья льна)’ (Скурт 1978: 122; но и *dring* ‘музыкальный инструмент’ – ДЕх.: 282).

4. Напротив, как сербизм оценивается рум. *drugă* ‘(большое) веретено’ (запад, восток – ALRsn № 441; ДЕх.: 282 и др.) – из серб. *druga* (<*\*droga* – ЭССЯ 5:129; РСХКНЈ 4: 721); тот же источник и у рум. *drugă* ‘(молодой) початок’ (Олтения – ALRsn № 105), ср. ар. *druga* ‘веретено’, ‘вид шерсти’ (Scărlătoiu 1980: 54). В балканской зоне алб. *drugl* и дериваты практически во всех говорах (Ylli 1997: 68).

5. Серб. *haljina* ‘вид одежды’ (к слав. *\*xala* / *\*xalъ* – ЭССЯ 8: 13; Skok 1: 652; вопреки этому мнению – возведение к тур. *halı* <.перс.

xālī – MNyTESz 2: 34.) заимствовано в румынский: *haină* ‘то же’ (ALRsn № 1171, 1182; ОКДА 2, № 4; DEх.: 389; Скурт 1978: 467; Mihail 1978: 42–43, к. № 4). Далее это заимствование вошло в зап.-карпатославянские говоры (мор., слвц.): *'halena* ‘вид одежды’, ср. и венг. *'həlinə* ‘то же’ (ОКДА; Machek: 122; MNyTESz); На Балканах ОКДА фиксирует варианты: серб. *hālina* (*hálena*, *áline* [pl. t.], *ál'inče*) ‘alína ‘то же’. В болгарском отмечены дериваты (*х*)алище ‘вид покрывала’ и под. (Родопы, р-н Хасково, центральные говоры – БД II: 294; IV: 189; V: 8, 107, 223; VI: 7 и др.).

(II). 1 В.-слав. (укр.) *борона* ‘борона’ (< слав.\**borna* – ЭССЯ 2: 204–206; ЕСУМ 1: 233 и др.) – источник для рум. *boroana* ‘то же’ (восток – ALRsn I, № 35; Mihăilă 1973: 46; DEх.: 93; Скурт 1978: 56 и др.).

2. В.-слав. (укр.) *толока* ‘общинное пастбище; залежь’ и др. (к слав.\**tolk* = : \**telkti* – Skok 3: 518; Фасмер IV: 73) заимствовано в румынские диалекты (восток – ALRsn № 7, 317; Скурт 1978: 428). ОКДА (5, № 49) изредка фиксирует данную лексему, ср. польск. *łok, łośka* ‘залежь’. К северу от карпатской зоны укр. *толока* (и варианты) в значении ‘виды пастбищ’ хорошо отражена в виде ареалов различной величины на картах и в комментариях АУМ (3, ч. 4: 5–87). Материалы ОЛА (2, № 53) свидетельствуют, что данное значение зафиксировано лишь в пределах украинского диалектного континуума. Отметим, что, наряду с рассмотренным славизмом, в румынских говорах значительное распространение имеет и более старое (однокоренное) (южно)славянское заимствование *clacă* ‘посиделки; помощь соседям’ и под. (ALRsn II, № 445; Mihăilă 1978: 41,43; ОКДА 5, № 49), которое обычно сопоставляется с болг. *клака* ‘помощь соседям по работе’ и под. (< *тлака* – БЕР 2: 414; Skok). Как «обратное» заимствование оценивается карпатоукр. (буков.) *клака* ‘то же’ (ОКДА), та же лексема фиксируется и в некоторых украинских гово-

ра к северу и востоку от р. Днестр (АУМ 3, ч. 4: 126–127), наряду с формой *толока* ‘то же’ (там же).

3. В.-слав. (укр.) рефлексы слав.\**košegъga* / \**košъrga* ‘кочерга’ (ЭССЯ 10: 105–106 из экспрессивного \**kok-j-* – там же, с.103; ср.: Фасмер II: 358; ЕСУМ 3: 66) зафиксированы в румынских говорах: *soșioгvă*, *soșoгvă* и др. ‘то же’ (север, северо-восток – ALRsn № 1059; ОКДА 1, № 63–64). В карпатском ареале, помимо укр. *košerha* и варианты ‘то же’, ср. редкие фиксации лексемы в словацком: *košerha* (ОКДА). В некоторых румынских говорах фиксируется *soșioгva* и ‘метка (в ухе овцы)’ (ALRsn № 403; ср. DEх.: 167).

4. В.-слав. (укр.) рефлексы слав.\**družьka* (< слав.\**drugъ* – ЭССЯ 5: 136) со значением ‘шафер’ (ср. и укр. *дружко* ‘то же’ – ЕСУМ 1: 130; о переходе *o* > *ǎ* – Rosetti. III: 91) находят отражение в рум. диал. *drușcă* (сев.-восток – ALR II, № 162), *d'rušky* также ‘*подруга* невесты’ (ОКДА 3, № 60, НМ 42). В карпатских говорах лексема отмечена, согласно ОКДА, лишь в последнем значении: польск. *d'ruška* (*d'ruska*), мор., словц. *d'ruška* (и словообразовательные варианты), укр. *d'ruška*; на Юге Славии: в.-серб. *druška* ‘подруга’, при мак. *d'ruška* ‘подруга (на свадьбе)’, но и ‘подруга’ (ОКДА); о болг. *дружка* ‘подруга’ см.: БЕР 1: 432<sup>17</sup>.

II. Не менее важными для формирования нынешнего единства КБМ (и отдельных ее языков) являются результаты непосредственных **восточнороманских** влияний, которые хронологически могут быть стратифицированы следующим образом. Первый этап этих влияний датируется эпохой поздней античности – раннего Средневековья, когда конституировался восточный вариант латинского языка – «балканская латынь»<sup>18</sup>. Это связывается с постепенным завоеванием Римской империей территорий на побережье Адриатического моря, на Балканском полуострове, в карпатской области<sup>19</sup> и с прямыми контактами носителей латинского языка с автохтонным населе-

нием Балкан, а также с народами, мигрировавшими в этом регионе (гуннами, готами, славянами и др.). Тогда сформировалась «цивилизационная» граница между зонами преимущественного доминирования латыни и греческого языка<sup>20</sup> и возникали локальные варианты балканской латыни (БЛ)<sup>21</sup>.

На втором этапе, соответствующем эпохе Средневековья и нового времени, можно говорить уже о непосредственном влиянии в пределах КБМ общерумынского языка (*româna comună*) (до X в. н. э.), а затем и собственно румынского, в облике его макродиалектов – дакорумынского и арумынского, репрезентирующих исторически конкретные трансформации БЛ. В качестве хронологической границы между указанными этапами и, соответственно, между эвентуальными ранними заимствованиями из БЛ, с одной стороны, и более поздними из румынского, с другой, принимается VII–VIII вв. н. э. (Rosetti IV–VI: 29–30)<sup>22</sup>.

В настоящей работе основное внимание уделяется влиянию румынского языка на языки КБМ и, прежде всего, на славянские, которые испытывали наиболее длительное и глубокое румынское влияние<sup>23</sup>. При этом учитывается заметное различие ситуации в двух субзонах. В *карпатской* зоне непосредственный источник румынизмов (различного происхождения – романского, автохтонного или иного) определяется достаточно четко и однозначно. В силу относительно поздних по времени миграций восточнороманского населения из центральных районов Трансильвании на север и северо-запад карпатской области, достаточно хорошо отраженных в документах того времени (так называемая «валашская пастушеская колонизация», завершившаяся уже в XVII в. в Моравии), таким источником являются обычно говоры дакорумынского диалекта<sup>24</sup>. Напротив, в *балканской* части КБМ исследователи часто рассматривают альтернативные версии источника того или иного румынизма, например, в балканосла-

вянских языках – дако- и/или арумынские (а иногда и мегленорумынский) идиомы<sup>25</sup>. Поэтому установление центра иррадиации соответствующего заимствования требует привлечения большего объема дополнительных данных – как лингвистических (например, учет фонетического критерия), так и внелингвистических (например, сведений о расселении в прошлом и настоящем отдельных групп носителей восточнороманской речи, их истории, типах хозяйственной деятельности и под.).

Исследование восточнороманского (=румынского) влияния на языки КБМ также имеет достаточно длительную историю. В настоящее время значительный прогресс достигнут прежде всего в изучении (дако)румынских заимствований в языках/диалектах карпатской зоны<sup>26</sup>. Напротив, роль румынского идиома в истории языков к югу от Дуная редко становилась предметом специальных разысканий, поскольку эта роль характеризуется обычно как незначительная (Schaller 1975: 173). Возможно поэтому, а также по причине трудностей хронологической стратификации романских элементов (Niță-Armaș 1968: 67–68), некоторые исследователи предпочитают говорить о «романских» заимствованиях в целом, не выделяя среди них румынизмы<sup>27</sup>. Вместе с тем отмечается стремление разграничивать непосредственные источники заимствования несомненных румынизмов, – наряду с оценкой многих из них как дакорумынизмов, устанавливаются и заимствования из арумынского и под.<sup>28</sup> Современное состояние карпато-балканской диалектологии и лингвогеографии позволяет достаточно детально представить географию многих румынизмов. Так, с одной стороны, выявляются заимствования из румынского, широко распространенные в КБМ в целом (I) и, с другой, – фиксируемые ныне практически лишь в карпатской субзоне (II).

(I).1. Рум. *colastră / coraslă* ‘молозиво (у коровы, овцы)’, ‘первое молоко (у роженицы)’ (: лат. \**colasta* < \**colostrum* – M.-Lübke

№ 2028; Cioranescu № 2249; DEх.: 170; о версиях происхождения см. Клепикова 1998: 202–204) представлено в дакорумынских диалектах (ОКДА '6, № 58), ср. и ар.culastră (curastră) (Рар. 322), мегл. g(u)lastră 'то же'. В карпатской зоне это – несомненный румынизм: ср. с тем же значением укр. ku'lastra, ku'rastra., мор. 'kura:stva, словц. (север, восток) 'kul'a(j)stra, венг. 'gula:stə, 'gura:stə и др. (ОКДА; о gulászta – MNyTESz 1: 1105); данные о распространении лексемы за пределами зоны см. также в ОЛА 6, № 32. Как румынизм оценивается данная лексема в балканославянских говорах (подробнее в: Клепикова 2004а: 143; ср., впрочем, БЕР 2: 548): ср. в.-серб. ku'lastra, в.-мак. gu'rastra и др. (география – в ОКДА; ОЛА), и ю.-мак. кулестро (Видоески 1: 120); также: греч. диал. 'kl'astrа (МДАБЯ: 274–275); вместе с тем ю.-серб. ka'ložtra, по-видимому, может рассматриваться как албанизм, ср. алб. диал. kulloshtër (МДАБЯ), ku'ložër (ОКДА) (из рум. culastră – Домосилецкая 2002: 437); наконец, серб. (черног.) kúnuzdra – возможно, из итальянских диалектов (Клепикова 1982: 64). География болг. коластра (север, центр, ю.-восток) описана в: Младенов 1987 № 18; ср. и МДАБЯ.

2. Рум. cheag 'подкваса (при изготовлении творога)' и др. (: лат. \*clagum < coāg[ū]lum – М.-Lübke № 2006; Cioranescu № 1749; Скурт 1978: 228 и под. из лат. agō, =are – Ernout-М. I: 27; о переходе cl<sup>(1)</sup> > k [XV в.] – Rosetti IV–VI: 78 ), ар. cl'eag 'то же' (Рар. 293), мегл. cl'ag широко распространено, по данным ОКДА (3, № 39 и Клепикова 1974: 154.) в диалектах (о деривате [a]ŋchega 'свертываться' – ALR II, № 65); иные значения см. в DLR; CADE 255, 644; DEх.: 143 и др.). Данный румынизм фиксируется в карпатославянских диалектах: польск. klok, мор. kl'ak, 'gl'agat', словц. 'kl'ak, kl'aga, укр. kl'ag, 'kl'a'gaty и др. (ОКДА; см. также АЛРР № 175; ЛАЗГ № 169; КДА № 94; Клепикова 1971: 151). О фиксации румынизма в украинских говорах севернее и восточнее р. Днестр см. Клепикова 1998: 186. В



балканославянских говорах фиксации крайне редки: см., например, болг. диал. *к'аг* 'то же' (Румыния – Младенов 1993: 398); единично мак. диал. (Битола) *кляг* 'то же' (из ар. *cleag* – БЕР 2: 492); источник алб. *kluar* 'закваска (из сычуга)' видят в балк.-лат. \**clagarium* < *coagulare* (Домосилецкая 2002: 435).

3. Рум. (а)[а]pleca 'склонять, нагибать' и др. (ALRsn № 1208), но также в результате семантического развития 'кормить (детенышей)' (Cioranescu № 332; DEх.: 45) сопоставляется с лат. *applicāre* (M.-Lübke № 548; ср. и ар. [а]ples – Пар. 119); о географии данного румынизма (в последнем значении) см. ОКДА (3, № 55). В карпатославянские диалекты заимствовано именно второе значение: польск. *'plekać*, мор. *p'l'ekat'*, словц. *p'l'akat'* (*p'l'agat'*), укр. *ple'katy* 'то же' и 'заботиться' (см. также Vrabie 1967: 166). В балканославянских говорах данное заимствование отмечается лишь в некоторых македонских говорах – *p'laka* 'кормить (грудью)' (северо-восток). Иное развитие семантики данного заимствования в сербском: *plékat(i) (se)* 'вмешаться (в чужие дела)', 'оказаться в сложной ситуации' и под. (ОКДА).

4. Рум. *găleată* '(деревянный) сосуд; подойник, ведро' (: лат. \**gallēta* 'ведро' – M.-Lübke № 3656; далее – неясно, см. Клепикова 1998: 184) представлено на всей дакорумынской территории (ОКДА 2, № 39; DEх.: 366), ср. также и ар. *găleată* (Пар. 490), мегл. *gălétă* 'то же'. Из румынского заимствовано в карпатославянские говоры: ю.-польск. *ge'l'eta*, мор. *'geleta* (*'gal'ata*), словц. *'geleta*, укр. *g'e'letka* (*ga'l'ata*) и под. (см. также *гелета* и др. в ЕСУМ 1:429), венг. *'geleta* (*'gelató*) (редко) (см. и MNyTESz 1: 1080). В балканославянских диалектах румынизм отмечается редко; в ОКДА зафиксированы в.-серб. *ga'l'ata* 'подойник' (о банат. *гелата* 'ведро' см. Клепикова 1983: 226), сев.-вост. мак. *ga'leta* 'ведро'; ср. и болг. диал. *гъл'ата* 'подойник' (р-н Силистры – Клепикова 1983), то же заимствование и

в болгарских говорах Румынии (Младенов 1993: 297). Алб. *gjaledër* ‘сосуд’ также возводится к румынскому (Meyer 118; Домосилецкая 2002: 428).

(II). 1. Рум. *săpăstru* ‘узда’ и под. (: лат. *capistrum* ‘то же’ – M.-Lübke № 1631; Cioreanescu № 1404; DEх.: 131; Клепикова 1998: 218) фиксируется на значительной части территории Румынии и Молдовы (ОКДА 5 № 8, 19), ср. и ар. *săpestru* (Pap. 268; *kə'pestru* – МДАБЯ 272–273). В карпатской зоне румынизм отмечен лишь в некоторых украинских говорах: *ka'pestra*, *ka'pajstra* и под. (ОКДА; Vrabie 1967: 152; ЕСУМ 2: 370); на Юге заимствование (*капистра* и др.) отмечено в ряде болгарских говоров (Младенов 1987 № 37; БЕР 2: 218; родоп. *ka'pistra* – МДАБЯ), ср. ю.-зап. мак. *капистра* ‘то же’ (Видоески 1: 120), а также в албанском: *kapistrë* и *ka'pistër* (МДАБЯ); в греческом: *ka'pistri* ‘то же’ (там же).

2. Рум. *gaură* ‘дыра; нора’ и под., о семантике см. Клепикова 1998: 178 (или из и.-е. \**geu-*г- и др. < \**geu-* ‘гнуть’, как и алб. /z/*gavër* ‘то же’, или сравнивается с лат. \**savula* < *savum* M.-Lübke № 1795; Cioreanescu № 3617; DEх.: 364; обзор версий в: Калужская 2001: 34) фиксируется на значительной части территории Румынии за исключением, как будто, лишь западных говоров (ОКДА 7, № 40), ср. и ар. *gaură* ‘то же’ (Pap. 487). Достаточно часто этот румынизм отмечается в карпатской зоне: укр. 'гауга ('*гацга*) ‘берлога’, ‘дыра, дупло’ и под., ю.-польск. 'gavга ‘берлога’, мор. 'гауга ‘дупло’ (ср. *gaug* – Machek: 115) и топоним *Gauga*; ОКДА не отмечает его в балканославянских диалектах, ср. однако однокоренное алб. диал. *zguer* ‘дупло’.

3. Рум. *pieptar* ‘вид безрукавки (жилетки)’ – дериват от *piept* ‘грудь’ + = *ar* < лат. =*agius* (: лат. *pectus* – M.-Lübke № 6333; Cioreanescu № 6360; см. также Rosetti. III: 80, 142; IV–VI, 57; DEх.:688), по данным ОКДА (2, НМ 6; также ALRsn № 1181, 1183, 1184) фиксируется на севере, в центре Румынии и на востоке Молдовы в вари-

антах *pjeptár* (*pěptár*, *keptár*, *tʹeptár* и под.), ср. и ар. *k'iptar* 'то же' (Рар. 606.). Согласно ОКДА, данный румынизм представлен лишь в некоторых карпатоукраинских говорах: *k'ip'tar*, *t'ip'tar* (см. также: Vrabie 1967: 158; Клепикова 1998: 237), впрочем, румынизм *k'innár* 'то же' отмечен в украинских говорах и севернее и восточнее р. Днестр (АУМ 3, ч. 4: 144–146). Крайне редко отмечается в балкано-славянских языках: ср. болг. *кентар* 'то же' (Добруджа 406; БЕР 2: 376); возможно, из арумынского и ю.-зап. мак. диал. *кенте* 'то же' (Видоески 1: 118).

4. Рум. *zestre* (< лат. *dextrae*) 'приданое' (< ?; Cioranescu № 9486; подробнее разбор версий дан в: Клепикова 1998: 211) отмечается с вариантами почти повсеместно на дакорумынской территории, исключая ее западную часть (ОКДА 3, № 61; DEx.: 1033), ср. и ар. *zestră* 'то же' (Рар. 1139);. Заимствовано в некоторые слвц. (север – *'zajstra* и др.) и укр. (лемк. *'zastř'a*, буков. *'zestra*, *'zestra*) (ОКДА; КДА № 121; ЕСУМ 1: 58); другие источники подтверждают наличие венг. диал. *zesztre* (*zesztra*), нем. сакс. *zestre* 'то же' в Румынии (ALR II № 167). На Балканах данный румынизм отмечается в болгарском: *зестра* 'то же' (БЕР 1: 636; как «диал.» – в РБЕ 5: 907; Rosetti IV–VI: 126), но его география неясна (некоторые данные см. в: Клепикова 1998); о мак. диал. *зестра* 'то же' – РМЈ I: 260.

5. Рум. *albie* 'корыто (различного назначения)' (< лат. *alveus*, *albeus* 'то же' – М.-Lübke № 392; Cioranescu № 178; Rosetti I: 88, 166; DEx.: 22) зафиксировано в указанном значении на юге и востоке Румынии и в Молдове (ОКДА 2, № 47; в значении 'колыбель' см. ALR I, 319). Из румынского вошло в некоторые карпатославянские говоры: ю.-польск. *'hal'b'ija*, *ʎal'b'ija*, слвц. *'hal'bija*, единично – укр. (лемк.) *val'bija* 'корыто' (ОКДА; ср. также: ЕСУМ 1: 64; Vrabie 1967: 128; Клепикова 1998: 227); о наличии его в моравских говорах – Crânjala 295. На Балканах как будто не отмечено.

Картина восточнороманского влияния на языки КБМ достаточно сложна и не сводится к констатации прямых – более ранних или более поздних – воздействий на них только румынского языка (и его диалектов). Новые лингвогеографические исследования макрзоны свидетельствуют о распространении в славянских (и неславянских) языках КБМ относительно старых восточнороманизмов, источником которых могла быть еще балканская латынь (при отсутствии этих элементов в современном румынском). См. следующие примеры этого.

1. Отметим фиксацию репрезентантов слав. \**holča* – см. с.-хорв. *hlača* ‘чулки, носки’ (также словен. *hlača, hlače*), которое этимологизируется как раннее заимствование из альпийско-романских продолжений лат. *calca* (ЭССЯ 5: 56); в ОКДА (2, № 12) хорв. *laće* ‘носки’, сюда же относят и украинские формы (с полногласием) *холоша* ‘штанина’, *холошині* ‘штаны’, хорошо отраженные и в ОКДА (хо'lošn'i ‘вид штанов’, ‘чулки; носки’ и др.); ср., по-видимому, как украинизм, – ю.-польск. хо'цошіе ‘штаны’, словц. хо'lošn'e, 'kološn'e ‘то же’, сюда же венг. *harisnya*, которое также определяется как заимствование из украинского (ЭССЯ; МНУТЭСz 2: 591). С другой стороны, в балканославянских языках отмечаются продолжения слав. \**kolša / \*kolšьne* (сопоставляется с романизмом \**holča* – ЭССЯ 10: 154; иначе – БЕР 2: 127), которые отражаются в современных диалектах (например, в ОКДА) как: серб. 'klašne ‘суконные штаны’, ‘сукно’, 'klašne ‘тонкая ткань’ и под., мак. 'klašni ‘сукно’; в болгарском: *клашине* ‘шерстяная ткань’, *клашник* ‘вид одежды’ и под. (в БЕР оценивается как сербизм; о географии их см. Младенов 1987 № 14).

2. Рефлексы слав. \**gupa / \*gun'a* (ЭССЯ 7: 176 – «старое культурное слово»), для которого установлены параллели как в западноиндоевропейских языках (ср. лат. *gunna* ‘шуба’ «gall.» – М.-Lübke № 3919, кельт. *gwn* ‘плащ’ и др.), так и на востоке (ср. авест. *gaona-*

‘волос’), отмечены в языках/диалектах КБМ (исключая дакорумынский – Mihail 1978: 102–103). О западнороманском источнике продолжений среднелатинской формы в балканских языках см. Gavazzi 1978: 172; ОКДА (2, № 1): серб. *gù:n* (*guń*) ‘вид одежды’, ‘покрывало’ и под., *gùna* (*guńa*) ‘одежда’, мак. *'guna* (*'guńa*) ‘то же’, ср. и алб. диал. *'gujə* ‘то же’ (но *gunë* – Fjalor: 588; *gunë* ‘густошерстный’ – Домосилецкая 2002: 430); в болгарском: *гун'а*, *гун'ка* (запад, иногда и восток) – Младенов 1987, № 12; БДА ОТ Л № 80. На Балканах см. также ар. *gupa*, *γupa* ‘одежда (пастуха)’ (Par. 507), н.-гр. *γούνα* ‘мех; шуба’. В Карпатах, согласно ОКДА, с тем же корнем: ю.-польск. *guńa* ‘вид одежды’ (см. также «диал.» – Siawski 1: 378), мор. *hun'a*, словц. *'huna*, *'huńa*, укр. *'hun'a*, *'hun'i* ‘то же’, венг. диал. *'gun'a*, *'gu:n'ə* ‘одежда’, ‘сукно’ (см. *gúnya*, скорее из ю.-слав. – MNyTESz 1: 1106). Отметим существование лексемы и на восточнославянской территории. Детально география и семантика *гун'а* (*гун'ка*) может быть изучена в говорах Украины (см. материал в: АУМ 3, ч. 4: 143–144); наличие лексемы во многих русских говорах подтверждает СРНГ 7: 235–237. Поэтому распространение репрезентантов слав. *\*guna* / *\*gun'a* дает возможность для констатации разных источников этого заимствования в языках КБМ (= «запад»), с одной стороны, и в восточнославянских языках (= «восток»), с другой.

III. Как достаточно заметное оценивается прямое венгерское влияние на языки КБМ<sup>29</sup>, начало которого датируется эпохой завоевания древневенгерскими племенами Среднего Подунавья (= «обретение родины», *Landnahme*). Уже в первые века существования государства династии Арпадов, благодаря своей колонизаторской, экспансионистской политике, а также активному товарообмену с соседними странами, носители венгерского языка вступают в интенсивные этно-языковые и этно-культурные контакты с другими народами как непосредственно в пределах карпатской зоны, так и на Балканах.

Этим объясняется относительно широкое распространение в КБМ *в целом* унгаризмов (исконного характера и заимствований – из немецкого, славянских и др.)<sup>30</sup>, относящихся к таким лексическим группам как государственное управление, право, армия, подати и денежное обращение, принципы организации городской жизни, а также ремёсла, торговля и под.<sup>31</sup> В Средние века именно через Венгрию шли торговые пути из областей к северу от Карпат на юг, в задунайские страны. Поэтому на рынках Венгрии вели торговлю, с одной стороны, сербы, хорваты, болгары, греки, арумыны., а с другой, немцы, чехи, словаки, поляки, украинцы, русские, румыны. *Посреднический* фактор торговых отношений в сложном процессе взаимодействий и взаимовлияний этносов, культур, языков в этот период исследователи определяют следующим образом: «Торговля является, так сказать, нейтрализатором различий социального и, особенно, этнического характера» (Schubert 1999: 685).

В настоящее время уже существует ряд серьезных трудов, посвященных венгерскому влиянию, в которых учитывается широкий экстралингвистический контекст заимствования унгаризмов в отдельные или многие языки макрзоны<sup>32</sup>. Наиболее детально изучено это влияние в карпатской зоне, и прежде всего – на карпатоукраинские говоры<sup>33</sup>; ценные данные о географии подобных элементов в словацком дает атлас словацких диалектов<sup>34</sup>. Унгаризмы в КБМ в зависимости то того, представлены они в большей части говоров (I) или репрезентируют локализмы в карпатской зоне (II), могут быть описаны следующим образом.

(I). 1. Венг. *határ* ‘граница’, ‘владение’ и под. (< др.-ур. *hat* – MNyTESz 2: 73–74; Schubert 1999: 688; иначе: Skok 1: 666 ), ср. и диал. *hota:r* (*hato:r*) ‘то же’ (ОКДА 7, № 31) заимствовано в карпатославянские диалекты с теми же и близкими значениями: ю.-польск. ‘*hota:r*’ (‘*kotar*’) ‘(пахотное) поле’, мор. ‘*kotar*’ (‘*kota:r*’) ‘(неурожайная) зем-

ля', слвц. 'xota:г ('xotar) 'граница; владение', ho'tar (ho'tar', xo'tar') 'граница' и др.; хорошо отражена лексема и в восточнороманских диалектах: hotar (ɥotár, xotár) '(гос)граница' (ср. Rosetti IV–VI: 114; Tamás 1966: 443; DEх.: 407). ОКДА фиксирует унгаризм и в некоторых балканских языках: серб. ата:г (a:tar, atar) 'земля общины' (но и банат. <sup>h</sup>otbr 'то же' – ALRsn № 3), в.-серб. 'atar 'граница', мак. 'atar 'то же' (см. также: Видоески 16); ср. и сев.-зап. болг. банат. *отáр* 'граница (села, между селами)' (БЕР 4: 954; также: hotar<sup>i</sup> 'граница' – ALRsn № 4).

2. Венг. bunda 'вид (верхней) одежды' и под. (неясного происхождения, сопоставляется с ср.-в.-нем. bunt, bund 'пестрый; черно-белый' – MNYTESz 1: 389), ср. диал. 'bundz 'то же' и некоторые локальные значения в ОКДА 2, № 2), заимствовано в карпатославянские и румынские диалекты: ю.-польск. 'bunda ('buńda, 'bonda) 'вид (верхней) одежды, мор., слвц. 'bunda 'то же', укр. 'bunda 'то же' и 'безрукавка' (ср. *бунда* – ЕСУМ 1: 295), рум. (молд.) 'bцoанды 'безрукавка', 'пиджак', búndă (bóndă) 'верхняя меховая одежда', 'безрукавка' (редко) (ОКДА; Tamás 1966: 154; DEх.: 104). В балканославянских диалектах: серб. (нов.) bú:nda ('bunda) 'длинная верхняя одежда' (ср.: *бунда* 'вид одежды' – РСХКНН 1: 285), мак. (нов.) 'bunda 'то же' и 'пальто' (ОКДА), ср. и болг. диал. *бунда* 'меховая безрукавка', 'вид верхней одежды' (из сербского – БЕР 1: 90).

3. Венг. vám 'пошлина', 'таможня' (иранского происхождения, ср. н.-перс. wām – MNYTESz 3: 1080; Schubert 1999: 688), диал. v:ɹm (va:ɹm) 'плата за помол' (ОКДА 5, № 44, НМ 24), заимствовано в диалекты карпатской зоны: рум. vamă 'плата за помол' (Rosetti IV–VI: 116; см и Tamás 1966: 835), укр. (закарп., буков.) 'vama 'то же' (возможно, через румынский; в ЕСУМ 1: 327 – *вам* 'то же'); о географии болг. *вама* 'пошлина, таможня' и др. см. Младенов 1983, № 15; БЕР 1: 117.

4. Венг. *gazda* ‘хозяин (дома)’, ‘владелец’ и под. (вероятно, из слав. \**gospoda*, с изменением семантики – MNyTESz 1: 1038), ср. также диал. '*gazda* ('*gɔzdɔ*) ‘богач’, ‘хозяин’, ‘супруг’ и др. (ОКДА 5, № 35), вошло, как «обратное» заимствование, в языки/диалекты карпатской зоны: польск., мор., слов., укр. '*gazda* ‘богатый крестьянин’, ‘хозяин дома’ и под. (ОКДА), при этом в некоторых украинских говорах возможно и румынское посредство (Vrabie 1967: 144). Унгаризм *gazdã* в близких значениях ОКДА фиксирует и в румынских говорах (запад, Молдова; см. Rosetti VI–VI: 114; DLR II: 240; Tambs 1966: 370–371, с XVII в.; DEх.: 365). В балканской зоне широко представлен в сербских – *gazda* ('*gazda*) ‘богатый крестьянин’ и др., мак. '*gazda* ‘то же’; о болг. *газда* ‘главатар на градинарска дружина’ см. в БЕР 1: 224 (подробно в РБЕ 3: 49); ср. и ар.*gazdu* ‘?’ (Pap. 487).

5. Венг. *beteg* ‘больной’, ‘болезнь’ и др. (неясного происхождения – MNyTESz 1: 389; Schubert 1999: 692) заимствовано в некоторые диалекты карпатской зоны (ОКДА 4, № 20): рум. *beteag* ('*betjaɟ*) ‘больной’ (ср. Tamás 1966: 109–110, с XVI в.), польск. '*beteh*, укр. '*bet'ix*, '*be'teha* ‘больной’, ‘калека’ и под. (ср. *бетега* ‘болезнь’ – ЕСУМ 1: 178).

(II). 1. Венг. *marha* ‘скот’ и др. (баварско-австрийского происхождения, ср. *markt*, *marchat* и под. ‘рынок’ из лат. *marcātus*, *mercā tum* – MNyTESz 2: 845; Schubert 1999: 687), '*marha* ('*mərɬɔ*) ‘то же’ (ОКДА 5, № 72; но диал. чангэу *marfa* < рум.*marfã* < венг. *marha*) вошло в румынские диалекты (Rosetti IV–VI: 115): *marhã* и под. ‘скот’ (Кришана, Марамуреш – косвенно по ALRsn II, № 313, 1, № 193), также в украинские: '*marha*, '*maržina* ‘то же’ (ср. КДА № 144; ЕСУМ 3: 390). На Балканах отмечено серб. *mà:gva*. Более полно география унгаризма описана в ОЛА (2, № 24): хорв. *ma:gva* (Оток, Славония), серб. *mà:gva*, *màgva*, '*ma:gva*, '*mar(v)a* и др. Отмечается и болг. диал. (Банат) *марва* ‘скот’ (Стойков 1993: 137; отсутствует в БЕР).



2. vályú 'корыто', 'канавка; жолоб' и др. (древнетюркского происхождения – MNYTESz 3: 1084; диал. 'va:lou ('vɔ:lo, 'va:lu) ОКДА 2, № 46), вошло в диалекты зоны Карпат – ср. рум. диал. vǎlău (halău) 'корыто', 'деталь мельницы', 'жёлоб (для спуска бревен)', мор. 'va:lof, слвц. 'va:lov, укр. va'l'iu (va'luu) 'корыто' (см. также: ЕСУМ 3: 326). На Балканах известно мало – например, в.-серб. 'valov 'корыто', 'долина' (ОКДА; РСХКНЈ 2: 368 (валов)).

3. Венг. áldomás 'угощение', 'пожертвование' и др. (< венг. áld= (< ф.-уг. al=) – MNYTESz 1: 131; Schubert 1999: 689), 'a:[l]doma:š ('ɔ:ldomɔ:š) и др. 'угощение после купли-продажи, работы' и под. (ОКДА 5, № 50) вошло в диалекты карпатской зоны. Отметим рум. aldămaș 'угощение' (Rosetti IV–VI: 111; Тамбс 1966: 63–64 (Буковина, обл. Долж, Горж, Романац, Вьлча, Констанца, также север Молдовы); DEх.: 23; Скурт 1978: 24 (алдэмаш)). Унгаризм хорошо представлен в карпатославянских говорах: польск. 'holdamaš (haj'damaš) 'угощение (по случаю окончания работы)', мор. hal'damas ('hajdama:š) 'праздник', слвц. 'oldoma:š (o'dolma:š) 'то же', укр. (запад) al'do'maš (o[l]do'maš) 'угощение', 'бесплатная помощь' (ОКДА; Лизанец 1976: 573). На Балканах ОКДА фиксирует унгаризм в некоторых сербских говорах – с.-зап., босн. alduma:š 'угощение (после работы)', банат. aldamaš 'то же' (ОКДА; РСХКНЈ 1: 79 – алдомаш).

4. Венг. szerszám 'средство', 'принадлежность' и др. (из др.-уральского [=szer + szám] – MNYTESz 3: 791), диал. 'sersa:m ('sersɔ:m) 'инструмент', 'упряжь' и др. (ОКДА 5, № 60), заимствовано в румынские (Тамás 166: 691–692, sãrsam и др.) и карпатославянские говоры: рум. sãrsámur<sup>i</sup> (tartámur<sup>i</sup>, sar'camur<sup>i</sup>) 'инструменты', 'sarsan 'то же', 'упряжь', слвц. 'sersa:m 'орудия ремесленника', укр. sar'sama ('sersam) 'то же' (редко – ОКДА; Лизанец 1976: 624). ОКДА не отмечает унгаризм на Балканах, ср. однако серб. sersan 'конская упряжь' (Славония – Skok 3: 225).

5. Из менее частотных унгаризмов упомянем репрезентанты венг. *juhász* 'пастух (овец)' (< венг. *juh* 'овца' + *=báz* – MNYTESz 2: 284), диал. *'juha:s* (*'juho:s*) 'то же' (ОКДА 7, № 6, 7, НМ 2); вошли в некоторые карпатославянские говоры: ю.-польск. *'juhas* (*'juxas*) 'то же' (ср.: *Siawski I: 588*), мор., слвц. *'juha:s* (ср.: *Machek 184*), укр. (закарп.) *'juhas* 'то же' (ОКДА; ЛАЗГ; Лизанец 1976: 599; также: ОЛА 8, № 25a). Не фиксируется в балканской зоне.

IV. Влияние в КБМ перечисленных выше языков может быть квалифицировано *в целом* как прямое (разумеется, не исключаются ситуации, когда речь идет и о посреднической роли третьих языков, – ср., например, возможность заимствования унгаризмов в болгарский язык/диалекты *через* сербский). Подобное прямое, влияние некоторых других языков, прежде всего греческого и турецкого, на языки/диалекты КБМ следует, по-видимому, оценивать как пространственно ограниченное. Оно несомненно в балканской зоне, тогда как за ее пределами (resp. в карпатской зоне) целесообразнее говорить во многих случаях об опосредованном влиянии указанных языков. При этом в качестве медиаторов обычно выступают румынский и венгерский. Значение албанского в этом отношении еще меньше<sup>35</sup>, оно ощутимо лишь в некоторых районах Балканского полуострова (славяно-албанское, греко-албанское пограничье).

I. Известно, какое глубокое воздействие греческая культура во всей ее полноте (материальной и духовной) оказала на культуры всех балканских народов и каким сильным было влияние **греческого** языка на языки этих народов<sup>36</sup>. Ныне достаточно хорошо изучена история взаимодействия греческого (в его различных формах – древне-, средне- и новогреческой) с некоторыми балканскими языками<sup>37</sup>, хотя остается еще много спорных вопросов. Так, неясен источник пласта древних грецизмов в румынском<sup>38</sup>, дискутируется вопрос и о хронологии первых греко-албанских контактов, поскольку не решена про-

блема албанского этно- и глоттогенеза и, соответственно, – времени прихода древних албанцев в область нынешней Албании (Tsitsilis 1999: 600) и т. д.

Признается, что в *(дако)румынском* мало прямых лексических заимствований из древнегреческого; значительно больше – несколько сот – средне- и новогреческих элементов. При этом существенная часть византизмов вошла в румынский через посредство книжнославянского языка румынской редакции, который в XIV–XVII вв. исполнял в Румынских княжествах функции языка церкви, культуры, канцелярии; в то же время не прерывались и прямые контакты с греческой культурой и языком. Эти контакты активизировались в XVIII–XIX вв. (эпоха фанариотов). Тогда число греческих заимствований заметно возросло в книжном румынском– языке господствующего класса<sup>39</sup>, однако большинство их осталось чуждыми языку-реципиенту и в дальнейшем быстро вышло из употребления<sup>40</sup>. Благодаря лингвистическим атласам ныне можно представить распространение большого числа грецизмов, относящихся к разным лексическими группам. Они фиксируются преимущественно в таких зонах, как юг Валахии и Молдовы (также – в говорах Р. Молдова)<sup>41</sup>.

Принципиально иначе должны описываться последствия **арумыно-греческих** отношений, которые определяются как *симбиоз*, начальная стадия которого датируется временем не позднее X в. Эти отношения в настоящее время характеризуются возможностью для арумын постоянно заимствовать греческие элементы (на разных языковых уровнях) непосредственно из устной греческой речи и адаптировать их в соответствии с нормами отдельных диалектов. Ныне число грецизмов в этих диалектах чрезвычайно велико<sup>42</sup>; по мнению исследователей, большая их часть относится к периоду до XV в. (церковная, коммерческая, бытовая и под. терминология). Эти заим-

ствования имеют в основном статус диалектных слов<sup>43</sup>, отражающих некоторые особенности северногреческих говоров<sup>44</sup>.

В албанском исследователи фиксируют, в соответствии с рядом критериев, незначительное число достоверных заимствований из древнегреческого, при том что существуют трудности в изучении самих этно-языковых контактов. Больше всего заимствований из средне- и особенно новогреческого<sup>45</sup>, поскольку в Средние века – даже в эпоху турецкого господства, вплоть до XVIII–XIX вв. – отмечается сильное влияние греческой церкви, культуры, образования, торговых сношений с греческими областями. Греческий язык сыграл важную роль в становлении и развитии албанского книжнописьменного (литературного) языка за счет, в частности, обогащения последнего заимствованиями лексики и словообразовательных моделей, калькирования и т. д. Вместе с тем многие грецизмы, относящиеся к различным языковым уровням, фиксируются и в диалектах, прежде всего на юге и юго-западе Албании, где всегда присутствовало немалое греческое население (Tsitsilis 1999: 603). К сожалению, ареальный аспект этих взаимодействий остается практически неизученным<sup>46</sup>.

Как уже говорилось, начало непосредственных и массовых контактов славян с греческой культурой и языком датируется VI в. Наиболее тесными и длительными являются болгаро-греческие (соответственно – македонско-греческие<sup>47</sup>) взаимодействия<sup>48</sup>. Так, греческий выполнял функции официального языка в государстве болгар вплоть до IX в., когда после крещения Болгарии был создан первый славянский письменный язык (=«старославянский»), отразивший сильное греческое влияние не только в сфере лексики и семантики, но также словообразования и под. Глубокие политико-экономические, культурные и др. связи Болгарии и Византии сохранялись до падения Константинополя (XV в.); позднее они ослабели, но никогда

не прерывались. Отметим, например, что деятельность книжника Дамаскина Студита по обновлению письменного греческого языка (XVI в.) сыграла важнейшую роль в демократизации болгарского книжного языка и создании новоболгарского письменного языка на народной основе<sup>49</sup>. Заметна роль греческой культуры и языка в приобщении болгар к европейским духовным ценностям (первая половина XIX в.), в частности, в ознакомлении их с современной европейской литературой (Gutschmit 1966). Вместе с тем, благодаря действию сильной пуристической тенденции, число лексических грецизмов, проникших в болгарский ЛЯ и сохранившихся до нашего времени, относительно невелико (Gutschmit 1982). Греческие заимствования в болгарских и македонских диалектах изучены сравнительно мало<sup>50</sup>, несомненно лишь, что наибольшее их число отмечается в говорах Восточной Болгарии, в Родопах<sup>51</sup>. Достаточно широко представлены грецизмы в говорах македонского языка, однако систематическое изучение их, в том числе их географии, впереди<sup>52</sup>.

Относительно сильным было греческое влияние и на сербов, так как до XII в. они были под властью Византии, приняли, как и болгары, христианство от греческой ортодоксальной церкви и находились долгое время в ее юрисдикции<sup>53</sup>. Большая часть лексических (словообразовательных и др.) грецизмов, проникших в тот период в сербский, имеют книжный характер (церковная, правовая, административная терминология) и фиксируются в памятниках книжнославянского языка сербского извода; отмечаются заимствования и в других группах лексики (домашний быт, строительство и под.). Разумеется, в диалектах также существует некоторое число грецизмов (что отмечают и диалектные словари<sup>54</sup>), однако специально они не изучались.

Заключая этот раздел, заметим, что влияние греческого языка на языки балканской зоны иногда рассматривается не только в качестве важного источника лексико-семантических и под. заимствований, но

и как причину появления в БЯ также типологических схождений на грамматико-синтаксическом уровне («балканизмов»), которые дают основание постулировать функционирование языковой общности типа «языковой союз». Так, по К. Сандфельду, влиянием греческого языка на БЯ объясняется утрата (редукция) в них инфинитива, появление аналитических форм будущего времени, совпадение форм Gen. и Dat. и т. д.<sup>55</sup> Впрочем, большинство ученых все же полагает, что причины возникновения указанных явлений более сложны и многообразны<sup>56</sup>.

Что касается *карпатской* зоны в целом, то на диалектном уровне следует признать нереальность прямых контактов с греческим, например, для карпатославянских говоров. Очевидно, что источником лексем-гречизмов были иные языки, прежде всего румынский. В говорах самого румынского возможность таких живых контактов достаточно велика, особенно в Мунтении, Молдове. Можно привести следующие примеры распространения в КБМ ряда лексем, для которых устанавливается греческое происхождение.

1. Рефлексы др.-гр. \*πλαῦος ‘наклонный’ и под. (Frisk II: 547) > лат. \*plagiū, \*plagia, откуда унаследованы романскими языками (M.-Lübke № 6564; Cioranescu), ср. рум. plai ‘ровное место в горах’, ‘дорога (в горах)’ и др. (Rosetti II: 68; DEx.: 700). В румынских диалектах лексема фиксируется на юго-западе, в центре, в Молдове (ОКДА 7, НМ 29; Клепикова 1998: 238). Из румынского лексема вошла в некоторые карпатославянские диалекты. ОКДА фиксирует данный румынизм греческого происхождения лишь в украинском: 'plae ‘тропа, дорога (в горах)’, ‘поле (в горах)’, ‘пологий хребет’ и др. На Балканах ОКДА представляет только топоним Plaj (ю.-зап. Македонии), однако отмечен и апеллатив-ороним *плай* (Видоески 119); ср. и алб. pllaje ‘равнина в горах’ (Rosetti II; Fjalor: 1508), ар. plaiu ‘бок горы’ (Par.: 860).

2. Др.-гр. ζέμα ‘отвар’ и др. (Frisk I: 612 – как одно из производных от глагола ζέω ‘кипеть, варить’ и под.; ср. также: ζεματίζω, ζεμαῖω ‘кипятить’ – Andriotis № 2640) заимствовано в романские языки (Cioranescu № 9476), отмечается в румынском – zeamă (zamă и под.) ‘отвар, бульон’ (DEx.: 1042), ар. dzeamă ‘то же’ (Rosetti II 69; Pap.: 430). Через румынский лексема проникла в диалекты карпатской зоны, ср. польск. ‘z’ama ‘отвар, суп’ (редко), в.-слвц. ‘z’ama ‘то же’, укр. ‘z’ama, ‘z’ema ‘то же’ (ОКДА 3, № 21; ЕСУМ 2: 62 и др.), венг. диал. z’ama ‘вид еды’ (см. Клепикова 1998: 234), В балканославянских говорах лексема как будто не засвидетельствована.

3. Гр. πείσμα ‘упрямство’ и др. (πείσ-μα ‘убеждение’ – как производное от πείθομαι, буд. вр. πείσομαι – Frisk II: 488; см. и ср.-гр. πείσμονη ‘убеждение’ и др. – Andriotis № 4774 и под.) вошло (возможно, через южнославянское посредство, см. Cioranescu № 6467) в румынский. География грецизма отражена в ОКДА (4, № 13): rizmătește и др. ‘завидовать’, молд. ‘rizmy ‘злоба; гнев; зависть’. В свою очередь румынский стал источником распространения лексемы в карпатоукраинских говорах: ‘p’izma ‘ссора, вражда’, ‘зависть’ (и дериваты – ОКДА; Vrabie 1967: 166). Достаточно хорошо представлен грецизм в балканских диалектах.: мак. ‘rizma ‘зависть, злоба’ и под., серб. ‘rizma, ‘rizma (ОКДА; ср. также МДАБЯ 246; Skok 2: 669; БЕР 5: 290); о болг. диал. *пизма* ‘ненависть’, ‘упрямство’ (Разлог), *пизмания* ‘кто ненавидит’ (Кюстендил) см. в БЕР; также ар. rizmă ‘ненависть’ (Pap.: 856), алб. rízma ‘настойчивость, упрямоть’, rizmósem (1 sg) ‘оскорбляться’ (МДАБЯ; Fjalor 2).

4. Гр. στειρά ‘бесплодная (женщина, животное)’ (Frisk II: 783) заимствовано в романские языки (ср. sterilis – M.–Lübke, Cioranescu № 8193, рум. știră ‘то же’ Rosetti II: 120; иные версии – Калужская 2001: 47). О географии лексемы см. в ОКДА (6, № 32) – восток, север, ю.-запад. Из румынского заимствовано в карпатославянские го-

воры: польск. 'styra ('stęra) 'бесплодная (овца)', мор. 'štyra ('štira) 'то же (коза)', з.-слвц. 'štira 'то же', 'животное-гермафродит', укр. (бойк., буков.) štyrba 'бесплодная овца' (редко); ср. и венг. csiga 'гермафродит' (MNYTESz 1: 538 – «восточноевропейское бродячее слово», прямой источник для венгерского – словацкий), диал. čirg ('čira) – 'бесплодное (о животном)' (ОКДА). Хорошо известно в балканославянских диалектах.: серб. štirka (štir:kica, 'štirkica) 'бесплодная (женщина, животное)', мак. 'ščira (šširka, 'štira) 'бесплодное животное', 'животное-гермафродит' (ОКДА; МДАБЯ: 258); география лексемы в болгарском неясна, ср., например, отдельные фиксации: *штурица*, *штерица* и др. 'яловая; не способная родить' (запад, Петрич, Родопы, р-н Пирдоп, Карлово, Странджа, восток Фракии – БД I: 158, 273; IV: 152; V:219; VIII: 183; ТДБ I :271 и под.), ср. и ю.-зап. štirica 'бесплодная' (МДАБЯ: 258); также алб. shtjerrë 'ягненок; телка', однокоренные shtjerri 'стадо (ягнят)', shqerr 'скопить', shterr 'терять молоко' и др. см. в Домосилецкая 2002: 453 (возведение к славянским формам сомнительно).

5. Рефлексы гр. ἀργάτης 'работник' (< ἐργάτης 'то же' < ἐργον 'работа' и под. – Andriotis № 2543; Frisk 1: 547) отмечаются в балканославянских языках: болг. *аргат(ин)* '(наемный) работник; слуга' (БЕР 1: 14; РБЕ 1: 299), серб. *аргат(ин)* 'то же' (РСХКНЈ 1, 158; Skok 1: 59), мак. *аргатин* 'то же' (РМЈ I: 13). О представленности в диалектах см. МДАБЯ: 210; Клепикова 2000а: 10, 18; там же отражены алб. диал. ar'gat (arg'jaet) (ср.и Fjalor 1: 47), гр. диал. ar'γac (ir'γatis) 'то же' (МДАБЯ), ар. arγat (там же; Пар.: 138). О географии данной лексемы в дакорумынских говорах ([h]argát 'то же) см. ALRsn № 882, в качестве источника называют н.-гр. ἀργάτης (Ciovanescu № 389; DEx.: 50); иногда – южнославянские формы (Скурт 1978: 34).

6. Рефлексы гр. λεχούσα (λεχοῦσα), но и λεχῶνα 'роженица' (от глагола λέχω 'лежать' – Andriotis № 3740; ср. и: λεχώ 'роженица',



производное от λέγεται ‘лежать, ложиться’ – Frisk II: 110-112) отмечаются в болгарском: с.-вост. *лехуса, ла[x]уса, лафуса* и под., ю. -зап. *лауца*, зап. *леонка* и под. ‘то же’ (БЕР 3: 377–379 и др.), ср. l'é(v)usa (МДАБЯ: 142), также мак. диал. (юг, центр) *ле(x)унка* (БЕР; МДАБЯ; ср. и *леунка* диал., *леуса* – РМЖ II: 385); по МДАБЯ: алб. диал. *lehó(p), lla(h)ús* (ср. также Fjalor:1034 разг., при *lehonë* 959), гр. диал. *lixóna*, ар. *lixóan* ‘то же’ (ср. и: Пар.: 627). Данный грецизм отмечен и в дакорумынских говорах: *lăhusă (lăhuză* и др.) ‘то же’ (Молдова, Бессарабия – ALR II, № 124), считается заимствованием из новогреческого (*lăuză* – Cioranescu № 4738; ДЕх.: 492.; так же и молд. *ле[x]узэ* (Скурт 1978: 234).

II. Признается, что интенсивное **турецкое (=османо-турецкое)** влияние на БЯ обусловленное, в частности, политическим господством турок в течение более, чем пяти веков, функционированием турецкого в качестве официального языка общения и высокого социокультурного престижа, должно изучаться в широком контексте. А именно – с учетом влияния иных тюркских языков, которое отмечается в данном регионе с V в. н. э. и проявляется, в частности, в балканославянских языках в виде следов контакта древних славян с протобулгарами, печенегами, куманами<sup>57</sup>. В настоящее время существуют серьезные исследования, описывающие в балканских языках состав лексических заимствований (калек, словообразовательных явлений и др.) из турецкого<sup>58</sup>, при этом отмечается и действовавшая на протяжении всего XX в. тенденция к постепенному сужению сферы употребления турцизмов и замене их лексемами исконного происхождения и/или западноевропеизмами (подробнее: Friedman 1994: 528–530, 537).

Менее системной является информация о количестве, географии, бытовании подобных заимствований в диалектах БЯ<sup>59</sup>. Поэтому важное значения для анализа ситуации имело бы создание Атласа бал-

канских турцизмов, идея которого предложена В. Фридманом<sup>60</sup>. Вместе с тем уже сейчас возможно изучение некоторых общих закономерностей пространственной (а в дальнейшем и хронологической) стратификации функционирования указанных элементов в рамках балканской субзоны, а также сопоставление с положением в соседних областях, и прежде всего в карпатской. Материал для подобных исследований содержится в ОКДА<sup>61</sup>, ОЛА<sup>62</sup>, МДАБЯ<sup>63</sup>, а также в собраниях диалектной лексики, словарях, которые существуют в диалектологии каждого языка КБМ.

Так, карты ОКДА дают возможность установить два основных типа ареалов единиц (османо)турецкого происхождения в КБМ. Первый тип (реализованный в ряде вариантов) репрезентирует указанные заимствования исключительно в балканской зоне. Второй тип свидетельствует об их представленности в диалектах КБМ в целом.. Более широкое распространение «турцизмов» в балканских диалектах позволяет допустить, что здесь подобные элементы являются скорее всего результатом непосредственных контактов с носителями языка-источника. В карпатских же (особенно славянских) диалектах велика вероятность посреднической роли иных языков (балканославянских, румынского, венгерского), и, следовательно, статус «турцизмов» в этой зоне должен быть уточнен – в синхронном плане они являются румынизмами (соответственно – унгаризмами и под.) турецкого происхождения. Для более точной характеристики должна быть изучена история и траектория движения в карпато-балканском пространстве каждого из них. Приведем следующие примеры турцизмов в балканских (I) и карпатских (II) диалектах.

(I). 1. Балк. тур. *böyük* (вьльк) ‘отряд; толпа’ и др. вошло в славянские языки и диалекты Балкан (Skok 1: 234; РСХКНЈ 1: 280; БЕР 1: 48) также в значении ‘(большое) стадо овец’; ср. серб. *bŭluk* ('bu'l'uk), мак. 'bu'luk ('bu'luk) (ОКДА 6, № 65, 67); также болг. диал. *билюк*

(бул'ук) 'то же' (Родопы и соседние регионы. – Клепикова 1966: 133; см. и *бюлюк* 'то же' – РБЕ 1: 899); данное заимствование в значении 'стадо' фиксируется и МДАБЯ (Соболев 2004: 72, 76, 78, 82); также алб. диал. *bu'luk* 'стадо' (ОКДА; лит. *byluk* – Fjalor: 208), ар. *buluke* 'то же', 'толпа' (Par.: 228; о д.-рум. *buluc* 'то же' – Cioganescu № 1193; DEx.: 103), н.-гр. *μλουλουκι* 'толпа'.

2. Балк. тур. *pençere* 'стекло' и др. (< *penğere* – Skok 2: 637; БЕР 5: 148–149) отмечается, по ОКДА (1, № 16), в значении 'окно' в диалектах Далмации, Боснии (*pè:nžer*), Сербии (*pè:nžer*, *pè:nžer*, 'репžера), на западе Македонии ('репžер[a]), на западе Болгарии (архив Атласа), более полные данные о географии турцизма см. в: БЕР (часто – «нар.», «устар.»); ср. и алб. *rep'žere* 'то же' («нов.» – ОКДА; ср. *penxhere* – Fjalor), ар. *rimğere* (Par.: 845).

3. Рефлексы балк. тур. *menguş* 'серьги' (< перс. *mān* 'стягивать' + *gōš* 'ухо' – Skok 2: 405; БЕР 3: 734) зафиксированы, по данным ОКДА (2 № 23), в говорах центра и юга Сербии (*me:n'zuše*, *min'zuške* и под.), Черногории (*min'zuše*), Боснии (*mén'zuhe*, *mén'zuše*), в северной части Македонии (*men'guški*); БДА и иные источники фиксируют лексему *менгуш*, *менгюш* и под. в западных, некоторых центральных и северо-восточных говорах (детально – Младенова 2001: 243–244). Ср. также ар. *minçiuşe* 'то же' (Par.: 801).

4. Балк. тур. *kaçamak* 'еда из кукурузной муки' (Skok 2: 11; БЕР 2: 289) фиксируется в ОКДА (3, № 9) в том же значении в говорах Черногории (*каçатак*), Сербии (*каçатак*, *ка'ça'так* и др.), на востоке Македонии (*ка'çатак*), широкое распространение, по БДА ОТ (Л № 28), лексема *качамак* 'то же' имеет и в болгарских говорах (кроме востока; см. БЕР). Эти сведения могут быть дополнены материалами МДАБЯ (Соболев 2004: 73, 79, 81); там же и гр. *каça'така*, ар. *касә'так* (84, 207); ср. и *сәсімас*, *сәсіумас* – Par.: 255, 257); алб. диал. *каça'так* 'то же' (ОКДА; ср. и лит. *kaçamak* – Fjalor: 755).

(II). 1. Рефлексы балк. тур. *parıç* (*parıç*) ‘вид обуви’ (< перс. *pa* ‘нога’ + *riš* ‘покрывать’ – Skok 2: 603; БЕР 5: 56) хорошо отражены в ОКДА (2, № 29), ср. хорв. *rárič*, серб. *ráriče* (*ráriče* и др.) ‘тапочки’ (иногда с пометой «нов.»), в.-мак. *ra'rići* ‘ботинки’, ю.-зап. мак. ‘*parıci* ‘то же’; по БЕР, *panuk*, *panuč* ‘вид мягкой кожаной обуви’ и др. отмечается в южных говорах (Родопы; при этом форма *panuč* определяется как грецизм); важные данные о географии соответствующих дериватов содержатся в ОЛА (8, № 13-15: [*parıči*]-j-a ‘сапожник’). Также: ар. *parıçā* ‘то же’ (Пар.: 827), алб. диал. *ra'riče* ‘тапочки’ (ОКДА; ср. лит. *parıčė* – Fjalor: 1354), гр. *παλούτσι* ‘обувь’. В карпатской зоне данный турцизм широко отмечен в румынских говорах: *parıs* (=ci) ‘ботинки’ (север), ‘тапочки’ (запад, юг), ‘обувь’ (ОКДА; о *parıs* – Cioganescu № 6101; DEх.: 650), также в карпатославянских: польск., мор., слов. *ra'riče*, *ra'riče* ‘тапочки’, ‘ботинки’, укр. *ra'rići* ‘тапочки’ (чаще), ср. венг. диал. ‘*rorıç*, ‘*rorıç* ‘вид обуви’ (о *parıcs* как заимствовании из южнославянского – MNyTESz 3: 4; там же мнение о венгерском как посреднике при усвоении данного элемента западнославянскими и, возможно, украинскими диалектами).

2. Рефлексы балк. тур. *çizme* ‘обувь’ и др. (от тур. *çizmek* – Skok 1: 331) зафиксированы в балканославянских диалектах со значением ‘сапог(и)’ и под. (см., например, ОКДА 2, № 31): хорв. *čizme*, серб. *čizme* (*čizme*, ‘*čizme*), мак. ‘*čizmi* (‘*čizmi*); лексема известна и в болгарском – *чизми* ‘вид обуви’ (РСБКЕ 4), однако ее география неясна; на Балканах также отмечены: алб. диал. ‘*čizme* ‘вид обуви’ (ОКДА; см. также *çizme* – Fjalor: 264), ар. ‘*čizmä*, ‘*čizmä* ‘то же’ (Пар.: 372). В карпатской зоне, по данным ОКДА, эта лексема хорошо представлена в румынском: *sizme*, *sijme* (реже) ‘вид обуви’, венгерском: диал. ‘*čizma* (‘*čizmä*) ‘сапоги’. О *csizma*, как заимствовании через южнославянские языки, – MNyTESz 1: 544; о венгерском как источнике ру-

мынских форм – Тамás 1966: 240; иначе в Cioganescu № 2108; ДЕх.: 157. Далее с близкими значениями – польск. 'ćizmy (редко), зап.-слвц., в.-слвц. 'čizmi, укр. 'č'izmy ('čizмы); данные о фиксации дериватов (cizm)-ар-ь 'сапожник' и др. см. в ОЛА (8, № 13–15).

3. Рефлексы балк. тур. çoban 'пастух (овец)' (< перс. šobān < šubān – Skok 1: 323) фиксируются в ОКДА (7, № 9) в балканославянских диалектах с тем же значением (иногда 'пастух'): серб. ćoban (ćóban, čóban[in]), мак. 'čo'ban; кроме того, в ОЛА (8, № 23; несколько иная конфигурация ареала лексемы на карте № 25а) есть дополнительные данные о хорв. ćoban (čo'bā:n и др. – Далмация, Зап. Славония) и ю.-мак. 'čoban (čo'banin) 'то же'. Ср. также ар. čuban (Par.: 363 и žu'ban – Соболев.2004: 208), алб. диал. čo'ban 'пастух' (ОКДА; диалектные формы даны и в Соболев 2004: 86, 89; Домосилецкая 2002: 424), гр. диал. ču'banus, žu'ban(us) 'пастух' (Соболев 2004: 83). В карпатской зоне данное заимствование отмечается в румынских говорах (юг, восток): ćobán (šobán) и др. 'пастух овец' (ОКДА; ср. также cioban – Cioganescu № 1951; ДЕх.: 151) и далее – карпатоукр. č'o'ban, по иным источникам – слвц. 'čoban 'то же' (Machek: 76), венг. csobány 'то же' (MNYTESz 1: 549; Siatkowski 2004: 54). За пределами карпатской зоны, по данным ОЛА (8, № 25а), лексема фиксируется на юге, северо-западе и востоке украинской языковой территории, а также в некоторых белорусских (север) и русских (юг – редко) диалектах. Исследователи указывают на возможность двух путей заимствования: из (османо)турецкого на Балканах, частично и опосредованно – в карпатской зоне (Siatkowski 2004), и из крымско-татарского – в восточнославянских языках (Фасмер IV: 308).

4. Рефлексы балк. тур. dohan 'табак' (ар.-персидского происхождения – Skok 1: 454; БЕР 1: 450; MNYTESz 1: 653 и др.) хорошо отражены, по данным ОКДА (1, № 69,70), в балканославянских диалектах: хорв., серб. dúva:n (dúha:n, du'van, du'han), иные источники фик-

сируют заимствование и в македонских: *дуан* (*духана*) 'то же' (Киш 1996: 202); ср. и алб. диал. *du'han* (ОКДА; также и – Fjalor: 384), *duyean* 'то же' (Par.: 417). В карпатской зоне отметим прежде всего рум. (запад) *duhán* (*dohán*, *ducán*) (ОКДА; Cioreanescu № 3096; DEх.: 284 *duhan* «обл.»; Tambs 1966: 299-300) и венг. диал. '*dohɔ:n*' ('*doha:n*') (о *dohány* как непосредственном заимствовании из турецкого: MNyTESz), как унгаризм рассматриваются польск. '*duhon*', словц. '*doha:n*', укр. (закарп.) *do'han*, *doц'han* 'то же' (там же; Лизанец 1976: 594; Machek: 91; ЕСУМ 2: 101).

\*\*\*

В целом, по мере накопления знаний, становится все более очевидным, что достаточно полная картина результатов языковых контактов в карпато-балканской макроне не может быть получена без активного и целенаправленного изучения диалектов соответствующих языков и широкого использования ареалогических методов.

### Примечания

<sup>1</sup> Ср. глубокую разработку этих вопросов, например, для болгарского языка – Цонев 1984; Младенов 1979), сербского – Popović 1960, македонского – Конески 1981, румынского – Rosetti 1964-1966, словацкого – Stanislav 1956–1973 и др.

<sup>2</sup> Ныне почти для всех языков КБМ существуют более или менее полные *общие* описания диалектов, большое число детальных исследований отдельных говоров (и их групп), а также труды лингвогеографического характера (национальные, региональные, полилингвальные и др. атласы).

<sup>3</sup> О значении данного методологического положения уже в Трубачев 1959: 19.

<sup>4</sup> Ср. классическое определение ситуации в балканской и карпатской зонах, сформулированное О. Н. Трубачевым еще в 50-х гг. XX в.: «...гречес-

кий, албанский, болгарский, македонский и румынский в итоге длительного исторического взаимодействия развили ряд общих черт. Эта новая лингвистическая общность, объединившая балканские языки, объясняется, по-видимому, не отражением общего для всех названных языков лингвистического субстрата, а распространением общих инноваций» и далее – «...диалекты различных языков, расположенные на землях, прилегающих к Карпатам, в результате многократных перекрестных заимствований выработали целый ряд общих слов и значений, характерных только для этой области» (Трубачев 1959: 19).

<sup>5</sup> Подтверждением этого единства служит, с одной стороны, существование в ней близких (и генетически связанных) форм хозяйственной деятельности, например, отгонного пастушества (см. Клепикова 1974: 16 и сл.; Домосилецкая 2002: XXII и сл.), с другой, – функционирование в ее пределах ареально-типологической общности конвергентного типа, что становится все более ясным в ходе интенсивных разысканий последних десятилетий, прежде всего лингвогеографических (ср., в частности, создание «Общекарпатского диалектологического атласа» – см. ниже). Отметим и наличие многих схождений в различных традициях народной культуры (например, бытование во многих районах КБМ обряда «полазник», подробнее о нем в Усачева 1977; ОКДА 4, № 2; КДА № 119 и др.).

<sup>6</sup> Так, особенностью балканской зоны является представленность в ней конвергентной общности типа «языковой союз», о чем свидетельствует большое число *типологических* соответствий на разных языковых уровнях; для карпатской зоны значительный корпус соответствий отмечается лишь в лексико-семантической сфере (сведения о возможных типологически сходных признаках на иных уровнях остаются недостоверными). Подробнее: Клепикова 2005а.

<sup>7</sup> Об успехах балканистики как *комплекса* наук см., например, в Асенова 2002: 13. Созданная в конце XX в. и ныне успешно развивающаяся карпато-балканистика демонстрирует значительные достижения как в сфере карпатской лингвистики (Клепикова 2003), так и карпатской (карпато-балканской) этнографии. Упомянем в этой связи фундаментальные исследования, осуществленные в рамках Международной комиссии по изучению культуры Кар-

пат и Балкан (информацию о работе последней можно найти в отдельных выпусках специального бюллетеня «Carpatobalcanica», издаваемого в Братиславе).

<sup>8</sup> Автор, развивая идею о (средне)дунайской прародине славян (Трубачев: 2002: 39, 288) подчеркивает, что для этнической истории этого региона важно учитывать «подвижность праславян относительно исходных мест обитания, *чересполосицу* мест обитания различных неславянских этнических групп и самих славян, в том числе – в самом центре праславянской территории» (там же: 135).

<sup>9</sup> Первые контакты славянского и романского населения относят к VI в. (Rosetti III: 29); этим же периодом датируются наиболее старые заимствования из славянского в язык восточнороманского населения (= [поздняя] балканская латынь), сохранившиеся и в румынском (ср. рум. *echei* < лат. *sclav[in]i* < слав. *slovьme* – Михаила 1992: 22-24), иные ученые относят к этому древнему пласту, помимо *echei*, также *jupon*, *strpon*, *stonг*, *smontong* и др. (Hinrichs 1999: 624, 623). Основная масса «старых» славизмов в румынском определяется в последнее время некоторыми исследователями как заимствования из древне-южновосточнославянского и датируются не ранее XI в. (Михаила 1992: 24-26); ср. датировку подобных элементов VI–VII в. у Hinrichs 1999: 624 (см. и замечание, что румынские ученые «минимизируют славянское влияние» – там же: 623).

<sup>10</sup> Славяно-венгерские контакты в Среднем Подунавье и проникновение большого числа славизмов в (древне)венгерский относят к периоду, хронологически близкому к завоеванию Паннонии венграми (конец IX – начало X вв.), см.: Хелимский 1988; Хелимский 1989. В последнее время эта проблема анализируется и в Richards 2003 (там же – литература); об этой книге см. Клепикова 2004а.

<sup>11</sup> Появление славян на территории нынешней Албании относят к VII–VIII вв. н. э., об их распространении в этой части Балкан см. в Селищев 1931: 50–51. В последние годы опубликованы труды, серьезно расширяющие наши сведения о славяно-албанских языковых контактах – упомянем здесь книгу Дж. Юллы, во многом подводящую итог предшествующих разысканий (Ylli 1997); о первой части данного труда см. Клепикова 2004а.



Важным этапом в изучении последствий славяно-албанских взаимодействий является создание «Малого диалектологического атласа балканских языков», об этом см. Соболев 2004а.

<sup>12</sup> Влияние славянского языка на греческий признается незначительным, оно отмечается в VI–VII вв., позднее булышая часть славянского населения Греции утратила свой язык и ассимилировалась; следы славянского влияния наиболее заметны в топонимии (Hingrichs 1999: 640, с литературой).

<sup>13</sup> Бернштейн 1973: 37. Вместе с тем и ныне отмечаютя черты, общие для части славянских диалектов на юго-западной периферии Северной Славии и для южнославянских диалектов: «...Очевидно, что в начале, до разрыва контакта, южнославянская территория (или точнее ареал, где были особенности, которые мы обычно называем южнославянскими) имела вид не сегмента славянской территории, а сектора; в дальнейшем... говоры, которые находились по одну сторону барьера (соответственно – по другую) развивались вместе, уменьшая различия, связанные с их разным происхождением и удаляясь от говоров по другую сторону барьера» (Ивић 1991: 194–196).

<sup>14</sup> Если же принимать гипотезу о «дунайской» прародине славян и, соответственно, передвижение их к югу от Дуная в VI в. н. э. рассматривать как своего рода реконквисту, обратное завоевание, побуждаемое «памятью о реальном былом житье славян на Среднем Дунае» (Трубачев 2002: 5), то время пребывания славян в карпатской зоне и соседних с нею областях значительно возрастает.

<sup>15</sup> Обзор работ по проблемам славянского влияния на румынский язык см., например, в: Бернштейн 1949: 84–99, 120–127 и др.; Mihăilă 1968; Mihăilă 1973: 157 и сл. О работах, посвященных славянскому влиянию на венгерский см. в: Kniezsa 1955 (1974). Хелимский 1988; 1989а.; Richards 2003. Библиографию трудов, касающихся изучения славяно-албанских отношений см., например, в: Селищев 1931; Десницкая 1963; из новейших работ: Svane 2002; Ylli 1997.

<sup>16</sup> ОКДА: вып. 1 (Кишинэу, 1989), вып. 2 (М., 1994), вып. 3 (Warszawa, 1992), вып. 4 (Львів, 1993), вып. 5 (Bratislava, 1997), вып. 6 (Budapest, 2000), вып. 7 (Београд-Нови Сад, 2003).

<sup>17</sup> Подробнее о славянских лексических элементах в румынском языке см. в Клепикова 2005.

<sup>18</sup> Ср. также термин «апеннино-балканская латынь» (подробнее в Rosetti I: 44–45). Ч. Погирк предлагал именовать балканскую латынь «карпато-балканской латынью» (Poghirc 1983: 216).

<sup>19</sup> См., например, *Моммзен Т. История Рима. V. М., 1949* (гл. I–II).

<sup>20</sup> Подробнее об этой границе, называемой «линией Иречека» см. Naarmann 1999.

<sup>21</sup> Появление локальных вариантов БЛ рассматривается как следствие культурной и языковой романизации Балканского полуострова, в различных частях которого БЛ насыщалась элементами, заимствованными из местных языков (Naarmann 1999: 557; ср. и Reichkron 1966: 34–35).

<sup>22</sup> Ср. также: «...если мы принимаем, что для датирования начала румынского языка нужно считаться с эволюцией других романских языков, то с VIII в. можно говорить о румынском как особом языке, который характеризуется чертами, отличающими его от иных вышедших из латинского языков, содержит модификации, присущие всей языковой эволюции, и существует до наших дней» (Fischer 1985: 208–210).

<sup>23</sup> Влияние румынского на венгерский язык (прежде всего – на говоры Трансильвании) может быть оценено как локальное. О более сильном обратном влиянии, венгерского на румынский, подробнее в Schubert 1999: 687, 692–694, 697. В настоящей работе также не затрагивается несравненно более сложная проблема восточнороманско (румынско)-албанских языковых отношений, поскольку пока не ясен генезис фонда общей для двух языков лексики, – является ли он наследием общего «палеобалканского» («автохтонного» и под.) субстрата или следствием заимствований из одного языка в другой (подробный анализ существующих версий содержится в Калужская 2001; рецензия на эту книгу А. И. Фалилеева в: Актуальные вопросы балканского языкознания. СПб., 2003.

<sup>24</sup> При этом иногда удается устанавливать конкретную область на румыноязычной территории, говоры которой могли быть прямым источником иррадиации тех или иных заимствований в карпатославянских диалектах; об этом см. Клепикова 2004б: 54–55.

<sup>25</sup> Данный аспект румынского влияния на балканославянские языки/диалекты рассмотрен в Клепикова 2004а: 139–140.

<sup>26</sup> Существует ряд работ, обобщающих исследования подобного рода, в частности, Niță-Agtaș 1968; Vrabie 1967. Важным импульсом, способствующим возрождению интереса к углубленному изучению румынского пласта в языках КБМ, стала и публикация полилингвального ОКДА, материалы которого в интересующем нас аспекте анализируются, в частности, в Клепикова 1998.

<sup>27</sup> Ср. серьезное исследование М. Младенова (Младенов 1987), в котором автор констатирует отсутствие надежных критериев разграничения «ранне-латинских» (в сущности – *балканолатинских*) и более поздних романских (румынских, итальянских) элементов (с.75). В то же время говорится лишь о двух возможностях проникновения ранних романских элементов в болгарский – или прямо из балканской латыни, или через посредство третьего языка (например, греческого) (с.81), т.е. по существу румынский не рассматривается как непосредственный источник подобных заимствований. Правда, в другой работе (Младенов 1983) описывается география сравнительно поздних заимствований как раз из румынского.

<sup>28</sup> Ср., например, Mihail 1979; также: Mihăilă -Scărlătoiu 1972; Scărlătoiu 1979, 1981 и др.

<sup>29</sup> Это не противоречит мнению о «маргинальном значении» венгерского языка для специальной проблематики балканской лингвистики. Хотя в нем и обнаруживаются явления, обычно рассматриваемые как характерные для языков, образующих балканский языковой союз (БЯС) (наличие артикля, формальное совпадения Gen. и Dat., способ образования числительных от 11 до 19, тенденция к утрате инфинитива и под.), это не дает основания причислять венгерский к этому союзу. Подробнее: Schubert 1999: 677 (там же литература).

<sup>30</sup> Естественно, что наибольшее их число фиксируется в языках/диалектах в пограничных с Венгрией (и анклавных) областях, где этнолингвистические и этно-культурные контакты часто сопровождаются существованием разных форм билингвизма.

<sup>31</sup> Обращается внимание на то, что с XV в. в Венгрии интенсивно развивается животноводство, и с этого времени торговля скотом расширяется

далеко за пределы КБМ (см., например, в Danko 1979; также Schubert 1999: 687).

<sup>32</sup> Упомянем та кие работы, как Décsy 1959; Hadrovics 1985; Schubert 1996; Tamás 1966. О венгерских заимствованиях во многих языках см. прежде всего Schubert 1982. Ценные материалы содержит ОКДА; они послужили основой для ряда публикаций Я. Банчеровского и его коллег, см., например, Balogh, Bańczerowski, Posgay 2001. Опыт изучения заимствований из венгерского в славянские диалекты по материалам ОЛА представлен в Siatkowski 2004: 87–95..

<sup>33</sup> Отметим в первую очередь лингвогеографические исследования П. Лизанца: Lizanec 1970; Лизанец 1976; Лизанец 1976 и др.

<sup>34</sup> Atlas slovenského jazyka. T. IV. Lexika. Bratislava, 1980.

<sup>35</sup> Тезис об активной роли албанского на Балканах в древности обосновывают ученые, которые сближают фракийский и раннеалбанский языки, см., в частности, Гиндин, Орел 1982: 36, 42–44.

<sup>36</sup> Ср., например, новейший обзор в Tsitsilis 1999.

<sup>37</sup> Приведем важнейший вывод, который делается на основании длительного изучения греческого влияния: «...Обычно признается, что большая часть грецизмов в балканских языках происходит из новогреческого, при этом как не уточняются детально условия, при которых происходили заимствования, так и не дается ответ на вопрос, что заставило народы, жившие с греками в течение столетий, включить этот корпус заимствований после XV в.»(Tsitsilis 1999: 586).

<sup>38</sup> Эта часть заимствований рассматривается и как наследие римских колонистов в Дакии, частично происходивших из Южной Италии, и как результат прямых контактов с «аттическим» греческим уже на Балканах (подробнее в Mihăescu 1966).

<sup>39</sup> См. подробное исследование Galdi 1939.

<sup>40</sup> Подсчеты В. Элверта показывают, что от этой эпохи в активном употреблении в литературном румынском языке сохранилось около 100 лексем; примерно столько же являются малочастотными (Elwert 1950: 278–283, 288–292).

<sup>41</sup> См. также: Атласул лингвисти молдовенеск. 1–4. Кишинэу, 1968–1973.

<sup>42</sup> Полагают, что их значительно больше, чем приводится в словаре Т. Папахаджи (около 2000) (см. Tsitsilis 1999: 595).

<sup>43</sup> География некоторых грецизмов находит отражение в диалектных арумынских Атласах К. Дамена и И. Крамера, П. Нееску (ср. также атлас мегленорумынского диалекта Б. Вильд); информацию о них можно почерпнуть в опубликованных выпусках МДАБЯ.

<sup>44</sup> По существу, арумыны, живущие на территории Греции (и являющиеся в той или иной мере билингвами), могут в принципе любое греческое слово (=форму) адаптировать и использовать в своей речи, если исконное слово отсутствует в основном словарном фонде или вышло из активного употребления (Tsitsilis 1999: 593–599).

<sup>45</sup> О трудностях разграничения этих двух хронологических страт см. Tsitsilis 1999: 601–602.

<sup>46</sup> Влияние греческого языка на турецкий детально анализируется в: Tsitsilis 1999.

<sup>47</sup> Краткий обзор проблематики македонско-греческих отношений см. в: Tsitsilis 1999: 611. Очевидно, что роль греческого в становлении и развитии старого письменного языка в Македонии (=памятники «македонского» извода начиная с XII в.), далее языка дамаскинов и др. не менее велико, чем в случае с письменными памятниками в Болгарии.

<sup>48</sup> Длительное взаимодействие этих языков обусловило тот факт, что отмечаются заимствования как из греческого письменного (литературного) языка, который в определенной мере является продолжением древнегреческого, так и из народного языка (подробнее в Tsitsilis 1999: 606; там же – о критериях разграничения указанных пластов заимствованной лексики, и специально – о фонетической адаптации грецизмов).

<sup>49</sup> Подробнее об этом процессе, имевшем целью «демократизацию» болгарского книжного языка в XVII–XVIII вв. см. прежде всего Демина 1980.

<sup>50</sup> Ср., например, Младенов 1991.

<sup>51</sup> Большое значение для изучения географии подобных заимствований имеет материал, представленный в БДА и особенно в БДА. ОТ.

<sup>52</sup> Важные сведения о них можно почерпнуть во многих работах Б. Видоевского (Видоевски 1998–1999).

<sup>53</sup> Принципиально иное положение в хорватском, поскольку, в частности, христианизация была проведена здесь католической церковью, в условиях доминирования романской культуры; при этом центром иррадиации грецизмов стали области на восточном побережье Адриатики, где с позднеантичных времен существовали греческие колонии. Заимствованная из греческого лексика в большинстве своем отражает образ жизни, связанный с морем; обзор современного уровня изученности проблемы см. в: Tsitsilis 1999: 608.

<sup>54</sup> Это подтверждает материал таких сербских диалектных словарей, как, например, Г. Елезовича, Н. Живковича, М. Златановича и др.

<sup>55</sup> См.: Sandfeld 1930: 186, 213–214; об особом влиянии греческого и латинского на формирование БЯС см. в: Schaller 1975: 109–110, 118–120.

<sup>56</sup> См., например: Цивьян 1979. При этом одним из основных пунктов ее концепции генезиса БЯС является отказ от поиска «балканопроизводящих» языков и обращение к индоевропейскому наследию балканских идиомов (там же: 5, 273–274, 291–292). О действии многих факторов пишет в общей форме и Асенова 2002: 15.

<sup>57</sup> Подробнее см. Menges 1983: 134, 137. Новейшая сводка данных о подобных исследованиях см. в Hazai, Kappler 1999: 649–651.

<sup>58</sup> Ср., например, замечание о том, что наибольшее турецкое влияние испытали болгарский и албанский языки. (Schaller 1975: 180–183). О широком распространении турцизмов в македонском см. в Friedman 1994: 253 (говорится о существовании 3000 турцизмов); считается, что в арумьинском – 1000 турцизмов (там же: 535); 5000 турцизмов насчитывал в болгарском Б. Цонев (Цонев 1984: 331) и под.

<sup>59</sup> Вместе с тем подобные сведения могут быть почерпнуты из многочисленных публикаций по современной балканославянской диалектной лексикографии, которые содержатся в таких специальных изданиях, как «Българска диалектология. Проучвания и материали», «Трудове по българска диалектология» и др. (Болгария), «Српски дијалектолошки зборник» (Сербия и Черногория), см. и обзор трудов по сербской диалектной лексикографии, написанный Д. Петровичем (Петрович 2000); важные данные о македонской диалектной лексике см. в словарях Н. Райтера, К. Пеева, Б. Видоеского и др.

Соответствующие материалы содержатся в работах по балканославянской лингвогеографии и иных ареальных исследованиях, посвященных отдельным группам лексем (см. труды М. Младенова, О. и Д. Младеновых, В. Радевой, М. Киш и др.).

<sup>60</sup> Friedman 1994: 537–538. О важности ареального изучения турцизмов см. Tietze 1983: 240, 244.

<sup>61</sup> Об изучении турцизмов на материале ОКДА см. Клепикова 2003а.

<sup>62</sup> Значение данных ОЛА для изучения заимствований хорошо показано, например, в монографии Я. Сятковского (Siatkowski 2004: 53–72). Ср. и соответствующие сводные карты, опубликованные в: ОЛА 8, 2003.

<sup>63</sup> Данные Атласа, касающиеся турцизмов, интерпретируются в: Соболев 2004.

### Литература

Асенова 2002 – *Асенова П.* Балканско езикознание. София, 2002.

АУМ – Атлас української мови. Т. 3. Ч. 1–4. Київ, 2001.

БД – Българска диалектология. Проучвания и материали. 1, 1962; 4, 1968; 8, 1977. София.

БДА – Български диалектен атлас. Т. I–IV. София, 1964–1981.

БДА ОТ – Български диалектен атлас. Обобщаващ том. София, 2001.

Бернштейн 1948 – *Бернштейн С. Б.* Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М., 1948.

Бернштейн 1973 – *Бернштейн С. Б.* Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское языкознание. VII МСС. М., 1973.

Видоески 1998 – *Видоески Б.* Дијалектите на македонскиот јазик. 1. Скопје, 1998.

Видоески 1999 – *Видоески Б.* Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик. Скопје, 1999.

Гиндин, Орел 1982 – *Гиндин Л. А., Орел В. Э.* Ранние этноязыковые контакты славян на Балканах и лексика южных славян // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 1982.

Демина 1968–1985 – *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Т. 1–3. София, 1968–1985.

Десницкая 1963 – *Десницкая А. В.* Славянские заимствования в албанском языке. Л., 1963.

Добруджа 1974 – Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974

Домосилецкая 2002 – *Домосилецкая М. В.* Албанско-восточно-романский сопоставительный понятийный словарь. Скотоводческая лексика. СПб., 2002.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Т.1–3. Київ, 1982–1989.

Ивић 1991 – *Ивић П.* Изабрани огледи. Т. 1. Ниш, 1991.

ИСД – Исследования по славянской диалектологии. 1–. М., 1992–.

Калнынь, Клепикова 1989 – *Калнынь Л. Э., Клепикова Г. П.* О значении многоязыковых атласов для слав. диалектологии // ВЯ, 1989, № 3.

Калужская 2001 – *Калужская И. А.* Палеобалканские реликты в современных балканских языках. М., 2001.

КДА – Карпатский диалектологический атлас. (I–II). М., 1967.

Киш 1996 – *Киш М.* Дијалектна лексика од областа на растителниот свет. Скопје, 1996.

Клепикова 1966 – *Клепикова Г. П.* Материалы для словаря юго-восточных болгарских говоров // Славянская лексикология и лексикография. М., 1966.

Клепикова 1974 – *Клепикова Г. П.* Славянская пастушеская терминология. М., 1974.

Клепикова 1982 – *Клепикова Г. П.* К проблеме стратификации романских заимствований в лексике языков балканской (resp. балкано-карпатской) зоны // ОЛМ МИ 1982.

Клепикова 1983 – *Клепикова Г. П.* Карпатская лексика и ее отношение к лексике иных зон славянского мира. 5. \*gVIVta // СБЯ. Проблемы языковых контактов. 1983.

Клепикова 1986 – *Клепикова Г. П.* К проблеме изучения лексико-семантической вариативности в гомогенном и гетерогенном диалектном континууме // СБЯ. 1986.



Клепикова, 1992 – *Клепикова Г. П.* Лингвогеография и славяно-неславянские контакты // *Polono-Slavica varsoviensia*. Warszawa, 1992.

Клепикова 1998 – *Клепикова Г. П.* Изоглоссы румынских заимствований в славянских диалектах карпатского ареала – типологический аспект // *ИСД*. 5. 1998.

Клепикова 2000 – *Клепикова Г. П.* Изучение славянских заимствований в румынском и новые данные славянской лингвогеографии (многоязыковые атласы) // ОЛА МИ. М., 2000.

Клепикова 2000а – *Клепикова Г. П.* Материалы семантической части МДАБЯ и возможности их картографической интерпретации // МДАБЯ. Материалы 4-го рабочего совещания. СПб., 2000.

Клепикова 2003 – *Клепикова Г. П.* Карпатское языкознание и Общекарпатский диалектологический атлас // *Studia Slavica Hungarica*. 48/4. Budapest, 2003.

Клепикова 2003а – *Клепикова Г. П.* Стратификация заимствований из турецкого в диалектах карпато-балканского ареала // В поисках «ориентального» на Балканах. Тезисы и материалы. М., 2003.

Клепикова 2004 – *Клепикова Г. П.* Рекартографирование в «Общекарпатском диалектологическом атласе» // *ИСД* 9. 2004.

Клепикова 2004а – *Клепикова Г. П.* К проблеме изучения восточнороманского влияния на языки балканского ареала // Доклады российских ученых. IX конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы. СПб., 2004.

Клепикова 2004б – *Клепикова Г. П.* Новые работы о славянском влиянии на языки карпато-балканского ареала // *ИСД*, 9. 2004.

Клепикова 2005 – *Клепикова Г. П.* Стратификация славянских заимствований в румынских диалектах // *ИСД* 6. 2005.

Клепикова 2005а – *Клепикова Г. П.* К определению статуса карпатской языковой общности // Языковые союзы Евразии и этнокультурное взаимодействие (история и современность). М., 2005.

Конески 1981 – *Конески Б.* Историја на македонскиот јазик // Изабрани дела. Књ. 7. Скопје, 1981.

ЛАЗГ – *Дзендзелівський І. О.* Лингвистичний атлас українських говорів Закарпатської обл. УРСР. Т. I–II. Ужгород, 1960, 1962.

Лизанец 1976 – *Лизанец П. Н.* Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Будапешт, 1976.

Лизанец 1976 – *Лизанец П. М.* Атлас лексичних мадаризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської обл. УРСР. Ужгород, 1976

МДАБЯ – *Соболев А.* МДАБЯ. Пробный выпуск. München, 2003.

Михаила 1992 – *Михаила Г.* Изучение старославянско-румынских языковых отношений на современном этапе // *Polono-Slavica varsoviensia.* Warszawa, 1992.

Младенова 2001 – *Младенова Д.* Болгарские диалектные названия серег в славянской перспективе // *ИСД 7.* 2001.

Младенов 1979 – *Младенов С.* История на българския език. София, 1979.

Младенов 1983 – *Младенов М.* Българско-румънски езиковиареали // *Die slavischen Sprachen.* 5. Salzburg, 1983.

Младенов 1987 – *Младенов М.* Ареална характеристика на романските елементи в българските диалекти // *Die slavischen Sprachen.* 12. Salzburg, 1987.

Младенов 1991 – *Младенов М.* Ареална характеристика на гръцките заемки в българските диалекти // *Език и литература.* Кн. XLVI. София, 1991.

Младенов 1993 – *Младенов М.* Българските говори в Румъния. София, 1993.

МРР – Македонско-руски речник. Т. I–III. Скопје, 1997.

МСС – Международный съезд славистов.

НМ – некартографируемые материалы ОКДА.

ОКДА – Общкарпатский диалектологический атлас.

ОЛА – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная.

ОЛА МИ – Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М.

РБЕ – Речник на българския език. Т. 1. София, 1977.

РМЈ – Речник на македонски јазик. Т. I–III. Скопје. 1964–1966.

РСБКЕ – Речник на съвременния български книжовен език. 1–3. София, 1956–1959.

СБЯ – Славянское и балканское языкознание 1. М., 1975.

Селищев 1931 – *Селищев А.М.* Славянское население в Албании. София, 1931.

Скурт 1978 – Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенешть. Кишинэу, 1978.

Соболев 2004 – *Соболев А.* Опыт исследования тюркизмов в балканских диалектах // *ZfBalk. Bd. 40/1, 40/2.* Wiesbaden. 2004.

Соболев 2004а – *Соболев А. Н.* Славянские заимствования в балканских диалектах. 1. Северная Албания // *ИСД 10.* М., 2004.

Стойков 1993 – *Стойков Ст.* Българска диалектология. София, 1993.

ТБД – Трудове по българска диалектология. София.

Трубачев 1959 – *Трубачев О. Н.* Лингвистическая география и этимологические исследования // *ВЯ, 1959, № 1.*

Трубачев 2002 – *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. М., 2002.

Усачева 1977 – *Усачева В. В.* Об одной лексико-семантической параллели // *СБЯ. 1977.*

Хелимский 1988 – *Хелимский Е. А.* Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // *Славянское языкознание. X МСС.* М., 1988.

Хелимский 1989 – *Хелимский Е. А.* Славянское койнэ в Венгрии Арпадов и происхождение словажно-венгерских топонимов в Трансильвании // *Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы.* М., 1989.

Хелимский 1989а – *Хелимский Е. А.* Изучение ранних славяно-венгерских отношений // *Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США.* М., 1989.

Цивьян 1979 – *Цивьян Т. В.* Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979.

Цонев 1984 – *Цонев Б.* История на българския език. Т. II. София, 1984.

AJPP – *Maiecki M., Nitsch K.* Atlas językowy Polskiego Podkarpacia. Kraków, 1934.

ALR II – *Petrovici E.* Atlasul lingvistic român. II. București, 1940.

- ALRsn – Atlasul lingvistic român. Serie nouă. T.I–IV. București, 1956–1965.
- Andriotis – *Andriotis N.* Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. Wien, 1974.
- Bálogh, Bańcerowski, Posgay 2001 – *Bálogh L., Bańcerowski J., Posgay I.* Węgierski elementy leksykalne w językach regionu karpackiego w świetle danych Karpackiego atlasu dialektologicznego // PF T. 45. 2001.
- Birnbaum 1965 – *Birnbaum H.* Balkanslavisch und Südslavisch // ZfBalk. III. 1965.
- Brad-Chisacov 1986 – *Brad-Chisacov L.* Éléments néo-grecs dans le lexique usuel roumain contemporain // RÉSEE. XXIV. 1986.
- CADE – *Candrea I., Adamescu G.* Dicționarul enciclopedic ilustrat. București, 1931.
- Cioranescu – *Cioranescu A.* Dicționarul etimologic al limbii române. București, 2002.
- Crânjală 1938 – *Crânjală D.* Rumunske vlivy v Karpatech se zvláštím zře-tem k Moravskému Valašsku. Praha, 1938.
- Danko 1979 – *Danko I.* Outline of Migration interlinked with the Exchange of Goods in the Carpathian Basin // *Ethnographica et folkloristica Carpathica.* Debrecen, 1979.
- Décsey 1961 – *Décsey Gy.* Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. Wiesbaden, 1961.
- DEX. – Dicționarul explicativ al limbii române. București, 1975.
- DLR – Dicționarul limbii române. I –. București, 1913 –.
- Elwert 1950 – *Elwert W.* Über das ‘Nachleben’ phanariotischer Gräzisman im Rumänischen // *Byzantinische Zeitschrift.* 43. 1950.
- Ernout– M. = Ernout–Meillet.
- Fischer 1985 – *Fischer I.* Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române. București, 1985.
- Fjalor – Fjalor i gjuhës se sotme. 1-2. Prishtinë, 1980.
- Friedman 1994 – *Friedman V.* Turkisms in a Comparative Balkan Context // 7-me Congrès international d'études du Sud-Est européennes. Athènes, 1994.
- Galdi 1939 – *Galdi L.* Les mots d'origine néo-grecque en Roumain a l'époque des Phanariotes. Budapest, 1939.

Gavazzi 1978 – *Gavazzi M.* Vrela i sudbine narodnih tradicija. Kulturna strujanja jugoistočnom Europom i oko nje. Zagreb, 1978.

Gutschmit 1966 – *Gutschmit K.* Bemerkungen zur Rolle des Neugriechischen bei der Herausbildung des Wortschatzes der Neubulgarischen Schriftsprache // *Wiss. Zeitschrift der K. M.–U.* 15. Leipzig, 1966.

Gutschmit 1982 – *Gutschmit K.* Soziale Typenbegriffe (und ihre Ableitungen) aus dem Altgriechischen im Bulgarischen // *Das Fortleben altgriechischer sozialer Typenbegriffe in den Sprachen der Welt.* 7/2. Berlin, 1982.

Haarmann 1999 – *Haarmann H.* Der Einfluss des Lateinischen in Südosteuropa // *Handbuch der Südosteuropa–Linguistik.* Wiesbaden, 1999

Hadrovics 1985 – *Hadrovics L.* Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Köln–Wien, 1985.

Handbuch – *Handbuch der Südosteuropa–Linguistik.* Wiesbaden, 1999.

Hazai, Kappler 1999 – *Hazai Gy., Kappler M.* Der Einfluss des Türkischen in Südosteuropa // *Handbuch.*

Hinrichs 1999 – *Hinrichs U.* Der Einfluss des Slavischen in Südosteuropa // *Handbuch.*

Karamfilovski 1999 – *Karamfilovski M.* Das Makedonisch // *Handbuch.*

Kniezsa 1955 (1974) – *Kniezsa J.* A magyar nyelv szláv jövevényyszavai. I–II. Budapest, 1955 (и 1974).

Lizanec 1970 – *Lizanec P.* Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok. Uzshorod, 1970.

M.–Lübke – Meyer–Lübke W. Romanisches etimologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1935.

Menges 1983 – *Menges K.* Türkisches Sprachgut im Süd-Slaven // *Ziele und Wege der Balkanlinguistik.* Berlin, 1983.

Mihail 1978 – *Mihail Z.* Terminologia portului popular românesc în perspectiva etnolingvistică comparată sud-est europeană. București, 1978.

Mihail 1979 – *Mihail Z.* Aromunische Elemente im Bulgarischen // *RÉSEE.* XVII. 1979.

Mihăescu 1966 – *Mihăescu H.* Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. București, 1966.

Mihăilă 1968 – *Mihăilă Gh.* Principales étapes de l'histoire des études slaves en roumain et de leurs rapports avec les études slaves internationales // *RS.* XVI. 1968.

- Mihăilă 1973 – *Mihăilă Gh.* Studii de lexicologie și istorie lingvisticii românești. București, 1973.
- Mihăilă-Scărlătoiu 1972 – *Mihăilă-Scărlătoiu E.* Emprunts roumains dans le lexique serbo-croate // RĚSEE. X. 1972.
- MNYTESz – A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1–3. Budapest, 1967–1976.
- Niță-Armaș 1968 – *Niță-Armaș S. et al.* L'influence roumaine sur le lexique des langues slaves // RS XVI. 1968.
- Pap. – *Papahagi T.* Dicționarul dialectului aromân general și etimologic. București, 1963.
- Poghirc 1983 – *Poghirc C.* Philologica et linguistica. Bochum, 1983.
- Popović 1960 – *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
- Reichenkron 1966 – *Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumanischen). Heidelberg, 1966.
- RĚSEE – Revue des Études sud-est européennes. București.
- Richards 2003 – *Richards R.* The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los Angeles, 2003.
- Rosetti – *Rosetti A.* Istoria limbii române. I–VI. București, 1964–1966.
- RS – Romanoslavica. București.
- Sandfeld 1930 – *Sandfeld K.* Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.
- Scărlătoiu 1979, 1981 – *Scărlătoiu E.* Romanian lexical elements in Macedonian and Serbo-Croatian // RĚSEE. XVII, XIX. 1979, 1981.
- Scărlătoiu 1980 – *Scărlătoiu E.* Relații lingvistice ale aromânilor cu slavii de sud. București, 1980.
- Schaller 1975 – *Schaller H.* Die Balkansprachen. Heidelberg, 1975.
- Schubert 1982 – *Schubert G.* Ungarische Einflüsse in der Terminologie des öffentlichen Lebens der Nachbarsprachen. Berlin, 1982.
- Schubert 1996 – *Schubert G.* Ungarn und Rumänen. Sprache, Kultur, Ideologie // Sprache und Politik. Die Balkansprachen in Vergangenheit und Gegenwart. München, 1996.
- Schubert 1999 – *Schubert G.* Der Einfluss des Ungarischen in Südosteuropa // Handbuch.

Siatkowski 2004 – *Siatkowski J.* Studia nad wpływami obcymi w Ogołnosiowiańskim atlasie językowym. Warszawa, 2004.

Stanislav 1956–1973 – *Stanislav J.* Dejiny slovenského jazyka. T. 1–5. Bratislava, 1956–1973.

Svane 1992 – *Svane G.* Slavische Lehnwörter im Albanische. Aarhus, 1992.

Tamás 1966 – *Tamás L.* Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänische. Budapest, 1966.

Tietze 1983 – *Tietze A.* Die Probleme der Turzismenforschung // Ziele und Wege der Balkanlinguistik. Berlin, 1983.

Tsitsilis 1999 – *Tsitsilis Ch.* Der Einfluss des Griechischen in Südosteuropa // Handbuch.

Vrabie 1967 – *Vrabie E.* Influența limbii române asupra limbii ucrainene // RS. XIV. 1967.

Ylli 1997, 2000 – *Ylli Xh.* Das slavische Lehngut im Albanischen. T. 1, 2. München, 1997, 2000.

Ziele – Ziele und Wege der Balkanlinguistik. Berlin, 1983.

Остальные сокращения см. в издании ИРЯ РАН «Этимология».

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В настоящей статье рассматриваются взаимодействие и взаимовлияние русского и церковнославянского (цсл.) языков применительно к современной социолингвистической ситуации в России. При этом подразумевается, что русский язык в первую очередь используется теми, для кого он является родным; функционирование же цсл. языка, анализируемое в данной работе, ограничивается Русской православной церковью Московского патриархата на территории Российской Федерации.

**§ 1. Цсл. и русский языки в социолингвистической ситуации современной России.** Для того чтобы очертить область взаимодействия русского и цсл. языков, необходимо прежде всего проанализировать их место в социолингвистической ситуации современного российского общества. Ниже будут рассмотрены юридический и церковно-канонический статус каждого из этих языков, их функции и сфера использования.

**1.1. Юридический и церковно-канонический статус русского и цсл. языков.** Сосуществование русского и цсл. языков может быть рассмотрено как в рамках российского социума в целом, так и внутри Русской православной церкви. В обоих случаях использование этих двух языков определенным образом регламентировано (однако не всегда в положительных, эксплицитных формулировках).



**1.1.1. Юридический статус русского и цсл. языков.** Русский язык, согласно ст. 68, п. 1 Конституции Российской Федерации, является «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории» (Конституция 1997: 26). Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» (ст. 3, п. 1)<sup>1</sup> содержит перечень сфер, где русский язык подлежит обязательному использованию (ГЯРФ 2005: 5771–5772); ст. 4 того же закона декларирует всемерную поддержку и защиту русского языка со стороны органов федеральной власти (там же: 5772)<sup>2</sup>. Русский язык имеет достаточно полное грамматическое и лексикографическое описание; его всестороннее исследование – одно из приоритетных направлений отечественного языкознания.

Принципиально иным представляется статус цсл. языка. Цсл. язык выполняет функцию основного (впрочем, не единственного<sup>3</sup>) богослужбного языка Русской православной церкви, которая, с юридической точки зрения, является религиозной организацией. В соответствии со ст. 14, п. 2 Конституции Российской Федерации, «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» (Конституция 1997: 8). Следовательно, цсл. язык не может рассчитывать на поддержку со стороны государства<sup>4</sup> (по крайней мере, в качестве культового языка) и не может претендовать на некий исключительный, законодательно регламентированный, статус (каковым обладает русский язык). Таким образом, использование цсл. языка в качестве богослужбного является внутренним делом Русской православной церкви<sup>5</sup>.

Итак, можно констатировать наличие существенной асимметрии в юридическом статусе двух языков: в то время как русский язык является государственным языком Российской Федерации и может рассчитывать на защиту и поддержку со стороны федеральных властей, цсл. язык представляет собой лишь культовый язык одной из религи-

озных организаций, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации.

### **1.1.2. Церковно-канонический статус цсл. и русского языков.**

Ни христианские догматы, ни каноны православной Церкви не регламентируют возможность или невозможность служения на том или ином языке и не выделяют какой-либо язык в качестве предпочтительного. Что касается Русской православной церкви, то, несмотря на тысячелетнюю историю цсл. богослужения, особая роль цсл. языка практически не закреплена в официальных церковных документах: ни в Уставе Русской православной церкви, принятом на Юбилейном архиерейском соборе 2000 г., ни в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», принятых там же и тогда же, статус цсл. языка никак не обозначен. Впрочем, в ходе работы Поместного собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Отделом о богослужении, проповедничестве и храме был подготовлен доклад «О церковно-богослужебном языке»; первый пункт этого доклада гласит: «Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние нашей родной церковной старины, и потому он должен сохраняться и поддерживаться как основной язык нашего богослужения»<sup>6</sup>. Однако, поскольку собор в силу внешних обстоятельств был вынужден свернуть свою работу, данный доклад не рассматривался на пленарном заседании и, таким образом, остался лишь проектом соборного деяния. Следовательно, и здесь статус цсл. языка не был официально регламентирован. В настоящее время церковные власти всячески избегают обсуждения болезненных вопросов, связанных с языком богослужения, и предпочитают сохранение status quo.

**1.2. Функции цсл. и русского языков.** Русскому языку свойственны различные функции; в первую очередь он обслуживает сферу межличностной коммуникации. Напротив, цсл. язык не выполняет подобной функции: на этом языке, с момента его создания во второй

половине IX в., никогда не говорили<sup>7</sup> (точнее: не использовали в качестве средства повседневного устного неофициального общения). Это обстоятельство влечет за собой важные следствия для нормы цсл. языка: применительно к этому языку невозможно противопоставлять первичную и вторичную норму; собственно говоря, существует лишь одна норма, которая не может быть отождествлена с первичной и которая не является кодифицированной. Эта норма не обеспечивает своевременного устранения окказионализмов и заимствований из русского языка<sup>8</sup>.

**1.3. Сфера использования цсл. и русского языков.** В настоящее время русский язык обслуживает практически все коммуникативные потребности носителей русского языка; в некоторых областях с ним конкурирует английский язык; сфера же православного богослужения традиционно находится в ведении цсл. языка.

**1.3.1. Ретроспектива.** В последние столетия область использования цсл. языка неуклонно и постоянно сокращалась. Если до XVII в., согласно концепции Б. А. Успенского (Успенский 2002), на Руси имела место цсл.-русская *диглоссия*, причем цсл. язык обслуживал всю сферу словесной культуры (точнее, ту сферу, которая осознавалась современниками как культурно значимая), то в XVII столетии на смену диглоссии приходит *двуязычие*: в параллели с цсл. языком во многих областях начинает употребляться русский.

Как известно, двуязычие – нестабильная языковая ситуация; одним из возможных исходов сосуществования цсл. и русского языков при естественном развитии ситуации могло стать распространение цсл. языка и на светскую культуру. Однако поступательное развитие было прервано реформами Петра I: властью была провозглашена эмансипация светской культуры, обслуживать которую отныне призван русский язык (основным содержанием этого понятия на тот момент было противопоставление цсл. языку); за цсл. же языком было

оставлено обслуживание культуры церковной. Таким образом, Петр в некотором смысле повернул процесс вспять: русский и цел. вновь оказались в отношении дополнительного распределения, что на некоторое время обусловило – как и в ситуации до XVII в. – взаимную непереводимость русского и цел. текстов. По аналогии с языковой ситуацией в Древней Руси такое сосуществование двух этих языков можно (условно!) назвать *новой диглоссией*.

Между тем новая диглоссия оказалась, как и двуязычие, нестабильной ситуацией. Хотя сферы использования языков и находились в отношении дополнительного распределения, однако прочие факторы препятствовали сохранению динамического равновесия. Во-первых, в секуляризованном обществе цел. утратил статус «высшего» языка; во-вторых, сфера церковной культуры была ограничена, в то время как светская культура непрерывно развивалась, порождая всё новые и всё более разнообразные тексты на русском языке. В-третьих, для обоих языков имела место языковая рефлексия. Все эти факторы приводят к тому, что в дальнейшем сфера исключительного использования цел. языка все более сужается. К русскому языку постепенно отходят проповедь, творения святых отцов, жития и, наконец, во второй половине XIX в. – Священное Писание<sup>9</sup>. К этому моменту последней крепостью цел. языка, не сдавшейся русскому языку, становится богослужение. Однако в последней трети XIX в.<sup>10</sup> появляются переводы богослужебных текстов на русский язык. Переводы эти, как правило, не предназначались для собственно богослужебного употребления, но были призваны играть вспомогательную, объяснительную роль по отношению к цел. тексту<sup>11</sup>. Подобную ситуацию можно рассматривать как тенденцию к своего рода *новому двуязычию*: практически любой цел. текст оказывается возможным перевести на русский язык (однако – и в этом существенное отличие от подлинного двуязычия – перевод русского текста на цел. хотя теоре-

тически и возможен, однако реально не востребован в силу маргинального положения цсл. языка).

**1.3.2. Современная ситуация.** В наши дни, когда внутрицерковная ситуация постепенно стабилизируется, а полемика вокруг русского языка, которая велась в 1990-е гг., постепенно стихает, естественным образом возобновляется издание русских переводов богослужебных текстов. Из последних изданий можно назвать перевод воскресного Октоиха, выполненный священником Антонием Лакиревым (Лакирев 2003); Сретенским монастырем был издан перевод чина обручения и венчания (Венчание 2003, 46–62)<sup>12</sup>; в издательстве «Ковчег» при участии автора статьи подготовлен молитвослов, который содержащий как цсл. текст, так и русский перевод (Молитвослов 2006); издательство московского храма Софии Премудрости Божией (на Софийской набережной), также при участии автора, выпустило текст литургии на цсл. языке с параллельным русским текстом (Литургия 2006).

Вместе с тем, несмотря на сужение сферы функционирования цсл. языка, в рамках оставшейся в его ведении области он в последние полтора десятилетия усилил свои позиции. Мы имеем в виду прежде всего появление новых богослужебных текстов: служб<sup>12</sup>, молитв и – главным образом – акафистов<sup>13</sup>. Темпы роста корпуса акафистов не могут не обращать на себя внимание. К началу XX в. функционировало порядка 140 акафистов<sup>15</sup>, большая часть которых была написана в XIX в. На февраль 2003 г. общее количество известных нам цсл.<sup>16</sup> акафистов составило 416<sup>17</sup>. К сентябрю 2004 г. к этому числу прибавилось еще 76 (всего – 492). На начало 2005 г. количество акафистов превысило 500. В настоящий момент (ноябрь 2006 г.) нам известно свыше 610 акафистов (из них Господу Богу – около 7%, Богородице – более 23%, святым и ангелам – 70%). Таким образом, можно констатировать прирост акафистов (по крайней мере, для последних 3–5 лет) на уровне порядка 10% в год.

Помимо этого, на цсл. языке начали выходить книги, которые уже стали привычными в русском переводе. Так, в 1997 г. Российское библейское общество выпустило репринтное издание Библии на цсл. языке. В 1991 г. Оптина пустынь переиздала Жития святых святителя Дмитрия Ростовского в русском переводе, однако десятилетие спустя Четырнадцать миней были изданы уже по-цсл. (В принципе, можно ожидать появления и новых житий, написанных на цсл.) Впрочем, не следует переоценивать указанные факты: подобное расширение использования цсл. языка не ведет к вытеснению русского языка; это расширение, собственно, потому и возможно, что данные тексты уже имеются на русском языке. Цсл., так сказать, уже не опасен: русский текст обеспечивает понятность, цсл. – удовлетворяет эстетическим требованиям.

Кроме того, говоря об усилении позиций цсл. следует упомянуть о четко наметившейся тенденции к возврату к традиционной графике (в то время как в советское время многие цсл. тексты издавались гражданской кириллицей). Так, например, в 1995–1996 гг. в Петербурге был издан трехтомник «Акафисты русским святым» (АРС 1–3); содержащий свыше 140 акафистов (причем некоторые публиковались впервые), набранных цсл. кириллицей. В 2000 г. Издательский совет Московской патриархии выпустил Требник (в двух частях под одной обложкой), целиком набранный по-цсл. (Требник 2000). В 2004 г. там же вышел Служебник, все части которого (в том числе месяцеслов) также были набраны по-цсл. (Служебник 2004). Миней, переизданные Патриархией в 2003 г., напечатаны русским шрифтом (Миней 2003); однако вполне вероятно, что следующее издание (которое можно ожидать через 7–10 лет) будет набрано по-цсл.

Итак, в настоящее время цсл. язык остается языком богослужения Русской православной церкви; при этом, с одной стороны, постоянно возникают новые тексты на цсл. языке, с другой стороны, появляются переводы на русский язык всё новых богослужебных текстов.

## **§ 2. Взаимодействие и взаимовлияние цсл. и русского языков.**

**2.1. Область взаимодействия.** Поскольку сфера использования цсл. языка ограничивается православным богослужением, то естественно считать, что областью взаимодействия русского и цсл. языков является языковое сознание православных носителей русского языка, совершающих богослужение в храмах Русской православной церкви (клирики) или регулярно (от нескольких раз в год до нескольких раз в неделю) посещающих богослужение (миряне); посещение (совершение) богослужения обычно сопровождается внебогослужебным чтением цсл. молитвенных текстов. Общая численность духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви на территории России составляет, по разным оценкам, от 3 до 6 млн чел (Митрохин 2004, 35–42), т. е. от 2 до 4% населения России. Результаты этого взаимодействия находят отражение в текстах – как на русском, так и на цсл. языках, – продуцируемых представителями указанной социальной группы.

**2.2. Механизм взаимодействия.** Для выявления механизма взаимодействия языков необходимы специальные исследования, которые не входили в задачи настоящей статьи. Можно, однако, предположить, что посредником, своего рода переходной зоной между «светским» русским языком и языком цсл. является «духовная» литература, пишущаяся на русском языке, однако насыщенная разного рода славянизмами<sup>18</sup>. Заимствуя элементы цсл. языка, эта литература со временем возвращает их в измененном виде во вновь создаваемые богослужебные тексты.

**2.3. Результаты взаимодействия.** Рассмотрим теперь собственно результаты взаимодействия и взаимовлияния двух языков – русского на цсл.<sup>19</sup> (2.3.1) и цсл. на русский (2.3.2).

### **2.3.1. Влияние русского языка на цсл.**

Влияние русского языка на цсл. постоянно и разнообразно. Материалом для анализа здесь могут служить богослужебные тексты, соз-

данные в последние десятилетия – службы, каноны, молитвы и, прежде всего, акафисты.

### 1) *Графика и орфография.*

*Графика*<sup>20</sup>. Хотя графика представляет собой самостоятельную и в известной степени независимую систему от собственно языковой системы, именно здесь наиболее ярко проявляется влияние русского языка (его графики) на цсл. Дело в том, что значительная часть цсл. богослужебных текстов в настоящее время издается в русской транслитерации. Примечательно, что сам этот факт нередко остается незамеченным не только «пользователями», но и исследователями, ср. характерное утверждение: «...наряду с цсл. языком, кириллица (из более широкого контекста ясно, что имеется в виду именно цсл. кириллица – *Ф. Л.*) до сего дня остается неотъемлемой частью православного богослужения» (Цуркан 2001, 80). Подавляющее большинство молитвословов, акафистников и канонников издается в русской транслитерации. Так называемые Зеленые (Питиримовские) Минеи (Минея 1978–89), по количеству служб превосходящие дореволюционные Минеи в 2–2,5 раза и составляющие не менее 70% от общего объема богослужебных книг, употребляемых при общественном богослужении, набраны русским гражданским шрифтом<sup>21</sup>. (Таким образом, большинство новых – в сравнении с дореволюционными Минеями – служб существуют лишь в русском обличье.) Из книг Священного Писания в русской транслитерации печатается Псалтирь (как правило, в составе молитвословов).

*Орфография.* Графический инвентарь современного цсл. языка содержит 46 букв и их орфографически и/или графически значимых вариантов. При транслитерации же цсл. текстов средствами русской графики используется 31 буква (буквы *ё* и *э*, как правило, не употребляются), т. е. в 1,5 раза меньше. Три знака ударения, противопоставление которых имеет грамматико-орфографическое значение, в



лучшем случае передаются единственным в русской графической системе знаком ударения, указывающим лишь на место ударения (в одних изданиях ударение проставляется лишь в «сложных» словах, в других – во всех знаменательных словах, в том числе в односложных). Таким образом, транслитерация обуславливает потерю значительной части информации. Именно, становится невозможным различение омоформ, омонимов и паронимов, вследствие чего затемняется синтаксическая структура предложения, возникают проблемы с интерпретацией смысла. Например, за написанием *тебе* могут скрываться как форма дат. или предл. падежа (первое, что приходит в голову носителю русского языка), так и формы род. и вин. падежей. Аористная форма *видесте* равным образом может трактоваться и как 2 л. мн., и как 2-3 л. дв. ч. ж.-ср. р. Фразы *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам* (Ин. 14: 27), *Сия глаголах вам, да во Мне мир имате. В мире скорбни будете, но держайте, яко Аз победих мир* (Ин. 16: 33) выглядят двусмысленно<sup>22</sup>. Кондак Пятидесятницы, который в поэтической форме сопоставляет и противопоставляет события вавилонского столпотворения и сошествия Святого Духа на апостолов: *Егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа* – в русской транслитерации представляет дополнительные трудности для понимания.

Впрочем, в отдельных изданиях предпринимаются попытки сохранить (насколько это возможно средствами русского алфавита) указанные противопоставления. Это относится прежде всего к стандартному патриархийному молитвослову, который был в ходу в 1980-х – начале 1990-х гг., причем не ко всему молитвослову, а лишь к Псалтири, включенной в его состав. См., напр., Пс 34:1: *Суди, Господи, обидящ<sup>ы</sup>я мя, побори борющ<sup>ы</sup>я мя* (Молитвослов 1990, 147); Пс 136:2: *На вербих посреде его обесихом органы на<sup>ш</sup>я* (там же, с.

229). Но ср.: *Господи, очисти грехи наша* (там же, с. 4) (не *наша!*). Собственно, как видно из примеров, противопоставление омоформ в подобных изданиях сводится к удержанию *я* и *ы* после шипящих в определенных флексиях. Большинство других изданий, исходя из правил русской орфографии, употребляют в таких случаях *а* и *и* соответственно.

2) *Фонетика и орфоэпия*. Цсл. языку не свойственна функция межличностной коммуникации. Вследствие этого обстоятельства цсл. язык не обладает собственной «естественной» фонетикой; воспроизведение цсл. текстов носителями русского языка обеспечивается прежде всего за счет русской фонетики, на которую накладываются некоторые ограничения орфоэпического характера.

Прежде всего яркой чертой цсл. чтения является неотражение перехода *e* в *o*<sup>23</sup> (чему в области графики соответствует отсутствие буквы *ё* – как в самой цсл. кириллице, так и в транслитерированных текстах). Кроме того, окончания *-аго/-яго*, *-ого/-его* предписывается читать со звуком [г], а не [в]. На этом список орфоэпических рекомендаций, выполняемых более или менее последовательно, заканчивается<sup>24</sup>. Произношение *г*-фрикативного в настоящее время не является обязательным и общепринятым. Отсутствие редукции гласных декларируется как отличительная черта церковного произношения, однако реализуется непоследовательно и неравномерно у разных чтецов – от последовательного оканья до русского литературного аканья и даже иканья.

3) *Морфология*. Если оставить в стороне явные ошибки, вызванные недостаточной языковой компетентностью авторов и/или редакторов (смещение претеритов, несогласованность причастных форм с существительными по роду или числу), то следует признать, что влияние русского языка на цсл. в области морфологии все же весьма велико. Это влияние проявляется в первую очередь в склонении су-

ществительных. Унификация именного склонения во множественном и отчасти единственном числе, совершившаяся в русском языке, находит отражение в цсл. Так, флексии дат., тв. и предл. падежей мн. ч. -ам, -ами, -ах, нормальные для а-склонения, но нехарактерные для о-склонения, постепенно проникают в парадигмы существительных среднего рода (прежде всего с основой на мягкий согласный) и – менее активно – мужского рода. Конечно, вовсе не обязательно в появлении подобных флексий видеть прямое влияние русского языка. Более правильной представляется интерпретация, согласно которой изменения в именном склонении цсл. языка есть результат внутреннего преобразования языковой системы. И все же при наличии вариантов носитель русского языка, пишущий или редактирующий цсл. текст, нередко склонен выбирать ту флексию, которая поддерживается русским языком.

4) *Синтаксис*. Влияние русского языка в области синтаксиса проявляется в первую очередь в употреблении творительного предикативного падежа вместо традиционного именительного (реже – винительного) в составе конструкции двойной именительный (двойной винительный), например: *Радуйся, святая преподобномученице Елисавето, красото Церкви Российской, невестою Христовою быти удостоенная* (Елизавета 2002, 3).

5) *Лексика и семантика*. Недостаточная начитанность многих церковных писателей и редакторов в богослужебных текстах, отсутствие современных цсл.-русского и – особенно – русско-цсл. словарей, ведет к тому, что при создании новых цсл. текстов используются русские лексемы со значением, свойственным русскому языку<sup>25</sup>. Так, например, в новых акафистах и службах нередко используется слово *старец* в значении «духовно опытный наставник, прозорливец»<sup>26</sup>. Такое значение у этого слова сформировалось в русском языке относительно недавно; при этом в цсл. слово *старец* имеет значения

«старик», «старейшина», не обладая при этом устойчивыми положительными коннотациями<sup>27</sup>. Аналогичная ситуация со словом *пустынь*. В русском языке это слово означает «монастырь (как правило, небольшой), находящийся в уединенном месте (часто в лесу)» (Оптина пустынь, Глинская пустынь и т. д.). В церковнославянском используется слово *пустыня*, означающее пустынное, удаленное от населенных пунктов место. Однако русская лексема *пустынь* последнее время проникает в церковнославянские богослужебные тексты. Приведем пример на обе лексемы – *старец* и *пустынь* – из службы преподобному Амвросию Оптинскому: *Днесь светло торжествует Свято-Введенская пустынь, прославляючи своего великаго молитвенника, преподобнаго старца Оптинскаго Амвросия чудотворца, иже zde подвижася ревностно и, возшед на лествицу духовную, просиял естъ яко светильник огнезрачный по всей земли Российстей* (Миня 1998, 253).

Упомянем также один весьма примечательный случай влияния русского языка. Несколько лет назад был составлен «Чин освящения самолета» (см., например: Требник 2001, 620–624). Лексема *самолет*, впрочем, в тексте последования встречается лишь дважды: в заглавии, а также в формуле освящения: *Благословляется и освящается самолет сей благодатию Пресвятаго Духа, окроплением воды сея священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь* (там же: 624). Интересно, что слово это, воспринимающееся в цсл. тексте как яркий русизм, в общем и целом выглядит вполне по-цсл.

б) *Текстуальные заимствования*. Цитаты из русских текстов в цсл. богослужебных текстах – тема интересная, но еще совершенно не исследованная. Мы можем привести лишь один пример: в акафисте в честь Озерянской иконы Пресвятой Богородице (автор – митрополит Никодим (Руснак)) одно из воззваний пятого икоса выглядит следующим образом: *Радуйся, [от] безумства, лени и страстей*

силою любви Твоея нас милостивно спасающая (АБ, 275). Ср. у Пушкина:

В часы забав иль праздной скуки,  
Бывало, лире я моей  
Вверял изнеженные звуки  
Безумства, лени и страстей <...>  
(Пушкин 1949, 165).

Совершенно очевидно, что перед нами уникальный случай цитирования светского поэтического произведения в гимнографическом тексте.

### 2.3.2. Влияние цсл. языка на русский

1) *Графика и орфография.* Говоря о влиянии цсл. графики на русский, необходимо прежде всего указать на случаи использования шрифтов, стилизованных под цсл. кириллицу, для набора текстов на русском языке. Ситуации употребления подобных шрифтов разнообразны – от объявления на двери храма о времени освящения куличей до грамоты Российского фонда культуры, от заголовков в книгах церковного содержания до надписей на памятниках. Собственно говоря, здесь имеет место транслитерация русского текста средствами церковнославянской кириллицы, причем о следовании церковнославянским орфографическим нормам речи не идет – в результате получаются буквенные последовательности, невозможные или же прямо запрещенные в цсл. текстах.

2) *Фонетика и орфоэпия.* Влияние цсл. языка на русскую фонетику можно наблюдать прежде всего в проповедях священнослужителей. Обычное для этого жанра цитирование цсл. текста Священного Писания и богослужебных книг провоцирует распространение цсл. орфоэпии и на собственно русские участки текста. Так, можно наблюдать неотражение перехода *e* в *o*, произношение окончаний – *аго/-яго, -ого/-его* с [г]<sup>28</sup>. Нередки случаи акцентуации отдельных

форм вопреки русской литературной норме: обречение, знамение, бесов; в некоторых случаях подобная акцентуация закрепляется в повседневной речи священнослужителей и некоторых мирян.

3) *Морфология*. В области морфологии следует отметить использование звательной формы в функции именительного и других падежей. Приведем несколько примеров. Слово *владыка* в значении «архиерей» нередко употребляется в форме *владыко*, причем не в позиции обращения, но в качестве именительного или даже косвенных падежей: *Как утверждает владыко Иоанн, среди эмигрантов очень велик интерес к православию*<sup>29</sup>; *Как заявил владыко Филарет...*<sup>30</sup>; *Однако Владыко остался непреклонен...*<sup>31</sup>; *Ритенберг этого знать не мог и объявил владыко Александра [как священнослужителя, который будет освящать памятник]*<sup>32</sup>; *...с благословения... владыко Сергия*<sup>33</sup>; *Спасибо за участие и подсказку, если Вы знаете E-Mail митрополита, владыко Сергия, буду Вам очень благодарна*<sup>34</sup>.

Аналогично используется форма *отче* (в смысле «священник» и/или «монах»): *Отче уже пришел?*<sup>35</sup>; *Сейчас отче придет, кашу сварит*<sup>36</sup>. Ср. также употребление этой формы (в косвенном падеже!) по отношению к преподобному Сергию Радонежскому: *Поеду к отче Сергию*<sup>37</sup>. Отметим, что замена *отче* на *отицу* придала бы фразе иной смысл: *к отицу Сергию* значит «к некоему ныне живущему священнику (дьякону, иеромонаху и т. д.) Сергию».

Можно упомянуть также краткое внебогослужебное песнопение *Благодатный дом, / (имярек) в нём, / и Спаситель пребывает, / яко с нами Бог*, где вместо «имярек» вставляется имя того или иного святого – как правило, в звательной форме<sup>38</sup>.

К приведенным выше случаям примыкает этикетная формула *Спаси вас (тебя) Господи*, часто сворачиваемая до *Спаси Господи*. Полный вариант данной формулы не оставляет сомнений, что *Господи* находится в позиции подлежащего, выраженного именительным падежом.

Анализ взаимовлияния русского и цсл. языков показывает, что, в отличие от предшествующих эпох, в настоящее время цсл. язык испытывает весьма сильное влияние (и давление) со стороны русского литературного языка – прежде всего в области лексики и семантики, а также морфологии, фонетики, графики и орфографии. Воздействие в обратном направлении также имеет место, однако оно несравненно слабее. В начале XXI в. русский язык продолжает теснить цсл., посягая на единственную оставшуюся за последним область – богослужение. Парадоксальным образом это сочетается с невиданным всплеском гимнографической активности. Сейчас трудно предугадать, как будут строиться взаимоотношения двух языков в будущем. Скорее всего, русский язык будет постепенно вытеснять цсл. и из богослужебной сферы. Не исключено также, что цсл. язык, напротив, расширит сферу своего использования и, наряду с русским языком, будет обслуживать агиографию и другие области церковной литературы и культуры. Наконец, мы можем стать свидетелями нового синтеза, когда цсл. и русский языки сблизятся: цсл. претерпит определенную русификацию и станет более доступным, русский же язык для возможности его использования в качестве богослужебного языка будет частично славянизирован, в результате чего сформируется литургический стиль русского литературного языка. Однако несомненно, что при любом развитии событий взаимодействие русского и цсл. языков продолжится.

### Примечания

<sup>1</sup> В редакции от 1 июня 2005.

<sup>2</sup> В частности, «федеральные органы государственной власти <...> осуществляют государственную поддержку издания словарей и грамматик русского языка» (ГЯРФ 2005: 5772).

<sup>3</sup> На территории России в некоторых храмах Русской православной церкви служат, например, по-чувашски и по-осетински; в Белоруссии наряду с цсл.

используется белорусский; в европейских приходах в роли богослужебного языка могут выступать английский, французский, немецкий языки.

<sup>4</sup> Что, заметим, не исключает, однако, возможности поддержки его со стороны общества в целом или же отдельных социальных групп (не обязательно напрямую связанных с Русской православной церковью).

<sup>5</sup> Ср. ст. 15 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»:

«1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусмотримой в их уставах.

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации» (ССРО 1997: 7674; с 1997 г., когда был принят данный закон, в него неоднократно вносились изменения, однако они не коснулись цитируемой статьи).

<sup>6</sup> ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 174, л. 213. Цит. по: Кравецкий, Плетнева 2001: 296. Приведем также второй и третий пункты:

«2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются права общерусского и малороссийского языков для богослужебного употребления.

3. Немедленная и повсеместная замена церковнославянского языка в богослужении общерусским или малороссийским нежелательна и неосуществима» (там же).

<sup>7</sup> Исключением является использование цсл. языка качестве средства повседневного общения в Киево-Могилянской академии в XVI в. – однако это как раз тот случай, когда исключением подтверждается правило.

<sup>8</sup> Подробнее о норме цсл. языка и о ее роли в эволюции цсл. языковой системы см.: Людоговский 2004в.

<sup>9</sup> Подробнее о соотношении русского и цсл. языков в России в XVIII – XX вв. см.: Людоговский 1999.

<sup>10</sup> Мы не рассматриваем здесь поэтические переложения библейских и богослужебных текстов.



<sup>11</sup> Отдельные факты служения на русском языке, имевшие место как в начале, так и в конце XX в., не оказали сколько-нибудь решающего влияния на общую картину.

<sup>12</sup> Отметим, что в указанном издании дан лишь русский перевод – при отсутствии цсл. текста. Характерно, что слово «перевод» вообще не употребляется: в аннотации на обороте титульного листа сказано: «В книге приводится *разъяснение* (курсив мой – Ф. Л.) молитв Таинства брака для лучшего понимания церковно-славянского богослужебного последования» (Венчание 2003: 2).

<sup>13</sup> Обзор служб, используемых в настоящее время в Русской православной церкви, см.: Людоговский 2003б.

<sup>14</sup> Об акафистах см.: Попов 1903; Козлов 1992; Саблина, Губарева 1995; Акафист 2000 (дана обширная библиография); Давыдов 2004; Людоговский 2004а; Людоговский 2004б; Людоговский 2006б; см. тж. Правдолюбов 2001.

<sup>15</sup> По данным исследования А. Попова (Попов 1903).

<sup>16</sup> Имеются также акафисты на сербском, румынском, английском и болгарском языках – как переводные (по преимуществу с цсл.), так и оригинальные.

<sup>17</sup> Перечень их см.: Людоговский 2003а. С. 262–316.

<sup>18</sup> Ср. утверждение О. А. Седаковой: «Своеобразный случай нового смешанного, гибридного языка – так называемый «духовный язык», сложившийся в XIX в. Это своего рода профессиональный жаргон русского языка с жестким этикетом употреблений, в котором грамматическая система целиком русская, но словарь по преимуществу славянский. На «духовном языке» писались проповеди и вообще сочинения на душеполезные темы.

Трудно переоценить значение этого «духовного языка» в создании официального советского языка 40–50 годов, который не менее чем на 70% состоял из славянизмов» (Седакова 2005: 9).

<sup>19</sup> О проблематике, связанной с влиянием русского языка на цсл., см. также: Людоговский 2005.

<sup>20</sup> Подробнее о проблематике цсл. графики см.: Людоговский 2000а, Людоговский 2000б.

<sup>21</sup> Сказанное относится и к переизданию Зеленых Миней, осуществленному в 2003 г. (Миней 2003), а также к первому тому дополнительной Миней (Миней 2005).

<sup>22</sup> Нам не приходилось встречать Евангелия на цсл. языке, напечатанного русским шрифтом (впрочем, первый том «Благовестника» блаженного Феофилакта Болгарского (Охридского) в переиздании издательства «Скит» (Феофилакт 1993) содержит цсл. текст Мф. и Мк. в русской транслитерации); однако цитаты из Св. Писания часто приводятся по-цсл. в проповедях, житиях, различных богословских сочинениях – естественно, в русской транслитерации. Относительно приведенных фраз (Ин 14:27; 16:33) надо сказать, что соответствующие места в Синодальном переводе, изданном в современной орфографии, выглядят не лучше. Интересно отметить, что в некоторых книгах, при общем следовании советской орфографии, омонимы *мир* «вселенная» и *мир* «покой» различаются в написании: *мир* и *мир* соответственно (без ъ!).

<sup>23</sup> Заметим, что если наряду с отсутствием указанного перехода выполняются еще два условия: 1) звук [э] отсутствует в начале слога, всегда прикрываясь звуком [j], в том числе в грецизмах (например, *элин* [j'елл'ин]), 2) отсутствуют сочетания типа [-тэ-] с твердым согласным, имеющим пару по твердости/мягкости (например, *Модест* [мод'ест], – мы можем говорить о наличии в фонологической системе церковнославянского языка (насколько вообще можно говорить о фонологии применительно к этому языку) лишь четырех гласных фонем: <и/ы>, <е/о>, <а> и <у>. Хотя сформулированные выше условия соблюдаются и не всегда, однако они важны по преимуществу для грецизмов. Таким образом, можно констатировать, что вокалическая система цсл. языка содержит минимальное число элементов среди всех славянских языков. См. подробнее: Людоговский 2006а.

<sup>24</sup> Иеромонах (ныне архиепископ Чикагский и Детройтский (Русская православная церковь за границей)) Алипий (Гаманович) в своей «Грамматике церковно-славянского языка» дает общее указание: «Читать должно как написано...» (Алипий 1991, 23). Очевидно, что в полном объеме это указание никогда не выполняется.

<sup>25</sup> Вышедший недавно словарь «Церковнославянско-русские паронимы» О. А. Седаковой (Седакова 2005) может оказать здесь определенную помощь, хотя это издание призвано решить несколько иную задачу – обеспечить понимание цсл. текстов.

<sup>26</sup> В русском языке это слово породило немало производных: *старчество*,

*старчествовать, старчик, младостарчество, лжестарец* и др. Характерно, что при переводе литературы о русских старцах на европейские языки (английский, французский, новогреческий и др.) само слово *старец* нередко остается без перевода (хотя в английском, например, имеется слово *elder*).

<sup>27</sup> См., например, цсл. текст 13-й главы книги пророка Даниила (сюжет о Сусанне): Библия 1997, 1117–1119.

<sup>28</sup> Вообще, две указанные особенности, по всей видимости, воспринимаются многими как признак сакральности читаемого текста: автору неоднократно приходилось слышать, как некоторые тексты на русском языке в определенных ситуациях читались так, как если бы это был церковнославянский язык (например, чтение Деяний апостолов мирянами перед пасхальной полунощницей в московских храмах, чтение житий святых во время трапезы в Московской духовной академии).

<sup>29</sup> <http://otechestvo.org.ua/vesti/s27september/internet-seminaria.htm>

<sup>30</sup> <http://www.r58.ru/smi/lg/zarechny/2001/52/5205.htm>

<sup>31</sup> <http://www.rv.ru/content2.php3?id=555>

<sup>32</sup> <http://whiteworld.ruweb.info/rubriki/000104/022/02092016.htm>

<sup>33</sup> <http://www.tltinfo.ru/p.php?u=%2Findex.php%3Fid%3D23>

<sup>34</sup> <http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=15049&section=16&pg=3>

<sup>35</sup> Слышал многократно в речи сотрудников одного из московских храмов.

<sup>36</sup> Слышал в августе 1994 г. в Свято-Артемиевом Веркольском монастыре (Архангельская обл.).

<sup>37</sup> Пример сообщен автору Т. М. Судник.

<sup>38</sup> См., например: Николаев 2003: 157.

### Литература и источники

АБ 1997 – Акафисты Пресвятой Богородице. Кн. 2. Изд. Задонского Богородицкого монастыря, 1997.

Акафист 2000 – Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. – М., 2000. С. 371–381.

Алипий 1991 – *Алипий (Гаманович), иеромонах*. Грамматика церковнославянского языка. М., 1991.

АРС 1–3 – Акафисты русским святым. Т. 1–3. СПб.: Титул, 1995–96.

Библия 1997 – Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М.: Рос­сийское библейское общество, 1997. (Репр. с изд.: СПб., 1900.)

Венчание 2003 – Таинство брака. Богом благословенный союз. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2003.

ГЯРФ 2005 – Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 23. С. 5770–5773.

Давыдов 2004 – *Давыдов И. П.* Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). Благовещенск, 2004.

Елизавета 2002 – Акафист святой преподобномученице великой княгине Елизавете. М.: Изд-во имени святителя Игнатия Ставропольского, 2002.

Козлов 1992 – *Козлов М.* Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник. Т. 1. – М., 1992. С. 3–12.

Конституция 1997 – Конституция Российской Федерации. М., 1997.

Кравецкий, Плетнева 2001 – *Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX в.). М., 2001.

Лакирев 2003 – Воскресная служба Октоиха. На церковнославянском и русском языке / Сост. свящ. А. Лакирев. М.: Грааль, 2003.

Литургия 2006 – Литургия святого Иоанна Златоустого на церковнославянском и русском языках с приложениями. М.: Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2006.

Людоговский 1999 – *Людоговский Ф. Б.* Очерк истории функционирования церковнославянского языка в России в XVIII–XX вв. // Христианское просвещение и культура. Материалы второй научно-богословской конференции. 23–25 мая 1999 г. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 72–76.

Людоговский 2000а – *Людоговский Ф. Б.* Графическая система современного церковнославянского языка // *Опыты-2000 / Сборник научных трудов студентов и аспирантов филологического факультета МГУ – преподавателей Школы Юного Филолога.* М., 2000. С. 73–89.

Людоговский 2000б – *Людоговский Ф. Б.* Графическая оболочка современного церковнославянского языка // Ежегодная богословская конферен-

ция Православного Свято-Тихоновского богословского института: Материалы 2000 г. М., 2000. С. 505–509.

Людоговский 2003а – Людоговский Ф. Б. Состав, структура и функционирование корпуса современных церковнославянских богослужебных текстов / Дисс. ... к. ф. н. М., 2003.

Людоговский 2003б – Людоговский Ф. Б. Современный церковнославянский минейный корпус // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2002–2003. М., 2003. С. 500–528.

Людоговский 2004а – Людоговский Ф. Б. Церковнославянские акафисты как современный гимнографический жанр: структура, адресация, содержание // Славяноведение. 2004. № 2. С. 56–67.

Людоговский 2004б – Людоговский Ф. Б. Современные церковнославянские акафисты: зависимость содержания от структуры // Христианское просвещение и русская культура. VII научно-богословская конференция. Йошкар-Ола, 24–25 мая 2004 г. – Йошкар-Ола, 2004.

Людоговский 2004в – Людоговский Ф. Б. Церковнославянская языковая система: особенности эволюции // Славянский вестник. Вып. 2. М., 2004. С. 191–199.

Людоговский 2005 – Людоговский Ф. Б. Пуристические тенденции в современном церковнославянском языке // Пуристические тенденции в истории славянских литературных языков / Сб. тезисов. М., 2005. – С. 20–24.

Людоговский 2006а – Людоговский Ф. Б. Фонологическая система современного церковнославянского языка // III Международные Бодуэновские чтения (Казань, 23–25 мая 2006 г.). Труды и материалы. Т. 1. Казань, 2006. С. 17–19.

Людоговский 2006б – Людоговский Ф. Б. Православный акафист в межкультурной коммуникации (конец XX – начало XXI в.) // Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1. С. 293–311.

Миняя 1978–89 – Миняя. Т. 1–24. М.: Издательский отдел Московской Патриархии, 1978–1989.

Миняя 1998 – Миняя. Октябрь. М.: Международный православно-просветительский центр при Московской Патриархии, 1998.

Миняя 2003 – Миняя. Т. 1–24. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2003.

Миняя 2005 – Миняя дополнительная. Вып. 1. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2005.

Митрохин 2004 – *Митрохин Н.* Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М., 2004.

Молитвослов 1980 – Православный молитвослов и Псалтирь. М.: Издательский отдел Московской Патриархии, 1980.

Молитвослов 2006 – Молитвослов для новоначальных. М.: Ковчег, 2006.

Николаев 2003 – *Николаев С., свящ.* За советом к батюшке. М., 2003.

Попов 1903 – *Попов А.* Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Церковно-литературное исследование... – Казань, 1903.

Правдолюбов 2001 – *Правдолюбов С.* Проблемы современного гимнографического творчества. URL: [http://www.uchkom.ru/reg/09102001\\_pravdok.htm](http://www.uchkom.ru/reg/09102001_pravdok.htm)

Пушкин 1949 – *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Т. 3. М.–Л., 1949.

Саблина, Губарева 1995 – *Саблина Н. П., Губарева О. В.* «От всех предел земли нашея» // Акафисты русским святым. Т. 1. – СПб., 1995. – С. 3–21.

Седакова 2005 – *Седакова О. А.* Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к словарю. М., 2005.

Служебник 2004 – Служебник. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2004.

ССРО 1997 – Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 39. С. 7666–7678.

Толстой 1988 – *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Требник 2000 – Требник. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2000.

Требник 2001 – Требник. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2001.

Успенский 2002 – *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI – XVII вв.). М., 2002.

Феофилакт 1993 – *Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на святое Евангелие в двух частях. Ч. 1.* М.: Скит, [1993].

Цуркан 2001 – *Цуркан Р. К.* Славянский перевод Библии. СПб., 2001.

## РЕДУПЛИКАЦИЯ И ПАРНЫЕ СЛОВА В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

**0. Вводные замечания.** Парные слова и по крайней мере некоторые виды редупликации в восточнославянских языках можно рассматривать как ареальное явление. Две из трех продуктивных моделей редупликации в разговорном русском языке являются достаточно поздними заимствованиями; парные слова, характерные прежде всего для русского (и в меньшей степени для белорусского и украинского) фольклора, можно связывать с влиянием финно-угорских языков (как контактным, так и субстратным). Фонетические закономерности образования рифмованных сочетаний (как редупликации, так и некоторых парных слов и других парных сочетаний) являются сходными для достаточно большого ареала.

Под редупликацией мы понимаем структурно значимый повтор последовательностей фонем, поэтому в это понятие мы включаем не только производную редупликацию, т. е. повтор независимо существующего знака (например, *шэнь-пень* в белорусской считалке (Барташэвіч 1972, № 882) образовано от слова *пень*), но и непроизводную редупликацию, которая вычленяется только как поверхностное явление (например, яросл. *шўни-муни* 'тряпье; рваное белье, одежда; обноски' (Мельниченко 1961: 220)). Для ареального сравнения интересна неточная редупликация, т. е. редупликация, части которой не совсем идентичны (например, рефрен святочной песни *усени-масени* (Ананичева и др. 2001: № 113)), т. к. точные повторы (например,



сходное *усени, усени...* (там же: № 112, 120)) распространены очень широко и содержат мало характерных особенностей.

Парными словами называют слитные сочетания вроде *пить-есть*. Парные слова можно рассматривать в широком контексте парных сочетаний, т. е. относительно устойчивой синтагматической связи двух слов, между которыми нет отношения подчинения. Парные сочетания могут иметь совершенно разную синтаксическую и даже дискурсивную реализацию: если ввести шкалу слитности, то на одном конце будут находиться парные слова (*весел-радошен* (Кирша Данилов, № 23, 199), *ходила-гуляла* (Кирша Данилов, № 6, 72, № 36)), на другом – параллелизмы, характерные для фольклорных текстов (*что ходишь не весело, гуляешь не радостно?* (Киреевский, № 150)), а между ними – обычные сочинительные сочетания (*со весельем да со радостью* (Соколовы, обряд., № 170, 188, 198)). Парные сочетания в том или ином виде, возможно, универсальны для человеческих языков, чаще всего слова в таких сочетаниях связаны отношениями «естественного сочинения» (natural coordination), в терминах Бернарда Вэлхли (Wähli 2003). Слова в таких сочетаниях тесно связаны по смыслу и вместе могут обозначать единое понятие, как в парах ‘отец и мать’, ‘руки и ноги’ ‘есть и пить’, ‘читать и писать’. Элементы таких пар, как ‘человек и змея’ или ‘есть и читать’, с большой вероятностью не связаны и не могут образовать парное слово (там же: 4). Парные слова, т. е. слитные бессоюзные сочетания, имеющий промежуточный статус между словосложением и сочинением, являются ареальной особенностью, характеризующей языки значительной часть Азии, Новой Гвинеи и небольшой части Европы.

Парные слова и определенный тип неточной редупликации, эхоредупликация, имеют в Евразии сходные ареалы (что отмечается, в частности, в (Дмитриев 1962: 133)); например, оба явления очень продуктивны в тюркских языках (ср. узб. редупликация *мева*

‘фрукт’ ~ *мева-чева* ‘разные фрукты’ и парное слово *урф-одат* ‘со-вокупность обычаев’, букв. «обычай-привычка»), во многих индоиранских языках, в языках Юго-восточной Азии (сино-тибетских, мон-кхмерских и некоторых других).

**1. Редупликация.** В современном русском языке существует три продуктивные модели неточной редупликации, которые можно обозначить характерными примерами – *зелень-мелень*, *тортики-шмортики* и *автобус-фигобус* (последняя модель имеет разные варианты, более и менее обценные)<sup>1</sup>. Эти русские повторы являются частным случаем распространенных во многих восточных языках эхоповторов. Так называют неточную редупликацию с фиксированной инициальной копии, выражающую пропозициональное значение ‘X и подобное’ и эмоциональную оценку (не очень серьезное или пренебрежительное отношение к X). Обычно это правосторонние повторы (как и в русском языке). Самая распространенная модель эхо-слов – правая редупликации с <м> в начале копии, известная во многих тюркских языках, в халха-монгольском, персидском, индонезийском, новоиндийских языках и т. д. С точки зрения славистики особенно интересны данные тюркских языков, поскольку славяне имели тесные контакты именно с тюркоязычными народами: восточные славяне с хазарами, печенегами, половцами, татарами, башкирами, балканские славяне с булгарами и турками. Во многих тюркских (и вообще восточных) языках редуплицированные формы значительно более нейтральны стилистически, чем в русском языке: редупликация обычно описывается в стандартных грамматиках этих языков; в башкирском языке, как отмечал Н. К. Дмитриев, такие формы встречаются в научных текстах и школьных учебниках.

Указанные выше модели редупликации являются частью разговорного варианта русского языка. Они активно используются в непринужденной обстановке (в том числе и теми, кто составляет соци-

альную базу стандартного языка, например профессорами-филологами), а также в тех письменных текстах, которые отражают некодифицированную разговорную речь (художественная проза, определенного рода газеты, например «Московский комсомолец», тексты в Интернете, особенно диалогические). Можно выделить такие редуцированные формы, которые стали «фактом русского лексикона», и окказионализмы, хоть и понятные большинству носителей, но «лишь у меньшинства составляющие активную модель» (Беликов 1990: 82). Примеры такой редупликации встречаются и в диалектных словарях: у казаков-некрасовцев *птица-мница* (*Барсуки дыню ели, то зверю едят мелкую, птицу-мницу* (СРНГ 33: 101)), ветл. костром. *сколоты́-молоты́* ‘о чем-либо, не стоящем внимания, пустяковом’ (от *сколо́та* ‘суматоха, тревога, переполох’ (СРНГ 38: 59)), пск. *гольшмоль* (ПОС 7: 74), *бурда́-мурда́* ‘о постном водянистом супе’ (ПОС 2: 216) (впрочем, зафиксировано и отдельное *мурда́* в северных диалектах: карель. ‘сор, мусор, прибываемый к берегу’ (Герд 3: 271), белозер. ‘грязь, пачкающая снасти’ (СРНГ 18: 353)). Редупликация в языке казаков-некрасовцев имеет прозрачные тюркские корни (обусловленные тесными контактами этих казаков с татарами), а остальных примеров недостаточно, чтобы предполагать наличие в деревенских диалектах эхо-редупликации. Видимо, продуктивные модели эхо-редупликации являются чертой городской разговорной речи. Впрочем, есть несколько примеров эхо-редупликации из деревенской речи, в которых используются нетривиальные, возможно, окказиональные, модели: *всю технику в Фирово оставили, а нам не оставили ни коры́та, ни вары́та* (д. Хриплы Фировского р.-на Тверской обл., зап. М. Н. Толстой); белор. диал. *шо ты варыш, капусту-хондзюсту або крышаны-хондзяны?* (Крывіцкі, Цыхун, Яшк ін 5: 251), редупликативная копия мотивирована словом *хондзя* ‘малярия’.

Две редупликативные модели (*м*- и *шм*-редупликации) можно связать с определенными этнолектами русского языка. Этнолектом называется разновидность языка, особенности которой обусловлены интерференцией с другим (часто основным) языком; обычно этнолекты привязаны к определенному региону (Беликов, Крысин 2001: 24).

В качестве источника *шм*-редупликации в русском (а также в английском, польском и др.) указывался идиш, ср. идиш *tojre-šmojre* 'страх', *libe-šmibe* 'любовь'. В некоторых случаях происхождение *шм*-редупликации осознается и обыгрывается носителями; например, в националистическом тексте *шмутин* обозначает не только 'кто-то похожий на Путина', но и передает связь этого человека с еврейской средой: *После путина придет шмутин и еще несколько кукол евреев, потом возможно будет гос. переворот, захват власти настоящими правыми* (из Интернета).

Для *м*-редупликации базовым этнолектом является язык жителей юго-восточных регионов СССР (Кавказ, Закавказье, Средняя Азия и др.), см., в частности, (Иванов 2000: 332). В художественной литературе можно найти множество примеров, когда такие формы (наряду с фонетическими и грамматическими отклонениями от норм русского языка) используются при воспроизведении кавказской речи, например: *Соус-моус*. — *Акоп обсыпал солью черные сожженные кусочки и подвинул миску на середину*. — *Кушайте, гости дорогие!* — *Он обвел рукой стол*. — *Вино-мино, сыр-мыр, шашлык-машлык из молодой барашек* (Олег Радзинский. На шашлыки. (1985)<sup>2</sup>. Интересен пример, где цитатой из восточной речи является только сама редуплицированная форма: *Чай – липтон-миптон – тоже, понятно, не из Индии, а из Армении...* («Московский комсомолец»). Употребление этой формы указывает не только на то, что чай – подделка, но и на регион, где он произведен. Так как с «южанами» связаны опреде-

ленные социальные стереотипы – они ассоциируется прежде всего с рынком – то в русском разговорном языке в наибольшей степени закрепились такие редуцированные формы, как *шашлык-мышлык*, *зелень-мелень* и некоторые подобные. Показателен например такой текст (фрагмент статьи в «Московском комсомольце»), где одним из маркеров «кавказской» речи, проникающей в русский разговорный язык, является как раз редуцированная форма *зелень-мелень*: *еще два-три года [...] – и они поглотят Москву полностью [...], и москвичи начнут курлыкать «по-ихнему», ходить в «белый рубашка, белый брюки» и кушать «зелень-мелень».*

Затруднительно однозначно ответить на вопрос, откуда модель *деньги-меньги* заимствована в русский язык. В работах начала XX в. (М. Джафара и Н. Дурново) говорилось о ее тюркском происхождении. Однако ситуация несколько сложнее. Русский язык всё время подвергается различным влияниям со стороны тюркских, кавказских, иранских и других восточных языков, в той или иной степени использующих эту редупликацию. Очень вероятно, что данная редупликация в основном проникла в русский язык «из тюркских языков через посредство кавказских народов» (Эйсман 1994: 166).

К сожалению, к настоящему моменту собрано мало достоверных сведений, позволяющих судить о хронологии распространения м-редупликации в русском языке. А. Крымский приводит следующий факт: в 1856 г. А. Ф. Писемский во время своего путешествия по Волге записал в Астрахани шуточные стихи, которые бытуют среди тамошних русских. В них воспроизводится армянская речь с такими редуцированными формами, как *варен-марен*, *канфет-манфет*, *калач-малач*, *кишмиш-мишмиш*. Издавая свои «Путевые очерки», Писемский пояснял для российских читателей: «Варен-марен, канфет-манфет, калач-малач соответствуют нашему: варенье не варенье, конфеты не конфеты, калач не калач, т. е. всякие варенья, всякие

конфеты». Исходя из наличия этого пояснения, можно утверждать, что в то время в России такие формы еще не были распространены и могли быть непонятны. А. Крымский считает, что важнейшую роль в популяризации редуцированных форм сыграли «армянские анекдоты», ставшие популярными в обеих столицах в конце XIX в. (Крымский 1928: 147). Вероятно, широкое распространение этой редуцикации пришлось на двадцатые годы. Октябрьская революция повысила социальную мобильность населения России, в результате чего языковые явления, характерные для отдельных групп (занимавших низкое положение в социальной иерархии), проникли в общенародный язык. Например, в 1932 г. некий рабочий Секалов (маловероятно, что его язык был восточным этнолектом русского языка) употребляет редуциацию *колхозы-малхозы* (из дневниковых записей К. Чуковского (Чуковский 1991)).

Если продуктивные синтаксические редуциативные образования, эхо-слова, можно со значительной долей уверенности считать заимствованиями, то сложнее обстоит дело с нерегулярными, подчас немотивированными, редуциациями. Для семантики таких образований существенно не столько мотивирующее слово (если оно вообще есть), сколько сама экспрессивная модель рифмованного сочетания. Впрочем, некоторые конкретные редуцированные формы можно с той или иной долей уверенности отнести к заимствованиям. Например, *хурды-мурды* сиб. 'домашний скарбишка, всячина, пожитки', астр., оренб. 'хлам', терск. *хурда-мурда* 'то же' (Даль 4: 569); (Фасмер 4: 285) (*Под печку рогачи, а конурка – туда мы хурду-мурду кладем* (дон. (СРНГ 14: 271))). Первая часть этого сочетания заимствована из тур., азерб. *xurda* 'мелочь, вещь, не имеющая цены', азерб. *xurda* 'мелочь, крошки, остатки'; однако, быть может, заимствована была уже редуцированная форма вроде тур. *xurt-murt* 'безделицы', *xurty-purty* 'старые платья, ветошь' (Фасмер 4: 285); (Аникин

2000: 654–655). Едва ли можно связывать второй компонент с северным *мурда́* ‘сор, мусор, прибываемый к берегу’, ‘грязь, пачкающая снасти’ (см. о нем выше); напоминает моск. разг. *шурды-бурды* ‘всякий народ, всё больше малогодные люди’ (Дурново 1902), однако едва ли тут есть этимологическая связь, скорее это общность фонетической модели. Сочетание *фокус-покус* выглядит как правая редупликация с заменой инициала на [p], однако исторически устроено как раз наоборот (*фокус* выделилось из *фокус-покус*, в свою очередь возникшего из нем. *hocus-pocus* под влиянием *фокус* ‘точка пересечения лучей’, см. (НРЭ: 225-226)). *Фигли-мигли* заимствованы из польск. *figle-migle* / *figli-migli* ‘проказы’, но на русской почве их можно сопоставить с целым рядом редупликативных образований сходной семантики - *жигли-мигли* ‘любовный шепот, перемигивание’, ‘любовные забавы’ при *жигли* ‘плутни’ (см. про это сопоставление и вообще про этимологию *фигли-мигли* в (НРЭ: 250-251)), *шурры-муры*, волог. *кърцы-мърцы* ‘любовные дела, похождения’ (СРНГ 16: 148). Рус. разг. *ша́хер-ма́хер* ‘недобросовестная, ловкая сделка или торговля’, ‘мелкий плутоватый делец’ заимствовано, видимо, из идиш, ср. нем. *schachern* ‘торговать, менять, барышничать’, *Machen* ‘делец’ (Виноградов В. В. 1999: 820–821).

Редупликация и сходные рифмованные сочетания часто используются в определенных жанрах фольклора: в песнях, считалках и загадках (в качестве субститута загаданного слова). У таких сочетаний часто нет семантики как таковой. В частности, хотя для редулицированных форм в загадках приводятся «значения» (например, *жалта-балта* ‘волк’, *шарда-барда* ‘свинья’), эти заумные формы не означают понятия, а просто замещают загаданные слова: *пришла жалта-балта, унесла шарду-барду* (курск., Садовников (СРНГ 19: 78, s.v. *мякинник*)). В отдельных случаях, конечно, такие сочетания имеют мотивацию: например, *путляно, мутляно* ‘изгородь в поле’ (*Путля-*

но, мутляно, до лесу тянуто, без узла связано (СРНГ 19: 28)) мотивовано чем-то вроде *путло* или *путля* (эти слова обозначают различные веревки, ремни, нитки (СРНГ 33: 152–153)). Севернорусский заумный субститут слова «ручей» в загадке (*Чирандо-выранто под огороду гнется*) может быть этимологизирован через севернорусскую лексику, заимствованную из карельского: *чирандать* ‘сочиться’, *выранда* ‘куча хвороста, корчевье, новь’ (Орел 1977: 321). Субститутами являются также эвфемизмы, например, *килди-милди* ‘причинное место’ (?), известное из текста Кирши Данилова: *Пустился недуг с сердцу – а пониже ее пупечка да повыше коленечка, между ног килди-милди* (Кирша Данилов, № 2). А. Е. Аникин предлагает для этого слова, точнее, для первой его части, тюркскую этимологию: *килди* может быть 3 л. ед. ч. прош. вр. от *kil-* ‘приходить’ (впрочем, не совсем ясна семантическая мотивация этой этимологической гипотезы).

В текстах традиционного фольклора представлена как правая редупликация (неточная копия ставится, как и в разговорном языке, после исходного слова), так и более необычная левая. Вот несколько примеров правой редупликации: *коклюшка-маклюшка* (чернояр. астрах., из шуточной песни (СРНГ 14: 89); слово *коклюшка* обозначает разные палки, например в ткацком стане), *кóршин-моршин* ‘коршун’ (дон. (СРНГ 15: 33)), *цуцик муцик* (укр. от *цуцик* ‘пес’ (Чебанюк 1987: 338)), *шендрики-мендрики* (Чернояр. Астрах., (СРНГ 18: 108), от *ше(н)дровать* ‘ходить в канун Нового года ватагами по домам’, то же, что в канун Рождества *колядовать*), *шурин-мурин* (Приморский край, (Болонев, Мельников 1981, № 440)). По свидетельству Н.Н. Дурново, распространенное в фольклоре *гусли-мысли* (Соколовы, № 61), (Киреевский, холмог. арх., цит. по (СРНГ 19: 61)) происходит из *гусли-мусли* (Дурново 1902).

Несколько странное *служеньки-маженьки*, которое автор настоящей статьи, к сожалению, использовал как пример редупликации



(Минлос 2005), является ошибочным чтением вместо правильного *служеньки-матеньки*. Фиксируется *служеньки-маженьки* в сказке из сборника Смирнова: *Вот она [Марья-царевна] вышла на крылечко... и зыкнула: – Служеньки-маженьки, как тятеньке и мамоньке служили, так и мне послужите* (орл. вят, цит. по: (СРНГ 17: 292)). В том же сборнике есть другой вариант этой сказки из тех же мест, где фигурируют *служеньки-матеньки*: *вышла [Марья-царевна] на крылечко... и сзычала: – Служеньки-матеньки, как тятеньке, мамоньке служили, так и мне послужите* (цит. по: (СРНГ 37: 263)); слово *матен(ь)ка* имеет неоднократную фиксацию, прежде всего в Архангельской губернии (СРНГ 18: 21), в данном контексте оно имеет примерно то же значение, что *мамка* ‘кормилица, женщина, кормящая грудью не свое дитя’, ‘старшая няня, род надзирательницы при малых детях’ (Даль 3: 302), а парное слово *служеньки-матеньки* довольно похоже на устойчивое сочетание *няньки-мамки* (см. подробнее о нем: (Минлос 2005)). Видимо, рукописное *t* было прочитано как *ж*; в серии статей А. Ф. Журавлева предлагается целый ряд корректур для материалов СРНГ, в частности, предполагаются ошибочные чтения рукописного *t* как *ж* для диал. *омеж* ‘снежный сугроб возле дома’ (Журавлев 2001: 277), *недостижки* ‘недостатки’ (Журавлев 2001: 270), *панкружство* ‘банкротство’ (Журавлев 2002: 385); для *закуртеветь* ‘заиндеветь’ предлагается чтение рукописного *ж* как *t* (Журавлев 1995: 190).

Как уже отмечено выше, в фольклоре зафиксированы и случаи более необычной левой редупликации (когда редупликант ставится перед основной), например в сибирской колядке *Шахнул, махнул правой рукой* (Болонев и др. 1997, № 9). Они достаточно немногочисленны в русской традиции, будучи более характерными для белорусского и украинского фольклора. Так, Н. Н. Дурново приводит примеры *шейна-война* и *шень-пень* из Белорусских пословиц Носовича,

последний пример находим также в белорусской считалке: *Шэнь-пень, я, – вергень* (Барташэвіч 1972, № 882). У Дурново также фигурирует пример *шуги-луги* из песни (*Ой зайду ж бо я в шуги-луги*), место бытования которой не указано, однако, судя по частице *бо*, это малороссийский текст. Нет у Дурново никаких указаний на происхождение сочетания *шуря-буря* «из песни про комара», однако можно предположить, что оно взято из украинской песни (ср. укр. *шуря-буря* ‘вихрь’, (Гринченко IV: 520)). Это же сочетание, с регулярным для белорусского языка отвердением [р], фигурирует также в белорусской детской песенке про комара: *Наляцела шура-бура, камарочка з ліста здула* (Барташэвіч 1972, № 249); *Скуль узяліся шуры-буры, узялі таго камарыка з дуба здулі* (там же, № 436) и в белорусском заговоре *схватилося шуро-буро, звалінавалось сине море* (гомель. (Полес. заговоры, № 552)). Видимо, из этого сочетания происходит фамилия *Шурабура*. Судя по тведрому [р], из белорусского языка заимствовано сочетание *шуры да буры* в «волошебной» песне из Андреапольского района (*Как поднялися шуры да буры, Шуры да буры – мелкие дожди!* (Шаповалова, Лаврентьева 1998, № 113)). Следует сопоставить рифмованное сочетание *шуря-буря*, которое кажется левой редупликацией, с глагольным сочетанием белор. *шуроваў, буроваў* (гомель. (Полес. заговоры, № 136)); *шчароваў, буроваў* (гомел. (там же, №137)). Ср. укр. *шерть-верть* = *круть-верть* (Гринченко IV: 439) из считалки: *Шерть-верть, бери четверть – выйшло роковé. (четверть ‘четверть’, роковé ‘годовой сбор, собираемый с прихожан священником’)*.

Особенно много примеров редупликации содержат детские считалки, которые по этой причине особенно ценны для наблюдений над фонологической структурой рифмованных сочетаний (см. ниже).

**2. Парные слова.** О. Б. Ткаченко обратил внимание на тот факт, что парные слова очень обильно представлены в русском традицион-

ном фольклоре и значительно меньше – в белорусском и украинском. Русские парные слова вообще и сказочный зачин *жил-был* в частности не имеют никаких славянских параллелей; парные слова в русском языке – ареальная изоглосса, связывающая русский язык прежде всего с соседними тюрскими и финно-угорскими языками. Широкое распространение пары типа ‘жить-быть’ именно в финно-угорских языках, в частности в качестве сказочного зачина, позволяет связать происхождение этой пары в русском языке с влиянием прибалтийско-финских языков (точнее, с мерянским субстратом русского языка), что подтверждается географией бытования этого зачина на русской территории (Ткаченко 1979). Впрочем, такое предположение не отменяет общепризнанного возведения *жил-был* к формам старого плюсквамперфекта, тут вполне оправданно говорить о «встречном движении» сходных форм в контактных языках (Петрухин, Сичинава 2006: 209).

У элементов парных слов обычно можно выделить нетривиальные общие семантические компоненты. В предельном случае в парное слово объединяются синонимы. Довольно распространено сочетание квазисинонимов; оно интерпретируется через обобщение, если значения пересекаются (Мельчук 1974: 83); (Апресян, 1974: 235-239), или, по другой формулировке, несовместимы (Кобозева 2000: 100-104). В частности, сюда можно отнести такие пары, как *отец ~ мать*, которые часто называют антонимическими (Тенишев 1976: 116), однако были исключены из антонимов в подробном исследовании антонимии, предпринятом в «Лексической семантике» Ю. Д. Апресяном (Апресян 1974). В «суммирующей» модели можно различать два подтипа, которые называются у Вэлхли аддитивным и собирательным. В собирательном парном слове для обозначения всего класса выбирается пара ярких, прототипических представителей, как в узб. *қозон-товоқ* ‘посуда (разного рода)’, букв. «котел-глубокая

глубокая глиняная чашка» (Кононов 1960: 136), тув. *балды-кержек* 'железные, острые инструменты для плотничьих работ', букв. «топор-тесло» (Ондар 2004: 11). В русском традиционном фольклоре мало ясных примеров такого рода пар. В аддитивном парном слове два элемента исчерпывающим образом описывают целое, как в очень распространенной паре «отец-мать» 'родители' (узб. *ота-она* (Кононов 1960: 136), каракалп. *ата-ана* (Баскаков 1952: 184), тув. *ада-ие* (Ондар 2004: 9)). В восточнославянском материале такая модель надежно представлена, хотя и довольно ограниченным набором примеров.

Рассмотрим подробнее парные слова *пить-есть* и *поить-кормить*, которые можно с определенной долей условности отнести к аддитивным (т. е. предполагать, что эти пары обозначают лишь сумму этих ситуаций, а не что-то более широкое). В русском традиционном фольклоре достаточно последовательно фиксируется порядок *пить-есть* (рус. *пьют-едят* (Кирша Данилов, № 5); *пьет-ест, прохложается* (там же, № 18, 156); *стали пити-ясти, прохложатися* (там же, № 18, 160); *пьют-едят, прохложаются* (там же, № 32, 256)), пск. *пить-есть* (деньги; (ПОС 10: 137)); *нап'итки-наедки* 'яства, угощения' (смол., том., иркут., (СРНГ 20: 76))) и *поить-кормить*: (*поил-кормил* (Кирша Данилов, № 6, 74), *пошла-кормила* (там же, № 19, 170); *напоит-накормит вас, добрых молодцов* (там же, № 24, 204); *вспой-вскорми* (Кирша Данилов, № 26, 220); *наить-кормить* (Киреевский, № 11); *воспоил-воскормил* (Шаповалова, Лаврентьева 1998, № 7)). Тот же порядок фиксируется в других реализациях этих парных сочетаний (в сочинении и в параллелизмах). Для белорусском традиционном фольклоре отмечается тот же порядок (*піці-есці* (Барташэвіч 1972, № 441 и др.)). Украинский материал требует дополнительного изучения. С одной стороны, полевые записи заговоров из Полесского архива устойчиво демонстрируют ту же самую

общевосточнославянскую последовательность: *пыты-есты́* (ровнен., (Полес. заговоры, № 152)), *пить-эсты* (житомир., (там же, № 340)), *пыты, эсты* (житомир., (там же, № 201)), *пить, эсти* (житомир., (там же, № 146)), *питенне, еденне* (киев., (там же, № 140)). С другой стороны, «общеукраинские» фольклорные издания воспроизводят последовательность *істи & пити* (собственно парные слова для украинского фольклора, как известно, не очень характерны): *істи, пити* (Довженок 1986: 264); *сама ість, сама п'є* (там же 1986: 173); *маєм істи, маєм пити* (Чебанюк 1987: 261); *гуля наїсться, гуля нап'ється* (Довженок 1986: 46); *бодай пан їв-не наївся, бодай пан пив-не напився* (Чебанюк 1987: 217); – *А що їли? – Кашку. – А що пили? – Бражку.* (Довженок 1986: 112).

Для современного языка привычной последовательности *есть & пить, кормить & поить*; в этом можно убедиться, воспользовавшись электронным корпусом текстов. Вот данные, полученные с помощью Национального корпуса русского языка. Последовательность *есть & пить* обнаружена примерно в 280 контекстах, а последовательность *пить & есть* – примерно в 170. Сходное соотношение обнаруживается и для сочетания *кормить* и *поить*: *кормить & поить* 86 контекстов, *поить & кормить* 56 контекстов. Поисковая система Яндекс тоже демонстрирует преобладание последовательности *есть & пить, кормить & поить* (текстовая база в этой системе значительно больше, однако результаты поиска менее достоверны).

Известные нам древнерусские данные неоднозначны. Для церковных контекстов нормален порядок *есть & пить*: *ядый и пия* (Киевопечерский Патерик), *въ ядении мнози и в питьи безмѣрнемъ и възростають помыслы лукавии* (Комис. НПЛ, 1074 г.), *ясти же и пити* (Рогожский сборник, 1330). Этот же порядок, впрочем, не огрaчен такими контекстами, ср. *тамо вам что есть и пити* (др.-новгородская грамота на бересте № 1723-2), *не ядят бо бози ни пи-*

ють (Комис. НПЛ, 983 г.). Обратный порядок также нередок: *ты, рече, Перушице, досыти еси пиль и яль* (Комис. НПЛ, 989); *питье и ядение* (Комис. НПЛ, 996), *ни п'итья ні яд'б'нія* (НЧЛ, 1036), *напойте, накормите* (Поучение Владимира Мономаха), *пити и ясти* (Притча о старом муже XVIII в.). В целом, кажется, последовательность *есть & пить* имеет большее распространение, например, она устойчиво фиксируется в церковнославянских текстах (*или объядохся, или опихся* – молитва ко Пресвятому Духу), в хеттских текстах (*kinun=za edmi ekumi* 'теперь я ем-пью', *etza eku* '(ты) ешь-пей!', *adatar akuwatar* 'поедание-выпивание' и др. (Puhvel 1984: 261 ссл., 315 ссл.)). Интересно, что такая же, как в русском, последовательность предикатов обнаруживается и в некоторых финно-угорских языках – в мордовском (эрзя *s'imems-jarsams* 'пить-есть' (Wälhli 2003: 115), *ш'ими-йарсы* 'пьет-ест' (Ермушкин 1968: 364), мокш. *симомс-ярхамс* 'попить-поесть', *симдемс-яндомс* 'напоить-накормить' (Шибасова 2006: 105)), в коми-зыр. и коми-перм. (*удны-вердны* 'поить-кормить' (там же)), ср. финно-угорские примеры с обратным порядком элементов: коми-зыр. *с'ейны-юны* 'есть-пить' (там же), удм. *сиыны-юыны* 'есть-пить' (Шибасова 2006: 112), хантый. *тэснын-яисънынын* 'поели-попили вдвоем' (Ткаченко 1979: 159), эст. *sääta-joota* 'есть-пить' (Ткаченко 1979: 91)). Близость русских парных сочетаний с соответствующими сочетаниями в некоторых волжско-финских и пермских языках можно гипотетически связать с мерянским субстратом русского языка (конечно, эта тема требует более подробного исследования)<sup>3</sup>.

Среди парных глаголов в традиционном русском фольклоре выделяется довольно продуктивная группа квазисинонимичных глаголов с «включением» значений (Мельчук 1974: 83); (Апресян, 1974: 235–239). Обычно в таких парах первый глагол является более общим синонимом, а второй имеет более частную семантику, уточняет значение первого глагола: *убить-застрелить, плакать-рыдать,*

*бить-лупить* и т. п. Этот тип парных слов можно сопоставить с парными глаголами, характерными для синтаксиса некоторых прибалтийско-финских языков, например: карель. *itkõw bröl'l'üõw* 'плачет-всхлипывает', *kaščow hörkõt'i'äw* 'смотрит-пялится' (Макаров 1966: 78).

**3. Фонетические модели.** Неточная редупликация, которая образуется чередованием инициали (как в приведенных выше *шэнь-пень* и *шуни-муни*), всегда содержит рифму. Парные слова и разные устойчивые сочетания тоже часто демонстрируют те или иные фонетические повторы, в частности рифму, точную (например, смол. *серяки-армяки* (СРНГ 37: 228); *серяк* обозначает разного рода повседневную одежду серого цвета, в частности зипун, полукафтан или армяк) или неточную (например, такое достаточно идиоматическое сочетание, как карель. *чóхом-мáхом* 'кое-как' (Герд 6:799)). Таким образом, редупликация и некоторые парные слова характеризуются определенными общими чертами, позволяющими рассматривать их в рамках общего явления рифмованных сочетаний. Их объединяет не только наличие рифмы, но и более специфические особенности. Основной такой особенностью строения рифмованных сочетаний в восточнославянских языках является наличие [м] в начале второго элемента сочетания: в правосторонней редупликации (например в разговорной модели *зелень-мелень*, фольклорном украинском *цуцик-муцик* 'пес'), в немотивированной редупликации (яросл. *шуни-муни* 'тряпье', белор. *чукэр-макэр* в считалках), в левосторонней редупликации (сиб. *шахнул, махнул*) и в парных словах (рус. *кутить-мутить* (Виноградов 1968), *целовать-миловать*, илим. иркут. *шійлье-мýлье* 'о мелочных товарах: иголки, нитки и т. п.' (СРНГ 19: 55)<sup>4</sup>, полес. *кошчи-мошчи* в заговорах (Полес. заговоры, № 144, № 187), укр. *цилує, милує* (Чебанюк 1987: 217)). Согласный [м] можно представить как набор дифференциальных признаков – сонант, назальный, губной.

Кроме того, у [м] есть признак звонкости, который не является различительным, однако существен для фонетической модели рифмованных сочетаний в восточнославянских языках. В этих рифмованных сочетаниях могут (с меньшей частотой) выступать также другие согласные; обычно в них представлены некоторые из указанных четырех признаков согласного [м]. Для строения рифмованных сочетаний релевантны эти признаки, [м] является наиболее распространенным согласным в этих сочетаниях потому, что реализуется их максимальный набор. Из них более важными признаками являются лабиальность и звонкость, а менее важными – назальность и сонантность. Назальный сонант [н] никогда не выступает, насколько нам известно, в функции [м]; иногда представлены сонанты [j] и [p] (например, рус. *шубки-юбки* (Хроленко 1985: 124), белор. *саломіна, яломіна* в считалках, укр. обращение к улитке *павле-равле / павлику-равлику*, правосторонняя редупликация *шуги-луги*). Чаще используется [в] (тоже звонкий губной, причем часто сонант, но неназализованный), ср. примеры из считалок: рус. *солома-волома*, укр. *шіндір, віндір*; иногда [л] (глухой губной взрывной), как в паре *шататься-пытаться*, известной из смоленских «волошебных» песен, или в белорусской редупликации *шэнь-пень*. Однако чаще всего, подчас наравне с [м], в начале второго элемента рифмованных сочетаний выступает звонкий губной [б]: приведенные выше редулицированные формы вроде *колды-балды, калыбалы, галу-галу, алени-балени, талалы-балалы*, а также ураль. *принджи-брынджи* ‘болтать’, белор. *сахар-бахар*, укр. *гейло, бейло* в считалках, такие парные слова, как рус. *жил-был*, белор. *колочи, болючи* в заговорах.

Существуют также определенные предпочтения, связанные с выбором инициала первого элемента: это чаще всего заднеязычный глухой или спирант. Наиболее обширный и показательный материал для изучения фонетических моделей дает немотивированная редуп-



ликация в считалках. В результате обследования некоторого корпуса восточнославянских считалок (Виноградов 1998, Виноградов Г. С. 1999, Топорков 1998) была выведена следующая иерархия встречаемости согласных в начале первого элемента: [ч] (белор. *чукэр макэр*) > [ш] (укр. *шэнец, мэнец*) > [к] (рус. *колдыш, молдыш*) > [т] (рус. *туни, муни*). В левосторонней редупликации лучше всего представлен [ш]: рус. *шерба верба, шарин барин, шерстень-перстень, шальчик-мальчик*, укр. *шуря-буря, шертъ-вертъ*, белорус. *шень-пень, шейна-война*, ср. также левую редупликацию, универсально используемую в считалках во всех восточнославянских регионах: рус. *шишел, вышел*, белорус. *шышал, вышал*, укр. *шийшов, вийшов / шишов, вийшов*. Реже встречается [ч], [т], [д]: *черемья-беремья; чуха муха; чикинь, выкинь; тыкинь выкинь; тарин-барин; тончик-звончик; дышла, вышла; дыкинь, выкинь; дикинь выкинь*; еще реже [з], [ж]: *зикинь выкинь; зыкинь, выкинь; жшлезь, вылезь*<sup>5</sup>.

Левая редупликация обычно происходит при начальном губном из-за нежелательности правой редупликации с губным, которая создавала бы недостаточно неточную редупликацию (начальные фонемы редупликанта и копии были бы очень похожими или совпадали). При этом левая редупликация удовлетворяет той же фонетической модели, что и остальные рифмованные сочетания. То есть направление редупликации варьируется, чтобы удовлетворять требованиям общей фонетической модели.

Кажется, яснее можно осознать славянскую модель, сопоставив ее с морфонологическими вариантами редупликации в тюркских языках.

В основном модели вроде *m*-редупликации распространены в «западных» тюркских языках (кыпчакских, карлукских и огузских). В некоторых тюркских языках, например в турецком, [*m*]-редупликация, судя по всему, является единственной моделью эхо-повторов

(Lewis 1967: 237): *sonu tonu yok* ‘нет конца или чего-нибудь вроде конца’, (ответ на реплику «Расскажи мне о конце этого дела»). Однако в большинстве языков существует целый набор таких фиксированных согласных фонем.

Во многих тюркских языках представлена правая редупликация с [п] в начале копии: это основная модель в карлукских языках (т. е. в узбекском и уйгурском): узб. *ош-пош* ‘пища и всё ей подобное’, узб., уйгур. *нон-пон* ‘хлеб и другие мучные изделия’, уйгур. *чока-пока* ‘разного рода палочки для еды’ (Кононов 1960: 137, Кайдаров 1958: 64)), она представлена также в каракалпакском: *китан-питан* ‘книги’, *шелек-пелек* ‘ведра’ (Баскаков 1952: 187) и казахском: *нан-пан* ‘хлеб (скорее плохой) и все предметы, связанные с употреблением хлеба’, *шай-пай* ‘чай (скорее плохой) и все предметы, связанные с употреблением чая’ (Мельчук 2000: 57). Редупликация с [п] не упоминается в довольно подробных описаниях башкирской редупликации (Дмитриев 1948); (Дмитриев 1962); (Гарипов 1959); (ГСБЛЯ).

Для тюркских языков также довольно характерна [ч]-инициаль, особенно при редупликации слов с начальным губным: узб. *мева* ‘фрукт’ ~ *мева-чева* ‘разные фрукты’; *майда* ‘мелкий (некрупный)’ ~ *майда-чуйда* ‘всякая мелочь’ (Кононов 1960: 137–138); уйгур. *мевъ-чевъ* ‘фрукты’, *қорай-чорай* ‘разного рода кураи (т. е. башкирские флейты)’ (Кайдаров 1958: 64); карач.-балк. *бутакъ-чутакъ* ‘сучки-ветки’ (там же: 64), *мюййуз-чюййуз* ‘рога’, *мал-чал* ‘скот’, *миз-чиз* ‘шило’ (Чабичев 1971: 271). Известно, что [ч]-повторы отсутствуют в казахском и киргизском (Кайдаров 1958: 64).

В некоторых тюркских языках есть [с]-повторы. Такие формы продуктивно образуются в каракалпакском, например *пыйяз-сыйяз* ‘овощи’ (*пыйяз* ‘лук’), *мал-сал* ‘скот’, *той-сой* ‘пиры и забавы’ (*той* ‘пир’) (Баскаков 1952: 187) и существуют в уйгурском, например:

*киртиң-сиртиң болушмақ* ‘прекаться, препираться’ (Кайдаров 1958: 64).

В башкирском языке существует [h]-редупликация и [c]-редупликация, которые со сравнительно-исторической точки зрения должны сопоставляться соответственно с [c] и [ч]-редупликацией, так как башкирское [h] происходит из тюркского \*c, а башкирское [c] – из тюркского \*ч. Отмечается, что в башкирском языке [h]-редупликация характерна прежде всего для северных диалектов, например: *ыласын-һыласын* ‘сокол-мокол’ (Дмитриев 1948: 76); про диалектную привязку [c]-редупликации ничего не сообщается, но видно, что значительно менее распространена, особенно это бросается в глаза в материалах Н. К. Дмитриева, где содержится более 40 примеров [h]-редупликации, более 20 примеров [м]-редупликации и всего 2 повтора с [c]: *тjис sejis* ‘разные печи’, *bewülü* ‘колебаться’ ~ *bewülü-sewülü* ‘колебаться и раскачиваться’, ср. также *ала-сола* ‘пятнистый’ [ГСБЛЯ 192], *ботақ-сотақ* ‘всякие ветки, сучки, коряги’ [там же 115].

Маргинально отмечается также [ш]-редупликация: башк. *малай-шалай* ‘всякие мальчишки’ (ГСБЛЯ 115), Н. К. Дмитриев в (Дмитриев 1948: 77) утверждает, что во всех башкирских диалектах *малай-шалай*; ср. тат. *малай-шалай* ‘всякие мальчишки’ (Бурганова, Закиев и др. 1969: 156). Достаточно редки в известных нам описаниях также [б]-повторы: татар. *агач-богач* ‘дровишки’ (там же: 156), гагауз. *сенек-бенек* ‘пестрый, в крапинку’ от *сенек* ‘пестрый’ (Покровская 1964: 103), каракалп. *шара-бара* ‘старые вещи’, *әләмәт-бәләмәт* ‘приметы’ (Баскаков 1952: 187); узб. немотивированная редупликация *ажу-бужу* ‘каракули’, ‘плохо выполненная работа’ (Кайдаров 1958: 138). Каракалп. *шара-бара* ‘старые вещи’ явно напоминает рус. диал. (вятск., перм., оренб.) *шарáбара* ‘хлам, рухлядь’ (Даль 4: 640); (Фасмер 4: 407), что делает менее убедительной этимологию этого

слова из гипотетического монгольского парного слова *шаар бараа* (*шаар* 'отбросы, брак', *бараа* 'скарб, пожитки'), предлагаемую Ю. В. Откупщиковым (Откупщиков 2001: 85).

В тюркских языках, как и в восточнославянских, затруднено образование [м]-редупликации при начальном губном. В турецком, где нет никакой морфонологической альтернативы [m]-редупликации, при начальном [m] редупликация вообще невозможна (а при других губных образуется по общему правилу: *partiler, martiler*) (Lewis 1967: 237–238). Однако во многих других тюркских языках, как показано выше, при начальном губном используется правая редупликация с копией, начинающейся на [ч] (*мева-чева* 'разные фрукты', уйг. *қорай-чорай* 'разного рода кураи', карач.-балк. *мюййуз-чюййуз* 'рога'); напомним, что в восточнославянских языках у слов с начальным губным возможна левосторонняя редупликация с согласными [ш] или, реже, [ч] в копии (*шышел-вышел, черемя-беремя*). Думается, что это не случайное совпадение, а общая особенность рифмованных сочетаний в тюркских и восточнославянских языках. Различие в направлении редупликации в этих случаях тоже можно объяснить. В тюркском это грамматикализованное явление, для которого важнее фиксированное направление, чем идеальное следование фонетической модели рифмованных сочетаний. Восточнославянские слова, наоборот, являются более-менее «штучными» образованиями, достаточно точно подчиняющимися фонетической модели: второй элемент должен начинаться на губной согласный, а первый часто бывает спيرانтом (обе закономерности были сформулированы на тюркском материале Карлом Фоем).

Фиксированная инициаль [ш] в восточнославянской редупликации типа *шерстень-перстень, шуря-буря* имеет также более далекую параллель в виде фиксированной инициали [шм] в разговорной редупликации (*танцы-шманцы, торттик-шморттик*), которая как бы объе-

диняет две согласных, часто используемых в редупликации; кстати, странный повтор в русском фольклорном *бархаты немецкие, на-шмушмецкие* (Соколовы, № 321) поразительно напоминает [шм]-редупликацию, однако историческое объяснение этого сходства предложить трудно. Можно отметить выдающуюся активность начального [ш-] в арготическом словотворчестве: эта фонема входит в интересный русский префикс *ши-* (*шиворот, шибздик* и т. п.), с нее, как отметил И. И. Ревзин, начинается необычно много корней в воровском арго (*шмотки, шмальнуть, шмон, штефкать* 'есть', *шкаренки* 'брюки', *шмара* 'женщина легкого поведения' и др.).

**4. Выводы.** Рассмотренный восточнославянский материал неоднороден с исторической точки зрения. С одной стороны, в разговорном языке присутствует две модели, сравнительно недавно заимствованные в русский язык (*м-* и *шм-*редупликация). Фольклорная редупликация, хотя часто выглядит сходно с разговорной (например, *шурин-мурин, сахар-махар*), не может быть объяснена как вырожденная, десемантизированная ее форма. Показательно, что при заметном формальном разнообразии морфонологических моделей в считалках, модель *танцы-шманцы* там совсем не отмечена. Фольклорная редупликация, наряду с различными фонетически сходными рифмованными сочетаниями, вроде *целовать-миловать, кутить-мутить*, появилась в восточнославянских языках раньше разговорной редупликации (о чем писал один из первых ее исследователей А. Крымский) и едва ли является заимствованием из восточных языков (вопреки мнению Н. Н. Дурново): гипотеза о восточном происхождении моделей рифмованных сочетаний не может объяснить их широкого распространения в Европе.

Продуктивность данной модели нагляднее всего демонстрируется тем, что сочетания этого типа легко придумывают маленькие дети. В этой связи еще Р. О. Якобсон обратил внимание на записанный

К. И. Чуковским текст двухлетней девочкой: *Кунда, мунда, карамунда, дууда, бунда, парамун* («От двух до пяти»); в главе «Стиховые подхваты» К. И. Чуковский приводит и множество других подобных примеров. Думается, что таких текстов можно было бы собрать довольно много<sup>6</sup>. Ясно, что такая продуктивность этих образований делает «этимологический» подход заведомо фрагментарным. Радикальная альтернатива версиям о заимствованиях – предположение о том, что порождение подобных сочетаний входит во врожденные языковые навыки человека, ср. формулировку Вяч. Вс. Иванова: «...столь широкое распространение таких сочетаний исключает один-единственный их источник (например, тюркский) и заставляет искать в них, как и в других, с ним сходных, проявления некоторых общечеловеческих языковых устремлений» (Иванов 2000: 333). Конечно, рифмованные сочетания определенным образом реализуют врожденные лингвистические инстинкты человека, однако реализуют их в рассматриваемых языках достаточно конкретными моделями. Видимо, распространение этих моделей неудовлетворительно описывать как результат простых заимствований, скорее следует говорить о широком языковом ареале (который, конечно, возник в результате близких контактов входящих в этот ареал языков). С другой стороны, ареал грамматических моделей, которые мы обсуждали – разговорной *м-* и *шм-*редупликация и парных слов – можно связать со значительно более конкретными языковыми контактами. Происхождение данных редупликаций общеизвестно; что касается парных слов (распространенных прежде всего в русском языке), то наряду с общеизвестным влиянием тюркских языков не стоит забывать о прибалтийско-финских языках, где парные слова широко распространены. Характерные для русского фольклора парные глаголы имеют хорошие аналогии не в тюркских, а в прибалтийско-финских языках (а парный глагол *жыл-был*, возможно, непосредственно заимствован из

этих языков). Русский язык формировался на территории, занятой прибалтийско-финскими племенами (прежде всего летописной мерей); следовательно, парные слова следует отнести к древнейшим субстратным чертам русского языка.

### Примечания

<sup>1</sup> Впрочем, окказионально формы могут строиться и по другим моделям, ср. *история-кистория...* (эссе А. Бухова “Громоотвод”); см. также диалектные примеры ниже.

<sup>2</sup> Для поиска примеров использовался, в частности, Национальный Корпус Русского языка ([www.ruscorgo.ru](http://www.ruscorgo.ru)).

<sup>3</sup> Возможно, колебания в порядке элементов по крайней мере в некоторых финно-угорских языках объясняются семантически: манс. *äinä-tēnä-ta* (букв. ‘питье-еда-место’) ‘пир’, но *tēnä-äinä* ‘пища, пропитание’ (букв. ‘еда-питье’), см. (Шибасова 2006: 104), однако в целом обнаруженные расхождения между языками так объяснить затруднительно.

<sup>4</sup> К ним относятся также фольклорное сочетание *шильце-мыльце* (например белоз., из детской игры, *за шильце, за мыльце* (Морозов и др. 1997: 102), рус. разг. *шило-на-мыло* и диал. карель. *шило-мыло* ‘ничего’ (Герд 3: 278).

<sup>5</sup> При цитации сохраняем пунктуацию источника.

<sup>6</sup> В нашу задачу сбор этого материала не входил. Приводим образцы детской речи, которые любезно сообщила нам О. А. Абраменко (выделены «правильные» рифмованные сочетания): 1. *жума млума карамлума, карамлума марламума*; 2. *кумка карабумка, // пумпа, румпа*; 3. *турумпэ пупумпэ, // тарам, пупум, // тутэ барабумтэ, // турумтэ, пупумтэ*.

### Литература

Ананичева и др. 2001 — Детский фольклор. Частушки. Серия «Фольклорные сокровища московской земли» / Вступит. ст., сост., коммен. Т. М. Ананичевой, Е. Г. Борониной и др. М., 2001. Т. 4.

Аникин 2000 — *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири. М. — Новосибирск, 2000.

Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., 1974.

Барташэвіч 1972 — *Дзіцячы фальклор / Сост. Г. А. Барташэвіч.* Мінск, 1972.

Баскаков 1952 — *Баскаков Н. А.* Каракалпакский язык. М., 1952. Т. II. Ч. I.

Беликов, Крысин 2001 — *Беликов В. И., Крысин Л. П.* Социоллингвистика. М., 2001.

Болонев и др. 1997 — *Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Песни. Заговоры / Изд. подгот. Ф. Ф. Болонев и др.* Новосибирск, 1997.

Болонев, Мельников 1981 — *Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост., вступ. статья и примеч. Ф. Ф. Болонев и М. Н. Мельникова.* Новосибирск, 1981.

Буков 1971 — *Матеріали до словника буковинських говірок.* Чернівці, 1971.

Бурганова, Закиев и др. 1969 — *Бурганова Н. Б., Закиев М. З. и др.* Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология. М., 1969.

Бурлак, Старостин 2001 — *Бурлак С. А., Старостин С. А.* Введение в лингвистическую компаративистику. М., 2001.

Вайнрайх 1979 — *Вайнрайх У.* Языковые контакты. Киев, 1979.

Виноградов 1968 — *Виноградов В. В.* Историко-этимологические заметки. IV. I: Кутить // *Этимология* 1966. М., 1968.

Виноградов 1998 — *Виноградов Г. С.* Детская сатирическая лирика // *Русский школьный фольклор.* М., 1998.

Виноградов В. В. 1999 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1999.

Виноградов Г. С. 1999 — *Виноградов Г. С.* Детские игровые прелюдии // *Виноградов Г. С.* Страна детей. Избранные труды по этнографии детства. СПб., 1999.



Герд — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994—.

Гарипов 1959 — *Гарипов Т. М.* Башкирское именное словообразование. Уфа, 1959.

ГСБЛЯ — Грамматика современного башкирского литературного языка. М., 1981.

Гринченко — *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Киев, 1909—1911. Т. I—IV.

Даль — Толковый словарь живого великорусского языка *Владимира Даля*: в 4-х тт. СПб., М., 1880.

Дмитриев 1948 — *Дмитриев Н. К.* Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948.

Дмитриев 1962 — *Дмитриев Н. К.* О парных словосочетаниях в башкирском языке // *Дмитриев Н. К.* Строй тюркских языков. М., 1962.

Довженок 1986 — Дитячий фольклор / Сост. *Г. В. Довженок*. Київ, 1986.

Дурново 1902 — *Дурново Н. Н.* Мелкие заметки по русской диалектологии // Журнал министерства народного просвещения. 1902. № VI.

Ермушкин 1968 — *Ермушкин Г. И.* Северо-западные говоры эрзя-мордовского языка. // Очерки мордовских диалектов. Т. 5. — Саранск, 1968.

Журавлев 1995 — *Журавлев А. Ф.* Лексикографические фантомы. 1. СРНГ, А—З // *Dialectologia Slavica*. Исследования по славянской диалектологии. Вып. 4. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1995.

Журавлев 2001 — *Журавлев А. Ф.* Лексикографические фантомы. 4. СРНГ, Л—М // Исследования по славянской диалектологии. 7. Славянская диалектная лексика и лингвогеография. М., 2001.

Журавлев 2002 — *Журавлев А. Ф.* Лексикографические фантомы. 5. СРНГ, О—П // Аванесовский сборник. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002.

Иванов 2000 — *Иванов Вяч. Вс.* Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории // *Иванов*

- Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000.  
Т. II.
- Кайдаров 1958 – *Кайдаров А. Т.* Парные слова в современном уйгурском языке. Алма-Ата, 1958.
- Кирша Данилов – Древние российские стихотворения, изданные *Киршею Даниловым*. СПб., 2000 (т. к. в имеющемся у нас издании строки не пронумерованы, после номера текста указан номер страницы, если текст достаточно большой).
- Киреевский – Записи П. И. Якушкина. Т. 2 // Собрание народных песен П. В. Киреевского. Ленинград, 1986 (после номера текста указан номер строки, если текст достаточно большой).
- Кобозева 2000 — *Кобозева И. М.* Лингвистическая семантика. М., 2000.
- Комис. НПЛ – Комиссионный список Новгородской первой летописи // Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.
- Кононов 1960 – *Кононов А. Н.* Грамматика современного узбекского литературного языка. М.-Л., 1960.
- Кримський 1928 — *Кримський А. Е.* Калач-малач, кішміш-мішміш // *Кримський А. Е.* Розвідки, статті та замітки. Київ, 1928.
- Кривіцкі, Цыхун, Яшкін – Тураўскі слоўнік / Склад. *А. А. Кривіцкі. Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін*: В 5-ти тт. Мінск, 1982–1987.
- Макаров 1966 – *Макаров Г. Н.* Карельский язык // Языки народов СССР, М., 1966. Т. III.
- Мельниченко 1961 — *Мельниченко Г. П.* Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961.
- Мельчук 1974 — *Мельчук И. А.* Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». М., 1974.
- Мельчук 2000 – *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. М.–Вена, 2000. Т. III.
- Минлос 2005 – *Минлос Ф. Р.* Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные слова. // Русский язык в научном освещении, 2005, № 1 (9). М., 2005.

НРЭ – Новое в русской этимологии. I. М., 2003.

НЧЛ – Полное собрание русских летописей. Т. V. Новгородская четвертая летопись. М., 2000.

Ондар 2004 – *Ондар Н. М.* Парные слова в тувинском языке / Автореф. ... канд. филол. наук. М., 2004.

Орел 1977 – *Орел В. Э.* К объяснению некоторых «вырожденных» славянских текстов // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. / Под. ред. Судник Т. М., Цивьян Т. В. М., 1977.

Откущников 2001 – *Откущников Ю. В.* Очерки по этимологии. СПб., 2001.

Петрухин, Сичинава 2006 – *Петрухин П. В., Сичинава Д. В.* «Русский плюсквамперфект» в типологической перспективе // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М., 2006.

Покровская 1964 – *Покровская Л. А.* Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., 1964.

Полес. заговоры – Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х годов) / Сост. Т. А. Агапкина, Е. Е. Левкиевская и А. Л. Топорков. М., 2003.

ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967–. Вып. 1–.

Соколовы – Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю. Соколовых. СПб. 1999. Т. 2.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л., 1965–.

Тенишев 1976 – *Тенишев Э. Р.* Строй саларского языка. М., 1976.

Ткаченко 1979 – *Ткаченко О. Б.* Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979.

Топорков 1998 – *Топорков Л. Н.* Заумь в детской поэзии // Русский школьный фольклор / Сост. Белоусов А. Ф. М., 1998.

Хроленко 1985 – *Хроленко А. Т.* Репрезентативные пары слов в диалектном и устно-поэтическом аспектах // Диалектная лексика 1982. Л., 1985.

- Чабичев 1971 – *Чабичев М.* Карачаево-балкарское именное словообразование. Черкесск, 1971 (цитируется по: Grannes 1978).
- Чебанюк 1987 – Календарно-обрядові пісні / Сост. О. Ю. Чебанюк. Київ, 1987.
- Чуковский 1991 – *Чуковский К. И.* Дневник 1901–1929. М., 1991.
- Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. М., 1986–1987.
- Шаповалова, Лаврентьева 1998 – Жили-были... / Сост. Г. Г. Шаповалова, Л. С. Лаврентьева. СПб., 1998.
- Шибасова 2006 – *Шибасова Н. Л.* Типология парных слов на материале некоторых финно-угорских языков / Дисс... канд. филол. наук. М., 2006.
- Эйсман 1994 – *Эйсман В.* Типы бессоюзных составных существительных в русском и их соответствия в южнославянских языках // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков / Под ред. Нешименко Г. и др. М., 1994.
- Grannes 1978 – *Grannes A.* Le redoublement turk a *m*-initial en bulgare // Балканско езиковзнание. София, 1978. XXI. 2.
- Lewis 1967 – *Lewis G. L.* Turkish grammar. Oxford, 1967.
- Puhvel 1984 – *Puhvel J.* Hittite Etymological Dictionary. Vol. 1–2. Mouton, 1984.
- Wähli 2003 – *Wähli B.* Co-Compounds and Natural Coordination. Stockholm, 2003.

## ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

Проблема заимствований принадлежит к числу наиболее остро дискутируемых в лингвистике. Жаркие споры, развертывающиеся вокруг этого феномена – а он весьма многолик, поскольку включает конкретные номинативные единицы, деривационные и синтаксические схемы, интонационную<sup>1</sup> и артикуляционную специфику, словообразовательные форманты и пр. – отнюдь не случайны.

Данная проблема волнует как языковедов, так и носителей и пользователей этнического языка. При этом обычно речь не идет о том, нужны ли заимствования вообще или же без них можно обойтись. Ответ на данный вопрос был бы слишком очевиден. Стремление к абсолютной самодостаточности любого языка, к тому, чтобы все номинативные потребности полностью удовлетворялись лишь за счет его внутренних ресурсов, было бы попросту абсурдно, поскольку ни одна этническая общность и соответственно ни один язык не могут существовать в условиях полной изоляции от внешнего мира, от контактов с другими этносами, их языками и культурами. Следы этих контактов сохраняются на всех исторических этапах существования языка, остаются они и в культурно-исторической памяти этноса. Нередко именно использование заимствований позволяет компенсировать отсутствие номинативных эквивалентов в родном языке<sup>2</sup>, заполнить лакуны в деривационных цепочках языка-реципиента<sup>3</sup>, удовлетворить потребность в стилистическом варьировании, в обозначении не известных данному социуму реалий и пр.

Заимствования, бесспорно, являются одним из эффективных путей пополнения номинационного фонда любого языка. Мало того, в процессе взаимодействия языков с различной степенью длительности культурной традиции зачастую происходит их функциональное выравнивание, ускоренное формирование «культурного» слоя. Другое дело, как происходит «вживление» заимствований в ткань языка-реципиента и вживляются ли они вообще, не противоречат ли они внутренним закономерностям его развития и не препятствуют ли взаимопониманию членов социума. Ответ на этот вопрос не столь однозначен, он нуждается в тщательном изучении с привлечением большого и разнообразного языкового материала.

Особую остроту и значимость проблема заимствований приобретает в экстремальные периоды жизни общества, к числу которых, несомненно, относится и эпоха глобализации. В этот период практически все языки оказываются в жестких условиях необходимости оперативной переработки и трансляции по каналам коммуникативной связи огромного, стремительно расширяющегося и изменяющегося информационного массива.

Потребность в новых номинациях, столь остро проявляющаяся на этом историческом рубеже, вполне естественно могла удовлетворяться за счет как внутриязыковых, так и внеязыковых ресурсов. В последнем случае мы имеем в виду интенсивный приток заимствований, прежде всего англицизмов.

Важно и то, что в период глобализации в качестве сверхзадачи выдвигается идея формирования единого мирового цивилизационного пространства именно с доминирующим положением английского языка.

Подобное предпочтение последнего, использование его в функции языка-донора обусловлено тем, что ко второй половине XX в. английский язык приобрел устойчивую репутацию языка международного общения, располагающего обширными терминологическими

системами в новейших отраслях науки и культуры, политики, общественной жизни и т. д. Укреплению приоритетного положения английского языка во многом способствовало использование новых информационных технологий и, в частности, создание всемирной, преимущественно англоязычной, информационной сети, существенно расширившей спектр как контактного, так и прежде всего *дистантного* этноязыкового и этнокультурного взаимодействия.

И тем не менее тотальное распространение англицизмов не может не вызывать полемику, развертывающуюся как в теоретической, так и в практической плоскости. Предметом обсуждения при этом становятся не только конкретные номинации, но и вопросы более общего свойства, в частности, возможность и целесообразность проведения политики языкового «протекционизма» для защиты родного языка от иноязычного влияния, создание «статуса благоприятствования» для активизации собственных внутриязыковых ресурсов и пр.

Последний аспект заслуживает особого внимания. Обычно принято считать, что политика, проводимая в отношении заимствований, во многом определяется уровнем культивированности и полифункциональности литературного идиома. Причем, чем прочнее его позиции, тем терпимее относится общество к заимствованиям и наоборот: если литературный язык находится в угрожаемом положении, отношение к заимствованиям становится более настороженным, а иногда и просто недоброжелательным.

Опыт последних десятилетий XX в. эту закономерность несколько корректирует, поскольку на исходе столетия в активную борьбу с наплывом англицизмов включились государства, обладающие развитыми, функционально дифференцированными литературными языками с длительными культурными традициями. Мы имеем в виду прежде всего Францию, принявшую языковой закон, ограничивающий употребление англицизмов.

Бурную полемику в журналистских кругах<sup>4</sup> не так давно вызвал закон о русском языке, представленный Государственной думе в 2003 г.<sup>5</sup> Одной из целей этого закона была защита русского языка от инвазии англицизмов. Впрочем, как этот закон, так и его более поздняя версия, по сути, «канули в Лету», они не были доведены до сведения ни научных кругов, ни общественности, в силу чего их практическая целесообразность лишь вызывает сомнения.

Принятие языковых законов, разумеется, не может служить панацеей в борьбе с притоком заимствований тем более, если учесть, что в условиях наблюдаемого ныне ослабления авторитета кодификации литературного языка, общего снижения речевого стандарта публичной коммуникации, предписываемые меры и рекомендации чаще всего не соблюдаются. И тем не менее есть все основания относиться к заимствованиям максимально серьезно, с учетом возможных последствий как для внутривидового развития воспринимающего языка, так и для внутриэтнической коммуникации.

Вряд ли имеет смысл специально доказывать, что использование заимствований, в том числе и англицизмов, облегчает доступ к современным достижениям в области науки, техники, культуры и пр., т. е. вводит этническую общность в мировой цивилизационный контекст. Важное значение это имеет и при внутриэтнической коммуникации как межличностной<sup>6</sup>, так и публичной. Вместе с тем совершенно очевидно, что для того, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, необходимо иметь определенный уровень культурно-языковой и профессиональной компетенции, который позволял бы оперативно дешифровать поступающую информацию. В противном случае может возникнуть коммуникативный барьер, который неизбежно приведет к искажению, а в конечном итоге и к потере информации<sup>7</sup>.

Злоупотребление заимствованиями, в том числе и профессионализмами, особенно нежелательно в доминирующих ныне устных



СМИ. Несоблюдение этого требования затрудняет реализацию функционального назначения СМИ, предполагающего *мгновенное* доведение до самой широкой аудитории сообщаемой информации. Ее повторное воспроизведение или же разъяснение, а тем более использование слушателем различного рода справочных пособий в большинстве случаев является невозможным. А это означает, что от информационного потока отторгается та часть населения, которая не обладает соответствующей языковой, а также культурной компетенцией<sup>8</sup>.

В этом отношении чрезвычайно интересны результаты социологического опроса, проведенного по инициативе Института чешского языка Чешской АН в 2002 г.<sup>9</sup> Более половины опрошенных составляли лица в возрасте от 30 до 59 лет. Четверть из них имела законченное среднее образование, а одна десятая – высшее. Почти треть респондентов была представлена служащими и одна четверть – пенсионерами. При разработке программы организаторы опроса пытались получить ответ на целый ряд актуальных вопросов, например: определение сферы использования современного литературного чешского языка, оценка уровня речевой культуры как в целом, так и так называемой элиты, т. е. лиц, активно участвующих в публичной жизни (журналисты СМИ, политические деятели и пр.). Особое значение придавалось выявлению отношения респондентов к заимствованиям. По мнению анкетированных, литературный чешский язык чаще всего используется при посещении официальных учреждений (190 очков); на работе (111 очков); в обществе (109 очков). По оценке респондентов за последние годы уровень чешского языка ухудшился (56%), улучшился – 19%; затруднились с ответом 23%.

Для того, чтобы выявить отношение респондентов к заимствованиям, им задавали следующий вопрос: «В разговоре, в надписях, в средствах массовой информации мы встречаемся с употреблением иностранных слов. Насколько часто они, по Вашему мнению, ис-

пользуются?». Основная часть опрошенных (81%) ответила, что иностранные слова употребляются довольно часто или же очень часто; 12% полагали, что они употребляются лишь изредка; затруднились с ответом 7%. Факт очень высокой частотности употребления иностранных слов отмечали респонденты в возрасте старше 60 лет, т. е. 44%. Задавался и следующий вопрос «можете ли Вы назвать заимствования, употребление которых Вас раздражает и не стоило бы в этом случае заменить их чешскими словами?». Утвердительно на этот вопрос ответили 46% респондентов; отрицательно – 54%. Таким образом, более половины респондентов не считают целесообразной замену заимствований чешскими эквивалентами. Было также установлено, что 59% лиц старше 60 лет предпочитают употребление чешских слов; среди молодежи в возрасте до 19 лет с этим согласно лишь 36%. Очевидно, здесь сказывается то, что молодежь более активно приобщается к иностранным языкам, играет роль и факт более высокой частотности употребления заимствований в повседневной речи.

Респондентам также задавался вопрос о том, какие заимствования они предпочли бы заменить на отечественные эквиваленты. Перечень подобных слов весьма красноречив: *memobox – záznamník*; *summit – zasedání*; *trevel – cestování*; *last minut – na poslední chvíli*; *shop – obchod*; *image – vzhled*; *breafing – setkání*; *weekend – sobota, neděle*; *gambler – hráč*; *vizáž – vzhled* и пр. Результаты проведенного опроса подробно освещаются в статье К. Каргановой (Karhanová 2004).

Массированный приток англоязычных заимствований, отмечающийся ныне практически во всех этнических языках, выдвигает на первый план задачу их ускоренной адаптации, как в литературном, так и в повседневном речевом узусе. Проблема адаптации особенно важна для языков, отличающихся от английского своими типологи-

ческими параметрами, к числу которых, несомненно, относятся языки славянские, во всяком случае бóльшая их часть.

Ускоренному протеканию фонетической, морфологической, словообразовательной и пр. адаптации немало способствуют такие факторы, как высокая востребованность обозначения, а также обусловленная этим высокая частотность его употребления в речевом потоке. Совершенно очевидно, однако, что этот процесс не является одномоментным, он протекает во времени<sup>10</sup>; ср. *second-hand* (англ.), на чешской почве: *second-hand*, *secondhand*, *second hand*, вплоть до разговорного *sekáč*, появившегося позже.

Весьма пестрая картина наблюдается в русском языке у высоко частотного англицизма *паблик рилейшенз* (в русском языке имеется лишь эквивалентная описательная номинация «специалист по связям с общественностью»). На ранних этапах появления этого обозначения в русских текстах ему сопутствовала расшифровка: *Современные законы рекламных кампаний и «пиара» (PR – паблик рилейшнз) диктуют музыкантам особые правила игры* (Аргументы и факты 1999). В имеющемся у нас материале данный англицизм может воспроизводиться в виде неадаптированной и адаптированной аббревиатуры<sup>11</sup>, которая функционирует по-разному: а) в качестве самостоятельного слова (*Я считаю, что это великолепный PR для звезд* (Новая газета 2002); *как надо делать PR* (там же 1999); *Я считаю, что «Калаша» это великолепный PR для звезд* (Новая газета 2002); *рынок компромата и пиара* (там же 2002); *подготовка пиара* (там же 2002); б) в качестве комбинированного обозначения с включением начальной аббревиатуры по типу *ВИЧ-инфекция; VIP-персона; VIP-орган; VIP-список; VIP-гость*; чешск. *Hi-fi studio; hi-fi technika; hi-fi souprava; hi-fi technika; LP desky; NC středisko; RH paprsky*. Ср.: *рассказала PR-директор студии Марина Калинкина* (Новая газета 2002); *PR-энергия* (там же 2001); *Каковы причины такого нетривиального pr-хода. Как*

сработает нехитрая пр-акция (там же 2001); PR-агентство (там же 1999); Знаменитый PR-центр (там же 1999); стоящий за этой искусно срежиссированной PR-акцией (там же 2001); в) в составе сложного слова с несогласованным препозиционным компонентом в виде адаптированной аббревиатуры (Несмотря на все пиар-старания (Новая газета 2002); вы могли стать объектом пиар-атаки (там же); Началась ранняя пиар-подготовка (Новая газета 2003); г) в комбинации с суффиксоидом или суффиксом (знатные PR-мены общались (Аргументы и факты 1999); в тексте рекламы: Купим опытного PR-щика (Новая газета 2001); пиарщики дружат между собой (там же 2002). Ср. также производные: пиарить; впиаривать; перепиарить; по пиарным надобностям и пр.; см. в контексте: начинают впиаривать избирателям (Новая газета 2003); за контекст пиарящие канал агентства не отвечают (там же 2002); Не по каким-то пиарным надобностям (там же 2001); В выборах-99 в Госдуму Лисовский пиарил на Отечество (там же 2000); с поездкой Путина перепиарили (НТВ-Итоги); Качество пиарства не стало лучше (Эхо Москвы 2003) и т. п.

Примером постепенной адаптации в чешском является заимствование *leader*: *Ministr vnitra a pražský leader lidovců Cyril Svoboda; pražský volební leader Vladimír Mlynář* (Metro 1998); *V lednu jste byl pro lidovce coby lídr nepřijatelný, v sobotu pro vás hlasovali; Jak lze vysvětlit fakt, že se měsíce hledal lídr čtyřkoalice* (Lidové noviny 2004). Ср. также обозначение *lídryně* ‘женщина-лидер’, иллюстрирующее «втягивание» данной лексемы в деривационную цепочку. Ср. последовательность фаз адаптации: *leader > lídr > lídryně*. Факт графической адаптации производящей основы иллюстрируют, например, случаи *greenpeacesák* (Mladá fronta. Dnes 1993-A); *grínpisák* (Ibid. 1994-A)<sup>12</sup>.

Примечательно и возникновение конкурентных отношений между словообразовательными эквивалентами, появляющимися в ходе

адаптации в воспринимающем языке.: *internetér* (Folk@Country 1996-A); *internetista* (*internetisti se potěši tím, že ukázka je k nalezení na adrese www...*) (Ibid. 1997-A); *interneták* (Mladý svět 1997-A). Ср. также поиск адекватного соответствия для обозначения *вымогатель*, *шантажист* и пр. в русском языке конца 80-х годов: 1. *Рэкетёры* *трясли подпольных миллионеров, как орехи осенью* (Правда 1988, очерк о мафии в Узбекистане). (Комментарий эсцериатора: «данного слова в 4-х томном словаре русского языка нет. Есть в словаре иностранных слов: *рэкет* и *рэкетир* ‘шантажист, вымогатель’, однако корреспондент употребляет слово *рэкетёр*»). 2. *Новое поколение рэкетиров не сравнить с их предшественниками* (Огонек 1988). Слово *рэкетир* в этом очерке, равно как и в других случаях, употребляется уже последовательно. По моим наблюдениям, огласовка *рекетир* встречается чаще, отмечена она и в официальных текстах, в обычной же речи, как следует из материала, на начальном этапе адаптации могли варьироваться обозначения *рекетир*, *рекетёр*, *рекетист* (последнее отмечено в речи бизнесмена А. Тарасова в его выступлении в Доме ученых в конце 80-х гг.) и даже *рэкетмен* (ТВ 1989).

В условиях стремительного, лавинообразного притока англицизмов процесс их освоения в воспринимающем языке не может не запаздывать, поэтому нередко, особенно поначалу, заимствования воспроизводятся буквально, т. е. цитируются, с сохранением первоначального облика слова. В контексте славянской речи подобные «цитатные» заимствования из английского языка не могут не производить впечатления чужеродности; ср.: *Tři účastníci nakonec informace redakce potvrdili, i když tzv. off record* (Týden 2001); *přesto mi vadí kaňka na image časopisu* (Ibid.); *po shlédnutí talk show Občan Kraus OK* (Ibid.); *Stanul před soudem za on-line krádež* (Lidové noviny 2001); ср. русск.: для *пон-музыки* *больше характерно состояние feel good* –

ощущение, что все клево (Новая газета 2001); это классный кинематограф. В смысле «shoot» (там же 2002) и т. п.

Славянские языки обладают большими адаптивными возможностями, в числе которых важную роль играет деривация<sup>13</sup>; ср., например: *Od chvíle, kdy si zakoupí horské kolo žena, je z ní «bikerka», z muže se stane «biker».* Pojem «bikerčata» se příliš nepoužívá (Reflex 1996-A). Красноречивым является последовательное образование существительных ж. р. со значением лица от заимствованных лексем: *Krupiérka spolu s chipperkou, která rovná žetony do sloupců* (Magazín Práva 1996-A); *streetworkerky musejí být se svými klientkami stále v kontaktu* (Slovo 2000-A). Ср. также: *zhruba dvacet československých hackerů, virářů (lidé pišící počítačové víry) a jedna slovenská hackerka* (Reflex 2002-A). Примечательно, что, поскольку в примере имеется неологизм *virář* (в NSČ2 зафиксировано *virotvůrce*), он сопровождается смысловым разъяснением.

Сказанное тем не менее не означает, что использование достаточно мощного адаптивного механизма способно полностью снять напряжение, возникающее при несоответствии заимствования любого генезиса внутриязыковым закономерностям языка-реципиента, что после соответствующего структурного преобразования оно, как полагают некоторые ученые, безболезненно и органично войдет в систему воспринимающего языка.

Анализируя литературу, нельзя не заметить, что чаще всего проблема развертывается по следующим вопросам:

– допустимая степень открытости для заимствований внутриязыкового языкового пространства и в связи с этим: нужно ли регулировать, дозировать их приток?

– следует ли оставлять заимствования в их первоизданном виде, с сохранением их исконного облика, который они имели в языке-источнике?

– к каким последствиям приводит массированный приток заимствований и какова коммуникативная и лингвистическая мотивированность их использования?

– какова функциональная соотнесенность заимствования и соответствующего эквивалента, уже имеющегося в воспринимающем языке?

– какую роль играет отношение членов данного этноса к конкретному языку-донору?

– насколько эффективной является политика «языкового протекционизма», выражающаяся в принятии языковых законов, регламентирующих употребление заимствований?

К уже названным можно было бы добавить и другие вопросы, например:

– в каких сферах функционирования этнического языка можно регулировать употребление заимствований?

– влияет ли массированное проникновение заимствований, особенно из типологически отдаленных языков, на системные закономерности языка-реципиента, на выполнение им коммуникативной функции?

– как соотносится перенасыщение заимствованиями с языковой культурой этноса?

Приведенный перечень аспектов рассмотрения не является исчерпывающим, тем не менее он красноречиво свидетельствует о сложности проблемы в целом. Нетрудно заметить, что намеченные вопросы стали предметом изучения не только языкознания, но и других сопряженных с ним наук. Именно комплексность и многоаспектность, необходимость учета целого ряда важных, порой довольно деликатных, моментов делают интересующую нас проблему весьма сложной для разработки.

В этой связи стоит обратить внимание на взаимосвязь проблемы заимствований с этнической самоидентификацией, с одной стороны;

с оптимальным удовлетворением взрослых коммуникативных потребностей современного социума, с другой. Значимость этих обоих тесно взаимосвязанных аспектов – этноидентификационного и коммуникативного – варьируется как на разных исторических этапах жизни одного и того же этноса, так и у разных этносов. У этносов малочисленных или же с еще не окрепшей государственностью потребность в сохранении этноязыковой самоидентификации (а порой и самодостаточности родного языка) особенно велика. И, напротив, у крупных этносов это проявляется не столь сильно, поскольку они реже сталкиваются с реальной угрозой как своему собственному существованию, так и сохранности созданных ими культурно-языковых и пр. ценностей. Соответственно этому меняется, становится более толерантным отношение к заимствованиям.

Как показывает проведенное исследование, при рассмотрении проблемы заимствований целесообразно принимать во внимание функциональную дифференциацию пространства этнического языка на два ареала: *регулируемого* – *нерегулируемого* речевого поведения (Нещименко 1999; Нещименко 2003). Из анализа материала следует, что названные ареалы отличаются друг от друга не только характером речевого поведения, набором и внутренней конфигурацией языковых манифестаций, но и масштабами заимствования, а также приоритетами, учитываемыми при их отборе. При подобном подходе становится очевидным, что какие бы то ни было попытки целенаправленной селекции заимствований, регулирования их притока не могут быть *равнообязательными* на всем коммуникативном пространстве, обслуживаемом данным этническим языком.

В подсистеме *нерегулируемого* речевого поведения (или же речевого поведения с *ослабленной* регулируемостью), к которому относится непринужденное повседневное общение, обеспечиваемое разговорным языком во всем богатстве и многообразии форм его прояв-



ления, ставить задачу регулирования притока и селекции заимствований бессмысленно. Здесь речевое поведение является спонтанным и стихийным, какие-либо императивные предписания не имеют значения. Решающую роль играет комфортность общения, живое речевое взаимодействие, в том числе интенсивная интерференция, наблюдаемая, например, при обиходно-бытовом общении в приграничной зоне. Так, в сленге широко представлены включения из немецкого языка, идиш и пр.; в молодежном, профессиональном сленге – из английского и т. д.<sup>14</sup>

Иначе обстоит дело в подсистеме *регулируемого* речевого поведения (языковое обеспечение высших коммуникативных функций, характеризующееся предпочтительным использованием литературного идиома). Здесь приток заимствований регулировать необходимо, причем в роли регулирующих факторов выступают:

– *внешняя* языковая цензура (языковой контроль, осуществляемый редакторами, стилистами, ведущими радио- и телепередач и т. п.)

– *автоцензура*, т. е. речевой самоконтроль индивидуума.

Однако даже в этом коммуникативном ареале речь не может идти о повальном запрещении заимствований (чего, кстати, опасались журналисты, а также противники закона о русском языке), а о регулировании их использования в наиболее общественно значимой сфере коммуникации, каковой, несомненно, является коммуникация публичная, представляющая собой наиболее репрезентативный вид *общезначимого* общения<sup>15</sup>.

Решающим критерием в этом случае, на наш взгляд, должно было бы служить стремление к тому, чтобы использование заимствований было актуализованным, функционально обусловленным, чтобы оно не только не препятствовало, но, напротив, способствовало выполнению коммуникативного намерения, заложенного в высказывании. Как в действительности обстоит дело, будет проиллюстрировано несколько ниже.

На современном этапе функционирования этнических языков проблема заимствований все больше смещается в коммуникативную плоскость, т. е. особое значение придается тому, насколько иноязычные включения способствуют или же, напротив, препятствуют установлению коммуникативного контакта, донесению до адресата необходимой информации. Причем, если акцент делается на *внутриэтнической* коммуникации, избыточный приток англицизмов, особенно не адаптированных, может отрицательно сказываться на установлении взаимопонимания в рамках этнической общности в целом, вступая в противоречие с преобладающей языковой компетенцией. Несколькими иначе эта проблема, очевидно, будет решаться при формировании *единого мирового* информационного пространства, когда усиление притока англоязычных включений, вытеснения обозначений собственного этнического языка будет, напротив, облегчать взаимопонимание.

Трудность разработки проблемы заимствований во многом объясняется ее комплексным и многоаспектным характером, делающим необходимым изучение языкового материала в разных ракурсах: собственно лингвистическом, социолингвистическом, психолингвистическом, коммуникативном, культурологическом и пр. Имеется, впрочем, и политическая составляющая, оказывающая влияние на формирование направленности языковой политики, предопределяемой в том числе и характером взаимоотношений с другими этносами<sup>16</sup>, прагматической сменой – добровольной или вынужденной – тех или иных политических предпочтений<sup>17</sup>, опасениями культурно-языковой ассимиляции, этноязыковым антагонизмом и пр. Известно, что в различные периоды жизни чешского социума по внешним причинам «изгоями» становились то германизмы, то русизмы. Впрочем, «опале» могли подвергаться и сами богемизмы или же псевдобогемизмы при кодификации словацкого литературного языка; сербизмы – хор-

ватского; болгаризмы – македонского и пр. Аналогичную подоплеку имеет избавление от русизмов в целом ряде литературных языков постсоветского пространства. Список этот можно было бы продолжить.

Спасительным выходом из этого щекотливого положения обычно являлось подыскание или же создание функциональных аналогов на базе родного языка, т. е. активизация внутриязыковых ресурсов, либо подключение заимствований из других языков, отношение к которым на данном этапе по тем или иным причинам является более толерантным.

Вытесненные из литературного узуса заимствования нередко оказываются весьма живучими, они могут «оседать» в разговорном узусе. Данное обстоятельство служит красноречивым подтверждением того, что выстраивание общезыковой политики в отношении заимствований является возможным лишь в зоне регулируемого речевого поведения, т. е., в частности, в зоне употребления литературного языка. Так, например, после 1989 г. значительный пласт русизмов из сферы экономической, общественно-политической и пр. терминологии по объективным причинам вышел из употребления (ср.: *разбивка плана* – *rozpis plánu*; *встречный план* – *vstřícny plan*; *непереводной рубль* – *převoditelný rubl*; *хозрасчет* – *chozrasčot* (ср.: *Chozrasčotní systém hospodaření* (Rudé právo 10.02.81); *бригадный подряд* – *brigádní smlouva*<sup>18</sup>). Как политические реликты остались *перестройка* – *perestrojka*, *гласность* – *glasnost/glasnost'* и т. д.<sup>19</sup> Определенная часть русизмов продолжает употребляться в речевом узусе в силу своей структурной и фонетической близости с собственночешскими лексемами; ср.: *пятилетка*, *bleskodka*, *nástěnka*, *obezlička*, *nedodělky*, *svodka*, *čistka*, *gramotnost* (*počítačová gramotnost*), *bezprizornost*<sup>20</sup>, *běženci*<sup>21</sup>, *dva dny nazad*, *činnostnik*, *prověrka*, *bezpartijní*<sup>22</sup> и пр. Носители чешского языка зачастую даже не

подозревают о русском происхождении некоторых, ставших им привычными номинаций, искренне воспринимая их как обозначения собственно чешские. Этому во многом способствует значительное смысловое и структурное сходство лексем. Достаточно сказать, что даже такое наименование как приводимое выше *встречный план* находит себе опору в чешском *vstřícný* 'доброжелательный, идущий навстречу и пр.'. Таким образом, под влиянием русского языка активизируются деривационные потенции ряда лексем чешского языка. Многие из исконных русизмов до сих пор встречаются в языке СМИ, особенно устных, причем фиксируются они в речи как ведущих передач, так и приглашенных ими гостей любого возраста; ср.: *pokud sme byli tehdy nevýjezdnyými* (Радио 1997, ведущий); *celé ty roky se dělá obezlička* (TV 1997, ведущий); *máme možnost číst různé svodky* (Радио 1990, ведущий); *masívní čistka na základě dlouhodobých šetření* (TV 1997, ведущий). В лексикографическом архиве Института чешского языка, включающем эксцерпции новейшего времени, зафиксировано и *bankomatčik* с характерным для русского языка продуктивным суффиксом *-čik-*: *tým bankomatčiků; správný bankomatčik nikdy nespí na vavřínech! Proto pro klienty chystáme rozšíření služeb, které může bankomat poskytnout* (Infmat 2002, interní časopis pro GE Capital Bank ČR a SR). Исконные русизмы встречаются и в разговорной речи, причем в типично русской огласовке; ср., например, услышанные нами *čínovník, garmoška* (последнее отмечено в речи молодого человека и использовано для обозначения удлиненного автобуса, состоящего из двух частей, т. е. как бы складного).

Жизнестойкими оказались и германизмы, в избытке представленные в повседневной чешской речи; ср.: *fotr, flek, štamgast, šprechtit* (русский эквивалент *шпрыхать*); во множестве они встречаются и в профессиональной речи, например, при обозначении инструментов и пр.

Активизация использования заимствований является одной из характерных примет современного публичного узуса. Ср. *китайцы сознательно позиционировали себя как ответственный партнер США* (Новая газета 2002); *В России вы были первым омбудсменом (так в Европе называют уполномоченного по правам человека)* (там же 2003). Кстати говоря, данное заимствование в русском языке не прижилось и было вытеснено менее экономичным описательным обозначением *уполномоченный по правам человека*. Можно привести и другие примеры; *Я говорю в горизонте трех лет* (Эхо Москвы 2005, гость передачи<sup>23</sup>). Ср. в чешском: *budeme se snažit odprezentovat; taxikáři snižují kredit Prahy* (из выступления мэра Праги по чешскому радио в 1997 г.) или же в повседневной речи: *je zcela evidentní; spacifikovat; dává to vizi* и пр.

Очевидный политический подтекст имеет и нынешняя мода на англицизмы, являющаяся порой своеобразным речевым «шиком». Инвазия англицизмов в узусе современной публицистики очень часто является данью моде, желанием продемонстрировать свою приобщенность к англоязычной культуре<sup>24</sup>. Ср.: *Видеоярд решили снабдить аудиоярдом (или, по-модному, саундтреком)* (Новая газета 2002). Причем очень часто к ним уже имеются либо вполне приемлемые соответствия в родном языке, либо ставшие уже традиционными заимствования из других языков, т. е. речь идет об обычном переименовании, перекодировании, целесообразность которого порой весьма сомнительна. Так, очевидным модным поветрием является повальное – к месту и не к месту – употребление англицизма *бренд*, используемого как в прямом, так и переносном значении (причем нередко расширительно): *Выявить десятка два брендов и креативных дизайнеров* (Эхо Москвы 2003, реклама); *команда футболистов сменила свой бренд на «Торпедо-металлург»* (там же 2003); *Единственный раскрученный бренд наших политиков – чеченская*

кампания (Новая газета 2002); чем стала «Чайка» для основной сцены, – а именно собственным брэндом (там же); Земфира повзрослела. На пластинке все большие размышления и блюзовая грусть. Качественно. Фирмово. Но очень хочется спать. Новую Земфиру не нужно долго расшифровывать – она выражается проще. Она – давно уже бренд (там же); Тайванчик нужен американцам как криминальный бренд. Как бренд его и будут судить (там же 2003); Каждый раз нужны новые люди или, скорее новые бренды и свежая дебютная идея. Партия «Единства» второй раз выходит на старт практически с тем же брендом (там же). Встречаются и производные брендменеджер, брендировать, брендóвый (профессионализм). Заметим, что использование данного англицизма пересекается с давно употребляемым в русском языке обозначением торговая (производственная) марка, знак, название – все это создает ненужный, ничем не мотивированный параллелизм, что, впрочем, наглядно подтверждает и письмо читателя (по поводу «Жигулевского пива»): Я тоскую по нашему родному доброму «Жигулевскому». Где оно? Выходит, в небывалом для нас пивном потоке утонул едва ли не самый знаменитый пищевой российский бренд. Обидно! Неужели никто из отечественных олигархов не захотел поднять упавшую марку (Новая газета 2003). Практически в том же значении используется и другой англицизм лейбл; ср.: А вы под собственным лейблом «Вымпел» не пытались проникнуть на западные рынки? (там же); ср. подзаголовок статьи: Знаменитая советская фабрика шила для лучших домов моды. Но решила продвигать собственную торговую марку). Сомнительное переименование отмечено и в следующем случае: Мне долго описывали место, куда я должна была прибыть на пресловутый кастинг, или, по-русски, телепробу (там же) и пр. В этом отношении весьма красноречив пример, приведенный в журнале «Тýден» за 2001 год, в котором воспроизводится письменный диалог пятна-

дцатилетней девушки и журналисткой-психологом женского журнала: «*Mailnula jsem mu message, ale nedostala jsem žádnou response.* (Poslala jsem mu zprávu, ale neodpověděl mi – Я послала ему сообщение, но он мне не ответил). – *Neboj, to je oukej. Zajdi na nějakou free party, kup si nějaký trendy oblečení a vyber si jinýho top týpka. Keep smiling.* (Не бой, то же в порядке. Зайди на nějaký pohodový večírek, kup si nějaké módní oblečení a najdi si jiného skvělého kluka. Vždy s úsměvem! – Не бери в голову, все в порядке. Пойди на какую-нибудь развеселенькую вечеринку, купи себе какую-нибудь модную тряпку и найди себе мирового парня. Всегда улыбайся!)» (перевод наш. – Г. Н.).

Чрезмерное использование англицизмов не может пройти без серьезных последствий для языка-реципиента. Это не только затрудняет коммуникацию, но и, как подтверждает языковой материал, может вести к нарушению внутренних закономерностей и естественных пропорций воспринимающего языка, поскольку различия между английским и большинством славянских языков прослеживаются на самых разных языковых уровнях: в словообразовании, словоизменении, в номинативных и синтаксических схемах, просодических особенностях, построении текста и пр.<sup>26</sup> К примеру, Й. Краус (Kraus 1996) пишет о появлении в современном чешском языке непривычных произносительных норм и интонационных моделей, заимствованных из английского языка. Нечто подобное наблюдается и у ведущих ряда российских молодежных радио- и телестанций.

Остановимся ниже на некоторых проявлениях этого влияния (см. также: Нецименко 2002):

1. Стремительное возрастание удельного веса непроизводных слов, не имеющих в языке-реципиенте структурных и семантических мотивационных ассоциаций. Не случайно именно эта лексика чаще всего становится объектом «языковой игры»<sup>27</sup>. Для носителей сла-

вянских языков большая часть заимствований является словами непроизводными: *aids, džiu-džitsu, karate, kung-fu, show, girl, guru, lobby, barbie, hippies, skinheads, aikidó, airbridge, VIP, hi-fi; моллинг, гурзу, прайм, сингл, ди-джей, джакузи* и огромное, все более разрастающееся множество им подобных слов. Нельзя, однако, не учитывать, что пропорциональная представленность производных и непроизводных лексем в составе производящих основ – важный показатель словообразовательной продуктивности формантов<sup>28</sup>. Так, возрастание доли непроизводных слов и соответственно уменьшение доли слов производных – один из симптомов снижения деривационной активности форманта, его оттеснения на периферию словообразовательной системы. И, напротив, увеличение удельного веса производных основ говорит о возрастании деривационной активности за счет более или менее регулярного «рекрутирования» новых лексических пополнений.

2. Возрастание численности несклоняемых слов, особенно в литературном языке, что весьма существенно для чешского языка, где в отличие от русского заимствования чаще всего склоняются (ср. чешск.: *naučit džudu, aikidu*; ср. русск.: *научить дзюдо* и пр.). Это не может не служить источником дискомфорта, особенно в отношении часто употребляемых слов. Так, например, на чешском ТВ (клуб «*Netopýr*», 1999 г.) возникла спонтанная дискуссия по поводу того, можно ли склонять *NATO* (*vstup do NATO // vstup do NATa*). Единого мнения по этому поводу высказано не было, хотя большинством участников дискуссии как более правильный был оценен несклоняемый вариант *členství v NATO* (допустимо, впрочем, и *jednání s NATem*). Именно несклоняемому варианту отдается ныне предпочтение (*český velvyslanec při NATO* (Mladá fronta. Dnes. 2005). Ср. также: *Согласно официальному сайту продюсерской фирмы, дела у стареющих секси обстоят как нельзя лучше* (Мир новостей 2002); *Нету на нее креп-*



кого, настоящего профи (Новая газета 2001); *Вот его несколько слащавая, в духе старого хиппи, манера общаться с залом* (там же 2002<sup>29</sup>). Ср. в чешском: несклоняемое *hippies: vidíme tendenci jakéhosi revivalu hippies* (Tvorbá 1989) и лексема с адаптацией в виде усечения финали основы и присоединения структурного форманта *hipík: Hipíci se stálým zaměstnáním a s píchačkou v kapse* (Kmen 1988).

В ряде случаев для включения несклоняемых слов в славянскую морфологическую систему используются средства словообразования, различного рода усечения структуры: *Policie ukončila koncert přívrženců skinheads* (Plzeňský deník 2001); *Kanadští skinheadi* (Ibid.). И, наконец, *hajlování skinů*<sup>30</sup>. (Ibid. 2001); *Slaměné klobouky canotier (kanoťáky)* (Rudé právo 1980; Fitness neskl. angl.; fitness centrum angl. NSČ – *najít si vhodné «fítko» můžete i vy* (Metro 1997); *Pokud jste zdráva, nic vám nebrání v tom, abyste se vydala do «fítka»*. (Fitness 1977-A); *pravidelně chodit do fitnesska* (Blesk 2002-A). В других случаях средством адаптации является структурное наращение заимствованной лексемы, после которого она может быть включена в словоизменятельную парадигму: *jetti, yettie* ‘снежный человек’ – *jetík: je tíci* (Reflex 2000); *ikvé (IQ) NSČ – ikvák (nemám nárok být v klubu ikváku; ty jsi fakt ikvák*. Примером морфологической адаптации являются лексемы *cédéčko; cédéromka* по отношению к *CD-Rome; CD (compact disk)*; ср. развертывание деривационной цепочки: *cédéčkárna (Počítač se stává „cédéčkárnou“ (Živě-A)*. Ср. из русского профессионального жаргона: *сиди – сидюшник*. Примечательно «втягивание» в парадигму английского *okej (všechno je v okeji* – из электронного письма на чешском языке). Не просто обстоит дело и с освоением несклоняемого *guru* и *guruu* муж р. NSČ. Ср.: *počítačový guru; začínající filmaři vzhlíželi k zkušenému režisérovi jako k svému guruovi; oslavení narozenin guruu; pod vedením amerického guruu* (Mladý svět 1997).

3. У ряда заимствований трудно определить их родовую принадлежность в языке-реципиенте, что также осложняет их нормальное функционирование в тексте. Так, в передаче о культуре речи на «Эхо Москвы» (1999 г.) ведущие не могли с уверенностью ответить на вопрос, к какому роду можно отнести *джакузи*. Соответственно *бьеннале* одновременно может относиться сразу к трем родовым категориям. Впрочем, разговорная речь, особенно сленг, довольно вольно обращается с заимствованиями; ср. *какая гирля!*

4. Приток слов с не типичной для славянских языков комбинаторикой исхода основы (использование вставных гласных, не всегда представляется возможным); ср.: русск. *паблик-рйлейшнз*, *НТВ-интернейшнл*, *экшн*, *промоушн*. Примечательно, что различные языки по-разному справляются с возникающим в финали слова артикуляционным напряжением. Так, например, судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу (возможно, он нуждается в дополнительной проверке) в чешском языке отдается предпочтение цитатному воспроизведению заимствования; ср.: (NSČ) *promotion* [*promoušn*] (несклоняемое; женского и среднего рода): *sehnat peníze na masivní promotion; promotion probíhala v závěru roku; Řekové nedokázali udělat šampionátu dostatečné promotion*. В русском языке в этой ситуации встречается либо буквальное цитатное воспроизведение по типу «*промоушн*», т. е. без вставного гласного: *больше внимания уделяя рекламе, «промоушну»* (Новая газета 2002); *промоушн патриотизма* (Эхо Москвы 2002), либо артикуляционное напряжение снимается путем использования вставного гласного (*по промоушену фильмов* (Эхо Москвы 1999) или усечением финали (*коллектив одной супервлятельнойшей российской промокомпании* (Мир новостей 2002).

Ср. также: *public relations* [pablik rileyšns] *moderní metody politického public relations; odborník na public relations; co jsou public*

relations; vedoucí public relations automobilky; sejšn (z angl session) – součástí festivalu byl sejšn; na různých sejšnech; fungoval jako kytarista, bavič i sejšnátor; sejšnovat; sejšnový и пр.

В некоторых случаях, особенно в устных СМИ, не типичная для славянского языка финальная огласовка (например, скопление согласных в исходе слова) может затруднять мгновенное восприятие информации: на фестивале не было никакого экина (Эхо Москвы 2000, кинокритика), кстати говоря, в чешском языке в этом случае используется более адаптированное akční film. Ср. в письменных текстах: Нужен был «экин». Андрей Кивинев как-то спросил: Экин – это когда стреляют? (Новая газета 2000, рецензия); Фильм в стиле «экин» (Эхо Москвы 2001, кинокритика).

4. Под влиянием английского языка в славянских языках форсированно насаждаются агглютинативные структуры с препозиционной постановкой несогласованного определения. Данное явление нам представляется особенно важным, так как оно может сказаться на типологических параметрах славянских языков, причем эта тенденция не рождается в недрах самого языка, а именно насаждается извне. Ср. конструкции типа бизнес-сообщество, бизнес-виза, бизнес-тур, бизнес-отношения, бизнес-элита, бизнес-опека (ср. в контексте: Это бизнес-отношения и я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь из звезд сорвал контракт (Новая газета 1999); В российской бизнес-элите (Новая газета 2001); Бизнес-опека спорта. (Эхо Москвы 2002); секс-торговля; плей-лист; шорт-лист; Интернет-адрес; Интернет-вещание; Интернет-стилистика; Интернет-диверсия; Интернет-провокация; интернет-провокатор; гей-браки; лид-вокалист; хэд-лайнер (фестиваля); шоу-дива; шоу-бизнес; панк-резервация; допинг-проба; чешск.: byznys-centrum; live-nahrávky; disco zařízení «disco» kecky; bike-školka (využit služeb bike-školky) (Mladý svět 1996-A); působí poněkud show-dojmem (Občanský deník OF 1990). Список можно продолжать до бесконечности.

5. Появление не привычных для славянских языков деривационных цепочек типа: *все наши имиджмейкеры, клипмейкеры, ньюсмейкеры, депутато- и президентомейкеры* (Новая газета 1999); ср. также: *Нетрудно будет понять лишившихся работы риэлтеров, дилеров и маркетологов* (там же 1999). Лексемы типа *manager, dealer, imagemaker* и под. встречаются и в других славянских языках.

Препозиционные аббревиатуры с «e»: *e-sport: Cílem progamingových skupin je, aby se e-sport se stal oficiálním sportovním odvětvím* (Hospodářské noviny 2002-A); *e-společnost: (Nově vznikající firmy, nazývané někdy „dotcom“ podle typického internetového označení), které fungují hlavně na webu, soupeří s „kamennými“ e-společnostmi tradičního stylu, které využívají web jen jako pasivní a marketingový kanál* (Ibid. 1999); *dávají výrobci informačních technologií ke svým produktům předponu «e» a «i» symbolizující elektronická média a internet* (Ibid. 1999); *kdo nebude e-, nebude v byznysu* (Ibid. 2000); *K dosažení cílů bychom měli pochopit potřebu vzniku nového slovníku: e-goovernment, e-learning, e-buisness nebo e- cokoli. Tato dnes módní, stále omílaná slova mají podtrhnout nutnost změny obecně přijímaných představ o současnosti, kde se informace pro zajištění služeb státní správy, ale také obchodních a sociálních partnerů, získávají se a předávají stále více úpmocí počítačů* (Ibid. 2003); *e-Čech: je také Čech, chce se říci e- Čech* (Ekonom 2000).

6. Активизация некоторых, ранее уже использовавшихся префиксов типа *супер-, гипер-*. Ср.: *суперрейтинговый; суперсумасшедший; супертрадиционный; супердешевый; супердорогой; супермонополист; супергостиница; суперспорт<sup>31</sup>; суперспортсмен; суперпокупка; суперзвезда;*

*суперсиловик; суперкитч; суперблеф* (ср.: *все супер: актеры, камера, диалоги, сценарий*. Новая газета 2002; *Сон крутой и свободной России о суперкрутой и суперсвободной Америке*. Там же 2002); *гиперкультовый* (фильм); *гипермаркет* и пр. (см. в контексте: «Звезда»

обязана иметь супервнешность. Комсомольская правда 1989; с гиперизлишком шуб, что делать. Новая газета 1997; Гиперкультовый фильм. Эхо Москвы 2001; внешность приобретает гипердовлеющее значение. Мир за неделю 1999 и пр.)

В отличие от префиксов заимствованные суффиксы (за исключением тех, которые прочно «прижились» в языке типа *-ист* и пр.) обычно используются с устойчивым набором: *прозаикесса, критикесса, клоунесса (клоунесса, эпатирующая публику* (Новая газета 1999); *редактриса; инспектриса*; ср. также чешск.: *Vdova-piratessa vedla tuživ «rodník» dokonce lépe než původní majitel* (Haló Sobota 1969). Ср. ироническое использование заимствования: *Бизнесумен лишилась «БМВ» прямо в своем гараже* (Московский комсомолец 2001). В этом же ряду можно привести и производные с *-гейт* типа *Чичиковгейт, Чеченгейт* (с открытым рядом основ).

Говоря выше о влиянии массивированного притока англицизмов на системно-функциональные закономерности славянских языков, мы в основном имели в виду сферы их традиционного использования.

Несколько иначе обстоит дело в новых коммуникативных сферах, прежде всего в электронном общении, главным образом интерперсональном, осуществляемом с помощью электронной почты и так называемых эсмэсок. Появление новой технологии общения поставило перед лингвистами целый комплекс задач теоретического и прикладного значения. Назовем в их ряду проблему адекватного вербального обеспечения, позволяющего насытить трансляционные каналы максимально емкой и вместе с тем компактно выраженной информацией. Именно потребность в *экономичных* номинационных решениях в основном и определяет направленность селекции языковых средств. Проследить, как на практике осуществляется эта селекция – задача большой научной значимости, до сих пор еще не получившая своего исчерпывающего решения.

Примечательной особенностью большинства анализируемых нами компьютерных текстов является их повышенная экспрессивность. Это расширяет возможности варьирования выразительных средств, языкового экспериментирования, создает благоприятные условия для появления новообразований, адаптации многочисленных заимствований, прежде всего англицизмов и, что особенно важно, стимулирует конкуренцию типов и способов словопроизводства, вытеснение избыточных, устаревающих обозначений. Подчеркнем, что именно в сфере непринужденного повседневного общения, т. е. в разговорном языке, быстрее, легче и разнообразнее происходит процесс адаптации заимствований.

Коммуникативная и социальная значимость, масштабы использования компьютерного общения стремительно увеличиваются, возрастает и вовлеченность в него молодежи, а, как известно, именно речевое поведение молодежи является мощным импульсом изменения речевого стандарта социума в целом.

Исследование компьютерного языка сопряжено с немалыми трудностями. И дело здесь не только в том, что речь идет о весьма сложном, многоаспектном, гетерогенном по своей природе явлении, вербальное обеспечение которого варьируется в зависимости от целей коммуникации, ее условий, адресата, тематики, жанра, наконец, от скорости прохождения информации по коммуникативному каналу.

Широко используются в компьютерном общении англицизмы как адаптированные, так и неадаптированные; ср. тексты так называемых «молодежных» чатов: *zachraňuju ve schoole co se dá; sorry ale ještě něco dělám; hned budu OK. Tak kdo changne ty čísla???*; Умные доктора сказали, что с глазами все ok, оба глаза ok и пр.

К проблеме влияния иностранного языка на системно-функциональные особенности языка-реципиента на материале текстов компьютерного общения, нужно подходить дифференцированно, с уче-

том их жанровой принадлежности. Так, электронные письма, сообщения, предназначенные для форумов, а также отчасти «чатов», по характеру используемых в них языковых средств являются все же более традиционными. Тем не менее и в них использование унифицированной латинской графической системы (а не отечественной версии Интернета) создает коммуникативно-информационные помехи, замедляет скорость распространения информации. И дело здесь не только в необходимости транскрибирования кириллического текста и т. п. Важнее другое: используемые в чешском языке диакритические знаки выполняют важную смысловозначительную функцию, поэтому их игнорирование может вести к искажению смысла, непомерному разрастанию омонимов и в конечном итоге к нарушению взаимопонимания (заметим, что это существенно не только для чешского, но и ряда других языков). О смысловозначительной значимости диакритики прекрасно осведомлены не только носители чешского языка, но и иностранцы, обучающиеся чешскому языку, для которых усвоение функциональной значимости долгих и кратких гласных сопряжено с немалыми трудностями (с не меньшими, чем, скажем, для чехов так называемого твердого и мягкого «i»); ср.: *ráda* ‘она рада’ – *rada* ‘совет’; *být* ‘быть’ – *byt* ‘квартира’; *pás* ‘пояс’ – *pas* ‘паспорт’ и огромное множество подобных случаев. Ср. в связи с этим появившийся неологизм *bezháčkovec* (*o e-psaní: psaní bez diakritiky, tedy bez háčků, bez čárek a kroužků nad «ů»*) (Folk@Country-A): (в нашем переводе) «*bezháčkovec*», т. е. человек, не пользующийся при написании «крючками» (*háček* ‘крючок’), т. е. речь идет об электронном письме, не употребляющем диакритику, а, следовательно, без крючков, черточек и надстрочных кружков над «ů»).

Как мы видим, дело здесь не в трогательной верности многовековой графической традиции<sup>32</sup>, хотя и это, несомненно важно, а в серь-

езных последствиях для этнической коммуникации, особенно если учесть современные масштабы электронной переписки.

Совершенно иначе обстоит дело в текстовых сообщениях (эсэмэски)<sup>33</sup>. В них удельный вес англицизмов не только чрезвычайно велик, но и более очевидным является деструктивное воздействие английского языка на язык-рецептор. Как по этому поводу пишет Я. Гофманнова, «В язык электронных сообщений проникает огромное количество англицизмов. Причем, нередко они встречаются в довольно “дикой” чешской транскрипции, в комбинации с чешскими окончаниями. Приведем лишь: *mailovat*, (*mejlovat*, *mejlnout*), *esemeskovat*, *mobilovat*, *etečment*, *sejfovat*, *dylitovat*, *kliknout*, *odentrovat*, *apgrejdovat*, *surfovat*, *skenovat*, *logovat*, *postnout*, *subscribe-nout* и пр. Лишь изредка здесь случайно может появиться чешское слово, ставшее общепринятым, как, например, распространенное *zavináč* (эквивалент для значка @; русский эквивалент «собака». – *Прим. пер.*), однако уже, напр., *průnikář* как обозначение *хакера* вряд ли приживется в узусе. Та же участь ожидает и потенциальные чешские эквиваленты для *laptop*; ср. предложенные в анкетах *počvždypor*, *mozkokaps* и др. Авторы электронных писем и «эсэмэсок» далеко не всегда находятся «в ладах» с правилами правописания. Если же добавить к этому множество случайных, к тому же весьма своеобразно адаптированных для чешского языка англицизмов, то это не может не привести к появлению гибридных языковых уродцев. Существует мнение, что это может пагубно сказаться на дальнейшем развитии чешского, немецкого и других языков. (Ср. по этому поводу Naumann 1998.) Этому угрожающему (по мнению некоторых ученых) процессу способствует и тот факт – весьма важный и серьезный для чешского языка – что из этих коммуникатов зачастую исчезает диакритика. Последнее в свою очередь значительно обедняет выразительные возможности чешского языка, оно может служить пово-



дом для возникновения комической путаницы (*mej se – měj se*), нередко могут возникать и различного рода недоразумения (*pracka – pračka, sirka – šírka, rada – ráda – řada* и пр.) – приведем перевод последних примеров: *мойся!* – *будь здоров!*; *лапа* – *стиральная машина*; *стичка* – *ширина*; *совет* – *она рада – ряд*» (Гоффманнова 2006: 409–410).

В этой же статье приводятся и примеры из статьи Л. Гашовой (Hašová 2002) следующих языковых комбинаций: *I tm asi go (Já tam asi půjdu)*; *Prmn,NskaToO5Nego (Promiň, dneska to opěť nejde)*. Посредством этого способа, как говорят, можно сэкономить до 30% знаков (что правомерно, очевидно, и для чешского языка). Таким образом, возникает некое подобие «гибридного» техноязыка, «чешско-английского» псевдоязыка. В определенном смысле можно сказать, что это в своем роде электронная стенография, или же «нетовский (интернетовский) язык».

В таком виде общения, помимо краткости, преобладает языковое экспериментирование, имеющее к тому же утрированный характер. Приведем для иллюстрации рекламу в поезде московского метро (октябрь 2005): (нарисован нераспечатанный конверт – комментарий наш. – Г. Н.) *Happy New message OmСМСь себе СТРИМ*. Расшифровать смысл послания, а также провести его языковую идентификацию не так-то просто.

Закljučая свое исследование Я. Гоффманнова пишет: «Хочется надеяться, что отобранные для анализа ситуации, а также многочисленные конкретные иллюстрации наглядно показывают, что чешский язык меняется буквально у нас на глазах. Вне всякого сомнения, его наводняют иностранные слова, которые посредством различных способов в нем «укореняются». В письменные тексты проникают средства из устных высказываний; в полуофициальных и официальных ситуациях появляются слова нелитературные и сленговые. Урон на-

носятся и чешскому правописанию, исчезают некоторые специфические особенности чешского языка. От коллоквиализмов и произвольно заимствованных англицизмов невозможно уберечь тексты публицистические и даже специальные. Многие коммуникативные и стилевые сферы подверглись агрессивному воздействию рекламы (это касается административного стиля, публицистического, а также текстов обычного общения). Экспрессивность, экзальтация, гиперболизация речи, великое множество оценочных средств, средств направленного воздействия, манипуляции – в их числе можно назвать и употребление деминутивов, позволяющее создать атмосферу доверительности, и использование шокирующих вульгаризмов. Со всем этим, постепенно свыкаясь, мы сталкиваемся буквально на каждом шагу. Мы можем осуждать эти тенденции, порой нам даже начинает казаться, что вокруг нас существует какой-то очередной «новояз», полный англицизмов, нелитературных слов, искажений, орфографических ошибок... Вместе с тем можно быть и терпимыми, воспринимая все это как значительное обогащение, делающее чешский язык более разнообразным, как проявление его ускоренного развития (что в какой-то мере даже естественно при вступлении в объединяющуюся Европу). Нас даже могут забавлять некоторые оригинальные выходки, шутливость, юмор. Все зависит от того, какую позицию мы для себя выберем. Не приходит даже в голову, что современная языковая и коммуникативная ситуация чешского языка может дать повод для апокалипсических выводов о его полном упадке или даже гибели» (Гоффманнова 2006: 416).

\*\*\*

Подытоживая предпринятое нами рассмотрение проблемы заимствований, хочется отметить, что, разумеется, заимствования из близкородственных языков более органично входят в структуру вос-

принимающего языка, они как бы «растворяются» в нем, получая порой новое мотивационное «прочтение», опирающееся на новые, благоприобретенные словопроизводственные взаимосвязи.

При контакте языков, генетически не родственных, усложняется не только процедура освоения заимствований, могут быть затронуты и характерные для них внутриязыковые закономерности и пропорции. Так, на словообразовательном уровне это может приводить к значительному возрастанию удельного веса непроизводных, т. е. не мотивированных, слов, появлению не типичных для языка-реципиента способов и схем словообразования. Возникновение специфических комбинаторных ситуаций в исходе ряда заимствованных слов, не привычных для артикуляционного аппарата носителей воспринимающего языка, не только создает произносительные трудности, но и может препятствовать присоединению словоизменительных и словообразовательных формантов и т. п., т. е. адаптации заимствований.

Следует подчеркнуть, что изучение механизма адаптации заимствований любого генезиса позволяет получить чрезвычайно ценный материал, прийти к важным обобщениям, поскольку в процессе адаптации, освоения заимствований, как правило, участвуют продуктивные форманты языка-реципиента, используются важные структурные схемы. Это позволяет исследователю наблюдать в рамках синхронного среза языковые тенденции, которые в иных условиях выявляются лишь в ходе трудоемкого анализа огромного материала, иногда и с привлечением данных диахронии. Ценные сведения могут быть получены и при изучении конкуренции между отечественными и заимствованными формантами.

Интересным представляется и рассмотрение протекания языковой экономики. Следует, однако, сказать, что вряд ли можно ожидать, что включение в текст заимствований будет ощутимо способствовать сжатию текста, компрессации информации. Зачастую одновременно

с заимствованием возникает необходимость во введении соответствующего эквивалента из языка-рецептора (ср.: *Прозрачность, или же транспарентность компании* (Эхо Москвы 2005); *выборы были транспарентными, или же, как сейчас модно говорить, были прозрачными* (Маяк 2001); *politika levicové strany bude pro Západ přijatelná, bude-li čitelná* (Metro 1998). Примечательно, что чешский язык в отличие от русского несколько больше тяготеет к отечественным обозначениям: рус. *вицеспикер* – чеш. *místopředseda Poslanecké sněmovny*; в русском *вакуум* – в чешском *prázdnost* и пр.

Переизбыток заимствований, тем более при наличии нормально функционирующих эквивалентных обозначений родного языка, зачастую воспринимается отрицательно не только потому, что речь идет о «вторжении» иной культурно-языковой стихии в живую ткань языка-реципиента, в его структуру и функционирование. Не менее важным является и потенциально возможное возникновение коммуникативного дискомфорта, поскольку для адекватного восприятия передаваемой информации адресат должен обладать соответствующим уровнем языковой (а также культурной) компетенции, в противном случае затрудняется выполнение языком своей важнейшей функции – служить средством общенациональной коммуникации. Введение же в текст разъясняющих комментариев делает его менее компактным<sup>34</sup>, что противоречит тенденции языковой экономии, а также замедляет скорость распространения информации. В преобладающих ныне устных СМИ пространственные комментарии вообще невозможны, в результате чего от информационного потока либо практически «отрезаются» большие пласты населения, не обладающие соответствующей языковой, а также культурной компетенцией, либо информация воспринимается ими искаженно.

## Примечания

<sup>1</sup> О фактах использования в современной публичной чешской речи (главным образом, в сфере молодежного вещания) непривычных произносительных норм и интонационных моделей, возникших под влиянием англоязычных СМИ, пишет чешский ученый Й. Краус (Kraus 1996: 5). Сходные явления наблюдаются нередко и в русских СМИ.

<sup>2</sup> Ср. отсутствие эквивалента для понятия *хакер* в русском языке. Практически то же самое наблюдается и в чешском, хотя здесь имеется и собственночешский дериват *průnikář*, перспективность употребления которого, впрочем, довольно сомнительна. Ср.: *Velké pokuty hrozí hackerům v Rusku... Ruská hackerská kultura patří k nejstarším* (Lidové noviny 2001); *Východoevropští počítačovní hackeři i crackeři patří mezi šikovnější na světě.* (Ibid.); «Říkáme Rusku „hackzóna“, protože je nás tady strašná spousta» říká Moskván Igor Kovaljov (Ibid.); *hackerství je dobrý džob* (Ibid.); *Říká, že crackerství a hackerství je důležitou součástí ruského underground* (Ibid.); *Povzbuzovali nás, abychom se snažili hacknout americký software* (Ibid.).

<sup>3</sup> Ср., например, невозможность развертывания деривационной цепочки от чешского *kopaná* ‘футбол’ в отличие от заимствованного *foibal – fotbalista, fotbalový*.

<sup>4</sup> Комичной была оперативная реакция журналистов радиостанции «Эхо Москвы», которые в день обсуждения закона в Государственной думе «с ходу» начали заменять некоторые заимствования на их русскоязычные эквиваленты; ср.: *эксклюзивный показ фильма – исключительный; виртуальный – воображаемый* и пр. Иногда журналисты той же радиостанции предлагают собственную, не всегда удачную, на наш взгляд, мотивировку невозможности использования русского слова. Так, например, как они полагают, *толерантный* нельзя заменить на *терпимый*, поскольку имеется словосочетание *дом терпимости*. Следуя этой логике, очевидно, нельзя употреблять и *публичный*, так как есть обозначение *публичный дом*. Подобная аргументация, разумеется, не может быть принята всерьез. Сомнительным представляется и объяснение конструкции типа *пока-пока* влиянием английского *byebye*. Думается, что здесь было бы уместнее говорить об обычной экспрессивной редупликации типа *давай, давай; пора, пора (рога трубят); бо-бо; бай-бай*.

<sup>5</sup> Примечательно, что принятие языковых законов в субъектах Российской Федерации перестроечного периода нередко обостряло межъязыковые и межэтнические взаимоотношения, особенно между титульными и остальными этносами, проживающими на данной территории. Так, некоторые титульные этносы, даже если они и были в численном меньшинстве, пытались узурпировать позиции в сфере образования, официальной коммуникации и пр.

<sup>6</sup> *Vo co gou, vole – stěžuje si učitelka pražské základní školy. Svým potomkům nerozumějí často ani vlastní rodiče. – О чем идет речь, дурак! – жалуется учительница начальной школы в Праге. Своих потомков зачастую не понимают даже собственные родители (перевод наш. – Г. Н.).* В данном конкретном примере в состав вопросительного предложения *Vo co gou, vole*, отражающего характерные приметы чешского молодежного сленга, включен англицизм *gou* вместо *jde* (*Vo co jde, vole*).

<sup>7</sup> В статье, опубликованной в «Новой газете» (2002 г.), сообщается о казусе, приключившемся с журналистом Д. Дибровым: после объявления им в прямом эфире ТВ адреса передачи в интернете: «три даблью», т.е. www. В ответ на это он получил письмо из Новгородской области, на конверте которого было написано: «Останкино, ОРТ, три *забулды* (т. е. вместо «три даблью». – Г. Н.) Диброву», т. е. слушатель не смог расшифровать устную информацию. Весьма красноречив в этом отношении и следующий пример, наглядно иллюстрирующий смысловую неясность высказывания (письменный текст): *Название помещения – арт-клуб «Ні, наша Украина». (Что значит «Ні», не знает никто. Кто-то переводит с английского: «здравствуй», кто-то с украинского: «нет». Кому как нравится. Вроде как фишка)* (Новая газета 2002).

<sup>8</sup> Не случайно опытные ведущие радио- и телепередач стараются «урезонить» своих собеседников; ср. диалог между ведущей передачи на «Эхо Москвы» (14.10.2001) и молодым театральным режиссером (речь идет о его впечатлениях об итальянском театре): Он: (глубокомысленно) *Может быть, я из всего этого извлекаю слишком сакральные парадигмы*. Она: *Нельзя ли как-то попроще для наших слушателей?* Он (после некоторого замешательства): *Ну, может быть, я не все понимаю в этом.* Уместно на-

помнить и другое высказывание: Ср. по этому поводу: «ведущие политических и особенно экономических программ, увлекаясь супертерминами и упиваясь собственной осведомленностью, напрочь забывают о тех, ради кого, собственно, снимаются передачи. То есть – о зрителях. А ведь молодой российской журналистике ныне свойственно напускать туманных терминов, хвастаться всякими непонятными выражениями, запутывая и запугивая своих зрителей и читателей. («Читаю профессора Сорбонны Андрея Синявского – ну все понимаю! Читаю студентку второго курса журналистики Н. – ну ни хрена не понимаю!» – жаловался кто-то из моих умных знакомых) (Новая газета 2000).

<sup>9</sup> Я глубоко благодарна коллегам из Института чешского языка Чешской АН и конкретно проф. Св. Чмейрковой, Л. Йилковой (Гашовой), К. Каргановой за предоставленную мне возможность ознакомиться с результатами исследования, а также опросными листами.

<sup>10</sup> «Чехи всегда бравировали тем, как они умеют играть с языком, однако то, как теперь образуются новые слова, не слишком это подтверждает. В большинстве случаев поступают элементарно просто: берется английское слово, подгоняется под чешский язык произношение и присоединяется окончание. Именно подобным образом появились такие слова, как *mailovat*, *manažerovat*, *aupairka*, *esemeskovat*. Лишь в исключительных случаях чехи поднатужатся да и придумают к английскому слову удачного чешского братика: к *second hand* – *sekáč*, к *harassment* – *harašení*, у *hacker* появился *průnikář*, о *bodyguard* (bodygard) даже говорят *osobní bobík*. (перевод наш. – Г. Н.) (Týdeník 2001). Характерно и название данной статьи: «E-čeština: Naše mateřština vydržela nápor němčiny a ruštiny. Pod angličtinou se prohýbá» (Ср. в нашем переводе: *Электронный чешский язык: Наш родной язык выдержал напор немецкого и русского языков. Под английским же он прогибается*).

<sup>11</sup> Ср. также в чешском: *PR agent*, *PR firma*, *PR články* NSČZ 2004; *Vyhodnocení efektivity PR Strategie*. (Лексикографический архив неологизмов Института чешского языка 1997.)

<sup>12</sup> Сокращение «А» применяется в тех случаях, когда тот или иной пример заимствуется из материалов лексикографического архива Института чешского языка. Пользуюсь случаем, чтобы искренне поблагодарить своих

чешских коллег за предоставленную мне возможность работать в данном архиве, а также за помощь, оказанную в процессе извлечения этого материала. †

<sup>13</sup> По мнению известного теоретика словообразования М. Докулила, из всех славянских языков именно чешский обладает наибольшими деривационными потенциями.

<sup>14</sup> Ср. словарь молодежного сленга (Magazín Dnes 34/2001): joke (čti: džouk, angl.) vtip; kalba – oslava; litr – 1000 korun; homeless (čti: houmless, angl.) – bezdomovec; skejták – kdo jezdí na skateboardu; pankáč – hnutí punk; hooligans (čti: huligens) radikální fotbaloví fanoušci; DJ (dýdžej) – pouštěč desek. Приведем также текстовый фрагмент из молодежного сленга, воспроизведенный в газете «Московский комсомолец» (1997, речь как героя интервью, так и журналиста): *Зато теперь все они в заднице, а вы, презираемые синтезаторицики, ох как на всех отыгрались. «Лунная соната» от «DM» выходит лишь на сингле; ты не один такой умный понял, что рейв, данс-культура может собрать гиперглобальные деньги. Но ты первый, записывающий лейбл такой музыки. Ты – в рейверском туховике ди-джей, который взял на себя роль такого гуру некоторых персоналий в ди-джейской тусовке... пишут миксы с пластинок... рейвовать надо дозированно, строго по рецепту.*

<sup>15</sup> Несколько иная ситуация – в профессиональном официальном общении, профессиональной литературе, где действуют сложившиеся в том или ином языке традиции употребления терминологических номенклатур. Так, например, в чешской специальной литературе заимствования используются все же в несколько меньшей степени, чем в русской. Впрочем, наплыв англицизмов заметен и в современном чешском языке, всегда отличавшемся сильными пуристическими тенденциями. В исконно англоязычной компьютерной терминологии количество англицизмов здесь все же ниже, чем в русском; ср.: компьютер – počítač; принтер – tiskárna; файл – soubor; дискета – deska/disketa; браузер – prohlížeč; контроллер – řadič; панель меню – lišta menu; курсор – ukazovátko/kurzor; монитор – monitor/obrazovka и пр.

<sup>16</sup> Проще обстоит дело с интернационализмами, пришедшими из «мертвых» языков, прежде всего из классической латыни. В этом случае сущест-



венную роль играет длительность традиции употребления последней в качестве международного языка науки, литературы и пр. Отсутствию антипатии способствует и то, что латынь, не ассоциируемая ни с каким ныне живущим этносом, не имеет фона негативных коннотаций.

<sup>17</sup> Как политический казус можно рассматривать замену обозначения «картофель фри» в англоязычном ресторанном меню на английский эквивалент в знак протеста против политики Франции по вопросу о войне в Ираке. Разумеется, это частный, анекдотический случай, однако он является дополнительным подтверждением того, что политики, впрочем, как и обыватели, не могут порой устоять перед соблазном затеять политические «игры» на языковом поле, что, по опыту как прошлого, так и настоящего, чрезвычайно опасно, во многом непредсказуемыми последствиями.

<sup>18</sup> Ср. русское новообразование тех лет *несун* и его чешский эквивалент *nenechavec*.

<sup>19</sup> Ср. более новое *otopovec* в тексте очерка о войне в Чечне (Pátek Lidových novin 2000-A).

<sup>20</sup> Ср. также новейшие эксцерпции из архива Института чешского языка (*bezprizorní čekání; v roli bezprizorného; bezprizorné území; bezprizorný majetek*), фиксирующие расширенную валентность.

<sup>21</sup> Ср. комментарий словаря литературного чешского языка (SSJČ): *běženec* «(z rus. *uprchlík*); *vystěhovalec, emigrant*». Как русизм маркируется в этом словаре и *prověrka*; ср. в контексте: *tajné dokumenty, pro něž neměl bezpečnostní prověrku*. (Mladá fronta. Dnes 2005).

<sup>22</sup> Замствования, в частности, из русского, могут «получать новую жизнь», т. е. переосмысляться с учетом новых реалий. Ср.: *Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová (dříve ODA, nyní bezpartijní)* (Metro 1998). Ранее под *беспартийный* имелось в виду то, что данное лицо не принадлежит к коммунистической партии. В данном конкретном случае говорится о том, что министр юстиции Власти Парканова вышла из партии гражданского демократического альянса и стала беспартийной.

<sup>23</sup> Примечательно, что сходное клише встречается и в чешском языке: *máme před sebou horizont možností* (Эхо Москвы, интервью известного чешского режиссера); *Střednědobý horizont* (Euro 1999); *to v delším horizontu*

(RV 2001); *krátkodobě (v horizontu do 1 – 3 let)* (Mladá fronta. Dnes 2001). Сходство иногда наблюдается и в характере допускаемых ошибок. Так, в словаре А. Марковского (Markowski 2000), называется как распространенная ошибка в польском языке оценочная градация прилагательного *optymalny*. То же происходит и в русском узусе: *правила, как наиболее оптимально управлять государством* (Новая газета 2002); *И самый оптимальный вариант – всех политиков и чиновников приговорить к условным срокам наказания* (там же).

<sup>24</sup> Ср.: *Случай пощеголять новомодными словечками типа «толлинг» и «диверсификация» представился.* (Новая газета 2001).

<sup>25</sup> Примечательно, что в передаче о культуре сценической речи приглашенный на «Эхо Москвы» (октябрь 2005 г.) профессиональный преподаватель театрального училища после некоторой заминки вместо *проба* (*пробоваться на роль* и пр.) предпочла все же *кастинг*.

<sup>26</sup> Ср. случаи буквального копирования иноязычной конструкции: *Мать Бен Ладена получила недавно телефонный звонок* (Эхо Москвы 2002, Новости) или *Я сделаю телефонный звонок* (там же 2005).

<sup>27</sup> Ср. шутовую интерпретацию семантики *имиджмейкер* в реплике ведущего «Эхо Москвы»: *имиджмейкер это мордодел*.

<sup>28</sup> По данным, приводимым в монографии А. Загородниковой, в языке польской прессы начала 1980-х годов на 2500 новых слов приходится 72% словообразовательных дериватов и около 15% немотивированных слов, т. е. в пять раз меньше (Zagrodnikowa 1982: 243). Думается, что сейчас это соотношение существенно изменилось в результате притока заимствованных лексем, большую часть которых составляют непроезженные лексемы с не прозрачным для носителей языка-реципиента внутренним строением.

<sup>29</sup> Ср. способы освоения данной лексемы в русском языке: *толпы безнадёжного хипья... новое поколение хиппарей* (Новая газета 2002); *заставить хиппи подстричься* (там же); *со своей музыкальной бандой хипов-алкоголиков* (там же).

<sup>30</sup> Ср. в контексте: *Mluvíč pražské policie Petr Link LN sdělil, že zásah byl namířen proti pachatelům trestné činnosti a zejména proti militantnímu křídlu hnutí skinheads – «Ano, chodí sem řada skinů, ale jsou to ti, co jsou proti*

*fašismu»* (Lidové noviny 1996). Характерно, что в речи героя очерка, более разговорной, отмечается усечение структуры заимствования.

<sup>31</sup> Из электронных писем чешского молодого человека (тексты писем нам были любезно предоставлены К. Марковой): *no, bylo to super* (2000 г.); *Jinak ta práce je dost super* (2001 г.). Оказионально адаптированное *super-*используется как прилагательное: *superovní* (ср. также *extrovní* от *extra*). Ср. также в русском: *команда ничего суперского нам не продемонстрировала* (Эхо Москвы 2002). Небезынтересны и факты автономного использования формантов, т. е. их превращения в самостоятельные (или же полусамостоятельные) слова; ср.: *Интересная съемка, ироничный текст – вся аппаратная вслух комментирует: хорошо, супер! Хвалить коллег – это здорово, это супер* (Новая газета 2001). Примечательно подражание, на наш взгляд, не очень уместное, стилистике молодежной речи (*супер, о'кэй*) в интервью, предоставленному радиостанции «Эхо Москвы» двумя весьма немолодыми интеллигентными дамами (феномен «секундарной публичности», т. е. публичного воспроизведения частной беседы): *Мирон Семенович был супер!* (2003 г., рассказ ассистентки профессора М. С. Вовси, арестованного в пятидесятые годы по так называемому делу врачей); *М. Бабанова! все в ней было о'кэй* (2002 г., рассказ театрального критика о знаменитой актрисе М. Бабановой).

<sup>32</sup> Приведем отрывок из электронного письма отца к взрослой дочери, временно живущей в Москве: *doufám, že můj dopis se Ti podaří rozbalit. Hrozně nerad píši bez háčeků a čárek. Tvé dopisy mě dojmají svojí absolutní stylí. Tím zejména myslím to, že píšeš na čtverečkováném papíru s červeným okrajem (klasický ruský dopisní papír od nepatěti) – наш перевод: надеюсь, что тебе удастся открыть мое письмо. Я страшно не люблю писать без крючочков и долгот (диакритические значки, не фиксируемые в электронной версии. – Г. Н.). Твои письма меня трогают своей абсолютной стильностью. Я имею в виду то, что ты пишешь на бумаге в клеточку, с красной каемочкой (классическая русская почтовая бумага, известная с незапамятных времен)».*

<sup>33</sup> Примечательны недавно услышанные в речи ведущего радиостанции «Эхо Москвы» неологизмы: *пейджеристы* и *эсмэсники*, т. е. радиослуша-

тели, посылающие свои сообщения либо по пейджеру, либо в виде эсэмэсок.

<sup>34</sup> Ср.: *Правящие круги США начнут планомерное свертывание своего присутствия в различных частях планеты. В Вашингтоне это называется disengagement (Новая газета 2001); на кухню рекламы, где рождается креатив (на обычном человеческом языке – светлые идеи), допустили непрофессионалов (там же 2001); педикюлез (вшивость то-есть) в два раза выросла за год (там же 2000); Будешь делать Facepainting. Ну, морды им разрисовывать (там же 2001). Иногда автор, наряду с заимствованием, предлагает русский эквивалент (порой «доморощенный»): наиболее отвечает российскому умострою (или, как модно говорить, менталитету) (там же 2000); сочли сей факт нонсенсом, либо недоразумением (Местная газета «Сокольники. Восточный округ» 1999).*

### Литература

Гоффманнова 2006 – *Гоффманнова Я.* Интернационализация, коллоквиализация, влияние рекламы (чешский язык и его ипостаси в актуальных коммуникативных ситуациях) // Глобализация – этнизация: Этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1.

Нещименко 1999 – *Нещименко Г. П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina Philologiae Slavicae. В. 121. München, 1999.

Нещименко 2002 – *Нещименко Г. П.* Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в языке-реципиенте // Встречи этнических культур в зеркале языка. М., 2002.

Нещименко 2003 – *Нещименко Г. П.* Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.

Hašová 2002 – *Hašová L.* Lásky jedné esemesky // Naše řeč. Praha.

Karhanová 2004 – *Karhanová K.* „Nejde jen o formu, ale i o obsah“: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti // Naše řeč. 2004, № 2.

Kraus 1996 – *Kraus J.* Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení // Naše řeč, 1996, seš. 1.

Markowski 2001 – *Markowski A.* Łatwy słownik trudnych słów. Warszawa, 2001.

Naumann 1998 – *Naumann B.* Stirbt die deutsche Sprache? Überlegungen zum Sprachwandel durch IRC (Internet Relay Chat) // *Dialoganalyse VI. Teil 1.* Tübingen, 1998.

Neščimenko 2002 – *Neščimenko G.* Přejatá slova: nevyhnutelné zlo vs. nevyhnutelné blaho? // *Setkání s češtinou.* Praha, 2002.

NSČ2 2004 – *Nová slova v češtině. Slovník neologizmů.* Praha, 2004.

Zagrodnikowa 1982 – *Zagrodnikowa A.* Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie. Kraków, 1982.

**ЮЖНОСЛАВЯНСКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА  
ТУРЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СУДЬБЫ»)**

Острый интерес к проблеме турцизмов был характерен для южнославянской лексикологии на протяжении всей ее истории. Итогом изучения турцизмов на данный момент является прежде всего инвентаризация лексем турецкого происхождения, которую можно считать практически исчерпывающей (так, в процессе сбора материала для «Малого диалектологического атласа балканских языков» (МДАБЯ) было записано лишь незначительное число слов, не зафиксированных в ранее опубликованных работах (Соболев 2004: 217)); лексикографическая обработка; выявление полевой (тематической) структуры заимствований; описание процесса их фонетической и морфологической адаптации, стилистических характеристик; хронологизация заимствований и их этимологизация.

Как свидетельствуют последние исследования, осуществленные в рамках проекта МДАБЯ, на современном этапе представляется актуальной системная разработка семантической и ареалогической проблематики турецких заимствований. Такой подход подразумевает семантическое и географическое портретирование заимствованной лексемы в сопоставлении со словами, занимающими близкие или идентичные семантические ячейки. Применительно к терминологии природы и материальной культуры задачи изучения формулируются как «детальное описание семантики и точная ареалогическая и историко-лингвистическая характеристика каждой лексемы», «объясне-

ние причин формальной и семантической вариативности/инвариантности тюркской лексики», «детальное описание системного статуса тюркских заимствований» (там же: 217, 218). Методика подобных исследований основана на сравнении состава и устройства определенных лексико-семантических групп в разных балканских говорах, выявлении диалектной специфики в семантическом наполнении турцизмов и построении общебалканской семантической амплитуды отдельных лексем с последующей ареалогической интерпретацией. Эти задачи и методы вполне актуальны и для исследований заимствованной этнокультурной лексики. Однако при изучении имен культурных концептов встают еще две серьезные теоретические задачи. Первая задача – **определение роли диалекта – донора и диалекта – реципиента в формировании семантики заимствованного слова в балканском диалекте**, поиск ответа на вопрос «действительно ли славянское слово, которое оказалось вытесненным, полностью передало ему все свои лексические значения... привносит ли заимствованное слово какие-либо коннотации из языка – донора» (Седакова 2000: 81). Вторая задача – **выявление причин заимствования** названий для концептов, известных славянской традиции и до контактов с турецкой культурой и имеющих целый ряд автохтонных (праславянских или собственно южнославянских) обозначений.

Большой интерес представляет состав турецких заимствований в сфере культурных концептов, выявление тех фрагментов народной этики, эстетики, онтологии, которые оказались наиболее восприимчивыми к заимствованиям. Инвентарь турцизмов, обозначающих «духовную жизнь человека», и лексем «абстрактного содержания», который приводится к книге О. Яшар-Настевой (Яшар-Настева 2001: 102–104, 106–108), дает следующую панораму значений: ‘гнев, раздор, насилие’, ‘страх, мука’, ‘горе, беда’, ‘клевета, измена’, ‘помощь’, ‘добро, польза’, ‘любовь’, ‘милость’, ‘наслаждение, удовольствие’.

ствие', 'счастье, судьба', 'доброе дело', 'честь'. Лексемы, выражающие эти значения весьма частотны и важны для картин мира, выражаемых южнославянскими диалектами, однако не все они в равной степени культурно значимы. Среди них можно выделить три группы лексем, которые, несомненно, носят ключевой характер для южнославянской народной духовной культуры, поскольку за ними стоят обширные текстовые поля, включающие фольклорные тексты, поверья, обряды. Это лексика любовных переживаний (*севда, мерак, кахар*), на которой основана лирическая поэзия, лексика доброго дела (*севан, аур*)<sup>1</sup>, обслуживающая кодекс балканской благотворительности, и лексика судьбы (*касмет, избал* и др.).

Концепт судьбы в южнославянских культурно-языковых диалектах складывается из большого диапазона смыслов и мотивов и выражается, с одной стороны, обширным лексическим полем, а с другой – колоссальным корпусом текстов различных фольклорных жанров. Славянскую лексическую парадигму судьбы в говорах сербохорватского, македонского и болгарского языков составляют продолжения праслав. \*(*vy*)*strětja* 'встреча' (с.-х. *срећна*, макед. *среќа*, болг. *среща*), \**čьstь* 'часть, доля' (болг. *чест*), \**děl-* 'делить' (болг. *делба*), \**sođ-* 'судить' (с.-х. *судба, судбина*), \**rěk-* 'говорить' (с.-х. *нарок*). Семантическое поле ю.-слав. \**srětja* – наиболее распространенного среди данных наименований – включает такие значения, как: 1) 'судьба, доля, то, что человеку суждено, предопределено (от рождения и по стечению обстоятельств)', аксиологическое содержание слова в данном значении амбивалентно, оно сочетается и, как правило, уточняется определениями с семантикой 'хороший' – 'плохой': макед. *арна и лоша среќа*, болг. *добра и зла среща*, с.-х. *добра, срећна, зла, (х)уда, тешка, зла срећна* 'хорошая, счастливая, плохая, тяжелая, злая доля' – *има једна глуга девојка... она има бољу срећу но и аиџа* 'есть тут одна глухая девушка... у нее доля лучше, чем даже у господ' (Шаулић



1922: 179) и да Бог да домаћину у свачему срећу добру, сретну и берихетну, пуну и богату ‘дай Бог хозяину во всем доли хорошей, счастливой и благополучной, полной и богатой’ (Iveković, Broz 1901), болг. *такава ми была среца-та* ‘так мне суждено’ (Геров 1904); 2) ‘сила, управляющая человеческой жизнью (внешняя или имманентная человеку)’: *Однесе ме Бог и срећа Јову на дворе* (Iveković, Broz 1901), *нанела га срећа* ‘принесло его’; 3) ‘счастье (благополучие)’: с.-х. *Бог даде срећу и напредак* ‘Бог дал счастье и благополучие, удачу’ (Самарџија 1995: 159) и ‘удача’: с.-х. *имаш срећу* ‘тебе повезло’. Другие названные лексемы реализуют отдельные фрагменты этого семантического спектра (в целом синкретичного и с трудом поддающегося членению). Исключение составляют, пожалуй, лишь отдельные слова, мотивированные глаголом с семантикой определения судьбы, типа с.-х. *судба*, которые иногда (достаточно редко) встречаются в значении фатума, ср. с.-х. *Судба шћаше да се на ђувегији, деветом колелу освети за неправде и злости предкове* ‘Судьбе было угодно в лице жениха, девятого колена, отомстить за неправду и злобу его предков’ (там же: 159).

Наряду с автохтонными славянскими наименованиями судьбы, в балканославянских диалектах (с разной степенью географической распространенности и употребительности) для обозначения судьбы и счастья используется ряд турцизмов: с.-х., макед., болг. *кисмет, касмет, късмет* ‘доля, судьба, счастье’ (от тур. *kismet* ‘счастье, удача’, реже ‘судьба’); ю.-серб., макед. *аир* ‘добро, счастье, благополучие’ (от тур. *hayir* ‘добро, благо, польза, толк’); с.-х. *бат, бакт, бафт, батуна, бактуна*, с.-х., болг. *бахт* ‘счастье, благополучие, судьба’ (от тур. *bahı* ‘счастье, судьба, доля’); с.-х. *нафака, навака* ‘доля, судьба’, ‘счастье, благополучие’ (от тур. *nafaka* ‘средства к существованию, алименты’); с.-х. *талих, талија* ‘счастливая доля, удача’, ‘судьба: то, что суждено; сила, управляющая жизнью челове-

ка' (от тур. *talih* 'судьба, рок, счастье, удача, успех'); болг., макед., с.-х. *игбал* 'счастье, удача' (от тур. *ikbal* 'счастье, успех, удовольствие'), с.-х. *берушет*, макед. *берикет* 'счастье, благополучие' (от тур. *bereket* 'благоденствие, счастье, урожай').

Территориальное распространение данных лексем демонстрирует три основных типа ареалов. Продолжения тур. *kismet*, которые из всех названных слов географически распространены у славян наиболее широко, представлены в восточной части Южной Славии. Ядром этого ареала являются болгарские говоры, о чем свидетельствует, прежде всего частотность употребления в них соответствующей лексемы, практически не имеющей лексических «конкурентов». Говоры черногорские, косовские и южносербские относятся к его периферии (западная граница ареала проходит южнее течения Западной Моравы), признаком чего является ослабление позиций лексемы в системе, преимущественное употребление синонимов, семантический сдвиг в сторону значения 'рок, фатум'. Продолжения тур. *ikbal* распространены в центральном ареале, с ядром в Черногории и Косове и включающем также говоры Македонии, Боснии и Герцеговины. Близкие ареалы демонстрируют продолжения тур. *nafaka* и *baht*. Третий тип ареала – «разорванного» характера, не составляет единого континуума, он представлен продолжениями тур. *talih*, которые фиксируются преимущественно в сербских ресавских говорах и в некоторых говорах Черногории, а также в Банате у переселенцев из Герцеговины. Все названные изоглоссы образуют пучки на территории Черногории и Косова, которую следует признать центром общего ареала распространения турцизмов с семантикой судьбы у южных славян.

Насколько можно судить по типовым контекстам их функционирования, данные лексемы реализуют значения того же семантического спектра, что и исконные южнославянские слова, и имеют сходную

дистрибуцию. При этом каждая из заимствованных лексем выражает лишь часть значений, свойственных славянским словам, и не может заменить славянские обозначения во всех типах контекстов. Этот спектр, моделью которого можно считать южнославянскую семантическую амплитуду слова \**srětja*, турецкие заимствования расчленяют на две области. К первой относятся значения, связанные с идеей счастья – судьбы, а ко второй – с идеей счастья – успеха. Первую группу значений выражают продолжения турецких слов *kismet*, *talih*, *ikbal*, *baht*, для которых в языке – доноре основной является семантика судьбы, рока и счастья – успеха. К этой же группе примыкают продолжения лексемы *nafaka*, первичным для которой стало значение материального содержания, положенного человеку, как в юридическом смысле, так и в религиозном: ‘то, что человеку Богом суждено съесть и выпить на этом свете’ (РСАНУ; Караџић 1935), давшие, с одной стороны семантику ‘предопределенное Богом’, а с другой – ‘благополучие, счастье’. Вторую группу значений выражают продолжения лексем *hayir* и *bereket*, в которых семантика счастья связана с ‘добро, польза’ и ‘благополучие, изобилие, урожай’.

Приведем материал, демонстрирующий соотношение семантических полей турцизмов и семантической амплитуды слова \**srětja*<sup>2</sup>.

1) ‘судьба, то, что человеку суждено’:

болг. *кога Господ дава късмет, не пита чий си сын* ‘когда Господь дает счастье (судьбу), не спрашивает, чей ты сын’ (Геров 1904), *каква је нафаку Бог коме дао, онакав му је и живот* ‘какую кому Бог дал судьбу, такая у него и жизнь’ (РСАНУ) (ср. с.-х. *давати, делити срећу*);

с.-х. *таква је моја батунa, такав је кисмет, така му је била његова талија* (Елезовић 1935), болг. *такъв му был късмет-тъ* (Геров 1904), *нафака му беше да...* (Чемериџић) ‘так суждено’, *није био кисмет* ‘не судьба’ (Елезовић 1932). *Ако му је... већ била таква та-*

*лија да га море удави, бар да га оно мртво врати матери земљи* ‘Если уж ему... было на роду написано утонуть в море, пусть бы оно, по крайней мере, вернуло его матери-земле’ (Iveković, Broz 1901); (ср. с.-х. *таква му је срећа, тако му је суђено*, болг. *такава ми была среќата* (Геров 1904));

с.-х. *све ће буде ако је к’смет* (Митровић 1984), *ако је била таква талија* ‘все произойдет, если это суждено’ (ср. с.-х. *ако је суђено*), *кисметска деоба* ‘суд по жребвию’ (РСАНУ);

с.-х. *рђаве сам бати* (Там же), *рђаве сам талије* букв. ‘у меня плохая доля, мне не везет’ (Карацић 1935), *добра игбала, добре нафаке* ‘у Х хорошая доля’ (ср. с.-х. *лоше, зле сам среће*);

с.-х. *талија ме тако потерала* ‘судьба так сложилась’ (Филиповић 1958: 286), *потерала ме нафака сама да биднем* ‘судьба так сложилась, что я осталась одна’ (Елезовић 1932) (*срећа ме тако потерала*).

2) ‘счастливая доля’ и ‘счастливый случай’:

с.-х. *имати/немати талију, имати бата* у *нечему*, болг. *имај/нямям к’смет* ‘иметь/ не иметь удачу’, *имао сам игбал те ми сва ћеца претекоше* ‘мне повезло, что все мои дети спаслись’ (СТИЈОВИЋ 1990) (ср. с.-х. *имати срећу*); *имаи више бата* (РСАНУ), с.-х. *имати вељи кисмет* ‘тебе больше везет’ (ср. с.-х. *имаи више среће*); *з бафтом* ‘со счастливой долей’; *ако Бог да бата* ‘если Бог пошлет удачу’ (ср. с.-х. *ако Бог да срећу*). *Ако буде старога талиха Турцији ће ни платити Батрића* ‘если будет нам сопутствовать старая удача, турки заплатят нам за Батрича’ (RJAZU), *није имала талиха, и остаде рано удовица с петоро мале ћеце* ‘плохая у нее была доля, и осталась она рано вдовой с пятью маленькими детьми’ (ЋУПИЋ, ЋУПИЋ 1997), *он је човек без бахта* ‘он человек без удачи’ (РСАНУ), *искочи му игбал* ‘ему повезло’ (Елезовић 1932), болг. *работи ми бахтът* ‘мне везет’ (БТР);

с.-х. на моју *талију*, на *бафт* (Дучић 1931: 310) ‘на мое счастье’, болг. на наш *бахт* ‘к нашему счастью’ (БТР); (ср. на моју *срећу*), *имадо нафаку да га затекнем дома* ‘мне повезло, что я его застал дома’, *немадо бат да га стрефим у чаршију* ‘мне не посчастливилось встретить его в центре города’ (Чемериќић) (ср. *имао сам срећу да...*).

3) ‘успех в деле, благополучие, прибыль’:

макед. *аир да не видиши!* (РМНП), с.-х. *аир да немаш!* (Форски 1997) ‘чтобы тебе не было ни в чем успеха!’ (проклятие), *што год радили и главили, ајер и срећу имали* ‘чтобы вы не делали, (дай вам Бог) успеха’ (РСАНУ), *нека ти је са аиром, аир ти било!* (Станић 1990) (ср. *нека је са срећом*) ‘да сопутствует тебе успех’ (благопожелание), *од пијаницу ни своја кућа аир нема* ‘от пьяницы и собственному дому прибýtка нет’ (Митровић 1984) (семантику счастливой доли данная лексема как правило выражает в благопожеланиях и проклятиях, где она весьма частотна); *ту обаве једну кратку молитву ради бахта и напретка* ‘они совершили краткую молитву ради благополучия и успеха’ (РСАНУ) (*ради среће и напретка*)<sup>3</sup>.

О семантической дублетности слова \**srětja* и его турецких эквивалентов свидетельствуют двойные номинации типа *мене је срећа и батунa довела* ‘меня привела удача и счастье’ (РСАНУ); с.-х. *како коме срећа пође и талија* ‘как кому повезет’, *и вук срећу у гори имаде, моја Златка среће ни избала* ‘и у волка в лесу есть счастье, а у моей Златки ни счастья, ни доли’ (Там же), *не би ли нам Бог и срећа дала и нафака Мухамеда свеца* ‘может быть нам даст (дадут) Бог, и срећа, и нафака святого Мухаммеда’ (RJAZU), *Бог ти д’о сваку срећу и нафаку теби и свакоме твоме* (РСАНУ).

Сходный характер носит не только языковая сочетаемость славянских и турецких по происхождению слов, но и их текстовая дистрибуция – от паремий (болг. *роди мя мамо с късмет на ме врли на ку-*

нице 'роди меня, мама, счастливым и брось меня в навоз' (Геров 1904) (ср. с.-х. *роди ме мајко срећна па ме на буњшките баџи*), с.-х. *аирлија!* 'удачи!' (Митровић 1984) (ср. с.-х. *нека је са срећом!* болг. *добра среџа! честита му е годината!* (Геров 1904)), до сказок и быличек о доле-судьбе (ср. запись из Лесковца о неудачливых и удачливых братьях, где свойство последних именуется *срећа* (СНПЛ, 218–219), и из Баната, где оно же именуется *талија* (Филиповић 1958, 286)).

Подобная, практически не знающая исключений заменимость слова *срећа* на турецкие наименования свидетельствует о том, что, вероятнее всего, заимствование шло преимущественно путем наложения новых лексем на исконное семантическое поле и устоявшийся круг контекстов бытования славянских слов. Исключение составляют отдельные периферийные и редкие употребления, в которых заимствованные лексемы сохранили специфические значения языка – донора. Влияние же чисто семантическое, т. е. влияние турецкого семантического поля судьбы на амплитуду славянских наименований, скорее всего, отсутствовало (во всяком случае, что касается слова *срећа*).

Встречаются контексты, в которых обозначения судьбы турецкого происхождения не могут быть свободно замещены на слово *срећа*. Во-первых, это случаи употребления лексемы *кисмет* в значении фатума, высшей силы, управляющей ходом событий. С этой семантикой слово *кисмет*, отсутствующее, кстати, в сербохорватском литературном языке, фиксируют тезаурус сербского народного и литературного языка РСАНУ и толковый словарь литературного языка МС (с пометой «областное»): *предати се кисмету* 'предаться судьбе, воле рока', *што се у књигу од кисмета упише не може нико побркати* 'что записано в книге судьбы, никто не может нарушить' (РСАНУ) (эти употребления, несомненно, можно понимать и в

смысле судьбы – программы индивидуальной жизни, но словари выделяют здесь значение судьбы – рока). Насколько это значение свойственно народной культуре сказать трудно, поскольку данные тексты носят авторский, а следовательно, полукнижный – полународный характер (в словарях отдельных говоров нам подобные употребления не встретились). В этом значении в сербохорватском литературном языке употребляется славянское слово *судбина* (*предати се судбини*), которое, однако, достаточно редко встречается с этой семантикой в фольклорных текстах (например, *судбина се од свога рада и реда одвратити не да* ‘судьба не позволяет отойти от своего хода и порядка’ (Самарџија 1995: 159)) и которое В. Караджич воспринимал как книжное. Идея же рока, фатума как силы, управляющей ходом событий, чужда славянским народным верованиям, что дает основание предположить ее заимствованный характер.

С уверенностью можно сказать, что славянские представления о судьбе основаны прежде всего на идее **личной** доли, которую человек получает от рождения в силу приговора мифологических и сказочных персонажей (реже Бога) или по обезличенному предопределению, в силу времени и обстоятельств рождения. В этой связи нельзя исключать возможность влияния на славянское народное сознание культуры мусульманского востока, в которой идея судьбы («предопределения», «времени» (Caskel 1926)), управляющей происходящим, играет большую роль. Для нас наибольший интерес имеет тот факт, что вера в судьбу представляет собой лейтмотив арабского народного творчества и прежде всего сказок «Тысяча и одна ночь», которые буквально, по выражению В. Каскеля, «обрамлены» идеей судьбы (там же: 57). Так, герои сказок неизменно произносят монологи, в которых рассуждают о том, что ничто не во власти человека, все кончается смертью, каждый должен быть готов к ударам или подаркам судьбы и все принимать с равным спокойствием: *К заботам*

*всем повернись спиной / и дела свои поручи судьбе!* (Книга тысяча и одной ночи 1: 54); *Надеюсь, что может быть, судьба повернет узду / И благо доставит мне, – изменчиво время!* (Книга тысяча и одной ночи 3: 160); *Рассудило время, чтоб быть в тебя мне влюбленному...* (там же: 231).

Второй, причем бесспорный, пример влияния турецкой культуры на исследуемое славянское семантическое поле заключается в выражении лексикой судьбы, в частности словом *бат*, семантики Божиего промысла, что вообще не свойственно славянским словам. Отождествление судьбы и воли Аллаха типично для ориентальных фольклорных текстов, ср. следующие тексты из «Тысячи и одной ночи»: *Страшайся судьбы своей, спокоен будь, / вручи дела ты тому свои, кто мир простер! / О владыка мой! Ведь случится то, что судил Аллах, / Но избавишься ты от того, чего не судил Аллах* (Книга тысяча и одной ночи 1: 53). *Обязательно открою дверь и посмотрю, что со мной из-за этого произойдет! Приговора Аллаха великого и судьбы не отворотить ничем, и никакое дело не случится, если не по воле его* (Тысяча и одна ночь 1990: 338). Этот культурный мотив нашел непосредственное отражение в южносербских диалектах, в которых в слове *бат* нейтрализуются значения ‘судьба’ и ‘Божия воля’: *децу сѣм оставла саме тако на бат божји* ‘детей оставила одних, на волю Божию’ (Чемерикић).

Наряду с турецкими обозначениями судьбы – счастья в южнославянских говорах распространилось много дериватов этих лексем, частью заимствованных из турецкого языка, частью образованных на почве славянских говоров с помощью собственных словообразовательных средств. Это названия признаков ‘имеющий / не имеющий счастье, удачу’ и, крайне редко, ‘относящийся к судьбе’. Последнее значение нам встретилось лишь однажды: *кисметска деоба* ‘суд по жребию (РСАНУ). Первый же признак лексически широко тиражи-



рован. Приведем примеры: *бахтли* (*батли*), *батан*, *батлијаст*, *хаирли*, *навачан* (там же), *талишан*, *икбали* (Дучић 1931: 310), *игбалан* (Стијовић 1990), *берићетан* ‘счастливый, удачливый’: *он је батан човек, све му успева* ‘он удачливый человек, ему все удается’ (РСАНУ), *него почмимо о чему бахтнијем и занимљивијем* ‘давайте поговорим о чем-нибудь более веселом и интересном’ (там же), *био сам ти... батли од јутра: крмача ми опрасила седморо* ‘мне... с утра везет, у меня свинья семерых поросят принесла’, *батли човеку и стршљенови мед граде* ‘удачливому человеку и шершни мед приносят’ (там же), *здрава и жива, сретна и бахтли била* ‘чтобы тебе быть здоровой и живой, счастливой и удачливой’ (там же), *добре си нафаке и игбали главе* ‘ты везучий и у тебя счастливая голова’ (там же), *стара чельад вели да је игбали ће има много будала да они доносе срећу дотичноме мјесту* ‘старики говорят, что удачно, если где-то много дураков, потому что они приносят счастье этому месту’ (там же), *да Бог да хаирли и игбали био почетак!* ‘дай Бог, чтобы начало было счастливым’ (там же), *ајерлија човек, што почне, иде му у напредак* ‘счастливый человек, что ни начнет, все у него получается’ (Чемерикић), *наши су сви у женидбу игбални* ‘наши все в женитьбе счастливые’ (Стијовић 1990), *Бог ће њему и његовој деци дати века сретна, берићетна и велика* ‘Бог ему и его детям даст жизнь счастливую, благополучную и долгую’ (Самарција 1995: 159), *батлија*, *бахтаџија*, *бафтаџија* (РСАНУ), *икбалија*, *игбалиџија* (Стијовић 1990), *кисметлија* ‘человек, которому все удается’: *ко је батлија и свраке му јајца доносе* ‘кто удачливый, тому и сороки яйца несут’ (РСАНУ), *Ново је игбалија, све му иде од руке* ‘Ново – счастливый, у него все получается’ (Стијовић 1990).

Значение ‘неудачливый’ лексически выражается не столь разнообразно. Изредка в сербохорватских говорах в этом значении встречаются славянские образования с отрицательным формантом типа

*безбатник* и *неталичан*, а также турцизмы *аирсуз* (РСАНУ), *ајерсџ* (Чемерикий), *избалсуз*, *берићетсуз* (Škaljić 1965), однако преимущественно эта семантика выражается лексемой *баксуз* (из тур. *bahtsız* ‘несчастный, неудачливый, злосчастный, невезучий’, мотивированного словом *baht* ‘счастье’) и ее производными *баксузан*, *баксуштина*, *баксузетина*, *баксузина*, *баксузьив*, *баксузаст*, *баксузник*, *баксузница*, *баксужњак*, *баксузли* и др. Из всех турцизмов, принадлежащих к полю судьбы, в сербских говорах это слово получило самое широкое распространение, лучше всего адаптировалось, развив большое словообразовательное гнездо, и единственное вошло в сербохорватский литературный язык, благодаря чему в настоящее время употребляется далеко за пределами изначального ареала. На сегодняшний день это слово активно употребляется даже в Хорватии, хотя в конце XIX в. Словарь Хорватской академии наук (RJAZU) это слово не фиксировал. Причиной огромной популярности этого слова, очевидно, является его яркая эмоциональная окраска. В современном литературном языке слово *баксуз* употребляется в значении ‘человек, которого преследуют неудачи’: «*баксуз* – это человек, который, играя в лото, ошибся на один номер, человек, который опоздал на автобус или поезд, человек, провалившийся в открытый канализационный люк» (из Интернета). То же значение фиксируется и в говорах (*‘рђаве талије човек’* (РСАНУ), *баксус је човек коме ништа од руке не иде, све му наопако иде, супротно батлији, несрећан* ‘*баксус* – это человек, у которого ничего не получается, все у него идет шиворот-навыворот, противоположно *батлији, несрећан*’ (там же)): *понеки је баксуштина цео век, што год узне да ради, све му изиђе наопако* ‘кто-нибудь может быть неудачником всю жизнь, за что ни возьмется, все у него идет навыворот’ (Марковић 1993), *много је та човек баксужљив, што год узне да ради, све наопако* ‘этот человек – большой неудачник, за что ни возьмется, ничего у него не получается’

(Марковић 1986). Эмоциональная окраска этого слова приближает его к ругательству или проклятию, выражающему неудовольствие происшедшим: в сербской речи возможны частично десемантизированные восклицания типа *баксуз!* как реакция на любое свое или чужое неудачное действие. Обозначения неудачников семантически производны от термина со значением ‘беда, несчастье, неприятность, неудача, зло’ (с.-х. *баксуз*), несколько отличного от содержания слова *несрећа* (несмотря на их взаимозаменяемость) тотальным, роковым, неизбежным характером преследующих человека неприятностей (*баксузлук*): *стално ме ео неко доба прати баксузлук, ништа ми не иде од руке* ‘меня с некоторого времени постоянно преследуют неудачи, у меня ничего не получается’ (Ћупић, Ћупић 1997), *терао те баксуз да Бог да цео живот!* ‘Чтоб тебя преследовали неприятности всю жизнь’ (РСАНУ). В южносербских и болгарских говорах у продолжений тур. *bahtsiz* наблюдается смещение языковой семантики в сторону оценки характера ‘плохой человек’, однако при этом сохраняются культурные коннотации, связанные с судьбой (представление о дурном глазе такого человека, неблагоприятной встрече с ним и пр.).

Как можно заметить из приведенных диалектных текстов, содержание «признаковых» турцизмов обычно раскрывается через такие дефиниции, как ‘*коме све успева, све иде од руке, иде у напредак*’ и ‘*коме све иде наопако*’. Это свойство может быть как временно присущим человеку, благоприобретенным (ср. продуцирование этого свойства в благопожеланиях), так и врожденным свойством иметь или не иметь успех. По свидетельству М. Филиповича, в Таково верят, что «некоторые люди рождаются *сретни, батли* или *са талијом (талич-ни)*, а другие *баксузи*: такой человек работает, трудится, но у него ничего не получается, хозяйство разваливается, сам он ломает ногу, сопьется» (Филиповић 1972: 208). Счастье, или удачливость (*талија*,

*бат*) понимается как положительная «сила, которую человек приносит с собою на свет, которая содержится в человеке, **излучается на окружающих**» и дается человеку по *Божју наређењу* (по Божьей воле) (там же). В Таково об одном человеке рассказывают, что он прошел войну невредимым, потому что *имо неку талију*, а о другом, образованном и богатом и имевшем все условия, чтобы хорошо жить, но тем не менее жившем очень тяжело и умершем в нищете, что *није имао талију* (там же). В фольклоре это представление отражается в сюжетах следующего типа: семья никак не может разбогатеть несмотря на то, что все усердно работают, отец передает управление хозяйством старшему сыну, но семья продолжает бедствовать. Так, во главе семьи, по очереди, становятся все братья. Когда старшим в семье делают младшего сына, дела в хозяйстве начинают идти прекрасно, и таким образом выясняется, что он, в отличие от остальных, *срећан* (СНПЛ: 218–219).

В восточнославянском фольклоре также встречается мотив распространения счастливой доли человека на окружающих (см. сказку «Счастливое дитя»: приказчик слышит предсказание, что родившийся у купца ребенок будет приносить удачу, похищает его и добывается в жизни больших успехов (Афанасьев 1957: 305–306)), однако, в отличие от южнославянской народной культуры, он не получает устойчивого закрепления в языке (за исключением тех случаев, когда речь идет о «счастливом» предмете, ср. сочетание *счастливый билет*, в котором *счастливый* однозначно выражает значение ‘приносящий удачу’). В южнославянских говорах свойство человека (животного, предмета) положительно или отрицательно влиять своим присутствием на ход дел также может выражаться славянскими словами (ср. *нафакали и срећан пас* букв. ‘«счастливая» собака’, о собаке, которая приносила удачу (Чајкановић 1927: 187)), однако лексикализация этого значения преимущественно достигается с помощью заимствованной лексической парадигмы.

Помимо семантики ‘удачливый/неудачливый’ турцизмы, называющие признаки, выражают значение ‘приносящий удачу/неудачу окружающим’. Наиболее часто это значение выражается производными *бахт*: с.-х. *бахтли* (*батли*), *батлија* (РСАНУ), макед. *батлија* ‘счастливый, приносящий удачу другим’ (РМНП): *бахтли очи* ‘добрый, «не глазливый» глаз’ (Ђорђевић 1938: 18), *батли муштерија* ‘покупатель, у которого легкая рука’ (РСАНУ). В Тимоке, чтобы на Рождество первым в дом не зашел человек, который *нема среће*, обычно заранее приглашают *батлију*. По представлениям сербов, свойства первого рождественского гостя впоследствии становятся очевидны по тому, как идет в новом году хозяйство: если куры хорошо несутся, значит, гость был *батлија*. В Хомоле охотники считают добрым предзнаменованием, если по пути встретят цыганку, потому что цыгане *батлије* (Там же). С этой же семантикой употребляются с.-х. *таличан*, *талишан* (Филиповић 1972: 208), *нафакали* (Чајкановић 1927: 187), *аирлија*: *баши је аирлија чича Риста јер кад год ми он чини севте добро назарим* ‘дядя Риста приносит удачу, когда он у меня бывает первым покупателем, у меня всегда хорошая выручка’ (РСАНУ). Противоположную семантику выражает, главным образом, лексема *баксуз* и ее дериваты, в том числе частотны глаголы *баксузирати*, *баксузити* ‘приносить неудачу’: *пусти ти баксуза у кућу, па ће ти све наопако ићи* ‘пусти баксуза в дом, все пойдет навыворот’; *бежи отаде баксузе, не баксузи тај рад* ‘пошел вон, баксуз, не порти мне работу’; *немој ми кварити посао, баксузнице један* ‘не порти мне работу, баксузник’ (там же). *несретниковић и баксуштина који да довати за сирово дрво, осушило би се* ‘несретниковић и баксуштина, если бы он взялся за дерево, то оно бы высохло’ (там же). В Черногории верят, что «*није срећно и навачно*, если в дом войдет *баксус*, который и при встрече на дороге *неталишан*», а в Крушевце считают, что если первым лавку посетит человек злонаме-

ренный или *баксус*, тогда в этот день не будет выручки (там же). Также, хотя и чрезвычайно редко, встречается с этой семантикой слово *аталија* 'приносящий несчастье': за *Прокопија држе да је аталија и наводе многе несрећне случајеве да су се десили на овај празник* 'день св. Прокопия считают несчастливым и приводят несчастные случаи, которые произошли в этот день' (там же: газета «Цариградски гласник» за 1896 г.).

Свойство приносить удачу/неудачу другим и самому быть удачливым/неудачливым (vs. два значения слова) реализуются не только в паре, но и независимо друг от друга. Свойство приносить при встрече удачу или неудачу, по народным представлениям, определяется не только «таланом» человека, но и его профессиональной, половой, национальной принадлежностью (так, *баксузом* считают любую женщину). Более того, характеристика *баксузан* может вообще относиться не к человеку, а к животному, предмету, временному периоду, действию и т. д. «Когда путнику перебежит дорогу заяц или куропатка... он сразу возвращается, потому что заяц и куропатка считаются *баксузне животиње*» (РСАНУ). *Није сваки уторак баксузан дан* 'не каждый вторник несчастливый день' (там же), *ти си баксуз па и твој долазак мора бити баксузли* (там же).

В проникновении в южнославянские диалекты турецкой лексики судьбы, безусловно, решающую роль сыграли культурные факторы. Важная роль, которую вера в судьбу играет в ориентальном сознании, подразумевает ее частотное, интенсивное выражение в вербальном языке и языке культуры, что естественно более или менее активно воздействовало на славянское окружение. При этом процесс влияния был не только языковым: наряду с лексической парадигмой, славяне заимствовали ориентальные фольклорные тексты о судьбе (сербский этнограф М. Филипович отмечал, что в Сербии бытуют варианты сказок о судьбе из «Тысяча и одной ночи» (Филиповић 1958: 286)).

Однако наряду с фактором культурной экспансии, безусловно, имели место и внутриязыковые механизмы этого процесса: поле судьбы в славянских диалектах оказалось по ряду причин «слабым местом». Одной из существенных причин усвоения заимствований нам представляется асимметрия плана содержания и выражения славянских слов, отражающих целый спектр значений и не всегда однозначно интерпретируемых, что могло создать внутреннюю потребность поля в терминологизации, закреплении самостоятельных знаков за специфическими значениями. Эта внутренняя потребность поля судьбы в структурировании, приобретении самостоятельными семантическими ячейками отдельных лексических знаков, подтверждается историей литературного сербского языка, в котором полисемантическое (и при этом семантически синкретичное) *сreћa* уступило часть своего спектра слову *судбина*, сохранив за собой только значения удачи и благополучия. При внедрении турцизмов в славянскую лексико-семантическую систему, как кажется, действовал тот же механизм разграничения судьбы, доли, счастья и успеха, прибыли, благосостояния и, в целом, механизм семантической специализации. Некоторые культурные значения, которые хотя и могут быть выражены словом *\*strětja* и его производными, принадлежат к периферии его семантического поля, их реализация требует текстовой поддержки и нередко жанрово обусловлена. В турцизмах же, которые семантически устроены гораздо проще, именно эти специфические значения становятся ядерными. Ср. несколько неопределенную идею хорошей доли, заложенную в слове *\*strětja* (по степени абстрактности содержания приближающемся к русск. *счастье*), которая в лексеме *аир* реализуется в значении ‘прибыток, успех в деле’ (приближается к русск. *спорина* в примере *спорина в квашню!*), что зависит от природы участников предприятия и всех присутствующих, имеющих способность приносить *аир* или лишать его.

Видимо, наиболее остро потребность в специализации ощущалась в «признаковом» участке поля. Доказательством этому служит то, что признаковые слова в сербских говорах по горизонтали (географически) и по вертикали (по разным стратам языка) распространились гораздо шире, чем названия судьбы (интересно замечание Т. Джорджевича о том, что слово *батли* в сербских говорах употребляется чаще, чем *бат* (Ђорђевић 1938: 170)). Представляется, что именно в области «признаковых» слов произошло влияние системы значений языка – донора на семантические поля славянских говоров, в которых под воздействием турецкого языка исконно присущие славянской культуре значения приобрели статус языковых.

В заключение отметим, что сходным образом происходило заимствование турецких слов в других областях этнокультурной лексики, в частности, в поле «доброе дело», лексически реализуемого у славян дериватами корня *\*dobr-*. В этом случае также обращает на себя внимание факт заимствования не одной лексемы, а целой лексической парадигмы (ср. серб. *sevan, aip, ajrat, vakuф* ‘доброе дело, благотворительная помощь’), выступающей в более узком, специализированном религиозном значении ‘богоугодное, спасительное для души дело’, в отличие от широкого славянского *\*dobro*. Подобная лексическая экспансия также поддерживалась экстралингвистическими факторами – распространением у балканских славян обычая благотворительности в форме возведения мостов и устройства источников, что находит параллели в ориентальной культуре.

### Примечания

<sup>1</sup> Турецкое влияние на южнославянское лексико-семантическое поле доброго дела подробно рассмотрено в работах Якушкиной (Якушкина 2004; Якушкина 2004а).

<sup>2</sup> Поскольку это слово сохранилось преимущественно в сербохорватских говорах, материал по его семантике был заимствован из них.



<sup>3</sup> К сожалению, для нас остается открытым вопрос о возможности употребления турцизмов в контекстах типа *живети у срећи* 'жить в довольстве, благополучии'. Подобных примеров мы не обнаружили, однако нельзя исключать, что некоторые турцизмы, а именно *бахт* и *икбал*, могут употребляться в этой конструкции.

### Литература

Афанасьев 1957 – *Афанасьев А. Н.* Русские народные сказки. М., 1957. Т. 2.

Книга тысячи и одной ночи – Книга тысячи и одной ночи: в 8-ми тт. М., 1958–1959.

Седакова 2000 – *Седакова И. А.* Живота е късмет? (Об одной лексеме в словаре болгарского села Равна) // Малый диалектологический атлас балканских языков. Материалы рабочего совещания. СПб., 2000.

Соболев 2004 – *Соболев А. Н.* Опыт исследования турцизмов в балканских диалектах // *Zeitschrift für balkanologie*. 2004. № 40, 1–2.

Тысяча и одна ночь 1990 – Тысяча и одна ночь. Избранные сказки. Красноярск, 1990.

Якушкина 2004 – *Якушкина Е. И.* «Доброе дело» в языке и культуре балканских славян // Доклады российских ученых. IX конгресс по изучению стран юго-восточной Европы. СПб., 2004.

Якушкина 2004а – *Якушкина Е. И.* Мотив доброго дела в контексте традиционной этики балканских славян // Традиционная культура. М., 2004. № 2.

БТР – Български тълковен речник. София, 1930. Т. 1. С. 2.

Геров 1904 – *Геров Н.* Речник на българский язык. Пловдив, 1904.

Дучић 1931 – *Дучић С.* Живот и обичаји племена Куча // Српски етнографски зборник. Београд, 1931. Књ. 48.

Ђорђевић 1938 – *Ђорђевић Т.* Зле очи у веровању јужних Словена // Српски етнографски зборник. Београд, 1938. Књ. 53.

Елезовић 1932 – *Елезовић Гл.* Речник косовско-метохијског дијалекта, књ. I // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1932. Књ. 4.

Елезовић 1935 – *Елезовић Гл.* Речник косовско-метохијског дијалекта, књ. II // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1935. Књ. 6.

- Јашар-Настева 2001 – *Јашар-Настева О.* Турските лексички елементи во македонскиот јазик. Скопје, 2001.
- Караџић 1935 – *Караџић В.* Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Београд, 1935.
- Марковић 1986 – *Марковић М.* Речник народног говора у Црној Реци, књ. I // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1986. Књ.32.
- Марковић 1993 – *Марковић М.* Речник народног говора у Црној Реци, књ. II // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1993. Књ. 39.
- Митровић 1984 – *Митровић Б.* Речник лесковачког говора. Лесковац, 1984.
- МС – Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад, 1967–1976. Т. I–VI.
- РМНП – Речник на македонската народна поезија. Скопје, 1983–. Т. 1–.
- РСАНУ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–. Т. 1–.
- Самарџија 1995 – *Самарџија С.* Народне приповетке у Летопису Матице Српске. Нови Сад – Београд, 1995.
- СНПЛ – Српске народне приповетке и предања из Лесковачке области // Српски етнографски зборник. Београд, 1988. Књ. 94.
- Станић 1990 – *Станић М.* Ускочки речник. Београд, 1990. Књ. 1–2.
- СТИЈОВИЋ 1990 – *СТИЈОВИЋ Р.* Из лексике Васојевића // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1990. Књ. 36.
- Ћупић, Ћупић 1997 – *Ћупић Д., Ћупић Ж.* Речник говора Загараца // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1997. Књ. 44.
- Филиповић 1958 – *Филиповић М.* Вјера и црква у животу Банатских Хера // Банатске Хере. Нови Сад, 1958.
- Филиповић 1972 – *Филиповић М.* Таковци // Српски етнографски зборник. Београд, 1972. Књ. 84.
- Форски 1997 – *Форски Манић Д.* Лужнички речник. Бабушница, 1997.
- Чајкановић 1927 – *Чајкановић В.* Српске народне приповетке // Српски етнографски зборник. Београд, 1927. Књ. 41.
- Чемериќић – *Чемериќић Д.* [Собрание лексики г. Призрени]. Архив Института српског језика САНУ, Белград.

Шаулић 1922 – *Шаулић Н.* Српске народне приче из збирке народних приповједака Новице Шаулића. Подгорица, 1922. Књ. 1.

Caskel 1926 – *Caskel W.* Das schicksal in der altarabischen poesie. Leipzig, 1926.

Iveković, Broz 1926 – *Iveković F., Broz I.* Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901.

RJAZU – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976.

Škaljić 1965 – *Škaljić A.* Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1965.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
<i>Т. И. Вендина.</i> Старославянский язык и его влияние на формирование концептосферы языка русской культуры.....	16
<i>Г. К. Венедиктов.</i> Русское влияние в начальной истории административно-канцелярской лексики современного болгарского литературного языка.....	110
<i>Е. И. Демина.</i> Социолингвистический аспект проблемы языковых контактов на Балканах.....	136
<i>М. И. Ермакова.</i> Отражение влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки.....	156
<i>В. С. Ефимова.</i> Влияние греческого языка на формирование лексического фонда старославянского языка.....	196
<i>А. Ф. Журавлев.</i> Воздействие литературного идиома на русские диалекты.....	245
<i>Л. Э. Калынь.</i> Динамика русских диалектов в связи с воздействием на них литературного языка.....	281
<i>Г. П. Клепикова.</i> Межъязыковые влияния в карпато-балканском ареале.....	301
<i>Ф. Б. Людоговский.</i> Взаимодействие и взаимовлияние церковнославянского и русского языков в конце XX – начале XXI вв. ....	351
<i>Ф. Р. Милюс.</i> Редупликация и парные слова в восточнославянских языках в контексте языковых контактов.....	375
<i>Г. П. Нецименко.</i> Заимствования и их влияние на закономерности внутриязыкового развития.....	404
<i>Е. И. Якушкина.</i> Южнославянская этнокультурная лексика турецкого происхождения (на примере семантического поля «судьбы»).....	445
	467

*Научное издание*

**Межъязыковые влияния  
в истории славянских языков и диалектов:  
социокультурный аспект**

Ответственный редактор  
*Татьяна Ивановна Вендина*

Верстка, обложка *Ф. Б. Людоговский*

Книга подготовлена к печати  
в отделе редакционной подготовки рукописей  
Института славяноведения РАН

Подписано в печать 06.02.2007  
29,2 печ. л. Тираж 300 экз.  
Заказ №

---

ООО «Пробел-2000»  
121069 Москва, ул. Поварская, 36

**МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЛИЯНИЕ  
В ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ**